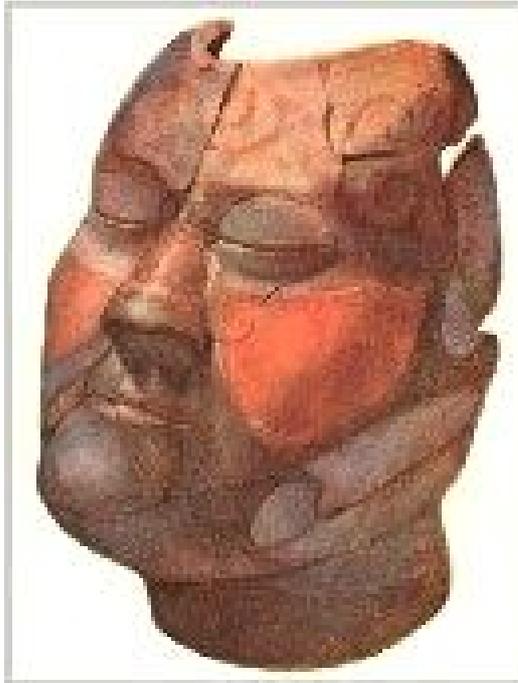


<http://kronk.narod.ru/mono/mono.htm>

П.П.Азбелев.

Древние кыргызы. Очерки истории и археологии.



• Сайт-монография — это превращение обычной академической ссылки в гиперссылку. Представляя здесь конспект монографии «Древние кыргызы», я постепенно выкладываю вместе с ним (целиком или частично) труды коллег и предшественников, на которые ссылаюсь.

Предисловие.

Глава I

Древнейшие кыргызы. Вопросы локализации и археологической идентификации.

Глава II Кыргызы и таштыкская проблематика.

Введение.

II. 1. Проблема грунтовых могильников.

II. 2. Вопросы хронологии таштыкских склепов.

Глава III Кыргызы и народы Центральной Азии в V-VII вв.

Введение. III. 1. Охрана согдийских караванов.

III. 2. Феномен Кудыргэ.

III. 3. Гаогюйские поколения и кыргызы.

Глава IV. Сложение и развитие кыргызской культуры: минусинские чаатасы как историко-культурный источник.

Введение.IV. 1. Культура енисейских кыргызов в научной литературе (периодизации).
IV. 2. Арбанский чаатас и проблема раннекыргызских памятников.
IV. 3. Конструкции оград на чаатасах.
IV. 4. Раннесредневековые центральноазиатские вазы и проблема сложения кыргызской культуры.

IV. 5. Относительная хронология кыргызских памятников.
IV. 6. Таштыкские традиции в кыргызской культуре. Проблема поздних склепов и палеодемография минусинских племён.
IV. 7. Феномен чаатаса. Отражение историко-культурных процессов в ритуальной практике.

Глава V. Эпоха, которой не было: енисейские кыргызы на рубеже тысячелетий.

Введение.V. 1. Кыргызы и уйгуры: замечания к истории противостояния.
V. 2. Кыргызы и Китай: о пределе доверия к летописям.
V. 3. Кыргызы и кидани: великодержавие мнимое и подлинное.
V. 4. “Копёнская проблема” в археологии Южной Сибири.
V. 5. К вопросу о культурогенезе киданей.
V. 6. Развитие культуры и общества енисейских кыргызов в IX-X вв.
V. 7. Об археологической основе концепций “кыргызского великодержавия” и енисейского происхождения тьяншаньских кыргызов.

Глава VI. Аскизская культура: традиции енисейских кыргызов предмонгольского времени.

VI. 1. Замечания по истории вопроса.
VI. 2. Сложение и состав аскизской культуры.
VI. 3. Развитие аскизской культуры. Эволюция узды.
VI. 4. Развитие аскизской культуры. “Каменная” и “часовенногорская” проблемы.
VI. 5. Общие вопросы хронологии и периодизации аскизской культуры.
VI. 6. Кыргызские комплексы вне кыргызского ареала.
VI. 7. Конец истории кыргызского государства.

Глава VII.

Древние кыргызы: к периодизации истории культуры.

Предисловие

Словосочетание «енисейские кыргызы» хорошо известно всем, кто знакомился с раннесредневековой историей и археологией Центральной Азии и Южной Сибири. Несмотря на недостаток специальных обобщающих работ, проблематика истории и культуры раннесредневековых народов этого региона считается в целом разработанной. Монографии, разделы монографий, статьи и доклады таких исследователей, как С.А.Теплоухов, С.В.Киселёв, Л.А.Евтюхова, Л.Р. и И.Л.Кызласовы, Ю.С.Худяков, Д.Г.Савинов, Г.В.Длужневская и др. — трактуют прежде всего археологические данные; другие авторы — В.В.Бартольд, С.Г.Кляшторный, Л.Н.Гумилёв, С.М.Абрамзон, А.Г.Малявкин, Г.П.Супруненко, О.Караев и другие — публиковали работы, основанные на материалах различных письменных источников и так или иначе затрагивающие кыргызскую проблематику. В основных положениях почти все авторы единодушны, благодаря чему за несколько десятилетий (1920-90-е гг.) сложилась концептуальная основа понимания письменных и археологических свидетельств кыргызской истории. Отбрасывая расхождения, касающиеся частных вопросов, можно свести эту концепцию к следующим тезисам.

1. Древнейшие носители названия «кыргыз» жили в конце III в. до н.э. к северу от хунну и в 201 г. до н.э. были разгромлены хуннским шаньюем Модэ (кит. Маодунь), после чего «смешались с динлинами», также обитавшими где-то на севере Китая или в Южной Сибири. Спустя некоторое время (определяемое по-разному) кыргызы оказываются уже на Енисее. Некоторые полагают, что смешение кыргызов (гяньгуней) с динлинами произошло не до, а после или во время этого переселения.

2. К VI в. н.э. кыргызы на Енисее уже создают собственное государство, по устройству близкое так называемым *степным империям* — каганатам. Контакты с тюрками Первого каганата не изучены. Известно, что в 630-40-х гг.* кыргызы были в зависимости от «Дома Сйеяньто» — Сирского каганата, с падением которого в 646: году вновь обрели независимость (этому этапу истории енисейских кыргызов исследователи обычно не придают особого значения). В конце VII в. кыргызский каган добился признания своего титула со стороны тюрков Второго каганата. Вместе с тем в военном отношении кыргызы уступали тюркам и зимой 710/711 гг. потерпели от них сокрушительное поражение, причём тюркские вожди считали кыргызского правителя *самым опасным врагом*. В течение многих десятилетий кыргызы поддерживали регулярные посольские связи с Китаем, о чём в танских хрониках есть немало упоминаний.

3. В 758 г. уйгуры, развивая свои военные успехи, нанесли поражение енисейским кыргызам, вожди которых после этого утратили право на каганский титул. Кыргызы не раз поднимали восстания, но уйгурам всегда удавалось справиться с мятежниками. В 840 г. кыргызский правитель Ажо *сам объявил себя ханом* и начал войну, которая спустя два десятилетия привела к падению и развалу Уйгурского каганата под ударами воинственных северных соседей.

4. С 840 года отсчитывают т.н. *эпоху кыргызского великодержавия*. По мнению исследователей, с этого времени кыргызы господствовали в Центральной Азии, создали огромную державу, проникли даже на Тяньшань, где, по мнению многих, положили начало этногенезу тяньшаньских киргизов. На всём Саяно-Алтае и кое-где за его пределами распространяется мощное культурное влияние енисейских кыргызов.

Позднейшие этапы кыргызской истории изучены плохо. Известно, что кыргызы не воевали с киданями, но потерпели поражение в каком-то столкновении с найманами. В XI-XII вв. единого кыргызского государства уже не было: на его месте возникли два особых владения — Кыргыз и Кем-Кемджиут, на Среднем и Верхнем Енисее соответственно. В начале XIII в. кыргызов разгромили монголы. На протяжении этого столетия кыргызы нередко с разной степенью успеха восставали, но всякий раз монголы находили на них управу, и в 1293 г. енисейский народ был разгромлен окончательно.

Такова концептуальная основа большинства кыргызоведческих работ. К этой исторической концепции следует добавить ряд стереотипов восприятия археологического материала. Приводимые ниже положения большинством исследователей приняты как безусловные.

1. С древнейшими носителями названия «кыргыз» связывают население, оставившее памятники таштыкской культуры (обыкновенно датируемые в пределах первой половины I тыс.) и иногда — памятники предшествовавшего тесинского этапа.

2. Ко второй половине I тыс. относят т.н. чаатасы — могильники нового типа, часто совмещённые с таштыкскими памятниками и в ряде черт наследующие им. Сквозным признаком, уверенно связываемым с кыргызами, считают обычай трупосожжения.

3. К середине IX в. у кыргызов складывается новая своеобразная культура, которая после победы над уйгурами распространяется по всему Саяно-Алтаю, в Прибайкалье и даже в Притяньшанье.

4. В X в. происходит новая трансформация культуры, и с XI в. для неё уже не типичны ни чаатасы, ни знаменитые кыргызские вазы, ни енисейская руническая письменность. Распространяются новые типы, но выяснить их происхождение удаётся не всегда, и их без лишнего рассуждений считают кыргызскими.

5. В VI-X вв. на Среднем Енисее обитает и другое, некыргызское население, оставившее разнообразные всаднические погребения. Происхождение этих инокультурных групп и их роль в истории енисейских племён дискуссионны.

Таковы положения, принимаемые большинством авторов без обсуждения. Дискуссии ведутся по вопросу о том, существовали параллельно с енисейскими кыргызами ещё и древние хакасы, или нет. К археологии это, разумеется, никакого отношения не имеет. Другие разногласия сводятся к оценкам тех или иных памятников, к различиям в интерпретации всаднических погребений, к вариантам определения формационной принадлежности кыргызского общества. Вещественный же материал опубликован очень неполно и разрозненно,

его систематический анализ в литературе отсутствует, отчего изложенная выше концепция оказывается, в сущности, непроверяемой. Занимаясь на протяжении многих лет данной проблематикой специально, я пришёл к выводу о том, что накопленный материал позволяет и в ряде случаев даже требует самым коренным образом пересмотреть положения общепринятой концепции. Детальный анализ публикаций позволяет мне утверждать, что в значительной части эта концепция никогда и никем не обосновывалась и является во многом декларативной. Она никогда не была единственно возможной трактовкой имеющегося материала. Эта концепция основана на серии допущений, недоказанных гипотез и необоснованных деклараций. Они часто логичны, но никогда не единственно допустимы; кроме того, некоторые авторы порой игнорировали ту или иную часть материала, если она не соответствовала их воззрениям, старательно не замечали аргументов и выводов других исследователей, если не могли им что-либо противопоставить. Обычной практикой стало согласовывать свои выводы уже не с фактами, а с другими выводами, отчего несоответствия накапливаются и превращают учёные построения в чепуху. Это дополняется принятой у нас монополией на материал, годами, а то и десятилетиями не публикуемый, доступный лишь в неполных отчётах и нарочито кратких сообщениях. Порой о памятнике вообще известно лишь то, что он был раскопан (так, о склепе № 2 Сырского чаатаса известно, что в 1950-х гг. он был раскопан Л.Р.Кызласовым, но ни отчёта, ни публикаций нет).

Между тем результаты, полученные некоторыми исследователями — А.К.Амброзом, Б.И.Маршаком, Э.Б.Вадецкой, Г.В.Длужневской — позволяют по-новому взглянуть на ряд принципиально важных вопросов истории и культуры енисейских кыргызов. Собрал и систематизировав значительную часть имеющихся в настоящее время материалов, я взял на себя смелость выработать новый подход к проблематике кыргызоведения, учитывающий как новые данные, так и неиспользованные возможности анализа известных материалов. Некоторые аналитические кыргызоведения, учитывающий как новые данные, так и неиспользованные выкладки и выводы, полученные мною, приведены в предлагаемой работе.

Предлагаемые очерки истории и археологии древних кыргызов во многом вынужденно конспективны, но узловые проблемы разобраны детально. Несомненно, настоящая работа неполна как по охвату материала, так и по степени использования разнообразных возможностей исследования. Но главной своей задачей я считал не создание свода, а выработку новой, внутренне непротиворечивой концепции истории и археологии кыргызов. Я должен выразить глубокую благодарность Ю.А.Заднепровскому, Б.Н.Пяткину, Ю.И.Трифонову, М.П.Завитухиной, Э.Б.Вадецкой, Г.В.Длужневской, С.Г.Кляшторному, Д.Г.Савинову, находившим время для обсуждения интересовавших меня вопросов, и всем тем, кто помогал мне в работе над этим исследованием.

Прежде чем обратиться к собственно кыргызоведческим проблемам, следует обратить внимание на одно важное обстоятельство. Среди сибироведов традиционную симпатию вызывают китайские и дальневосточные материалы, имеющие более или менее близкие сибирские аналогии, тогда как западные параллели сибирским вещам остаются где-то на краю внимания. Тому немало причин, перечислять их не имеет смысла. Однако географическое положение минусинских котловин не даёт оснований пренебрегать западными аналогиями, чрезмерно акцентируя восточные.

Ведь единого непрерывного горно-степного пояса Евразии на самом деле нет: степная полоса чётко разделена — но не на европейскую и азиатскую части (Уралом), а — на западную и восточную половины (Тарбагатаем). Это деление проявилось и в археологических материалах, и в изгибах истории, и в климатических обстоятельствах. Система степных котловин Среднего Енисея имеет прямые, свободные выходы к Степному Алтаю и далее в западносибирскую лесостепь. От Центральной же Азии её отделяют Саяны, Байкал и Гоби. В древности зимой связь была возможна по льду Енисея (однажды этим путём прошли монголы), или — с великими трудностями — через перевалы Западного Саяна (этот путь документирован тюркским походом зимы 710/711 гг.). Летом Енисей был практически заперт порогами, и пройти можно было лишь по Арбатской и Усинской тропам. *Географически — а в конечном счёте и культурно — минусинские степи принадлежат западной половине степного пояса.* Так что на самом деле Северный Кавказ и Приуралье куда ближе к Енисею, чем Китай и Корея. Это не значит, что южные и юго-восточные связи несущественны. Это лишь объясняет, почему в

нижеследующих построениях западные аналогии минусинским материалам играют столь важную роль.

* Здесь и далее особо обозначаются лишь даты до н.э.; обозначение н.э. выпускается.

Глава I. Древнейшие кыргызы.

Вопросы локализации и археологической идентификации.

Говоря о древних кыргызах, следует помнить прежде всего об условности названия. Сведения о них содержатся в основном в китайских письменных источниках; китайская же письменность, как известно, меньше всего приспособлена к передаче чужих слов, и летописцы подбирали для обозначения соседних народов иероглифы, читавшиеся более или менее сходно со слогами передаваемого названия. В результате эти названия приобретали для китайского уха вполне определённый смысл; нередко иероглифы подбирали не столько ради точной передачи чужих звуков, сколько ради выражения отношения к обозначаемому понятию. И если для самого хрониста здесь открывались определённые творческие возможности, то для современных исследователей китайские транскрипции — причина многолетних споров. Огромный труд специалистов по исторической фонетике китайского языка, позволяющий читать хроники не просто как занудное повествование, но как полноценный источник — заслуживает почтительного упоминания в первых строках исследования.

Название *кыргыз* передавалось в китайских исторических текстах по-разному: гэгунь и гяньгунь (гянькунь, цзянькунь) в ханьскую эпоху; кигу (цигу), хэгу, гйегу в эпоху Троецарствия; хягас (хагас, сяцзясы) танского времени; киликисы (цилицизисы) последующих веков — вот далеко не исчерпывающий перечень существующих вариантов транскрипции. Лишь последний из них точно соответствует названиям *кыркыз* (в рунических памятниках) и *хирхиз* (в западных источниках). Более ранние транскрипции реконструируются иначе: *кыркун*, *кыркут*, *кыркыр*, *гуркур* и т.д. Никто пока не доказал, что всё это — варианты одного и того же названия, и не исключено, что правильное было бы говорить о двух (или даже более) группах древнего населения Центральной Азии — тем более что, как будет показано, тому есть и более веские причины, нежели несовпадение реконструкций. Название же *кыргыз*, принятое в научной литературе — не больше чем условный объединяющий термин, предположительно нейтральный и заведомо неточный. А потому всякое упоминание названия *кыргыз* в источниках следует воспринимать критически, внимательно относясь к вопросам идентификаций и локализаций.

Следует также заметить, что вопрос о соотношении названий *кыргыз* и *хягас (хакас)*, породивший многолетнюю дискуссию, вряд ли имеет то фундаментальное значение, которое придают ему сами спорщики. Вопрос этот -- прежде всего лингвистический, дискутируют же главным образом археологи. Как бы ни решился вопрос об исходном звучании слова, переданного иероглифами *хя-га-сы*, ответ не может повлиять на изучение истории и культуры минусинских племён второй половины I тыс. В настоящей работе я следую за мнением С.Е.Яхонтова, согласно которому *хягас* -- попытка передать звуки, близкие современному слову *кыргыз* (Яхонтов 1970). Несходство слов *кыргыз* и *хягас* -- скорее кажущееся. Так, часто упоминаемое озеро Кыргыз-нур на самом деле называется у монголов Хяргас-нур; и если никого не удивляет посредничество монгольязычных информаторов, приведшее к превращению *тюрк* в *тугю (тюрк - тюркют - тугю)*, то отчего бы не допустить, что китайский хронист и здесь транскрибировал не само слово *кыргыз* или его варианты, а лишь монгольскую огласовку *хяргас (кыргыз - хяргас - хягасы)?* Так или иначе, в этой работе словосочетание *древние хакасы* употребляется лишь при обсуждении или цитировании работ соответствующих авторов, а во всех остальных случаях используется термин *енисейские кыргызы* или просто *кыргызы*.

Древнейшее из упоминаний о кыргызах относится к 201 г.до.н.э. Примерно в этот год (источник не даёт точной даты) хуннский шаньюй Модэ (кит. Маодунь) «покорил на севере владения хуньюев, цюйше, гэгуней, динлинов и синьли» (Таскин 1968: 41). С каждым упомянутым здесь «владением» связано немало вопросов (сводную характеристику см.: Савинов 1984: 11-18). Наиболее важно то, что владения самих хуннов в то время

ограничивались Приордосьем, а значит, *эзгунь* и другие упомянутые в этом фрагменте племена обитали где-то во Внутренней Монголии и на востоке современной Монгольской республики. Это единственное, что можно понять из источника. Однако все исследователи уделяют этому упоминанию большое внимание: во-первых, оно самое раннее, во-вторых, принято считать, что хуннский поход привёл не только к широкомасштабной экспансии хуннов, но и к широкому расселению жертв этой экспансии. Это расселение подтверждается археологически: многие новые типы памятников, распространяющиеся по всему Саяно-Алтаю и прилегающим регионам, содержат серии вещей хуннского облика, так что 201 г. до н.э., по-видимому, справедливо считают надёжной опорой датировок. Вместе с тем совершенно непонятно, каким образом данное сообщение хрониста может аргументировать идею о приходе кыргызов на Енисей именно в указанное время. Вопрос этот весьма существен, так что следует разобрать его более подробно.

В ряде работ 1980-х гг. Д.Г.Савинов обосновал правомерность выделения большого массива «погребений с каменными конструкциями», преимущественно в каменных ящиках, внезапно широко распространившихся в Центральной Азии вскоре после начала хуннской экспансии. Кроме обильного использования камня при оформлении могил, эти памятники объединяет ещё и присутствие среди находок изделий, реплицирующих хуннские образцы. Этот процесс логически связывается с неизбежным при всякой экспансии расселением и рассеянием мелких племён, снявшихся с насиженных мест перед угрозой завоевания, а то и истребления. Как раз для этих памятников дате северного похода шаньюя Модэ (201 г. до н.э.) и служит надёжным *terminus post quem*. Одна из этих переселившихся групп оставила грунтовые могилы тесинского этапа на Среднем Енисее, другая — памятники улугхемской культуры в Туве, третья — буланкобинские памятники Алтая, четвёртая — кулажургинскую культуру Прииртышья (Савинов 1984: 15-17). Высказывавшиеся некоторыми авторами мнения о местном, минусинском происхождении традиции тесинских грунтовых могил явно безосновательны: материал не позволяет указать ранние местные прототипы, а сравнение с прочими центральноазиатскими культурами того времени вводит появление «тесинцев» на Среднем Енисее в рамки весьма широкого этнокультурного процесса. Он был даже шире, чем предположил Д.Г.Савинов.

Перечень, предложенный Д.Г.Савиновым, следует дополнить прииссыккульскими памятниками. На берегах реки Тон в Южном Прииссыкулье исследованы весьма своеобразные могильники Туура-Суу и Ачик-Таш; погребения совершены здесь в каменных ящиках с дополнительными боковыми отсеками напротив левого локтя погребённого, предназначенными для размещения сосудов и, может быть, жертвенной пищи. Эта деталь устройства могил местных прототипов не имеет, зато серийные аналоги обнаруживаются в культуре плиточных могил () и в древнечосонских материалах (), то есть как раз там, откуда на рубеже III/II вв. до н.э. были выдавлены носители традиций погребения в могилах с каменными конструкциями. Некоторые турсуйские и ачикташские находки имеют и предметные аналогии в материалах плиточных могил (ср., напр.: Мокрынин, Гаврюшенко 1975:; рис. и), что практически закрывает вопрос о хронологии этих могильников. Публикаторы, основываясь на находке золотой фигурки бегущего джейрана в «сакском» стиле, отнесли эти могильники в середине — третьей четверти I тыс. до н. э., однако такой подход неприемлем. Во-первых, фигурка не имеет ничего общего с прочими находками и, вероятно, оказалась здесь случайно. Во-вторых, дальневосточные аналогии вводят прииссыккульские могильники в круг памятников со вполне определённой историей, так что по совокупности данных говорить можно лишь о хуннском времени: до того не существовало условий для появления в Притяньшанье следов влияния дальневосточных культур.

Устройство боковых отсеков каменных ящиков, вероятно, следует сравнивать и с распространившимся позднее обычаем устраивать боковые ниши, размещённые в могилах совершенно сходным образом и с тем же назначением (в джетыясарской культуре). Следует упомянуть также ниши, встречающиеся в катакомбах могильников Астана, Караходжа (Лубо-Лесниченко 1984) и Кенкольском (Бернштам 1940). Таким образом, при всём своеобразии прииссыккульских ящиков они — часть целого культурного пласта, изучение которого выходит за рамки настоящей работы. С оглядкой на своеобразие представляется возможным выделить на материалах могильников Туура-Суу и Ачик-Таш локальную археологическую

культуру; называть её можно *турасуйской*, датировать — не ниже рубежа III/II вв. до н. э. Локальная турасуйская культура маркирует западную границу первичного расселения северокитайских и дунбэйских племён, утративших свои исконные земли на раннем этапе экспансии хунну.

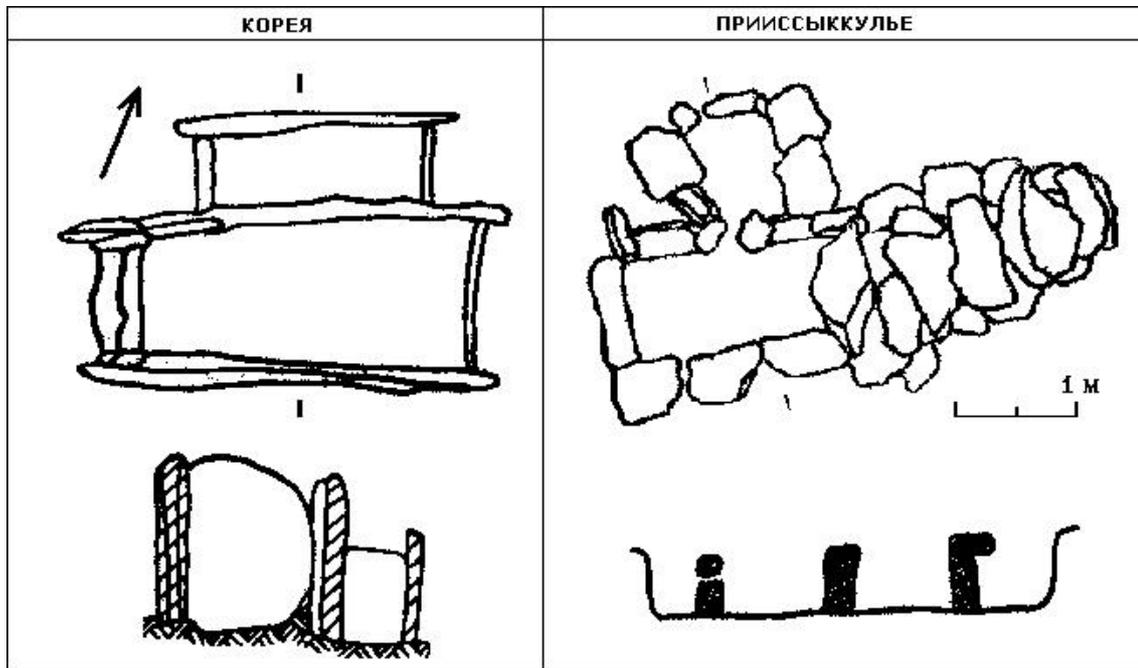
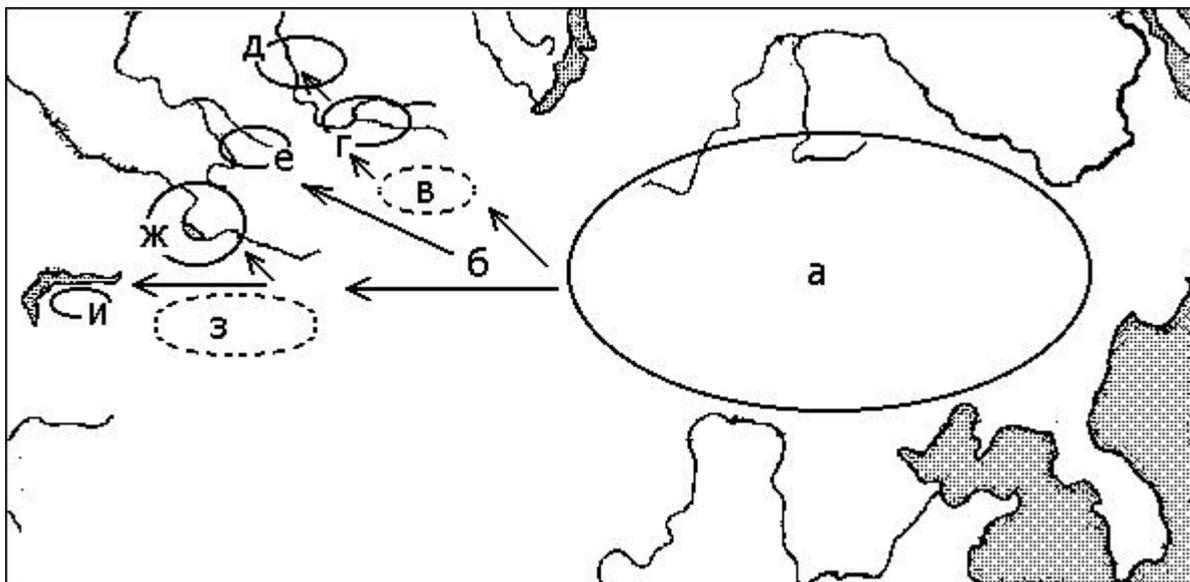


Рис. 001. Турасуйские (справа) и дунбэйские могилы.

Сравнивая памятники этих локальных культур с их дальневосточными прототипами, нельзя не обратить внимание на одно важное обстоятельство. Почти все элементы культур, оставленных плеенами-мигрантами, имеют *по отдельности* близкие соответствия в культуре плиточных могил, в древнеchosонской или хуннской культурах, однако ни одна из культур могил с каменными конструкциями не имеет *полной, комплексной* аналогии в культурах Забайкалья, Северного и Северо-Восточного Китая. Эти вторичные культуры — как бы анаграммы, составленные из тех же элементов, но в совершенно ином наборе. Несомненно, при массовых переселениях ранее единые племена и народы дробились и смешивались, что и привело к соответствующему перемешиванию культур. Отсюда следует вывод, важный для настоящей работы: каково бы ни было сходство “первичных” и “вторичных” культур, проследить перемещение отдельных групп невозможно: его просто не было, да и работать археологическими средствами можно лишь с системой, но не с хаосом, представленным вдобавок выборочно и неполноценно.

Расселение носителей этих “вторичных” культур хорошо согласуется с орографией региона (Карта 1). Мигранты шли из приордосских и восточномонгольских степей в целом на запад. Монгольский Алтай, словно огромный волнолом, заставил поток разделиться: одни двинулись вдоль его северных склонов, оседая в Монголии (памятники не выявлены), в Туве (улухемская культура), на Горном Алтае (буланкобинская культура) и на Среднем Енисее (грунтовые могильники тесинского этапа). Другие шли вдоль южных склонов к Тарбагатаю, к верховьям Иртыша и в Восточный Казахстан (кулажургинская культура). Третьи вдоль северных отрогов Тяньшаня попадали в Восточный Туркестан (памятники не выявлены) и в Прииссыккулье (турасуйская культура). В какой из этих потоков влились кыргызы-*гэгунь*, неизвестно, как неизвестны и археологические признаки этого племени. Таким образом, говорить о минусинской локализации *гэгунь* совершенно безосновательно, а любые предположения могут опираться лишь на позднейшие локализации. Более пространны сведения о группе, именуемой в летописях *гяньгунь* (*цзянькунь*). Соотношение *гяньгунь* и *гэгунь* неизвестно. Вместе с тем именно с этой группой позднейший источник связывает кыргызов-

хягас, указывая, что “Хягас есть древнее государство Гяньгунь”, жители которого “смешались с динлинами”.



Карта 1. Расселение создателей культур могил с каменными конструкциями в конце I тыс. до н.э.

а -- область исходного расселения; б -- предполагаемые маршруты миграций; в -- з -- ареалы новых локальных культур (в -- Монголия, г -- улугхемская культура Тувы, д -- тесинские могильники в Минусинской котловине, е -- каракобинская культура Алтая, ж -- кулажургинская культура в Прииртышье, з -- Восточный Туркестан, и -- турасуйская культура в Южном Прииссыккулье. Пунктиром обозначены ареалы предполагаемых культур.).

Эта фраза не раз становилась основой сложных историко-археологических построений, авторы которых исходили из позднейшей локализации кыргызов на Енисее, экстраполируя данные второй половины I тыс. на хуннское время; в итоге на Енисее оказывались и динлины, которых ни один источник прямо с Минусинской котловиной не связывает. Со времён Бартольда принято считать, что *гяньгунь* обитали на Среднем Енисее и в Северо-Западной Монголии, близ озера Киргиз-нур; впрочем, данное название В.В.Бартольд с событиями хуннского времени не связывал, предпочитая видеть в нём след так называемого “кыргызского великодержавия” (Бартольд 1927). Позже Д.Г.Савинов соотнёс с *гяньгунь* грунтовые могильники тесинского этапа на Среднем Енисее и памятники улугхемской культуры в Туве (Савинов 1984: 17). Позднее этот автор счёл те же погребения динлинскими (Савинов 1987:), но от минусинской локализации *гяньгунь*, оставшейся без археологического соответствия, не отказался.

Между тем источники содержат достаточно определённые сведения, позволяющие локализовать кыргызов-*гяньгунь*. Наиболее важны два упоминания -- в сообщении о перебежчике Ли Лине и в повествовании о мятежном шаньюе Чжичжи.

“Ли Лин был внук полководца Ли Гуан, искусный в конной стрельбе из лука. В 99 году, когда Эршыский Ли Гуан-ли выступил против хуннов, Ли Лин с 5000-м отрядом отборной пехоты отдельно пошёл. Оставя Сюй-янь, он дошёл до гор Сюньги, как Хан противостоял ему с 30 000 конницы. Хунны, видя малость китайских войск, устремились на их лагерь. Ли Лин вступил в рукопашный бой и, преследуя хуннов, убил до 10 т. человек. Хан призвал до 80 000 конницы из окрестных мест, и Ли Лин начал отступать на юг. В продолжение нескольких дней он убил ещё до 3000 человек. Хан думал, что Ли Лин заманивает его к границе в засаду, но один офицер из задних войск, сдавшийся хуннам, открыл, что Ли Лин ниоткуда не имеет помощи. Хан усилил нападения. Китайцы издержали все стрелы, и Ли Лин, видя невозможность сопротивляться, приказал своим ратникам спасаться, а сам сдался хуннам. Государственные чины единогласно обвиняли Ли Лин; один Сы-ма Цянь с твёрдостью защищал сего полководца. Но император не уважил доводов его... Ли Лин остался у хуннов, и

получил во владение Хягас, где потомки его царствовали почти до времён Чингис-Хана. Шаньюй оказал Ли Лин должное уважение, и женил его на своей дочери.“ (Бичурин 1951, т. I:).

Напомню: за исключением последней фразы, данный текст — не перевод, а пересказ летописи, отсюда и немислимое в ханьской хронике упоминание Чингисхана. Бичурин вообще часто осовременивал текст, вводя в рассказы о событиях ханьского / хуннского времени анахронизмы вроде *хан*, *аргамак* и т. п. Кроме слов о “временах Чингис-Хана”, анахронизмом в данном тексте является и упоминание о кыргызах-*хягас*: в оригинале стоят иероглифы *гяньгунь*; Бичурин же ориентировался на известную фразу позднейшего источника (“Таншу”), где эти два названия идентифицируются. В той же “Таншу” говорится о том, что “хунны покорившегося им китайского полководца Ли Лин возвели в достоинство Западного Чжуки-князя” (Бичурин 1951:). И так, у хуннов Западный Чжуки-князь, третье лицо в государстве, имел ставку во владении Гяньгунь. Здесь налицо негативная локализация: эта ставка никак не могла располагаться в далёкой периферийной Минусинской котловине.

Локализуя земли кыргызов-*гяньгунь* на Среднем Енисее, С.В.Киселёв и Л.А.Евтюхова предполагали, что здание китайской архитектуры, исследованное ими близ Абакана, было дворцом Ли Лина (Киселёв 1949: 268-272). Это определение оказывалось археологической основой самой минусинской локализации древнейших кыргызов. Однако новейшими исследованиями установлено, что черепица с крыши этого здания относится ко времени диктатуры Ван Мана, то есть к началу I в. (Вайнштейн, Крюков 1976), так что связывать его с Ли Лином невозможно.

Более чёткая локализация кыргызов-*гяньгунь* содержится в повествовании о мятежнике Чжичжи. Эта драматическая история могла бы стать сюжетом захватывающего романа или кинофильма, однако здесь существенна прежде всего познавательная её часть. Суть событий состояла в следующем. В ходе междоусобиц середины I в. до н.э. у хуннов оказалось сразу два шаньюя: Хуханье и Чжичжи, близкие родственники. В 50 г. до н.э. китайский императорский двор поддержал притязания Хуханье, и таким образом вышло, что Чжичжи мятежник. Ему оставалось только сражаться, и после нескольких неудач Чжичжи *“остался жить в Западной стороне. Расчисляя, что собственными силами не в состоянии утвердить спокойствие во владениях хуннов, подался далее на запад к Усуню, < ... > выставил своё войско и, ударив на усуньцев, разбил их; отселе, поворотив на север, ударил на Угье. Угье покорился, и Чжичжи при помощи войск его разбил на западе Гяньгунь; на севере покорил Динлин. Покорив три царства, он часто посылал войска на Усунь, и всегда одерживал верх. Гянь-гунь от шаньюевой орды на запад отстоит на 7000 ли, от Чешы на север 5000 ли. Здесь Чжичжи утвердил своё пребывание”*. Через год Чжичжи ушёл на запад в Кангюй, где заключил союз с местным владельцем, но это ему не помогло: китайский карательный отряд добрался-таки до мятежника и разгромил его окончательно (Бичурин 1951, т. I:). Интересно отметить, что в последней битве на стороне Чжичжи выступал небольшой римский отряд, невзвест как оказавшийся так далеко на востоке (); присутствие римлян в регионе подтверждается разрозненными латинскими надписями ().

В повествовании о злоклочениях мятежного шаньюя Чжичжи дана системная локализация: указано взаимное расположение разных владений, локализации которых в ряде случаев совершенно очевидны и безусловны. Не подлежит обсуждению, что усунь обитали в Семиречье и Центральном Притяньшанье, куда они незадолго до описываемых событий пришли по следам юэчжей и под давлением хуннов с востока через Ганьсуйский коридор. Владение Кангюй перемещалось по ходу переселений канглов и во времена Чжичжи располагалось в Южном Казахстане. Угье (уге) обычно помещают в верховьях и в среднем течении Иртыша, но эта локализация вторична, она основана в том числе на разбираемом здесь фрагменте. В целом выстраивается следующая схема. Выстраиваемая таким образом система локализаций наглядно показывает, где на самом деле в I в. до н.э. располагалось владение Гяньгунь — это область между Иртышом, Балхашом и Тарбагатаем. Если согласиться с теми исследователями, которые непреклонно локализуют гяньгуней в Минусинской котловине, то усунь “окажутся” в Туве, а канглы — на Северном Алтае. Однако историческая география Средней Азии изучена достаточно хорошо, и подобные “игры” на этом материале просто немислимы. Игнорировать очевидные факты в угоду концептуальным установкам недопустимо; это хорошо понимал А.Н.Бернштам, который при подготовке юбилейного

переиздания труда Н.Я.Бичурина нанес на карту сразу два маршрута походов шаньюя Чжичжи — как реальный, так и основанный на минусинской локализации гяньгуней (Бичурин 1953:).



Схема 1. Маршрут шаньюя Чжи-чжи и локализация кыргызов-гяньгуней.

Летопись говорит, что владение Гяньгунь располагалось от ставки шаньюев к востоку в 7000 ли, а от Чеси на север — 5000 ли. Чрезвычайно важна поправка: “на запад” или “на север” означает не отсчёт по широте или меридиану, а путь по дороге, идущей от западных или северных ворот указанного населённого пункта. Далее дорога могла сворачивать, но всё равно она оставалась западной или северной дорогой (Боровкова 1989:). Отсчитывая указанные координаты, приходится иметь дело не с пересечением двух прямых, а с двумя широкими секторами, область пересечения которых включает и Минусинскую котловину, и Джунгарию, и Прииртышье — мало ли как ветвились и поворачивали дороги в Центральной Азии в хуннское/ханьское время!

В источниках содержится важное уточнение: владение Гяньгунь располагалось подле Белых гор (*Байшань*). Можно порассуждать о том, что зимой вершины всех высоких гор покрыты снегами; но лучше вспомнить, что во многих очевидных с точки зрения локализаций случаях так называли именно и только Тяньшань, подле которого, таким образом, и находилось владение Гяньгунь. Конечно, Притяньшанье и Тарбагатай — не одно и то же, однако из источников следует, что владение Гяньгунь должно было перемещаться из-за давления хуннов; надо полагать, маршрут этого перемещения проходил от Тяньшаня к Тарбагатаю, то есть от центров культурной и политической активности того времени на периферию; кроме того, весьма возможно, что речь идёт о кочевниках, хотя прямых указаний на сей счёт источники не содержат.

Итак, если *гэгунь* и *гяньгунь* — одно и то же, то всего вероятнее, что они под давлением хунну оставили свои земли к северу от Ордоса (на рубеже III/II вв. до н.э.) и ушли на запад, в Притяньшанье, и к середине I в. до н.э. оказались где-то в районе Тарбагатая. Из этого и следует исходить, пытаясь решить вопрос об археологической идентификации древнейших кыргызов. Их культура, скорее всего, входила в число культур могил с каменными конструкциями, что и очерчивает круг поисков. На рубеже эр в районе Тарбагатая существовала лишь одна общность, в какой-то степени удовлетворяющая указанным условиям. Речь идёт о кулажургинской культуре, выделенной С.С.Черниковым и представленной серией плохо и недостаточно опубликованных памятников. Кулажургинские материалы характеризуются смешением местных традиций с инородными; антропологически фиксируется возрастание монголоидности. В пользу осторожного и предварительного соотнесения кулажургинской культуры с кыргызами-*гяньгунь* говорят территориально-хронологические, культурогенетические и антропологические факторы; при всей предварительности и условности предлагаемой идентификации нужно иметь в виду, что пока ни одна другая известная археологическая культура не может быть соотнесена с древнейшими кыргызами даже теоретически.

Имеются основания полагать, что ранние носители названия *кыргыз* жили в Туркестане долго. Так, в *Бэйши* и *Суйшу* содержится ещё одно интереснейшее для обсуждаемой темы упоминание о носителях названия *кыргыз*: “Предки телэ — это потомки сюнну. Племян очень много. На востоке от Западного моря, по горам и долинам < живут > повсюду. < ... >

На запад от Иу, на север от Яньци по сторонам Байшаня имеются *циби, боло, чжи, де, субо, нагэ, уху, хэгу, едеу, нику и др.*” (Супруненко 1974: 239), В других источниках говорится, что кыргызы-*хэгу* были в подчинении сяньбийцев; упоминаются также некие *гухэ*, причём в том же положении, что и *хэгу* -- надо полагать, переписчик просто перепутал местами иероглифы. В более поздних перечнях гаогуйских племён кыргызов уже нет, но здесь важно то, что все эти упоминания, относящиеся к предтюркскому времени, однозначно увязаны с Восточным Туркестаном и ни разу -- со Средним Енисеем.

В 638 году на реке Или был заключён договор, согласно которому два западнотюркских хана поделили между собой области влияния. Хилиши-хан получил земли к востоку от Или, а Иби-Дулу-хан -- к западу от неё. Интригуя против соседа, Дулу совершил походы против Сяоми и Гйегу, и привёл их под свою власть, причём уложился в один год. Несомненно, на Средний Енисей он не ходил, такой далёкий поход потребовал бы большего времени и подготовки, так что кыргызы-*гйегу* жили где-то поблизости, в районе Семиречья. Енисейские же кыргызы в это время состояли под “верховным надзором” сирского эльтебера (об этом см. ниже), который вряд ли потерпел бы такое вторжение в свою область. Между тем ни о каких конфликтах между сирами (сйеяньто) и западными тюрками хроники не упоминают. Таким образом, имеются основания полагать, что группы носителей названия *кыргыз* обитали в Туркестане со II в. до н.э. не менее чем по VII в. Иной вопрос -- была ли это одна и та же группа, или несколько групп; скорее первое, но доказать это пока не представляется возможным.

Одной из классических проблем считается вопрос “о переселении енисейских кыргызов на Тяньшань”. Приведённые факты показывают, что на Тяньшане кыргызы оказались куда раньше, чем на Енисее, и вопрос нужно ставить иначе: когда и при каких обстоятельствах центральноазиатские кыргызы проникли на Средний Енисей?

Глава II. Кыргызы и таштыкская проблематика.

Введение.

Термины *гйегу, цигу, хэгу* и т.п. относятся уже не к ханьскому времени, а к следующей эпохе. В Китае это смутное время Троецарствия, в Центральной Азии это сяньбийское и жужаньское — предтюркское время. В минусинской археологии за этим периодом закрепилось название таштыкского. К концу этого периода кыргызы уже определённо жили на Среднем Енисее; следовательно, именно в эти плохо изученные века и произошло проникновение кыргызов на север за Саяны.

Первые сведения о пребывании кыргызов на Енисее обнаруживаются в древнетюркских генеалогических преданиях. Известны они по пересказам в китайских летописях VII в. Тюркские легенды неоднократно становились предметом изучения для весьма авторитетных исследователей (Аристов 1897: 5-6; Кляшторный 1965; Савинов 1984: 31-34); здесь же следует коснуться этой самостоятельной темы только в самых необходимых границах.

Сообщается, что при расселении раннетюркских племён одно из них, *цигу*, то есть кыргыз, оказалось между реками *Афу* и *Гянь*. Ещё в конце прошлого века Н.А.Аристов связал эти названия с реками Абакан и Енисей, и если соотнесение *Афу/Абакан* безусловно, то *Гянь (Кем)/Енисей* сомнений вызвать уже не может. Г.Е.Грумм-Гржимайло (и вслед за ним Л.Р.Кызласов) пытался трактовать слово *цигу* как искажённое *чик* — этноним, известный по руническим текстам — но эта идея до сих пор никем всерьёз не воспринята. На сегодняшний день соответствие *цигу/кыргыз* представляется бесспорным.

Д.Г.Савинов предложил соотносить поздние (по принятой им хронологии) таштыкские памятники со владением Цигу, о котором говорит древнетюркское предание. Автор привёл многочисленные аргументы, позволяющие в целом принять его тезис о том, что по крайней мере некоторые памятники таштыкской культуры могут быть связаны с ранними енисейскими кыргызами (Савинов 1988). Проблема, однако, состоит в том, что и состав, и хронология таштыкской культуры всегда были дискуссионны. Вопросы хронологии требуют особого разбора, который будет предпринят в следующих разделах этой главы; проблема же состава культуры, в сущности, является надуманной и решается коротко и просто.

В состав таштыкской культуры обычно включают:

- грунтовые могилы оглахтинского типа;
- склепы: а) большие; б) малые;
- помины, весьма разнообразные и изученные пока недостаточно;
- сооружения с подквадратными выкладками над:
 - а) погребениями;
 - б) ритуальными ямами-жертвенниками.

Памятники других категорий — поселения и петроглифы — могут пока рассматриваться лишь в контексте выводов, полученных при анализе прочих категорий. Таким образом, понятием “таштыкская культура” объединены очень разные памятники, что провоцирует попытки разделения культуры; в той или иной степени этим занимались все исследователи, но с очень разными результатами. Вопрос не решён до сих пор, и прежде чем перейти к кыргызско-таштыкской проблематике, нужно принять и обосновать ясную позицию в вопросе о составе таштыкской культуры.

II. 1. Проблема грунтовых могильников.

Уже С.А.Теплоухов, анализируя имевшиеся в его распоряжении материалы, пришёл к необходимости обособить грунтовые могилы — слишком уж они своеобразны. В разделе “Таштыкский переходный этап” подробно охарактеризованы грунтовые могилы, отнесённые к I-III вв., и склепы, датированные III-IV вв. По наблюдению С.А.Теплоухова, наиболее заметные отличия между могилами и склепами, кроме особенностей похоронного обряда, обнаруживаются в керамической традиции: отмечены различия в декоре, “но главное отличие заключается в формах, материале и в резком различии техники изготовления” сосудов. Автор справедливо заметил, что “керамика лучше всего реагирует на появление другого быта” (Теплоухов 1929: 51), но единое название — *таштыкский* — сохранил, заложив тем самым противоречие, разрешить которое археологи не отваживались несколько десятилетий.

Жёстко (и чаще всего бездоказательно) оппонировав Теплоухову, С.В.Киселёв категорически настаивал на одновременности обоих основных типов таштыкских погребений. Лишь памятники с подквадратными выкладками (“камешковские”) были определены как поздние и переходные. Различия между грунтовыми могилами и склепами трактовались Киселёвым как отражение социальных отличий (Киселёв 1949: 264-267). Аргументировал этот вывод автор сравнением посуды из склепов и могил, причём наблюдения Теплоухова игнорировал. Автор заключил, что и в грунтовых могилах, и в склепах обнаруживаются “одинаковые баночные, кубковидные и бомбовидные формы, а также значительное число орнаментов (арочный, ямочный — круглый и треугольный, геометрический — резной, наклепной). Употребляются также и деревянные сосуды. Та же параллельность развития подчёркивается наличием в обеих группах миниатюрных бронзовых “скифских котелков” и воспроизведением в бронзовых миниатюрах характерно-оглахтинских деревянных форм (вроде горшковидного ковшика). Если же мы вспомним, что в культурном слое таштыкской стоянки на Лугавской улице в Минусинске обломки керамики, характерной и для склепов, и для грунтовых могил, залегали вместе, установленная теперь параллельность развития посуды из обеих групп таштыкских погребений станет надёжнейшим показателем одновременности сооружения таштыкских грунтовых могил оглахтинского типа и склепов под земляными курганами, подквадратными насыпями и кольцевидными каменными стенками” (Киселёв 1949: 239).

Здесь многое неверно. Автор пишет о “параллельности развития”, но как раз развития он и не прослеживает. Характеристика орнаментов и форм сосудов (даже если обратиться к имеющемуся в книге более подробному описанию) дана весьма общо, без подробной классификационно-типологической проработки, так что любые выводы, основанные на подобных подборках материала, недействительны. Критерии синхронизации таковы, что можно было бы отнести к тому же времени и “позднеагарские” (тесинские) памятники. Это ещё далеко не все ошибки, но и сказанного довольно, чтобы отказаться от предложенной Киселёвым относительной хронологии таштыкских памятников.

Уже Л.Р.Кызласов, в основном следующий за Киселёвым, был вынужден пересмотреть относительную хронологию таштыкских памятников и отнести грунтовые могилы к самому раннему из четырёх выделенных им этапов развития культуры (“изыхскому”), синхронизируя с ними лишь небольшую часть склепов (Кызласов 1960: 75-116). В какой-то мере это означало частичный возврат к точным и корректным выводам С.А.Теплоухова; впрочем, в других выводах Л.Р.Кызласов предпочёл не поправлять своего учителя, о чём ниже ещё придётся говорить подробно.

Приложив логику рассуждений С.А.Теплоухова к намного большему объёму материала, М.П.Грязнов выделил ранний (“батенёвский”) этап таштыкской культуры, объединивший все грунтовые могилы и несколько склепов. Большинство склепов отнесено к позднему (“тепсейскому”) этапу. Основанием для такого деления стало различие набора форм сосудов из погребений (Грязнов 1971). Это деление было принято многими исследователями. Преимущество периодизации, предложенной М.П.Грязновым, состояло в том, что любой вновь открываемый памятник можно было уверенно отнести к тому или иному этапу; в то же время применить периодизацию, разработанную Л.Р.Кызласовым, к новому памятнику, наоборот, весьма непросто.

Следующий шаг сделала Э.Б.Вадецкая. После многолетних исследований она предложила просто вернуться к тому, что в своё время предложил Теплоухов, и разделить весь период существования таштыкских традиций на “таштыкский переходный этап” (грунтовые могилы) и собственно “таштыкскую культуру” (склепы). В наиболее полном виде этот подход воплощён в соответствующих разделах сводных публикаций (Вадецкая 1986; 1992) и в фундаментальной монографии — на сей день наиболее значительном труде по разбираемому вопросу (Вадецкая 1999).

Нужно заметить, что ни один из названных авторов так и не вышел за пределы идейной базы теплоуховского “Опыта классификации...”. Даже тезис С.В.Киселёва о сосуществовании двух погребальных традиций заимствован у основоположника минусинской археологии — правда, Теплоухов допускал частичную синхронность таштыкских грунтовых могил не с таштыкскими, а с позднетесинскими склепами (курганами IV этапа минусинской курганной культуры, по его терминологии).

Если же суммировать выводы, сделанные в разные годы обращавшимися к таштыкской проблематике исследователями, то складывается весьма интересная картина. Грунтовые могилы оглахтинского типа по ряду черт могут быть названы продолжением одной из погребальных традиций тесинского этапа, но не могут считаться одним из тесинских типов погребений. Они характеризуются отчётливым ритуальным своеобразием — общий для них обряд погребения совершенно уникален. Их предметный комплекс имеет аналоги как в тесинских памятниках, так и в таштыкских склепах, но не повторяет ни один из известных культурных комплексов. Грунтовые могилы образуют обособленные кладбища, порой приуроченные к более ранним памятникам, и далеко не всегда служившие ориентиром для строителей таштыкских склепов. Хронологически грунтовые могилы оглахтинского типа в целом древнее таштыкских склепов и в целом моложе тесинских могильников. Керамический комплекс этих могил технологически сопоставим с предшествующей традицией, а по набору форм и частично орнаментов - с керамической традицией склепов; но при этом сам этот комплекс выглядит вполне самостоятельным культурным явлением. Отрывочные палеоэтнографические данные всё же позволяют уверенно говорить о том, что население, оставившее эти могильники, никак не может быть отождествлено с тесинским или таштыкским. По совокупности данных следует обособить эти памятники и признать, что по всем необходимым признакам грунтовые могильники оглахтинского типа образуют комплекс совершенно самостоятельной археологической культуры. Её нельзя рассматривать как этап развития таштыкской традиции; тенденция к её выделению намечена ещё С.А.Теплоуховым, а сейчас уже можно смело считать её выдержавшей проверку временем и научными спорами.

Наиболее известным памятником этой культуры является, безусловно, Оглахтинский могильник. На фоне новейших материалов он выглядит, правда, не самым типичным; его своеобразие усилено уникальными ландшафтными условиями, обусловившими неповторимую сохранность органических материалов. Однако в целом Оглахтинский могильник остаётся

эталонным памятником, и вполне правомерно называть выделяемую теперь культуру грунтовых могил — *оглахтинской*.

Нижняя дата оглахтинской культуры должна определяться на основе подробного сопоставления оглахтинских могил с тесинскими; ориентировочной датой пока остаётся рубеж эр. Верхняя дата зависит от хронологии таштыкских памятников: таштыкские традиции либо вытеснили оглахтинские, либо вызвали их трансформацию. Более чем вероятно, что подтвердится гипотеза С.А.Теплоухова о том, что большие подкурганские склепы “IV этапа минусинской курганной культуры” строились и функционировали и после появления оглахтинских памятников. Недавно заложены и основы относительной хронологии оглахтинской культуры (Вадецкая 1999: 66).

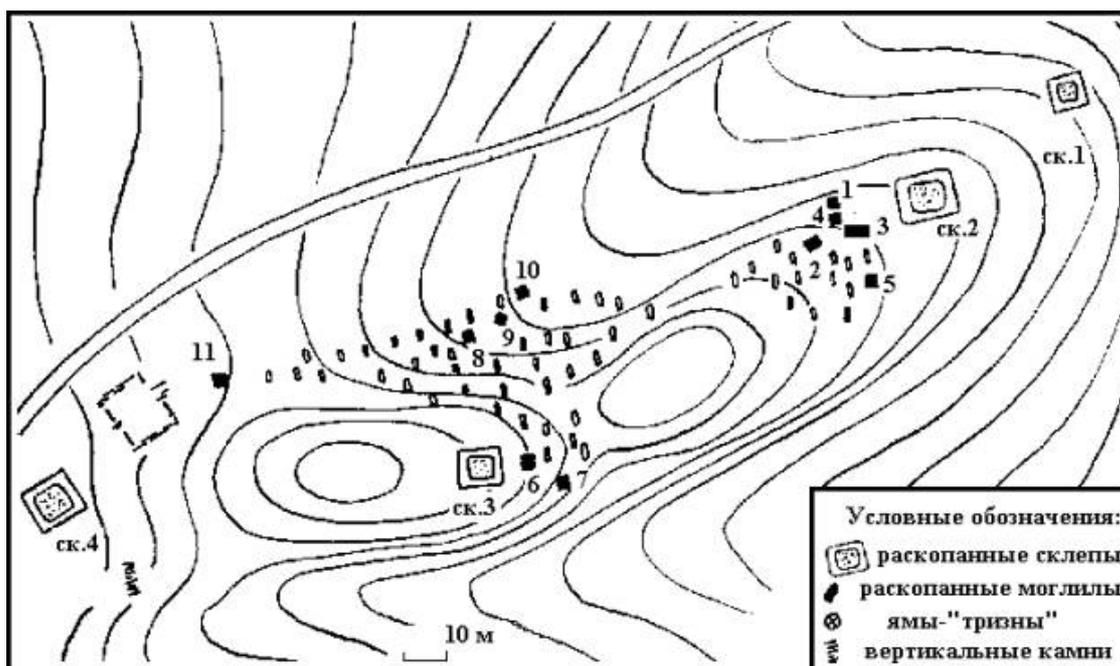


Рис.2. Грунтовые могильники оглахтинской культуры: могильник Терский (по Э.Б.Вадецкой).

Памятники оглахтинской культуры пока не могут быть определённо связаны с тем или иным этносом. Ясно, что они не принадлежат ни кыргызам-*сяньгунь*, ни динлинам, и вряд ли подтвердится предположение об их сяньбийской принадлежности (Бернштам 1951:). Скорее всего, этот народ вообще нигде в летописях не упомянут, поскольку китайцы попросту не знали о его существовании, и отдельные китайские вещи, находимые иногда в оглахтинских могилах, никоим образом не свидетельствуют о двусторонних контактах — это не больше чем случайный импорт.

Могильники оглахтинской культуры насчитывают, как правило, десятки, а то и сотни погребений и поминов. Первоначально надмогильные сооружения имели, вероятно, вид холмиков, порой обложенных плитками камня; остатки массивных каменных конструкций или каких-либо вертикальных знаков не встречены. Могилы подпрямоугольные, иногда подквадратные, от совсем мелких до весьма глубоких, до трёх метров. Стенки могильных ям обкладывали берестяными полотнищами, на дне собирали невысокий бревенчатый сруб или просто деревянную раму; внутримогильные деревянные конструкции, как и в тагарское время, иногда оборачивали берестой — надо полагать, заботясь о сохранности. В могилах, как правило, по несколько захоронений; практиковалось два способа погребения: кремация и мумифицирование. Кремированные останки зашивали внутрь так называемой *куклы* — своеобразной антропоморфной урны; куклы шили из верхней одежды, набивая её травой, или просто из кожи или берёсты. Лица кукол раскрашивали, причём сходно с росписью масок для мумий. Маски для кукол нехарактерны, то есть в оглахтинское время обычай изготовления

масок с трупосожжением не коррелирует — это принципиальное отличие от таштыкских традиций.

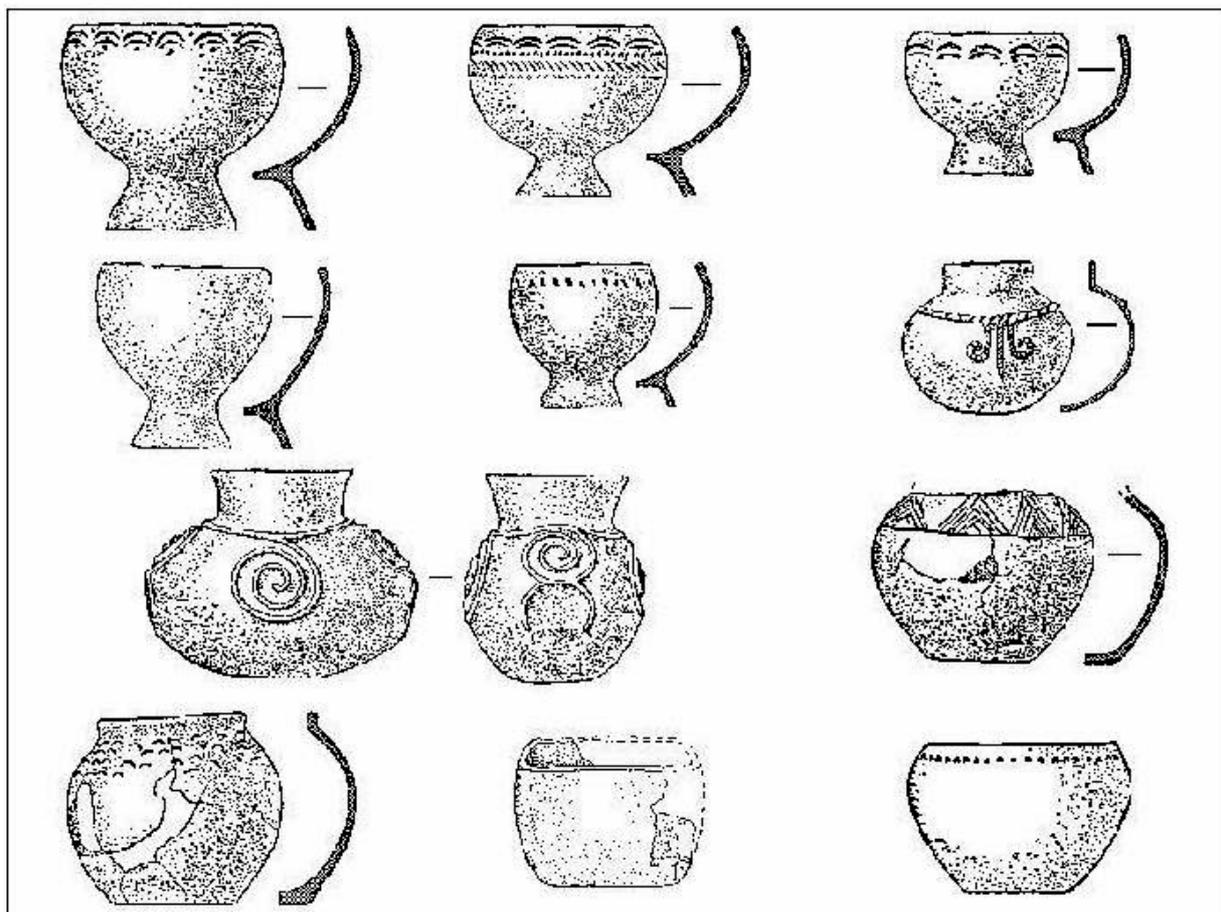


Рис. 2а. Грунтовые могильники оглахтинской культуры: сосуды (по Э.Б.Вадецкой). Масштаб разный.

В прежние времена кремация минусинскими племенами не практиковалась. В отличие от трупосожжения, мумифицирование — исконно местный обычай, представленный уже на сарагашенском этапе. В отличие от кукол, мумии часто обнаруживают с масками, леплеными из гипса с примесью прямо на лице трупа, отчего портретное сходство невелико — ещё одно важное отличие от таштыкской традиции, отмеченное ещё Теплоуховым. При этом оглахтинские маски по способу изготовления близки тесинским “глиняным головам” Шестаковского могильника (Мартьянов 1974) и подкурганых склепов тесинского этапа. Некоторое маски починены; вопреки распространённому мнению, это никоим образом не указывает на существование промежутка времени между изготовлением маски и погребением: столь же вероятно, что маску просто нельзя было переделывать по ритуальным соображениям, и коли она при изготовлении трескалась, её тут же и чинили. Замечено, что куклы обычно лежат у северной стенки могилы, а мумии — у южной. Есть мнение, будто кремировали мужчин, а мумифицировали женщин; доказательств нет, но если догадка верна, то могила оказывается своеобразным “загробным домом”, разделённым на женскую и мужскую половины (Вадецкая 1999: 48). Находок в оглахтинских могилах обычно сравнительно мало. Прежде всего это керамика, во многом сходная с тесинской и в меньшей степени — с таштыкской. К сожалению, почти не с чем сравнивать деревянную и берестяную посуду. Обычны булавки-“гвоздики” из кости и рога, иногда украшенные по-тесински. Есть находки железных крючков. Очень редко встречаются пряжки, воспроизводящие хуннские и тесинские типы. Исключительны находки металлических зеркал. Встречаются модели кинжалов в ножнах, перекликающиеся с пазырыкскими.

Таким образом, материалы грунтовых могил оглахтинской культуры (Рис.002) развивают главным образом местные традиции. (Прим.: Грунтовые могильники тесинского этапа связаны с оглахтинской культурой столь явственными генетическими связями, что напрашивается мысль об их объединении. Не следует ли считать тесинские могилы памятниками начального этапа оглахтинской культуры — периода нестабильности и смешения разнородных традиций? Если так, то картина этнокультурного развития населения приенисейских котловин предстаёт в весьма необычном виде — время становления и существования оглахтинской культуры было и временем медленной деградации местных “курганных” традиций. Тема эта кажется весьма привлекательной и заслуживающей особого обстоятельного разбора.)

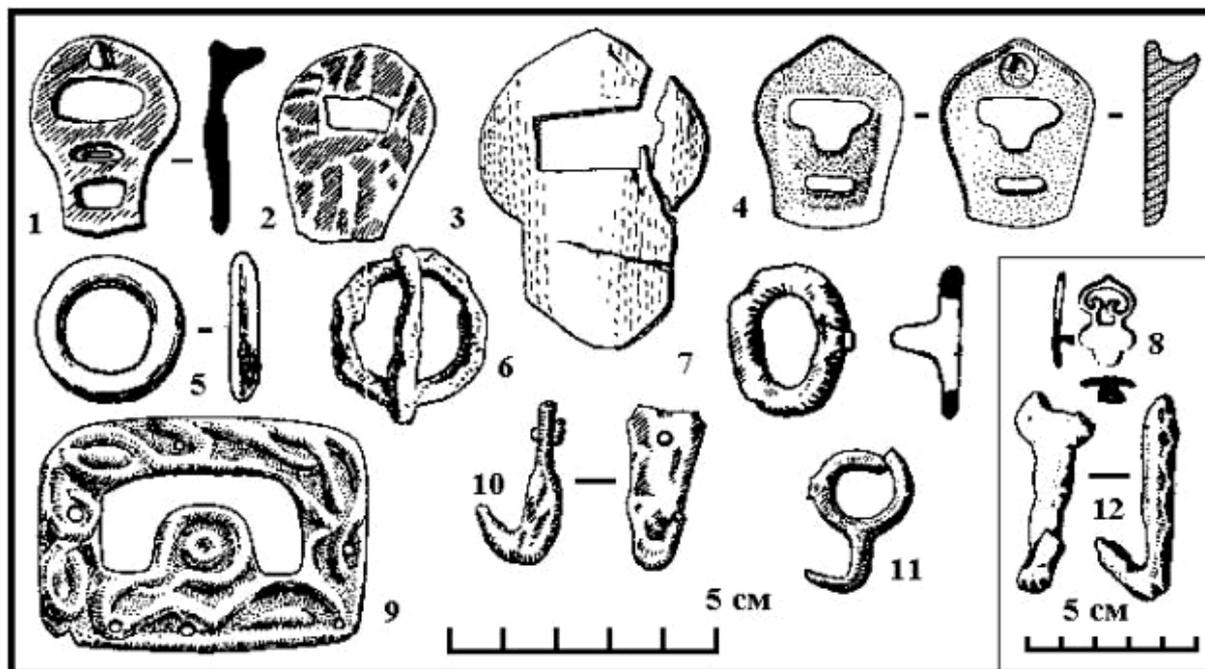


Рис.2в. Грунтовые могильники оглахтинской культуры: вещи (по Э.Б.Вадецкой).

Нет никаких причин объединять их с таштыкскими склепами, как это делали С.В.Киселёв и его последователи. Даже там, где внешне усматривается сходство тех или иных элементов культуры, оно при ближайшем рассмотрении оказывается именно внешним. Ошибка Киселёва была вызвана, как можно предполагать, недостатком сведений о памятниках тесинского этапа, стремлением отыскать следы общественного расслоения ради соответствия с господствующей псевдомарксистской догматикой и, к сожалению, очевидным желанием С.В.Киселёва сделать всё не так, как у Теплоухова. Закономерно и знаменательно, что минусинская археология возвращается к идеям своего основоположника и развивает их.

Как не раз отмечено в литературе, применение слов “археологическая культура” к раннесредневековым южносибирским памятникам в некоторой степени условно. Ссылаясь на С.А.Теплоухова, Э.Б.Вадецкая пишет, что “под культурой подразумевается определённая группа могильников и курганов. Значит, грунтовые могильники и могильники со склепами объединяются в единую культуру тем более условно. Практически население этих этапов связано лишь двумя культурными традициями. Первая проявляется в керамике, ибо наряду с новыми формами сохраняются три ранние. Вторая традиция - в продолжающемся использовании в качестве урн для пепла человека мягких кожанно-соломенных кукол, хотя чаще пепел клали в урны-бюсты” (Вадецкая 1999: 129). Видимо, именно поэтому автор возвращается к понятию “таштыкская эпоха”, вслед за Л.Р.Кызласовым вынося его в заглавие сводного труда.

Проще всего избавиться от этой путаницы, вообще отказавшись от понятия *археологическая культура* и оперируя исключительно *типами памятников*. Вместе с тем такое упрощение вряд ли плодотворно. В известной (и, на мой взгляд, наиболее удачной) иерархии понятий археологической науки В.С.Бочкарёв, определяя тип как устойчивое сочетание признаков, определяет археологическую культуру как устойчивое сочетание типов (Бочкарёв 1975). Данное определение сохраняет смысл и тогда, когда речь идёт о типах памятников, и проблема заключается не в том, насколько условно название *археологическая культура*, а в том, какую общность людей представляет то или иное устойчивое сочетание типов изделий и памятников.

В решении вопроса о терминах я исхожу из того, что погребальный памятник является в том числе и чётко структурированной знаковой системой, должной сохранить и транслировать некоторую информацию о погребённых. Рассматривая погребение с такой точки зрения, можно выделить три основных информационных блока, кодирующих сведения об этнической, общественной и политической (если угодно, гражданской) принадлежности умерших. Личностные характеристики в устройстве древних варварских погребений практически не отражались — это пришло в позднейшие, уже недавние времена. Лишь отдельные признаки личностного подхода к умершему проявляются в минусинских материалах, и о них ниже будет сказано более подробно. Признанным индикатором *этнической принадлежности* считается обряд погребения в узком смысле этого понятия — что и как делали с умершим после смерти. Сюда же следует отнести и сопроводительный инвентарь захоронения, за исключением т.н. престижных, знаковых изделий. Последние фиксируют не столько зажиточность погребённого, сколько *культурно-политическую ориентацию всего общества* (Азбелев 1988). Прежде всего это поясные и сбруйные принадлежности — своеобразный древний аналог нынешней военной форме, знакам различия и орденским планкам, а также некоторые виды украшений. Вместе с тем ту же информационную нагрузку несёт и наземное сооружение — памятник в обиходном значении этого слова.

Эпоха раннего средневековья в Южной Сибири, как верно отмечал ещё С.В. Киселёв, — это время сложения государств (Киселёв 1949: 273). Такие процессы не могли не наложить свою печать и на материальную культуру; поэтому любая раннесредневековая археологическая культура Южной Сибири и вообще Центральной Азии — это в первую очередь отражение той или иной социально-политической общности. Политогенез вообще губителен для этнических различий, их значение постепенно сокращается; с одной стороны, это влечёт за собой постепенное утверждение в умах гражданских и затем личностных ценностей в противовес этническим и коллективистским; с другой — обостряет чувство этнической особенности в периферийных, маргинальных, ассимилируемых и просто отсталых сообществах. Всё это отражается в облике материальной культуры, и определяющую роль здесь играют отнюдь не этнические факторы. Поэтому выделение археологических культур на материалах “эпохи сложения государств” точнее всего основывать на соответствующем сочетании признаков (наземное сооружение плюс престижный вещевой комплекс). Престижный комплекс — прежде всего наременные принадлежности и украшения — и наземные сооружения погребальных памятников так называемой “таштыкской эпохи” позволяют выделить именно две археологические культуры — одну на материалах грунтовых могил (*оглахтинскую*), другую на материалах склепов (*таштыкскую*). Между тем разделение оглахтинской и таштыкской культур, хотя и “наводит порядок” в хронологической классификации раннесредневековых минусинских памятников, может и внести новую путаницу, если оставить без внимания титульный памятник — Таштыкский могильник, исследовавшийся С.А.Теплоуховым в 1925 г. и Э.Б.Вадецкой в 1969 и 1981 гг. (Вадецкая 1999: 229-230). По всем признакам это памятник оглахтинской культуры, и лишь отсутствие некоторых почти обязательных находок — например, булавок-“гвоздиков” — заставляет иметь в виду возможность сравнительно поздней даты (оснований для точного датирования могильник не дал). Таким образом, нет никаких формальных причин сохранять за культурой склепов — “могил с бюстовыми масками” (по терминологии С.А. Теплоухова) — название *таштыкской*. Тем не менее проще найти и раскопать на ручье Таштык несколько склепов и оправдать знаменитое название, чем отказаться от него, ассоциирующегося у всех отечественных археологов прежде всего со склепами. Так что следует сохранить привычное название, не забывая о его условности.

Вернёмся к плодотворной гипотезе Д.Г.Савинова о соотносимости владения Цигу древнетюркских генеалогических преданий с памятниками тепсейского этапа (по периодизации М.П.Грязнова). Разделение оглахтинской и таштыкской культур в основном совпадает с делением на тепсейский и батенёвский этапы. Поэтому, во-первых, раннекыргызской следует считать всю таштыкскую культуру, а во-вторых, решение проблемы хронологии таштыкских склепов даст и ответ на вопрос о времени и обстоятельствах появления кыргызов на Среднем Енисее.

Глава III. Кыргызы и народы Центральной Азии в V-VII вв.

Центральноазиатские элементы кыргызской культуры в её ранней, таштыкской версии были указаны многими исследователями (Теплоухов 1929; Киселёв 1949; Кызласов 1960; Савинов 1984); первоначально говорилось лишь о хуннских и китайских элементах, но со временем стало ясно, что таштыкские традиции прочно связаны с раннетюркскими. Вместе с тем “активированные” А.К.Амброзом западные параллели таштыкским находкам требуют рассмотреть вопрос и о роли западных связей в формировании и развитии как кыргызской, так и других культур центральноазиатского средневековья. Применительно к теме данного исследования этот вопрос может быть сформулирован следующим образом:

1) как соотносятся культурогенетические процессы в Южной Сибири и в Центральной Азии середины I тыс.?

2) каков был механизм взаимодействия условно выделяемых “восточных” и “западных” культур горно-степного пояса?

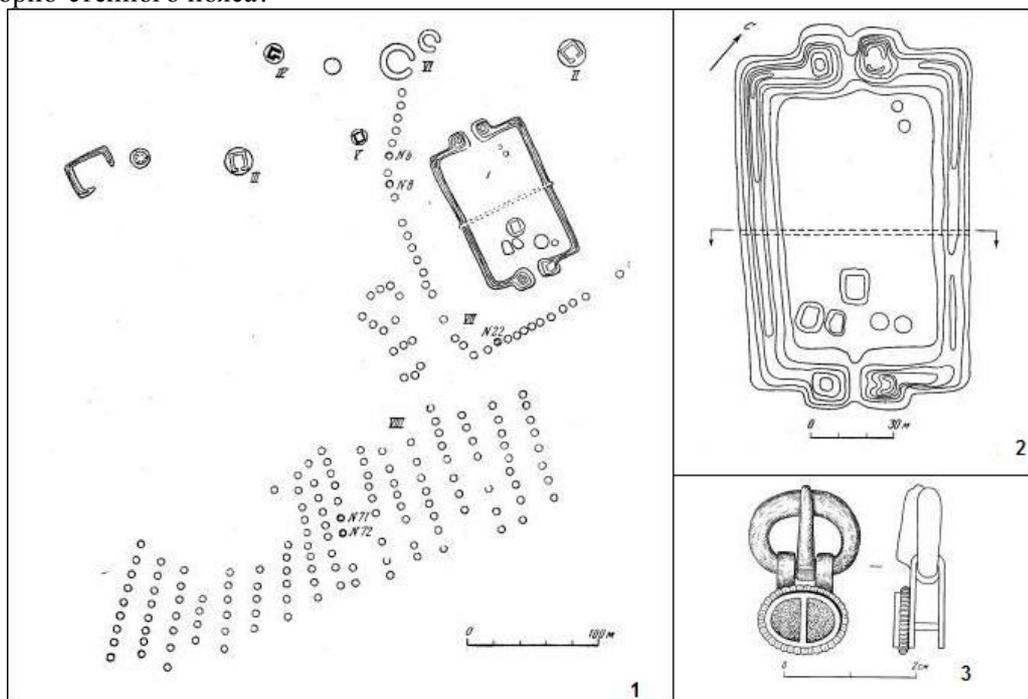


Рис.23. Комплекс сооружений на возвышенности Чаиш-тепе (По Ю.А.Раппопорту, С.А.Трудновской).

1, 2 — ограда I и её контекст; 3 — пряжка IV- начала V вв. из кург. I (к северу от большой ограды).

Многие авторы рассматривали становление кыргызского государства в связи и даже наравне с образованием Первого тюркского каганата. Однако даже общепринятая и обычно не обсуждаемая начальная дата кыргызской государственности — VI в. — никогда и никем не обоснована; упоминания кыргызов в источниках этого времени единичны и смутны. Исследователи вместо проработки вопроса о времени и обстоятельствах культурной трансформации на Енисее пишут о “тюркском влиянии”, не раскрывая и не конкретизируя эти общие слова. Важный период в истории южносибирских народов, ключевой для понимания

многих последующих событий древнетюркской эпохи, по сути, остаётся то ли тёмными веками, то ли белым пятном.

Могла ли культурная трансформация на Среднем Енисее, выраженная в переходе от таштыкских традиций к классическим кыргызским и несомненно напрямую связанная с политогенезом енисейских кыргызов, быть результатом тюркского воздействия? Как уже говорилось, типогенетические построения приводят к мысли о том, что престижный предметный комплекс, основа государственной культуры ашина — был образован изделиями т.н. *геральдического стиля* в наиболее ранних формах. Именно следы влияния этого стиля могли бы подтвердить возможность преобразующих воздействий тюркской культуры. Культура енисейских кыргызов государственного периода выделяется прежде всего на материалах т.н. *чаатасов* — специфических некрополей нового типа. Наиболее показательны и информативны особые конструкции надмогильных оград и круговые вазы, соседствующие с грубыми и некачественными лепными сосудами. Эти инновации основаны не на таштыкских традициях и, как можно судить по опубликованным исследованиям, никто так и не мог объяснить, откуда они взялись. Попытки их “выведения” из местных традиций всегда оказывались, по сути, беспомощными. Нет в этих инновациях и ничего кудыргинского - значит, тюрки не имели к их появлению никакого отношения. Наконец, летописи тоже не проясняют вопроса о событиях, с которыми можно было бы связать кыргызский политогенез. В 550-х гг. Мухан-каган где-то “на севере покорил Цигу”, а тридцать лет спустя летопись говорит о кыргызах, что они “скрежещут зубами, желая отомстить” тюркам — и всё. Естественно, здесь нет оснований для рассуждений; лишь соотнесение таштыкских склепов с кыргызами-цигу позволяет увязывать эти известия с несколькими таштыкско-кудыргинскими аналогиями и датирует ряд таштыкских склепов — но это ещё не основание увязывать кыргызский политогенез с тюркским.

Государственность не может появиться сама по себе. В одних случаях она рождается из общественной потребности, обусловленной хозяйственным развитием. Тогда долгий эволюционный путь разделения общества на имущественные классы и создания политических и других инструментов их взаимодействия — оставляет глубокие и узнаваемые следы в материальной культуре. Таковых в таштыкских материалах нет. Государственность может появиться и как реакция общества на действие внешних раздражителей — обычно это внешняя угроза. Тогда складывается т.н. *потестарное* общественное устройство, в котором многие общественно-политические институты не обусловлены состоянием хозяйства. Но если на Енисее что-либо подобное и возникло в VI в. для противостояния тюркам, то к трансформации материальной культуры это не привело. Учитывая некоторые заключения М.П.Грязнова и Д.Г.Савинова, можно предполагать, что определённым образом эти события и процессы отразились в эпосе, проиллюстрированном, по мнению названных исследователей, батальными сценами тепсейских миниатюр. Правда, ташебинские планки с миниатюрами батальных сцен уже не имели.

В 630-х и в первой половине 640-х гг. кыргызы находились в зависимости от “Дома Сйеяньто” (Сирского каганата), имевшего на Енисее своего эльтебера. Именно к этому времени относятся и первые известия о кыргызско-китайских контактах, причём кыргызский правитель именуется опять же эльтебером. Когда же о кыргызах в начале VIII в. начали писать тюрки, правитель енисейского народа именовался уже “сильным кыргызским каганом” и считался “самым опасным врагом” возрождённой тюркской державы. Термины показывают, что в устройстве кыргызского государства присутствовали древнетюркские черты, однако это не Первый и не Второй каганаты - соответствующие титулы в кыргызской номенклатуре должностей и званий не отражены. Казалось бы, тем большее внимание следовало бы уделить сообщению о сирском участии в кыргызской истории, однако и С.В.Киселёв, и Л.А.Евтюхова, и Л.Р.Кызласов, и Д.Г.Савинов, и Ю.С.Худяков игнорировали эти сведения. Ниже эта лакуна будет заполнена.

Развитие кыргызской государственности и вообще культуры не может быть понято вне общей картины. Следует очертить её с учётом выводов предыдущих разделов - они требуют основательно пересмотреть некоторые привычные оценки.

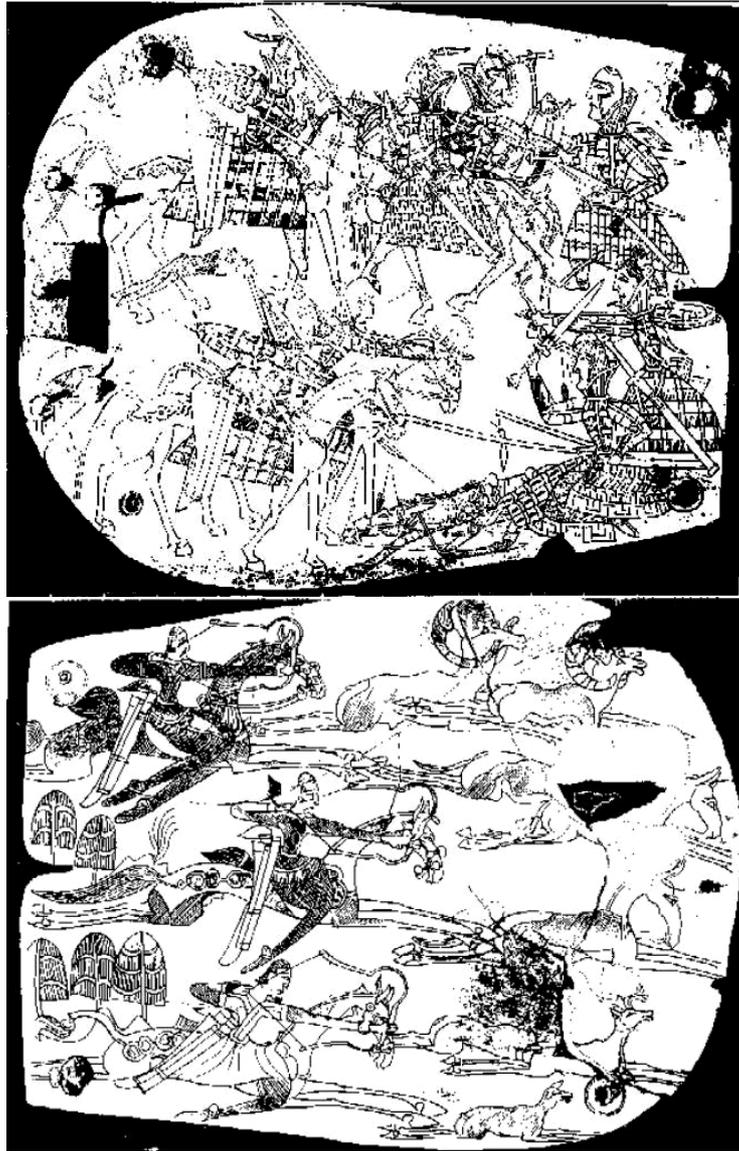


Рис.24а. Орлатский могильник в Согде. Большая пластина с батальной сценой. (По Г.А.Пугаченковой).

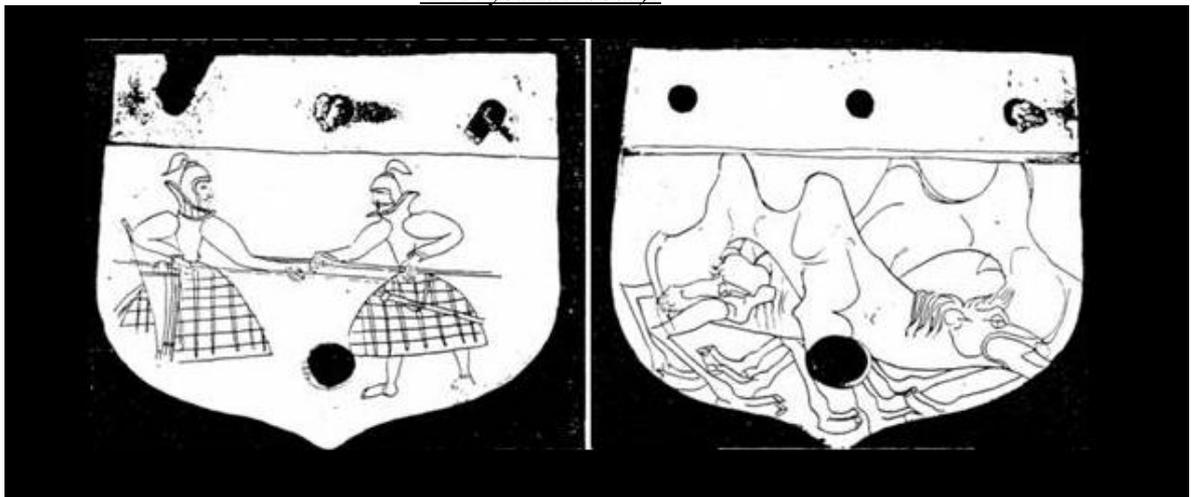
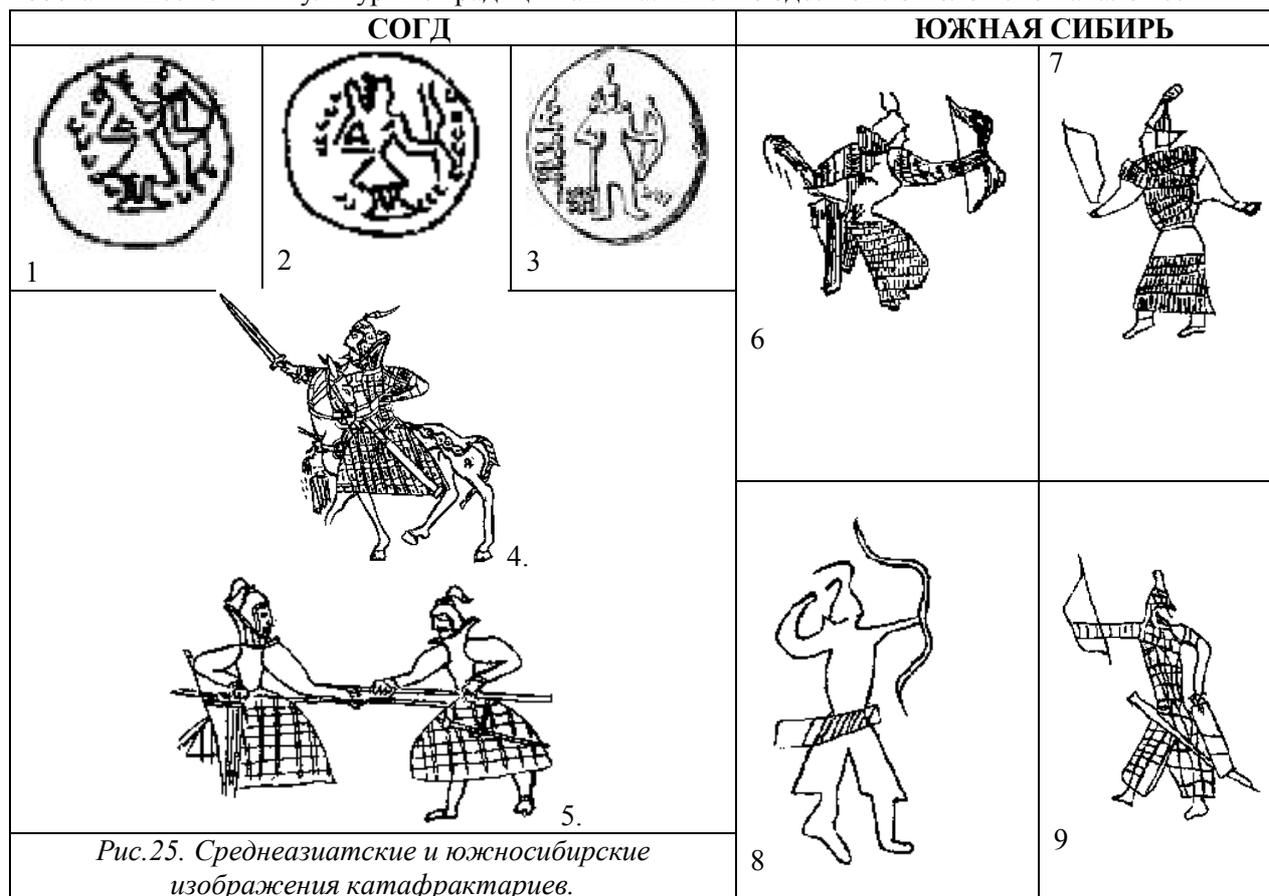


Рис.24в. Орлатский могильник в Согде. Малые пластины с миниатюрами. (По Г.А.Пугаченковой).

III. 1. Охрана согдийских караванов.

Крупнейший авторитет в отечественной тюркологии, петербургский исследователь С.Г.Кляшторный, обобщая данные о раннетюркской истории, пишет: “группа позднегуннских племён, в конце III — начале IV вв. переселившаяся в северо-западный Китай, была вытеснена в конце IV в. в район Турфана, где продержалась до 460 г. В этом году на них напали жужане (авары), уничтожили созданное ими владение и переселили покорившихся гуннов на Алтай. В числе переселенцев было и племя ашина. <...> ашина за время своей жизни в Восточном Туркестане восприняли в свой состав новый этнический компонент, смешались с местными жителями. На территории, где жили ашина с конца III в. [? — ср. выше; вероятно, здесь опечатка, нужно читать: IV в. — П.А.] до 460 г., преобладало иранское и тохарское население, обогатившее язык и культурные традиции ашина. Именно здесь было положено начало тесным



тюрко-согдийским связям, оказавшим огромное влияние на всю культуру и государственность древних тюрков” (Кляшторный 1994: 12). Этот воспринятый в Туркестане “новый этнический компонент” в контексте настоящего исследования представляет особый интерес. В статье 1965 года С.Г.Кляшторный привёл серию иранских слов древнетюркского языка — название основного тотемного животного — *bori* (волк) и высшая титулатура (шад, ябгу); позже к ним добавилась “фонетически и семантически безупречная” иранская (согдийская или хотаносакская) этимология самого названия *ашина* (*aššaina* — *aššena*), означающего *синий, голубой* — в полном соответствии с известным по орхонским руническим надписям древнетюркским самоназванием *kök türk* - *синие, голубые турки* (Кляшторный 1994: 12-14). Название же *ашина* известно по китайским хроникам (в данном случае звучание подобранных летописцем иероглифов оказалось очень близким к оригиналу). Добавим, что единственный крупный древнетюркский памятник VI в. — Бугутский — имеет, среди прочих, и согдийский текст (Кляшторный, Лившиц 1971).

Приведённые в предыдущей главе типогенетические построения однозначно свидетельствуют о том, что в раннетюркской культуре присутствовал — и во многом определял её своеобразие — западный компонент, усвоенный (как явствует из анализа

таштыкских материалов) ещё до переселения раннетюркских племён из Турфанского оазиса на Саяно-Алтай. Казалось бы, его можно прямо соотнести с ранними тюрко-согдийскими связями; однако западные прототипы раннетюркских и таштыкских типов — не согдийские, они происходят с Северного Кавказа и из Юго-Восточной Европы. Возможности хипогенетического подхода позволяют в значительной мере уточнить и дополнить сведения, суммированные в процитированных выше исследованиях С.Г.Кляшторного.

Открытие Бугутского памятника позволило выделить группу древнетюркских мемориалов, по сходству с Бугутским относимых ко времени Первого каганата — Идэрский и Гиндинбулакский (Войтов 1986). Они открывают массив больших мемориалов своей эпохи и сильно отличаются как от позднейших монументов времён Второго каганата, так и от более ранних центральноазиатских поминов скифской эпохи. Несомненно, это инородный тип памятников. Выявленное выше приоритетное направление поиска прототипов и на этот раз оказывается верным; мемориалы бугутского типа по ряду признаков могут быть сопоставлены с сооружениями грандиозного ритуального комплекса первой половины I тыс. на возвышенности Чаш-тепе в Хорезме (Раппопорт, Трудновская 1979). Учитывая, что на местных материалах проблема происхождения древнетюркской традиции мемориалов не решается, к этой аналогии следует отнестись с большим вниманием. Следует также отметить известную, не раз упомянутую в литературе аналогию между погребениями в таштыкских склепах и захоронениями по обряду трупосожжения на хорезмийских городищах Канга-кала и Куны-Уаз, относящимися к той же эпохе, что и чаштепинские сооружения. Хорезмийские трупосожжения сравнивали также с описанием походного похоронного обряда хионитов, составленным в IV в. Аммианом Марцеллином [...]; к этому нужно добавить, что описанный римским автором ритуал имеет некоторое сходство с китайскими описаниями похоронного ритуала ашина (говорится о тюрках, но отмечается, что речь идёт о похоронах хана, а все тюркские ханы происходили из рода ашина; Аммиан, кстати, тоже рассказывает о похоронах “царевича”, а не рядового воина). Нужно также отметить сходство между хорезмийскими статуарными оссуариями и таштыкскими бюстами-урнами, отмечаемое по факту антропоморфности вместилища для останков (Раппопорт 1958; Вадецкая 1999: 102-103). Следует иметь в виду, что на западе Средней Азии сохранение облика умершего практиковалось весьма широко, а сожжение останков допускалось, как полагают некоторые авторы, даже зороастрийцами (Гудкова 1968: 224).

Описания тюркского ритуала содержат одну важную деталь, не имеющую никаких аналогий на западе □ сожжение вместе с умершим его коня. Всего вероятнее, это местная, центральноазиатская традиция, известная с хуннского времени по летописной характеристике народа *ухуань* (Бичурин 1951 — Т. I: ...). Не были ли остатки уничтоженного хуннами народа *ухуань* среди тех “позднегуннских племён”, о которых пишет С.Г.Кляшторный?

Интереснейший материал для изучения рассматриваемой темы дают знаменитые миниатюры Орлатского могильника (Пугаченкова 1987; 1989; см.т.ж.: Азбелев 1992б). Это костяные пластины, вероятно, от поясного набора, покрытые тонко гравированными изображениями. На двух симметричных больших пластинах □ изображения охоты и битвы (Рис. 24а), на малых изображены животные и сцена поединка на копьях (Рис.24б).

Многочисленные, хорошо проработанные изображения двухлопастных псалиев, мечей с набалдашниками на рукоятях и т.д. позволяют уверенно датировать эту находку позднесарматским временем. Г.А.Пугаченкова предлагает более раннюю дату - «от II в. до н.э. до начала н.э.» (Пугаченкова 1987: 56), однако в данном случае предпочтительнее опираться на чётко проработанные изображения именно позднесарматских вещей.

Для разбираемых здесь вопросов наиболее важны изображения пеших и конных воинов в тяжёлых доспехах, имеющие точные, до деталей, соответствия на другом замечательном художественном памятнике — тепсейских миниатюрах, а также на некоторых южносибирских петроглифах. Наиболее показателен доспех. Согдийские и таштыкские изображения отождествляются по характерным признакам — высокий стоячий ворот-раструб, узко перехваченная талия, широко расходящиеся полы доспеха, явно предназначенные для верховой езды, характерно оформленные рукава, одинаково сориентированные панцирные пластины. Совпадают также изображения колчанов и налучий, а также шлемы с тюрбанами и нащёчными пластинками. Сходство есть и в конском уборе: тюрбаны, сёдла с низкими вертикальными

луками и без стремян, опять же доспех. Очень важно обилие именно детальных совпадений. Узда на тепсейских миниатюрах не проработана, однако существуют другие материалы для сопоставлений; так, покойный ныне Б.Н.Пяткин показывал мне сделанную им на возвышенности Оглахты прорись профильного изображения конской головы с правильно показанным вертикальным двухлопастным псалием позднесарматского типа. Такие псалии в Южной Сибири никогда не использовались, однако чтобы изобразить инокультурную вещь, нужно по меньшей мере предварительно хорошенько рассмотреть и запомнить её. К сожалению, мне не известно, успел ли Б.Н.Пяткин опубликовать где-либо эту уникальную гравировку.

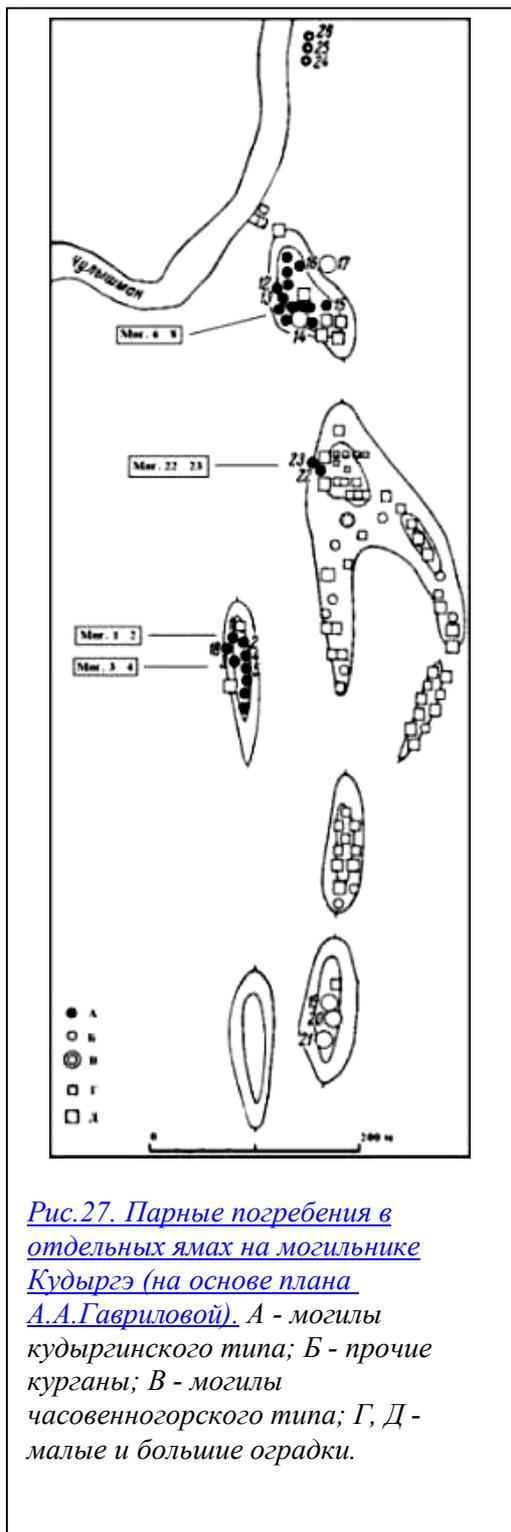


Рис.27. Парные погребения в отдельных ямах на могильнике Кудыргэ (на основе плана А.А.Гавриловой). А - могилы кудыргинского типа; Б - прочие курганы; В - могилы часовенногорского типа; Г, Д - малые и большие оградки.

Однозначно отождествляются с изображениями воинов-катафрактариев и другие — на раннесогдийских “монетах с лучником”. Последнее обстоятельство особенно важно. Мало ли кто мог быть изображён на загадочных таштыкских резных планках или даже на поясных пластинах хорезмийских кочевников, но на монетах появление изображений чужих воинов совершенно исключено, ведь агитационно-пропагандистская функция изображений на деньгах - отнюдь не современное изобретение. Нет сомнения в том, что всё это изображения если не согдийских воинов, то имеющих к согдийцам самое прямое отношение. И точно так же неоспоримо, что эти воины вступали в непосредственные столкновения с таштыкцами, то есть они бывали в Центральной Азии и в Южной Сибири. Неоднократность их изображения таштыкцами косвенно свидетельствует о том, что эти контакты были более или менее регулярны, во всяком случае - неоднократно (Рис.25).

Д.Г.Савинов предположил, что тепсейские планки изображают столкновения таштыкцев с тюрками Первого каганата (Савинов 1984: 44). Это небезосновательно, так как есть сообщение о том, что кыргызы-цигу, обитавшие между реками *Афу* и *Гянь*, были покорены Мухан-каганом где-то в 550-х гг. Приведённые выше свидетельства западных культурогенетических связей ашина позволяют согласиться с этой трактовкой. По совокупности согласующихся обстоятельств можно с высокой долей уверенности считать, что носители западных по происхождению культурных традиций, представленных перечисленными выше аналогиями, и “новый этнический компонент”, воспринятый позднегунскими племенами Турфанского оазиса накануне вынужденного переселения в Южную Сибирь — одно и то же. Более того: именно эти носители западных традиций могут быть прямо и однозначно отождествлены собственно с *ашина* — элитной, правящей группой тюрков. Со временем, безусловно, они были ассимилированы; их, несомненно, было сравнительно немного, но обширный круг косвенных признаков позволяет выяснить их происхождение достаточно подробно. Самое парадоксальное здесь то, что создатели *тюркской* державы, судя по всему, были

ираноязычным племенем.

Насколько всё это согласуется с таким важным источником, как древнетюркские генеалогические предания?

Есть две версии, изложенные с незначительными расхождениями в “Чжоу шу”, “Бэй ши” и “Суй шу”. Согласно первой версии, предки ашина обитали на болотистых берегах Западного моря (*Cи хай*). Этот народ был разгромлен и истреблен воинственными соседями, и остался в живых только один мальчик десяти лет, которому отрубили руки и ноги. Мальчика приютила волчица, которая выкормила его мясом. Соседи, прослышав об этом, разыскали и убили его; хотели убить и волчицу, но та убежала на восток от Западного моря и укрылась в некоей горной пещере, внутри которой находилась обширная травянистая равнина. Волчица была беременна от выкормленного ею человека и родила десятерых сыновей. Они выросли, женились на турфанских женщинах, и каждый встал во главе своего рода. Одного из этих сыновей волчицы звали Ашина, и это имя стала прозванием его рода. Ашина был способнее своих братьев и возглавил племя, образованное этими десятью родами. Его потомок по имени Асянь-шад ушёл из гор Гаочана на Алтай, где его племя промышляло добычей железа, продаваемого жуань-жуаням; впоследствии это племя восстало под именем Тюрк, победило жужаней и создало собственное государство.

Согласно второй версии, предки тюрков происходят от “владельца дома Со”, обитавшего на север от хуннов. Во главе “аймака” стоял некий Апанбу и 70 его братьев. Дом Со был уничтожен врагами, спасся лишь один из родов во главе с неким Ичжини-Нишиду; о последнем сообщается, что он был сыном волчицы. У него было четверо сыновей от первой жены: один превратился в птицу (*Ивиса или Лебедя*), второй “царствовал между реками Афу и Гянь, под наименованием Цигу”, третий - при реке Чуси (или Чжучже), а четвёртый - по рождению старший - в горах Басычу-сиши (или Цзянсы Чжучжеши); последнего звали Нодулу-шад. У Нодулу-шада было десять жён, сына младшей из них звали Ашина. После смерти отца Ашина одолел в соревновании всех своих братьев и стал править под именем Асянь-шад. Его сын (или племянник) Туу был отцом Тумыня (Бумын-кагана), основателя Первого тюркского каганата.

В 1956 г. Ц.Доржсурэн обнаружил в Арахангайском аймаке МНР Бугутскую стелу, навершие которой украшал барельеф с изображением человеческой фигурки под брюхом волчицы (Кляшторный, Лившиц 1971). находка показывает, что приведённые в китайских источниках легенды действительно бытовали в качестве официальной версии происхождения тюркских вождей.

Обе версии связаны: в обеих присутствует мотив уничтожения предков соседями в войне; в обеих версиях чудесным образом спасается кто-то один, чья судьба как-то связывается с волчицей (он либо её сын, либо отец её сыновей); одного из его потомков звали Ашина, и он возглавил племя. Ашина как-то связан с Асянь-шадом. Особое значение имеет число 10 - столько детей у волчицы, столько же сыновей у Нодулу-шада. Заметно, что если первая версия более сюжетна и мифологична, то вторая напоминает генеалогический перечень, такой древнетюркский Паралипоменон в китайской передаче. Если свести эти версии вместе и изъять заведомо сказочные мотивы, то складывается следующая картина.

Предки тюрков жили где-то к западу от Турфана, на болотистых берегах Западного моря (*Cи хай*), где были разгромлены соседями. Уцелевшие после резни, как-то связанные с волчицей (волк - тотем ашина), уходят на восток и спасаются где-то близ Гаочана, смешиваются с местным населением и позднее переселяются на север. От основной линии произошли ашина, одна из боковых ветвей - кыргызы-цигу.

Для разбираемых здесь вопросов наибольшее значение имеет вопрос о прародине ашина. Обе версии указывают на Западное море. В разное время под словами *Cи хай* летописцы понимали разные водоёмы. В VI - VII вв., когда составлялись хроники, содержавшие изложения тюркской легенды, так назывались Аральское и Каспийское моря. В более ранних источниках первой половины I тыс., по мнению исследователей, Западное море - это озеро Кукунор, а в IV-V вв. (по общему мнению, это время описываемых в легенде событий) - бассейн дельты р.Эдзин-гол и озёра Сого-нор и Гашун-нор (Кляшторный 1965). Исходя из этого, большинство авторов сходится на том, что родина ашина - Северное Приинаньшанье. По этой логике, “перемещение” Западного моря на запад определяется динамикой проникновения

китайцев в Туркестан - слова *Ci hai* просто применяли к крупнейшему из известных на Западе водоёмов. Дельта р. Эдзин-гол, в полном соответствии с легендой, заболочена, на чём и завершается изучение географии древнетюркского предания. Эта позиция очень удобна, однако её сторонники не учитывают некоторых обстоятельств, “смазывающих” логику локализации. Существуют ранние источники, в которых понятие “Западное море” применено вовсе не к бассейну Эдзин-гола и не к озеру Кукунор. В I в. до н.э. Сыма Цянь со слов Чжан Цяня писал: “От Давань на восток лежат владения Юйми и Юйтянь. К западу от Юйтянь все реки текут на запад и впадают в Западное море” (Бичурин 1950). Между Ферганой (Давань) и Хотаном (Юйтянь) такая ситуация имеет место дважды: бассейн Нарына, смыкающийся с более западными бассейнами рек, впадающих в Аральское море, и несколько севернее, в Семиречье где несколько крупных рек текут на запад - северо-запад и впадают в озеро Балхаш. В обоих вариантах Западное море оказывается далеко на западе от Эдзин-гола и Кукунора. Ещё пример: в “Ханьшу” указано взаиморасположение стран на запад от Китая. На реке Гуйшуй расположено государство Аньси (Согд), а к западу от неё - государство Тяочжи (Парфия), простирающееся на запад до Западного моря, за которым лежит страна Дацинь (Рим). Водоёмы Восточного Туркестана здесь явно ни при чём (Бичурин 1950:). В 97 году Бань Чао, закрепившись в Западном Крае, отправил на запад экспедицию во главе с чиновником по имени Гань Ин. Экспедиция, следуя на запад от Западного Края, добралась до стран, “прилежащих к Западному морю” (Бичурин 1950:). Так что настаивать на восточнотуркестанской локализации *Ci hai* можно лишь при очень большом желании обязательно отыскать прародину ашина именно в Восточном Туркестане или в Центральной Азии. Факты же не дают к тому поводов. Более того. То, что легенда повествует о событиях, случившихся в IV - V вв., вовсе не предполагает необходимости допытываться, какой водоём в те века китайцы называли Западным морем. Хроники, излагающие легенды, составлены намного позже, и непонятно, с какой стати хронисты должны были употреблять слова в их архаичном значении. Никто не спорит с тем, что в VI — VII вв. Западным морем называли Арал и Каспий, и хронист, несомненно, пользовался понятной читателю терминологией. Поэтому следует понимать легенду так, что предки ашина жили на западе Средней Азии. Уместно вспомнить, что и там побережья местами сильно заболочены.

Кроме того, существует и наименее симпатичный исследователю вариант - возможно, хронист всег лишь подобрал привычное словосочетание в качестве кальки с неизвестного некитайского названия, под которым могли иметь в виду всё, что угодно — коли так, то историческая география здесь совершенно бесполезна. Хочется всё же верить, что летописец знал, о чём писал.

В целом следует заключить, что имеющиеся данные не позволяют принимать всерьёз надуманную и концептуально обусловленную локализацию Западного моря, упомянутого в китайском изложении древнетюркской легенды, в районе дельты Эдзин-гола и озёр Сого-нор и Гашун-нор. Более оправдано соотнесение обсуждаемого топонима с Великими озёрами Среднего Востока. Таким образом, по совокупности данных можно считать решённым, что прародиной ираноязычных *ашина* было Приаралье и Прикаспий, а культура обитавших там “пра-тюрков” испытывала сильнейшие влияния со стороны племён Юго-Восточной Европы и Северного Кавказа. Символично, что один из воинов - персонажей батальной сцены Орлатских миниатюр - держит в руках штандарт с наверху в виде головы хищника - возможно, волка, тотемного зверя ашина. (Опираясь на повествование Аммиана Марцеллина, можно даже предположить, что этими “пра-тюрками” были хиониты; впрочем, я не вижу здесь никакой возможности обосновать догадку).

Каким образом приаральские или прикаспийские кочевники, разгромленные воинственными соседями, оказались в Центральной Азии? [...] Ища ответ на этот вопрос, нужно иметь в виду, что одним из важнейших факторов политической и этнокультурной истории Средней Азии в эпоху раннего средневековья была согдийская караванная торговля. Условием её успешного развития была стабильность в регионах, через которые согдийцы в ходе своей экспансии на восток прокладывали трассы Великого Шёлкового пути и, безусловно, безопасность караванов. Для этого необходимо было иметь военный паритет со множеством кочевых и полукочевых народов горно-степного пояса - а сильнее кочевников в открытом бою могли быть либо настоящие регулярные войска, оплатить которые не смог бы ни один

караванщик, либо такие же кочевники, в дружелюбности которых согдийцы могли быть уверены. Словом, караваны нуждались в конвоях, и охрану могли составить лишь воины-степняки.

В V в. согдийцы активно расширяли область своего влияния. Согдийские поселения и торговые фактории протянулись вдоль Тяньшаньских хребтов вплоть до Турфанского оазиса, практически до Китая. Дальнейший расцвет согдийской торговли был в значительной степени обеспечен традиционными союзническими отношениями согдийцев с тюрками. Путь на восток в качестве *охраны согдийских караванов* кажется мне оптимальным объяснением многих обстоятельств, указывающих на западное происхождение тюрков-ашина. В более ранние времена аорсы сами не торговали, а нанимались охранять караваны (Гугуев 1992: 127). Следовательно, это практиковалось, причём в близлежащих регионах. Для разрозненных отрядов - остатков разгромленного в междоусобицах и набегах кочевого народа - это могло оказаться вообще единственным способом выжить.

Таким образом, весьма возможно, что какое-то приаральское или прикаспийское племя (например, хиониты, упоминания о которых исчезают как раз в V веке) было разгромлено и рассеяно воинственными соседями, и оставшиеся разрозненные отряды находили себе применение и способ выживания в том, что нанимались охранять идущие на восток согдийские караваны. Вместе с согдийцами по мере колонизации Семиречья и Туркестана они проникали всё дальше на восток, вплоть до Гаочана. Здесь эти кочевые группы постепенно оседали, смешиваясь с местным населением (показателен мотив женитьбы на турфанских женщинах) и, не утрачивая связей с согдийцами, оказались вовлечены в местную межплеменную борьбу. Они были ираноязычны, и они были носителями комплекса западных традиций и обычаев, которые, естественно, преломлялись и трансформировались в связи с менявшимися обстоятельствами жизни степняков. Так, из рассказа Аммиана Марцеллина о хионитах известно, что изготовление портретных статуй умерших и трупосожжение были использованы лишь в чрезвычайных обстоятельствах (в походе на чужбине), когда исполнить предписанный обычаям ритуал было невозможно. Нужно было уберечь останки, хотя бы в виде пепла, но для окончательных похорон требовался сохранённый облик покойного - и пришлось изготовить портретные статуи. Кочевые же отряды, составлявшие караванные конвои, всегда находились в чрезвычайных обстоятельствах, и предусмотренный для подобных условий ритуал закрепился со временем как обыденная норма.

Эта группа и стала той этнической и культурной средой, в которой содержались и переплавлялись в единый культурный комплекс протогеральдические типы фурнитуры костюма и другие прототюркские элементы культуры. Именно из этой этнокультурной среды и вышло племя ашина, возглавившее антижужаньскую коалицию и затем - Первый тюркский каганат. Таштыкская, кокэльская, частично верхнеобская культуры законсервировали некоторые ранние традиции этой группы; кудыргинские и среднеазиатские геральдические материалы относятся уже к следующим этапам развития этих традиций; западносибирская, приуральская и восточноевропейская геральдика типологически ещё позже. Весь типогенетический ряд отражает своеобразный “маятник” — сперва западные типы в первой половине I тыс. н.э. проникают на восток, там перекомпоновываются, трансформируются и в середине — третьей четверти I тыс. н.э. возвращаются обратно, с востока на запад, уже с новой волной влияний и в следующую историческую эпоху.

Предлагаемое здесь понимание событий объясняет и увязывает между собой многие известные факты. Вместе с тем у всякой концепции есть свой “нервный узел”, своя “болевая точка” — в данном случае это вопрос о датировке и интерпретации могильника Кудыргэ. Этот памятник — единственный центральноазиатский комплекс с изделиями в геральдическом стиле, раскопанный и опубликованный на должном уровне. Однако именно этот могильник трактуют и датируют по-разному, и из трёх опубликованных версий две никак не стыкуются с изложенной выше концепцией. Является ли этот памятник тюркским? Как его нужно датировать и объяснять? Как его атрибуция согласуется с реконструированными здесь “маятниковыми” влияниями? Без ответа на все эти вопросы типогенез раннекыргызской таштыкской культуры, согласованный с широкой реконструкцией типогенетических и культурогенетических процессов как бы повисает в воздухе, а потому темой следующего раздела и должен стать феномен Кудыргэ.

III.2. Феномен Кудыргэ.

Кудыргинский могильник, расположенный на правом берегу реки Чулышман в 15 км от её впадения в Телецкое озеро, изучался С.И.Руденко и А.Н.Глуховым, впервые опубликовавшими часть его материалов (Руденко, Глухов 1927), и А.А.Гавриловой, осуществившей исследование и подробную публикацию материалов этого памятника (Гаврилова 1965). Некоторые авторы предлагают выделять на горноалтайских материалах и *кудыргинскую культуру*, что не кажется мне правильным: могильник - часть весьма обширной историко-культурной общности, а не локальное явление; кроме того, в состав «кудыргинской культуры» почему-то включают и другие алтайские памятники, например, могильники Кок-Паш и Балыктыюль, ни на Кудыргэ, ни даже друг на друга не похожие. Словом, представляется наиболее разумным использовать названия, предложенные А.А.Гавриловой (могилы кудыргинского типа) и Д.Г.Савиновым (памятники кудыргинского этапа), с учётом определённой разницы в содержании этих понятий. Речь должна идти не о выделении культуры на основе кудыргинского комплекса, а о его полноценной атрибуции (*Примечание. Могильник представляет собой комплекс разновременных и разнотипных памятников; ниже речь идёт лишь о могилах “кудыргинского типа” по классификации А.А.Гавриловой, эталонных памятниках кудыргинского этапа - по периодизации, предложенной Д.Г.Савиновым*).

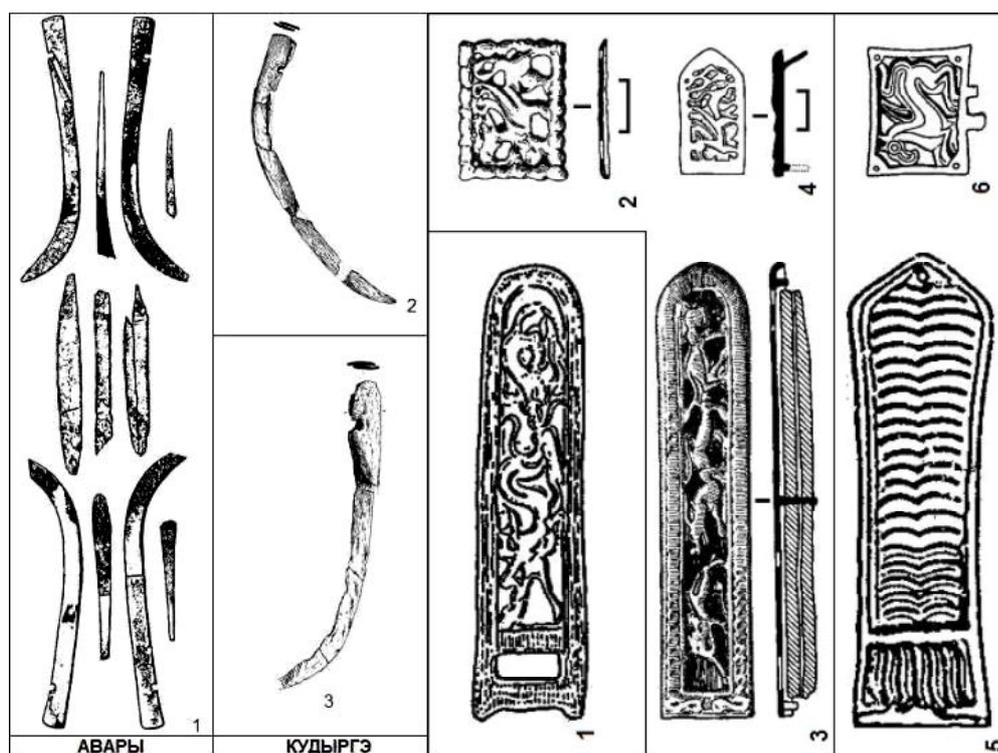


Рис.25а. Аварские и кудыргинские луки. 1 - Сегед-Фехерто-Б, мог.12 (по Б.Кюрти); 2, 3 - Кудыргэ, мог.22 и 9 (по А.А.Гавриловой). Масштаб разный. Рис.26. Тиллятепинский (1), кудыргинские (2, 3, 4) и аварские (5, 6) наконечники ремней и изображения грифонов

Могилы кудыргинского типа отличаются южной ориентацией погребённых и своеобразным предметным комплексом, включающим, среди прочего, и наременные гарнитуры, оформленные в геральдическом стиле. Проанализировав материалы могильника, А.А.Гаврилова отнесла его к числу памятников Первого тюркского каганата, ориентируясь прежде всего на монету 575 - 577 гг. из мог.15 (Гаврилова 1965: 105) и не вступая в полемику с

С.В.Киселёвым, который на основе некоторых таштыкско-кудыргинских аналогий и ряда соображений общего характера отнёс могильник к дотюркскому времени.

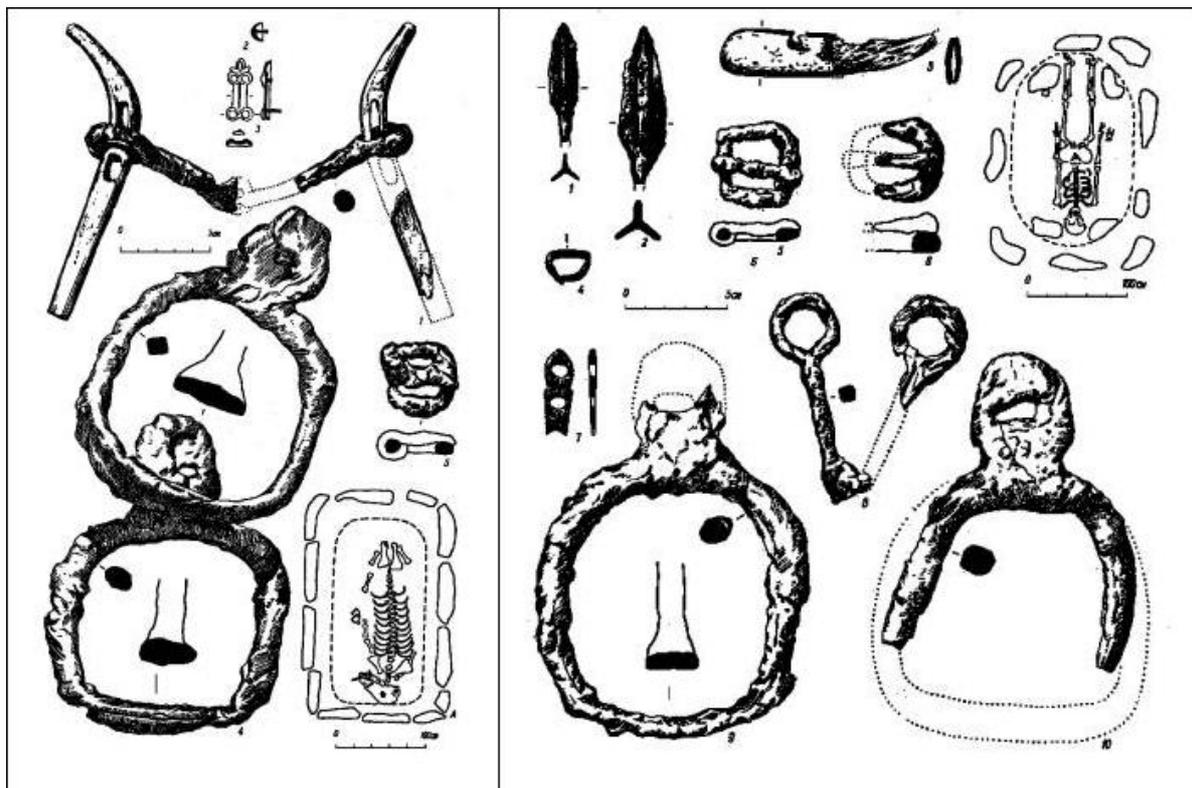


Рис.28. Пример комплекса парного всаднического погребения. Кудыргэ, мог. 1(слева) и 2 (справа). По А.А.Гавриловой.

Д.Г.Савинов, с одной стороны, не только принял классификацию алтайских могил, предложенную А.А.Гавриловой, но и удачно переработал её в работоспособную периодизацию; с другой стороны, попытался найти рациональное зерно и в алогичной позиции С.В.Киселёва. Логика такова. Некоторые кудыргинские находки (изогнутые концевые накладки луков и ажурные наконечники ремней), по мнению автора, имеют соответствия в аварских памятниках Подунавья; авары, по мнению некоторых исследователей, были потомками жужаней, бежавшими далеко на запад после того, как тюрки в 550-х гг. нанесли им окончательное поражение; значит, “наличие аварских элементов в кудыргинском комплексе может рассматриваться как проявление неизвестной культуры жуань-жуаней, а сами могилы, откуда они происходят, должны датироваться периодом подчинения им [жужаням. — П.А.] алтайских племён, то есть серединой I тыс. н. э.”; автор предлагает по-разному датировать могилы кудыргинского типа, расположенные в южной и северной частях могильника; при этом Д.Г.Савинов опирается на то, что кудыргинские могилы двух групп - “на берегу за северных холмом” и центральной, “при общем сходстве материального комплекса и ориентировки, обладают значительной вариабельностью обряда, характерной для [более ранних. — П.А.] памятников берельского типа”. А могилы, располагавшиеся “компактной группой в северной части могильника” и содержавшие вещи “аварского облика” и датирующую монету, отнесены ко времени “не ранее последней четверти VI в.”

Странно, но тут же автор замечает, что “достаточных оснований для выделения хронологических групп в материалах самого могильника не содержится” (Савинов 1994: 98). Позиция Д.Г.Савинова по данному вопросу выглядит странной уже по логике построения. Кроме того, автор допускает существенные неточности — например, пишет о геральдических поясных бляшках из Кудыргэ (хотя А.К.Амброз ещё в 70-х гг. указывал, что “геральдика” Кудыргэ — сплошь сбруйная, а не поясная). Что такое “щитовидные подвески с шарнирным креплением” — непонятно, таких вещей в Кудыргэ нет. “Сильно изогнутые” концевые

накладки на самом деле были вполне в русле традиции, просто их в своё время неудачно склеили из осколков, увеличив изгиб (консультация А.И.Семёнова). (Рис. 25а). “Ажурность” кудыргинских наконечников ремней при непосредственном знакомстве с вещами оказывается литейным браком. Аварские и кудыргинские наконечники ремней не столь уж и сходны (Рис.26). У аварских наконечников продольные стороны как бы прогнуты внутрь, у кудыргинских они прямые. Аварские наконечники всегда имеют особый задний крепёжный отдел с торцовым пазом для ремня; кудыргинские же крепились на ремне всей плоскостью с помощью шпеньков и дополнительной изнаночной пластинки. Стиль изображения орлиноголовых грифонов, дважды встреченных на кудыргинских наконечниках, совершенно иной, чем у аваров. Кудыргинский стиль изображения грифонов имеет более точные параллели в Средней Азии (причём с вещами кудыргинских типов). А изображение драконов имеет интересные соответствия в материалах Тилля-тепе, что в контексте обстоятельств, изложенных в предыдущем разделе, выглядит почти символично.

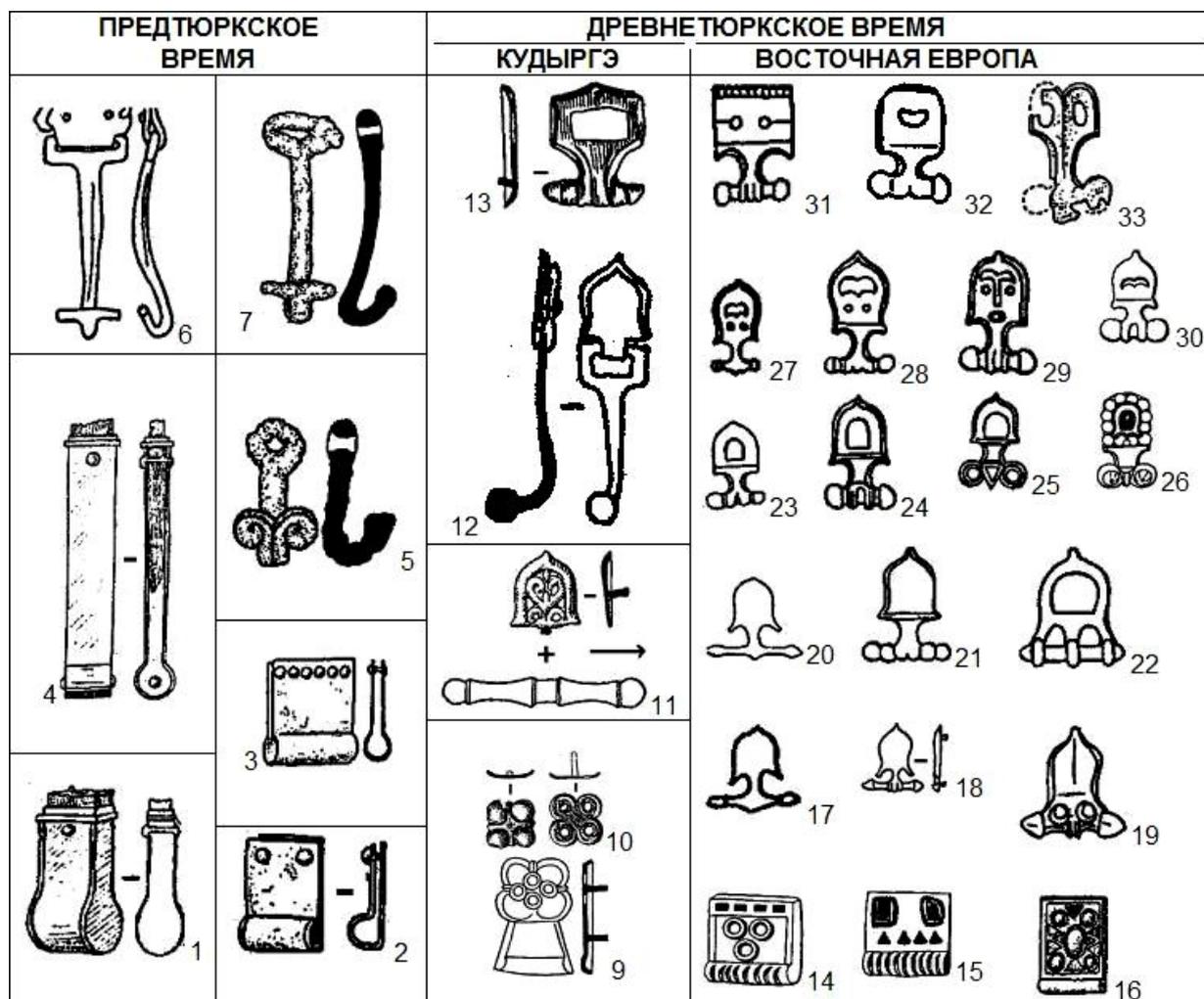


Рис.29. Происхождение кудыргинской рамчатой (А) и восточноевропейских Т-образных геральдических (Б) застёжек.

Среди тезисов Д.Г.Савинова заслуживает особого внимания пункт о “вариабельности обряда”. Могилы кудыргинского типа действительно заметно различаются между собой - по ориентации сопроводительных конских захоронений (головой на юг или на север); есть погребения человека и коня в одной могиле, погребения человека без коня (но со всадническим инвентарём) и отдельные захоронения коней. На первый взгляд, вариабельность налицо, но она

кажется чрезмерной. Во многих случаях впечатление хаоса производит всего лишь непонятная система, так что следует остановиться на этой теме чуть подробнее. Изучение топографии могильника (Рис.27) показывает, что в 5-7 м к востоку от одиночных погребений людей обнаруживается одиночное конское погребение. Налицо парные могилы: №№ 1 и 2, 3 и 4, 6 и 8, 22 и 23. Каждая такая пара образует единый погребальный комплекс (Рис.28). Раздельное погребение всадника и коня практиковалось алтайскими кочевниками - в более поздней сротскинской культуре это одна из ритуальных норм.

Одиночные погребения людей, не имеющие “симметричного” погребения лошади, находятся в северной части могильника (№№ 24, 25, 26). Они не содержали выразительных вещей, подтверждающих их отнесение к кудыргинскому типу, и обособлены территориально, так что рассматривать их вместе с остальными погребениями могильника не следует; замечу, что это не то деление, которое предложил Д.Г.Савинов.

Сопоставляя типы набора инвентаря, по которому определялся пол погребённых, с признаками ритуального характера, можно обнаружить ещё одну закономерность, прежде не привлекавшую к себе внимания исследователей. При погребениях с “мужским” инвентарём кони ориентированы, как и люди, головами на юг; кони, сопровождающие захоронения с “женским” инвентарём, лежали головами на север. Могила № 12 определена в публикации как женская, но набор сопроводительного инвентаря - в том числе остатки предетов вооружения - мужской, и конь уложен соответственно. Это правило действительно в равной мере и для совместных, и для раздельных всаднических погребений.

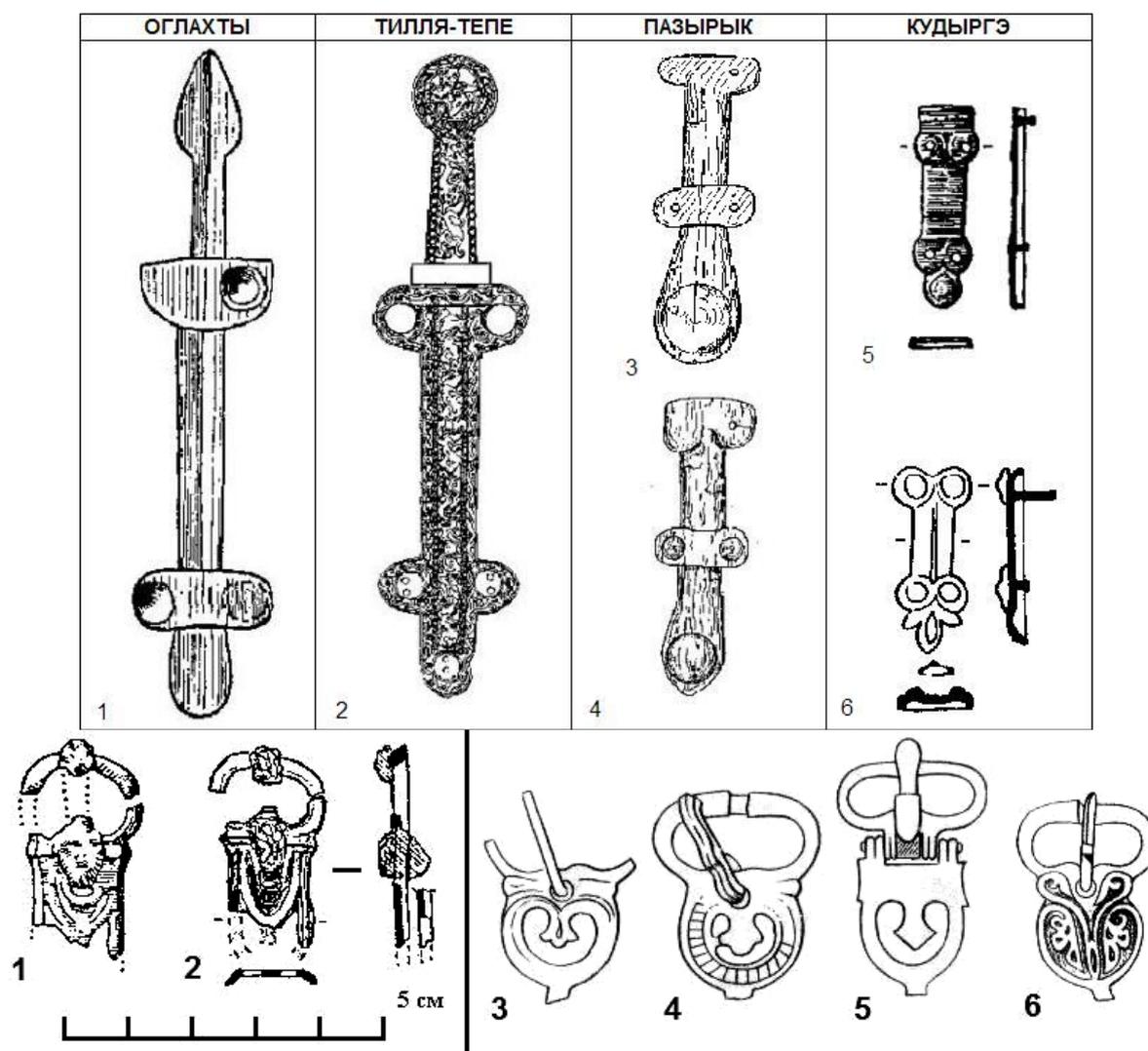


Рис.30. Длинные наременные уздечные бляшки и их возможные прототипы.

1 - оглахтинская культура, Оглахты; 2 - Кушанская Бактрия, Тилля-тепе, мог.4; 3, 4 - пазырыкская культура, Барбургазы; 5, 6 — Кудыргэ (По В.Д.Кубареву, Л.Р.Кызласову, Рис.31а. Кудыргэ, мог.5, колчанная пряжка. 1 — рис. А.А.Гавриловой; 2 — ГЭ ОАВЕС, № ...

Таким образом, нужно говорить не о неустойчивости или вариабельности погребельного обряда кудыргинских могил, а наоборот - о жёсткой, разработанной системе. Неясно, что стоит за делением всаднических могил на слвместные и отдельные, однако “сквозные” принципы похоронного ритуала, общий для всех комплектов конской сбруи геральдический стиль, близкие типы украшений — всё это позволяет утверждать, что все всаднические могилы кудыргинского типа оставлены одной компактной группой и археологически одновременны. Уникальность памятника говорит о том, что кудыргинцы, как указывала ещё А.А.Гаврилова — действительно инородная группа на Горном Алтае, причём эта группа просуществовала весьма недолго. Такие выводы снимают аргументы, выдвинутые в пользу частичного удревнения памятника и во многом подкрепляют его трактовку, предложенную А.А.Гавриловой. Существует, однако, и третий взгляд на хронологию могильника Кудыргэ, предложенный А.К.Амброзом. Памятник привлёк внимание исследователя прежде всего серией изделий в геральдическом стиле, сходных с некоторыми восточноевропейскими находками. Автор построил эволюционный, как ему казалось, ряд, прослеживая развитие геральдических типов. Исходными формами автор счёл находки в Садовско-кале и в Суук-су, а изделия, наиболее близкие кудыргинским, получили сравнительно поздние даты. Согласно предложенной хронологии, источником геральдических типов была византийская периферия, а Кудыргэ следовало считать памятником времени Второго тюркского каганата, то есть конца VII - первой половины VIII вв. (Амброс 1971: 118; 1971: 121, 126; 1973: 291-298; 1989: 53-55).

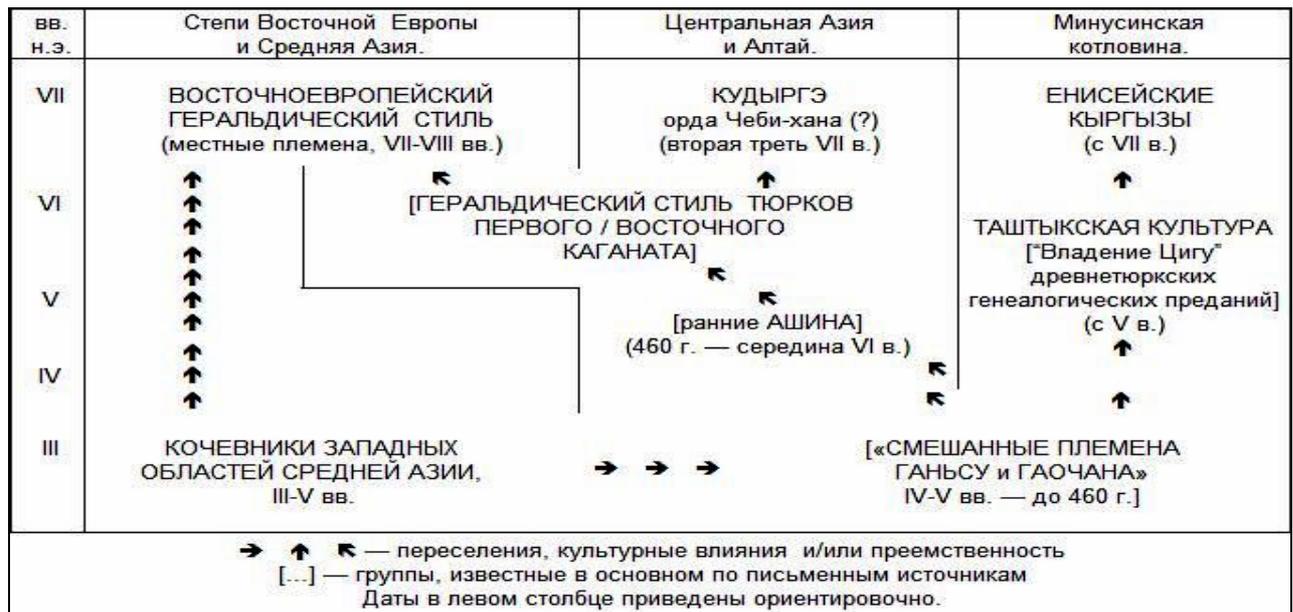


Схема 2. Этнокультурные процессы в Центральной Азии в III-VII вв.

Если А.К.Амброс был прав, то столь важные для основной темы настоящей работы типогенетические построения вступят в жёсткое противоречие с хорошо разработанной хронологией восточноевропейских древностей.

Уже говорилось, что основополагающим для позиции А.К.Амброза был тезис о восточноевропейском происхождении геральдического стиля, выведенный из сравнительно ранней даты садовского поясного набора; тезис этот неверен, поскольку нельзя просто переименовать хронологическую последовательность в эволюционный ряд. Вместе с тем абсолютные даты восточноевропейских памятников, материалы которых использовались для

построения этой “эволюции”, не вызывают сомнений. Методическая ошибка сказалась только на датировках азиатских аналогов. Ошибочность исходного тезиса А.К.Амброза привела его и к менее заметным погрешностям. Так, явная нефункциональность “Т-образной” бляшки из кудыргинской мог.9, по мнению автора, косвенно подтверждает позднюю дату. Но эта бляшка имеет не геральдический, а рамчатый щиток, и воспроизводит не восточноевропейские Т-образные застёжки, как полагал А.К.Амброз, а поясные крюки с квадратной рамкой и Т-образной перекладиной на противоположном конце, нередкие для кочевнических памятников середины I тыс.н.э. (Рис.29: А). Восточноевропейские Т-образные застёжки не вообще имеют ранних азиатских соответствий, и не могут их иметь: они появились как результат слияния двух азиатских типов — щитка и “костылька”, располагавшихся при использовании рядом и образующих композицию двух типов, воспроизведённую единым подражательным типом. Эти застёжки получили на западе широкое распространение и в ряде случаев деградировали, приняв неупотребительные очертания (Рис.29: Б).

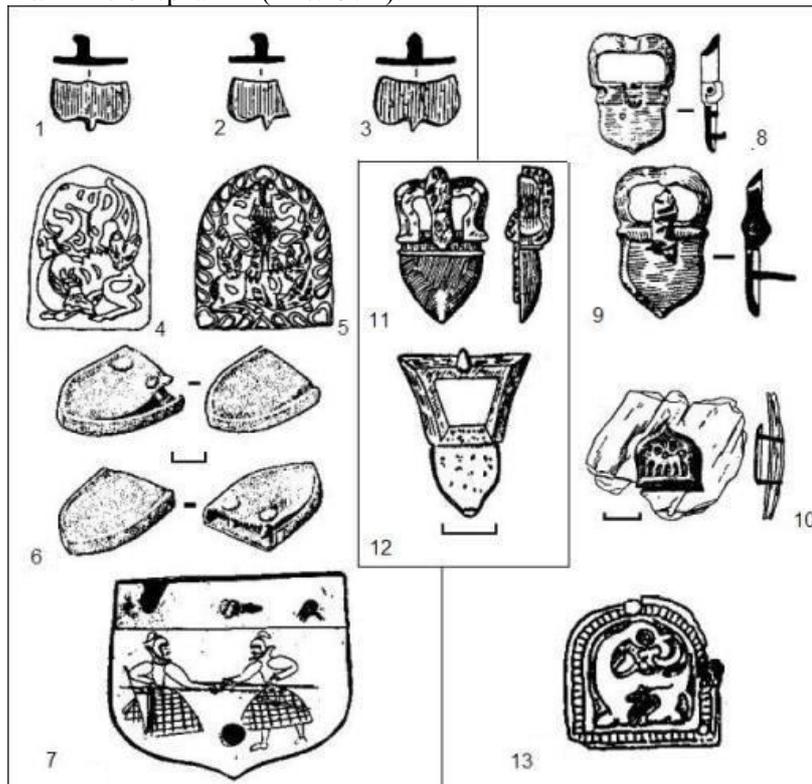


Рис.31. Геральдические щитки и бляшки в I - VIII вв. 1-3- Бабашовский могильник, Северная Бактрия; 4-5 -- Тилля-тепе, мог.4, Южная Бактрия; 6 —Орлатский могильник, Самаркандский Согд; 7—Сопка II, Бараба; 8-10 —Кудыргэ; 11-12 —Изыхский чаатас, скл. I; 13 —Песчанка (По А.М.Мандельштаму, В.И.Сарианиди, Г.А.Пугаченковой, В.И.Молодину, А.А.Гавриловой,

Вместе с тем не все типы бляшек из кудыргинских геральдических наборов имеют поздние соответствия в восточноевропейских материалах. Например, весьма необычны удлинённые бляшки с округлыми выступами по бокам из мог.[...] (Рис.30: 5, 6). И если большинство геральдических типов имеет западные прототипы гуннского времени, то в данном случае представляется возможным указать местные прототипы. Это — хорошо известные по оглахтинским и пазырыкским моделям ножны кинжалов (Рис.30: 1-3). Формальное сходство весьма велико, и можно предположить, что кинжалы в таких ножнах рассматривались как социально значимые атрибуты, вот и были воспроизведены в виде бляшек уздечного набора. Такие кинжалы и ножны в определённый момент распространились весьма широко — вспомним известную находку кинжала в таких ножнах в мог.4 Тилля-тепе (Рис.30: 4). Следует отметить, что с учётом выявленных выше следов “маятникового” распространения традиций тиллятепинская находка может рассматриваться и по-другому. Нет находок, со всей

очевидностью показывающих непрерывность бытования таких кинжалов и ножен в Центральной Азии с хуннского до древнетюркского времени, а потому нельзя исключить, что и здесь мы видим пример возвращения типа на свою “прародину”. Но в данном случае всё ещё сложнее. По-видимому, исходным регионом на сей раз была Центральная Азия, и данный тип оказался на Западе в связи с переселением в Бактрию *да-юэчжей* накануне н.э., а затем был возвращён на восток вместе с волной протогеральдических типов. *В.И.Сарианиди, А.А.Гавриловой*).

Бактрийские материалы уже упоминались при обсуждении вопроса о происхождении некоторых протогеральдических (в тех случаях — таштыкских) типов. К уже приведённым примерам нужно добавить и столь показательный тип, как приострённые щитки, сходство которых с гербовыми щитами и дало название всему стилю. Происхождение данного типа представлено на рис.31. Геральдические щитки бывают двух видов — простые и фигурные. Ранние фигурные щитки представлены находками с Бабашовского и Орлатского могильников (Рис.31: 1-5), простые найдены, например, в воинской мог. 688 на могильнике Сопка II в Барабе, с вещами позднесарматских типов (Рис.31: 7). Оба вида представлены весьма редкими таштыкскими находками (Рис.31: 11, 12), а в Кудыргэ это уже чётко оформившийся, стандартный для культуры тип (Рис.31: 8-10). В Восточной Европе представлено множество разновидностей таких щитков; иногда, как уже говорилось, их украшали системой прорезей, воспроизводящих рисунок просвета рамок с симметричными волютами - это признак относительно поздней даты; есть и примеры вырождения типа (Рис.31: 13). Решение вопроса об абсолютной датировке могильника Кудыргэ основывается на нумизматических, археологических и историко-культурных данных. Монета 575-577 гг. (Гаврилова 1965: 26) датирует памятник не ниже, чем последней четвертью VI в., но не ограничивает верхнюю возможную дату. Для уточнения важна повреждённая колчанная пряжка из мог.5. К сожалению, на рисунке в монографии А.А.Гавриловой, в целом точном, не показано отличие линии излома щитка от обработанного края, и поэтому первоначальный облик пряжки лишь угадывается. Благодаря любезности Л.Л.Барковой я ознакомился с этой пряжкой подробно, и могу предложить более точный рисунок (Рис.31а). Очевидно, что первоначально щиток был ажурным; по его сохранившейся части можно заключить, что пряжка аналогична таким византийским типам, как Бал-Гота или Суцидава, датируемым VII в. (Амброз 1971: ...). Это не единственная находка пряжки византийского типа в Южной Сибири - подобным находкам, правда, более поздним, посвящена даже специальная статья (Арсланова.....). Есть находка византийской пряжки и в кыргызском кургане (Грач), но это тоже поздняя вещь. Кудыргинская пряжка — видимо, наиболее ранний пример проникновения в Южную Сибирь византийских типов. Благодаря ей можно считать, что могильник Кудыргэ относится скорее к VII, чем к VI веку, и вряд ли позднее — в VIII веке место кудыргинских типов заняли традиции катандинского этапа.

По совокупности данных можно сделать вывод о том, что могильник Кудыргэ относится к VII веку и, вероятно, соответствует канонам государственной культуры Первого тюркского каганата. Вопреки мнению Д.Г.Савинова, “неизвестная культура жуань-жуаней” не может иметь к могильнику Кудыргэ никакого отношения по ряду причин. Как уже говорилось, геральдический стиль, развившийся на основе кудыргинских традиций декора наременных гарнитуров, получил широчайшее распространение от Кореи (и в какой-то степени даже Японии) до Венгрии включительно; это несоизмеримо больше, чем вероятная область влияния “неизвестной культуры” сравнительно небольшого степного государства. Заключение о различной датировке отдельных погребений Кудыргинского могильника опровергаются приведёнными выше наблюдениями о внутреннем единстве и глубокой структурированности погребального обряда кудыргинцев.

Горный Алтай не входил в число территорий, постоянно подконтрольных правителям Первого тюркского каганата. Кудыргинские традиции не получили здесь широкого распространения и не оказали заметного влияния на локальные культуры Саяно-Алтая. Вместе с тем источники сохранили сведения, позволяющие не только удовлетворительно идентифицировать могильник Кудыргэ, но и весьма точно датировать его. Речь идёт об истории последнего тюркского хана — Чеби, в сущности, уже самозванца, чья биография была

полна сложных приключений и в какой-то степени повторила эпопею мятежного шаньюя Чжичжи. [...]

Если же отвлечься от беллетристических подробностей, то следует признать: история Чеби-хана достаточно точно соответствует той картине, которую представляет могильник Кудыргэ при рассмотрении его материалов в типогенетическом аспекте. Орда Чеби-хана - единственная группа, представлявшая культуру Первого/Восточного тюркского каганата, которая в течение полутора десятилетий достоверно присутствовала в горноалтайских долинах. Соответственно, орда Чеби - единственный “кандидат” на соотнесение с кудыргинцами, и наоборот: Кудыргэ - единственный памятник, который может быть соотнесён с этой ордой. Поэтому известные по летописи хронологические рамки алтайской эпопеи Чеби могут быть приняты как ориентир для уточнения археологической даты Кудыргэ: вторая четверть VII века. Предлагаемая датировка снимает противоречие между позициями А.К.Амброза и А.А.Гавриловой. Могильник Кудыргэ действительно представляет культуру тюрков Первого каганата, но это — реликтовый памятник, возникший на периферии древнетюркского мира в те поры, когда в центральноазиатской степи уже действовали новые гегемоны — сиры и уйгуры. Таким образом, типогенетические построения позволяют уточнить выводы, полученные предшественниками, и расставить всё, как говорится, по своим местам.

III. 3. Гаогюйские поколения и кыргызы.

Ашина - иноэтничное, инокультурное и, вероятно, иноязычное в собственной державе племя - “геройствовали в пустынях севера” силами местных телеских племён, но жили иными интересами, нежели рядовые кочевники (ср.: Кляшторный 1994: 16-17). Многочисленные племена теле в течение нескольких десятилетий жили в составе крупнейшей державы своего времени и, естественно, восприняли определённые государственные институты и ценности. Естественным образом стремясь к независимости, они видели её воплощённой в знакомых и понятных им формах, и их идеалом государственности стал каганат тюркского образца со всеми его признаками, в том числе и с государственной культурой, включавшей престижный предметный комплекс и величественные мемориалы с камнеписными эпитафиями, определённое устройство власти и предопределённые многими обстоятельствами государственные интересы. Этот комплекс создавался тюрками и согдийцами со вполне очевидной главной целью, каковой была и всегда оставалась прежде прочего охрана согдийских караванов - залог стабильности и процветания торговли. Эта цель вступала в противоречие с жизненными интересами рядовых кочевников - Великий Шёлковый путь обогащал лишь элиту, и племенная структура общества подталкивала младших ханов к сепаратизму, чтобы повысить свой ранг в степной иерархии и принять непосредственное участие в большом дележе. Оперативное реагирование и управление из-за необъятности территорий были невозможны, и развал Великого каганата стал неизбежен. То, что обычно называют разделением Первого тюркского каганата на Западный и Восточный, точнее было бы именовать отделением западных (среднеазиатских) тюрков от единой державы. Восточный каганат просто продолжал историю Первого, лишь изрядно сократившись и утратив значительную долю своего влияния. Западный каганат с центром в освоенном согдийцами Семиречье существовал как симбиоз кочевого и осёдлого населения и до поры был недостижим для имперских амбиций суйского Китая. В центре же Восточного каганата, в Монголии, наоборот, никакой осёдло-земледельческой инфраструктуры не было, а Китай был рядом и всеми силами подтачивал тюркское государство, находя в этом естественных временных союзников в лице младших ханов. Сами же они уже были заражены “вирусом государственности”. И если богатую Среднюю Азию можно было благоразумно поделить, то нищую степь можно было только захватить - всю и сразу, силой подчинить соседей. Распри были неизбежны, падение Восточного тюркского каганата - предопределено. Основную роль в этом, помимо вездесущих китайских эмиссаров, должны были сыграть *гаогюйские поколения* - точнее, крупнейшие среди них племена, сиры и уйгуры. Гаогюйские поколения и Китай - вот две главные силы, определявшие с VII века судьбы всех центральноазиатских и южносибирских племён - в том числе и кыргызов.

Сложные перипетии кыргызо-китайских отношений будет удобнее рассмотреть в разделах, посвящённых событиям IX века; здесь же следует подробно остановиться на роли, которую племена сиров и уйгуров - лидеры телеской (гаогюйской) группы сыграли в истории кыргызов.

Среди всех летописных известий о кыргызах сообщение о том, что в течение нескольких лет они подчинялись “Дому Сйеяньто”, который держал там своего эльтебера “для верховного надзора” (Бичурин 1950), менее всего интересовало исследователей. Причина, надо полагать, в том, что сам этот “Дом Сйеяньто” во многом оставался загадкой. Ныне трудами С.Г.Кляшторного (1986; 1994: 41-49) этот туман рассеян, сообщения хроник и данные эпиграфических источников наконец увязаны, что и позволяет вплотную заняться разбором этого эпизода кыргызской истории и связанных с ним обстоятельств.

Племена *се (сйе)* и *яньто*, согласно китайским источникам, в IV в. кочевали в степях на восток от Ордоса; во второй половине этого столетия *яньто* были покорены племенем *се(сйе)*. “Китайские историографы механически соединили два этнонима, и образовался термин *сеяньто (сйеяньто)*”. Иероглифом *се* передавалось слово, звучавшее в оригинале “сир”; если китайские хронисты, следуя традиции, продолжали использовать композитный термин “сеяньто”, то “в тюркских памятниках, соответственно законам древнетюркской этнонимии, это механическое соединение двух имён отсутствует, там упомянуто лишь главенствующее племя - сирь” (Кляшторный 1994: 45). Во времена Первого тюркского каганата сирь были одним из “вассальных” племён, жили в горах Хангая и Восточного Притяньшанья, но к началу VII в. оказались в Джунгарии и после развала каганата оказались под властью западнотюркских ябгу-каганов. Их беспокоили свободолюбивые, опытные в военном отношении племена. В 605 году *Чурын-ябгу-каган* обманом завлёл в свою ставку множество вождей джунгарских кочевников и, напоив на пиру, перебил их, дабы вероломством и предательством обезглавить сильные племена. Оставшиеся без законных вождей кочевники, стремясь избежать грозящего им истребления, двинулись на восток, в Монголию. Вместе с прочими ушли и сирь, числом 70 000 кибиток (семей), во главе с неким *Инанчу-иркином*. Подчинившись первоначально восточнотюркскому *Эль-кагану (Хйели кит. источников)*, сирь вскоре восстали, недовольные налогообложением. В 629 г. сирь получили поддержку Тайцзуна, и Инанчу-иркин провозгласил себя *Йенчу-бильге-каганом (Инань кит. источников)*. Это не нравилось сильнейшему после сиров племени, уйгурам, возглавлявшим межплеменную конфедерацию токуз-огузов, но на первых порах и они вынуждены были подчиниться. Так возник Сирский каганат, унаследовавший территорию, “вассалов” и политическую роль Восточного тюркского каганата.

Источники сообщают, что сирское государство во всём подражало тюркскому, но не следует забывать и об одном важнейшем отличии. Во главе Тюркского каганата стояло иноэтничное и инокультурное по отношению к большинству местных кочевников племя ашина; во главе Сирского каганата стояло племя, входившее в число *гаогюйских поколений* и ранее уже пытавшееся создать независимое государство. Описывая сиров, источник отмечает сходство их языка и обычаев с хойхускими (уйгурскими), однако в списках гаогюйских поколений ранних периодов сиров нет: они, как уже говорилось, перекочевали в Джунгарию из Приордосья.

Поддержав сиров, император Тайцзун подтолкнул давние противоречия между сирами и уйгурами. На период существования Сирского каганата уйгуры стали естественными союзниками танского Китая, для которого ослабление и стравливание “северных варваров” было одним из основных императивов внешней политики. Когда после смерти Инань-кагана его сын *Барс-чор (Бачжо кит. источников)* захватил власть силой, сложились условия для передела центральноазиатских степей. Молодой узурпатор не сумел удержаться в рамках, приемлемых для амбициозных вождей младших племён каганата. Жестокость и беззакония Барс-чора привели к восстаниям огузских племён, и те обратились за помощью к Китаю. Тайцзун послал войско, с помощью которого организовавшие это восстание уйгуры во главе с “великим эльтебером” Тумиду разгромили сиров и устроили страшную резню. Спасшиеся сирь бежали в Джунгарию, сражались там с тюрками, состоявшими на китайской службе, а частью остались-таки в Хангае, так и не покорившись ни уйгурам, ни танскому Китаю. Позднее эта группа активно поддерживала тюрков в их борьбе за воссоздание своей государственности и во

Втором тюркском каганате стала вторым после собственно тюрков племенем в иерархии нового тюркского государства.

В пору своего владычества сирь взяли под контроль и енисейских кыргызов - полагают, чтобы обезопасить свои северные тылы и вдобавок получить доступ к богатым ресурсам Засаянья. Кыргызами управлял (по летописи, осуществлял “верховный надзор”) сирский эльтебер. Единственная фраза в источнике, посвящённая этому факту, не привлекает внимания исследователей; однако это первый сравнительно долгий контакт кыргызов с носителями центральноазиатских традиций государственности тюркского типа. Енисейский народ был на полтора десятилетия включён в систему власти и управления и впервые мог усвоить некоторые принципы древнетюркского построения государства, более того - был вынужден их усваивать. Ко времени существования сирского эльтеберства на Енисее относятся и первые сообщения о кыргызско-китайских контактах; прежде, как свидетельствует хроника, кыргызы “не имели сношения со Срединным государством”. Игнорировать данный эпизод не представляется возможным.

Имеется ряд обстоятельств, косвенно подтверждающих особую роль сиров в формировании кыргызского государства. Кыргызов как равное по значению племя признали только тюрки Второго каганата - в котором именно сирь, как уже говорилось, были второй по значению этнической группой. Даже после войны 710/711 гг. тюрко-кыргызские отношения быстро пришли в норму - не указывает ли это на продолжение сирско-кыргызских связей? Когда уйгуры в середине VIII в. разгромили тюрков и воссоздали свою гегемонию, они первым делом, несмотря на сложнейшую обстановку в Центральной Азии, несмотря на то, что большие силы были брошены на подавление восстания Ань Лушаня в Китае, - отправили войско против кыргызов; не потому ли, что кыргызы в их представлениях как-то ассоциировались с сирами (теперь уже кыпчаками)? Всё это, конечно, предположения, но сам факт существования связи между кыргызами и сирами-кыпчаками кажется очевидным. Подтверждает эту связь и дальнейшее развитие событий, о чём речь пойдёт в соответствующем разделе.

Очевидно и то, что сирско-уйгурское противостояние 630-640-х гг. заложило основу для многих конфликтов в Центральной Азии. Как не следует забывать о сирах и их каганате, так не следует умалять значение и Первого уйгурского каганата, образовавшегося после событий 646 года. Это государство токуз-огузов исследователи тоже как бы не замечают, сосредотачиваясь на последовавшем воссоздании тюркской державы. Повествуя о падении Сирского каганата, хронист с удовлетворением замечает, что после этого в степи более тридцати лет подряд не было слышно “военного шума”. Это - обычное для всякого официального источника замалчивание очевидных вещей. На деле все эти годы Танская держава вела долгую и безуспешную войну с уйгурами и в результате была вынуждена согласиться на унижительный мир. Лишь тюрки в ходе борьбы за восстановление своего государства (679-687 гг.) сумели разгромить Уйгурский каганат. Таким образом, в течение полувека, с 630-х по 680-е гг., власть над степью принадлежала телеским вождям. Да и тюрки впоследствии представляли собой уже вполне телеское племя: ассимиляция элиты большинством населения началась ещё при Эль-кагане, что было поставлено последнему в вину Тайцзуном (в 629 году). Д.Г.Савинов (1984) справедливо трактует слова императора о том, что при Эль-кагане тюрки забыли обычаи предков, как свидетельство ассимиляционных процессов. Таким образом, не будет преувеличением заключить, что в 630 г. в Центральной Азии началась эпоха государств, созданных телескими племенами; именно в этом контексте нужно рассматривать и кыргызский политогенез. “Вирус государственности” проник в телескую среду от ашина и согдийцев; кыргызы “заразились” им уже от теле.

Особого внимания заслуживает историко-культурный контекст вышеописанных событий и процессов. С племенами телеской группы уже давно соотносят т.н. “погребения с конём” - большую группу всаднических захоронений. Термин “всаднические” лучше, поскольку далеко не всегда в могиле присутствуют конские кости, часто это только остатки шкуры (череп и кости ног) или просто баран, символически замещающий в ритуале лошадь; иногда в могиле вообще лишь человеческие останки, а коня символизируют предметы упряжи и сбруи. Всаднические погребения разнообразны - варьируют: устройство могилы, взаиморасположение и ориентация всадника и коня, размещение, состав и морфология инвентаря, антропологический тип погребённых,- словом, очевидно, что для исследователя здесь

непечальный край работы. К сожалению, изучение всаднических могил до сих пор находится на начальной стадии, а некоторые авторы и вовсе предлагают игнорировать разнообразие всаднических могил, полагая, что различия - следствия произвольных трактовок ритуала (Худяков 1979). Последнее, как показывает приведённый выше пример могильника Кудыргэ, совершенно неправильно. За различиями в похоронном обряде всегда стоят культурные, этнические и др. различия, а за всяким “хаосом” стоит незамеченная система. Поиски таких закономерностей для саяно-алтайских всаднических могил были по-настоящему начаты лишь в 1965 г. (Гаврилова 1965), и за минувшие десятилетия даже наиболее подробные сводные труды (Могильников 1981; Савинов 1984; 1994; Овчинникова 1990) были скорее описательны, они подытоживали проделанную работу, подготавливая материал к всестороннему анализу, остающемуся ещё перспективой. Не найдены погребения собственно ашина (впрочем, и явно было не так много), не выделены сирские и уйгурские погребения (идея видеть уйгурские могилы в чаатинских катакомбах не выдерживает проверки), не говоря уже об установлении культурных различий между племенами, не имевшими собственной государственности. В ряде работ В.Е.Войтова, В.Д.Кубарева, Ю.С.Худякова и др. авторов проведена большая работа по систематизации ритуальных памятников (“поминальных оградок” и др.) Саяно-Алтая и Монголии.

Немало копий сломано вокруг исходно некорректного вопроса о том, с тюрками или с теле следует соотносить всаднические могилы; как известно, слово “тюрк” сперва было политонимом, обозначавшим объединение центральноазиатских племён, в том числе и телеских, под властью ашина, а позднее, по мере ассимиляции ашина, тюрки уже выступают как народ, по всем признакам относящийся к телеской группе.

Первая классификация всаднических могил Саяно-Алтая была предложена А.А.Гавриловой (1965) и удачно переработана в периодизацию Д.Г.Савиновым (1984; 1987). Изучаемая здесь эпоха связана в первую очередь с памятниками катандинского типа (этапа). Эти погребения А.А.Гаврилова датировала VII-VIII вв. по шёлковым тканям, имеющим западные аналогии, и связывала с образованием Второго тюркского каганата (Гаврилова 1965: 61-66, 105). Эта хронология в целом подтвердилась датированными аналогиями из Пенджикента (Распопова 1980), но уточнить её по среднеазиатским аналогиям невозможно. Д.Г.Савинов отметил, что начало катандинского этапа может быть связано не только с воссозданием тюркского государства, но и с другими событиями (Савинов 1984: 61-62; 1987: 24). Предложено связывать инновации катандинского этапа (по хронологическому совпадению) с алтайской эпопеей Чеби-хана, падением Первого тюркского каганата и с т.н. “сменой погребального обряда у тюрков”, однако конкретные причины появления новых типов изделий, по словам Д.Г.Савинова, “не вполне ясны”. Следует снять вопрос о “смене обряда”, так как сам же Д.Г.Савинов весьма убедительно объяснил соответствующую запись в источнике ассимиляционными процессами. Алтайская эпопея Чеби, как было показано выше, отразилась в культуре не прекращением, а наоборот - появлением на Алтае могил кудыргинского типа (этапа). Падение Первого тюркского каганата, как и любое другое разрушение, само по себе не могло привести к появлению чего бы то ни было, в том числе и новых типов изделий. Инновации нужно связывать с тем, что после ликвидации тюркской гегемонии открылись возможности для реализации культурно-политического потенциала телеских племён - сперва сиров, затем уйгуров - и к распространению их престижного предметного комплекса в качестве государственной культуры того или иного нового объединения степняков.

Пытаясь сгладить негативное впечатление от нерешённости вопроса об археологическом разграничении отдельных племён, Д.Г.Савинов выделил особую курайскую культуру, вобравшую в себя многие памятники катандинского этапа, и предложил называть оставившие её племена “алтае-телескими тюрками”. Народа с таким именем, конечно, не существовало. Вопрос о соотношении курайской культуры с периодизацией, разработанной на базе выводов А.А.Гавриловой, приводит к некоторому противоречию: Д.Г.Савинов принял хронологические рамки классификации, датируя катандинский этап VII-VIII, а сросткинский - IX-X вв.; курайская же культура перекрывает оба этапа, при этом не совпадая со сросткинской. Усложнённая таким образом система явно имеет целью разграничить и вместе с тем увязать историю материальной культуры с этнической историей, но решить такую проблему без свода памятников вряд ли возможно - а свода пока нет, и в силу разбросанности плохо

опубликованных материалов в обозримом будущем он вряд ли появится. Сводная работа, опубликованная Б.Б.Овчинниковой, неполна и плохо проиллюстрирована - хотя как предварительная публикация она важна и полезна.

Наиболее корректно говорить о катандинском этапе в развитии саяно-алтайских культур и, соответственно, о катандинском инновационном комплексе, образуемом, во-первых, общими для всех вариантов памятников типами, а во-вторых, некоторыми специфическими признаками, сочетающимися лишь с катандинскими типами. Д.Г.Савинов пишет о следующем наборе типов: серьги “салтовского типа”, бронзовые пряжки со щитком, стремена с выделенной пластиной, поясные бляхи-оправы со щелевой прорезью, S-образные псалии со скобой etc (Савинов 1984:61). Нужно заметить, что бронзовые пряжки со щитком появились раньше и не могут поэтому считаться инновациями катандинского этапа.; стремена с выделенной пластиной не являются специфически катандинским признаком, это общестепное нововведение VII в., появляющееся и в кудыргинских могилах. Наиболее показательными признаками, характерными прежде всего для памятников катандинского этапа, следует считать S-образные псалии со скобой и наременные бляхи-оправы со смещёнными щелевыми прорезями; самыми яркими инновациями в области погребального обряда стали захоронения в подбоях, особенно характерные для центральнотувинских памятников (Длужневская, Овчинникова 1980: 80-85) и практически не представленные в других южносибирских котловинах. Особо стоят новые типы украшений, прежде всего серьги “салтовского типа” со шпеньком в верхней части кольца. “Катандинский этап, - отметила А.А.Гаврилова, - отличается от кудыргинского появлением усовершенствованных изделий (Гаврилова 1965: 105). Но ни характерный изгиб стержня псалий, ни бляхи-оправы, ни шпеньки на серьгах, ни новые формы могильных ям к усовершенствованиям не отнесёшь. Отличительные черты инновационного катандинского комплекса нефункциональны и, следовательно, унаследованы от каких-то предшествующих традиционных комплексов. Д.Г.Савинов отметил “некоторую цикличность” в развитии культур саяно-алтайских народов - спустя какое-то время после исчезновения какого-то культурного комплекса его традиции неизменно возрождаются, опять же в комплексе - изменившемся, но узнаваемом. Автор видит в этом проявление традиции доминирования культуры господствующего этноса, отражение поочерёдного выхода на историческую арену Центральной Азии разных кочевых народов. Так, характерные южносибирские вещи катандинского этапа VII-VIII вв. имеют серийные прототипы в центральноазиатских культурах скифского времени (Савинов 1987: 17-18).

Действительно, большинство специфических типов катандинского этапа имеет достаточно близкие (с отличиями в декоре) соответствия в материалах из более ранних местных памятников. Псалии с характерным S-образным изгибом стержня и поясные бляхи со смещённой щелевой прорезью известны среди материалов из сборов на Среднем Енисее, в комплексах саглынской культуры в Туве (Грач 1980: 34-35), но более всего - в материалах пазырыкской культуры Алтая - в отличие от единичных находок на Енисее, здесь это серийные вещи.

“Погребение с конём, - указывала А.А.Гаврилова, - характерно для горно-степных племён, и можно предполагать, что на Алтае этот обряд погребения не прерывался с периода ранних кочевников” (Гаврилова 1965: 57). Вместе с тем всаднические могилы с пазырыкскими либо катандинскими вещами, которые по каким-либо признакам следовало бы отнести к первой половине I тыс.н.э., до сих пор на Алтае не обнаружены и, вероятно, так и не найдутся. Позднейшие пазырыкские памятники датируются около рубежа эр (Кубарев 1987: 131-132); исчезновение пазырыкских традиций связывают с экспансией хунну и/или расселением “племён 201 года до н.э.” Как уже говорилось, соответствующие памятники на Саяно-Алтае имеются, так что пазырыкцы, скорее всего, Алтай покинули. Однако сам факт существования катандинского инновационного комплекса однозначно указывает на то, что в течение нескольких веков “постпазырыкские / протокатандинские” традиции где-то существовали, как бы прятались, но в археологических материалах почему-то не проявились. Следует иметь в виду, что многие пазырыкские типы изготавливались из дерева, и вне зоны подкурганых ледовых линз попросту не могли сохраниться.

То, что при поиске истоков катандинского инновационного комплекса в центре внимания должны быть именно пазырыкские традиции, доказывается и некоторыми деталями устройства

погребений. Так, дно катандинских могил иногда бывает двухуровневым, то есть имеет ступеньку, идущую вдоль оси могилы между скелетами человека и коня; чаще всего погребение человека устроено на нижнем уровне в гробу, в раме, в каменном ящике - это упрощённое воспроизведение схемы пазырыкских захоронений, где коня укладывали вне сруба и часто на подсыпку (отчего конская туша порой частично перекрывает основное внутримогильное сооружение). Однако бывает и по-другому - когда человек захоронен на верхнем уровне, а конь - на нижнем; эти редкие аномалии свидетельствуют о разрушении традиционного ритуала.

Низкая вероятность обнаружения “постпазырыкских / протокатандинских” памятников требует с особым вниманием отнестись к этническим определениям. Исследователи обычно не спорят с известным тезисом об ираноязычности пазырыкцев - слишком очевидны алтае-иранские аналогии (даже греческие описания гробницы Кира Великого чем-то напоминают об устройстве пазырыкских погребальных камер). По мнению С.И.Руденко, поддержанному Д.Г.Савиновым, пазырыкцы - это знаменитые юэчжи (подробно: Савинов 1984: 9-11). Однако это отождествление вряд ли можно считать сколько-нибудь основательным. В подтверждение пишут о том, что подлинный ареал пазырыкской культуры был намного шире пределов Горного и Центрального Алтая, то есть это был большой народ - а кто в то время мог быть таким большим, как не юэчжи? Подчеркну: к этой логике сводятся *все* аргументы в пользу отождествления пазырыкцев с юэчжами, и принять подобные рассуждения, конечно же, невозможно.

Не согласуется пазырыкско-юэчжийская теория и с данными источников. История юэчжей после начала хуннской экспансии хорошо известна по китайским источникам. Будучи разгромлены хуннами, юэчжи бежали из Приордосья на запад, где разгромили народ, именуемый *сай* или *се* - *саков* или *серов* Центрального Притяньшанья, частично переселившихся после этого на юг - быть может, в Северную Индию. На полвека юэчжи стали хозяевами Восточного Туркестана, однако в середине II в. до н.э. усунь, действовавшие по согласованию с хунну, выбили юэчжей из Семиречья, и те снова двинулись за запад, закрепившись на этот раз в Бактрии, где вскоре появилось созданное ими “*владение Гуйшуй*” - Кушанское царство. Всё это, повторяю, известно по летописям. Если юэчжи - это пазырыкцы, то в Восточном Туркестане, в Семиречье и в Бактрии должны бы быть открыты десятки памятников с пазырыкскими признаками. Восточнотуркестанские степи и предгорья изучены плохо, но Семиречье и Бактрия - более или менее хорошо; ничего пазырыкского там нет. Уже одного этого хватит на то, чтобы забыть о неудачном соотношении.

Что касается археологической идентификации юэчжей, то следует вспомнить о позиции Ю.А.Заднепровского, который предложил считать юэчжийскими подбойные захоронения, а распространённые наряду с ними катакомбные погребения - усуньскими (Заднепровский 1971; 1975). Нужно отметить, однако, что подбойные и катакомбные погребения сооружались в Средней Азии и до начала хуннской экспансии, так что вопрос об этих типах (точнее, о хронологии вариантов этих типов), должен ещё разрабатываться особо. Но пазырыкско-юэчжийскую теорию Руденко - Савинова эта недоработка никоим образом не усиливает.

Более перспективен взгляд, высказывавшийся Д.Г.Савиновым в ином контексте - сведения о расселении динлинов позволяют очертить ареал, в целом совпадающий с территорией культур “погребений с деревянными конструкциями (в камерах-срубах)” - кроме пазырыкских памятников Алтая, сюда входят саглыньские памятники Тувы, сарагашенские в Минусинской котловине, улангомские (чандманьские) в Монголии, бесшатырские памятники Западного Алтая и Восточного Казахстана. В целом эти культуры предшествовали культурам “погребений (главным образом ящичных) с каменными конструкциями” и были частью евразийской общности культур скифского круга. Этот взгляд ничему не противоречит и вполне соответствует известным выводам о надэтническом характере понятия “динлин”. Китайские источники прямо соотносят названия “динлин” и “теле” (Бичурин 1950-т.I: 314). Показательны совпадения в локализации отдельных групп; так, в “Вэйлюэ” сказано, что “владение Динлин находится севернее Канцзюй” (Супруненко 1974: 237), но есть и данные от одного из телеских племён, обитавшем “на север от государства Кан” (Кюнер 1961: 38). В описании столкновений жуань-жуаней с джунгарскими кочевниками в одних источниках последние называются динлинами, в других - гаогюйцами (ср.: Бичурин 1950-т.I: 216-219 и

Таскин 1984: 289-290. Другое название теле - гаогюй - переводится как “высокие телеги” и тем самым увязывается с реконструкцией теле - *тегег* - тележники. В одном из пазырыкских курганах была, как известно, обнаружена разобранный высокая повозка. На этом фоне аналогии между пазырыкскими и катандинскими типами выглядят более чем естественно. Преемственность между динлинами и теле (гаогюй), устанавливаемая по письменным источникам; преемственность между пазырыкскими и катандинскими типами и традициями, устанавливаемая археологически; соотносимость динлинов в том числе и с пазырыкскими племенами; соотносимость катандинского культурного комплекса с племенами телеской группы, — вот та система аргументов, которая позволяет корректно решить вопрос об интерпретации инноваций катандинского этапа; эта система может быть представлена наглядно:

К сожалению, джунгарские памятники предтюркского времени пока недоступны; однако системность аргументации позволяет утверждать, что на территории Восточного Туркестана будут найдены комплексы с признаками, занимающими промежуточную позицию между пазырыкскими и катандинскими традициями. Суммируя, можно заключить следующее.

1. Инновации катандинского этапа появились в результате создания собственных государств (каганатов тюркского типа) телескими племенами — сирами и уйгурами, распространявшими катандинский предметный комплекс в качестве государственной культуры.

2. Специфические признаки катандинского этапа, прежде всего обряд погребения и некоторые типы вещей, генетически восходят к традициям пазырыкской культуры алтайской ветви динлинов.

3. Всеобщими диагностирующими типами катандинского культурного комплекса являются поясные бляхи со смещённой вниз щелевой прорезью для продевания повесных ремешков, а также S-образно изогнутые стержневые палии. Это значительно расширяет территориальные и хронологические рамки катандинского этапа.

4. Памятники, типологически и хронологически занимающие промежуточное положение между пазырыкскими и катандинскими традициями, следует искать в Джунгарии.

Неотъемлемым элементом катандинского культурного комплекса являются так называемые “поминальные оградки” — разнотипные ритуальные сооружения, с которыми связана традиция изготовления каменных изваяний. Пазырыкских соответствий они не имеют — правда, в культуре алтайских динлинов известны своеобразные “восьмикаменные выкладки” — вероятно, сходного назначения, но совершенно иные морфологически. Идея сооружения мемориалов заимствована, скорее всего, у ашина, которые, в свою очередь, унаследовали её от хорезмийских кочевников. Изваяний же ашина не делали — во всяком случае, ни одно изваяние древнетюркского типа пока не может быть отнесено к культуре Первого тюркского каганата (Войтов 1989: 5). Вопрос о происхождении этой телеской традиции, и некоторые проблемы, связанные с оградками, будут рассмотрены ниже, в следующей главе. Итак, если Первый тюркский каганат был создан, по сути, пришлым племенем в союзе с согдийцами, то дальнейшее развитие центральноазиатской государственности было следствием пробуждения национального самосознания древних местных народов, словно навёрстывавших упущенное за несколько веков, прошедших со времени хуннской экспансии. Несмотря на громадную протяжённость степи, даже двум активным племенам оказывалось в ней тесно, и противостояние становилось неизбежным. История древнетюркской эпохи — это, с одной стороны, череда кровавых противостояний, в которую втягивались всё новые и новые племена; с другой стороны, это - история развития замечательной культуры древнетюркских племён, венцом которой по праву считают каменную ритуальную скульптуру, роскошную бытовую орнаментку и руническую письменность, созданную телескими племенами путём приспособления согдийского письма к своим языкам (ашина своей письменности не имели, и даже официальные эпиграфические тексты создавали на согдийском языке - по крайней мере, и на согдийском тоже).

На таком культурном фоне и возникло кыргызское государство на Енисее. От незначительного эльтеберства в составе Сирского каганата - до собственного каганата, признанного даже гордыми авторами орхонских текстов - путь, пройденный кыргызами в VII в., впечатляет. Однако нужно помнить, что никаких внутренних причин для столь бурного

политогенеза кыргызы не имели. Таштыкские материалы не отражают сложной общественной иерархии, нет и следов имущественного расслоения, нет никаких признаков не то что государства, но и хотя бы потестарного общественного устройства. Государственность была, в сущности, привнесена завоевателями, и в конечном счёте должна была стать губительной.

<i>время</i>	<i>летописные данные</i>	<i>археологические данные</i>
СКИФСКОЕ ВРЕМЯ	д и н л и н ы	пазырыкская культура
ПРЕДТЮРКСКОЕ ВРЕМЯ	“Таогюйские поколения”	[кочевники Джунгарии]
ДРЕВНЕТЮРКСКОЕ ВРЕМЯ	сиры, уйгуры и другие телеские племена	культурные комплексы катадинского этапа

Глава IV. Сложение и развитие кыргызской культуры: минусинские чаатасы как историко-культурный источник.

Введение.

Как уже говорилось, ни в одной публикации вопросы, связанные с раннекыргызскими памятниками, не рассматривались как самостоятельная проблема. Даты, указываемые в литературе, часто декларативны и получены не столько путём анализа археологического материала, сколько посредством общих рассуждений. То же самое можно сказать и об изучении развития, относительной хронологии и периодизации кыргызской культуры. В 630-х гг. енисейские кыргызы были втянуты в перипетии военно-политической игры, участниками которой были основные степные государства Центральной Азии и Китай, а главной наградой - контроль над восточными трассами Великого Шёлкового пути. Недолгий, не более полутора десятилетий, период жизни под “верховным надзором” сирского эльтебера заразил кыргызов “вирусом государственности”. Это не могло не повлечь перемен во всех сферах жизни; должны были произойти коренные изменения в материальной культуре, в ритуалах, в общественном устройстве, в декоративно-прикладном искусстве. И хотя общие причины трансформаций в целом понятны, а датировка очевидна - рассуждения, приведённые в предыдущем разделе, должны быть продублированы на основе анализа вещественных источников, по возможности освобождённого от давления представлений, складывающихся при чтении летописей. Главные проблемы, требующие собственно археологического решения, таковы:

- 1) время, обстоятельства, причины и последствия появления новых погребальных ритуалов и, соответственно, новых типов минусинских памятников;
- 2) относительная и абсолютная хронология типов памятников;
- 3) вопрос о длительности бытования традиций таштыкской культуры;
- 4) реконструкция процессов этнического, общественного и политического развития енисейских кыргызов.

Разбор этого комплекса вопросов строится ниже на тех же методических принципах, что и проведённый выше анализ таштыкских материалов.

IV. 1. Культура енисейских кыргызов в научной литературе (периодизации).

Культуру, сменившую таштыкский традиционный комплекс, называют по-разному: *культура чаатас*, *эпоха чаатас*, *культура енисейских кыргызов* и просто *кыргызская культура*. Первые два названия используют хакасское слово, обозначающее тип раннесредневековых могильников; но, как верно или почти верно заметил Л.Р.Кызласов, “нет чаатаса без таштыкского склепа”, так что разграничивать понятия *таштыкская культура* и *культура чаатас* вообще вряд ли корректно. На практике словом “чаатас” обозначают три типа могильников: чисто таштыкские, состоящие из склепов и поминов, чисто кыргызские, образуемые лишь оградами со стелами, и смешанные. Третье определение, использованное ещё С.В.Киселёвым и обоснованное в специальной статье Г.В.Длужневской (Длужневская 1982), кажется наиболее корректным, так как оно свободно от указанного выше противоречия и при этом объединяет все памятники определённого времени и территории по принципу

“гражданства” населения Кыргызского каганата. Предложение “объединить археологические памятники VI-XII вв. на территории Тувы и Минусинской котловины под единым названием - культура енисейских кыргызов” (Длужневская 1982: 118) в целом приемлемо, но следует внести ряд поправок. Во-первых, нет никаких причин считать кыргызскими памятники Тувы, датируемые ниже 840 г.; во вторых, обособление памятников X-XII вв. в отдельную *аскизскую культуру*, предложенное и аккуратно обоснованное Л.Р.Кызласовым (1975), вряд ли можно оспорить - соответствующие памятники резко специфичны. Наконец, в-третьих, нижняя дата кыргызской культуры (VI в.), принимаемая Г.В.Длужневской без обсуждений, как уже говорилось, вовсе неосновательна.

Культура енисейских кыргызов (или кыргызская культура) обособляется от таштыкской культуры по следующим признакам:

1) появляются сложенные из плитняка прямоугольные, округлые или многогранные ограды, со стелами по периметру или без них, со специально оформленным входом или без него, “пустые” или забутованные камнем, различной площади и высоты;

2) в этих оградах расположена одна могила (редко две) - полусферическая, овальная или подпрямоугольная, иногда с несложными деревянными конструкциями внутри, перекрытая накатом из жердей или бревёшек и плитняком поперек наката;

3) в могилах находят от одного до трёх погребений по обряду трупосожжения, сопровождаемые обильным приношением жертвенного мяса, изредка - теми или иными вещами и почти всегда - керамическим набором: на каждого погребённого приходится один-три грубых лепных горшка без орнамента, иногда с налестками на венчике и одна ваза - или круговая, из высококачественного теста и богато украшенная, или лепная, из того же теста, что и горшки;

4) иногда погребение совершено по обряду трупоположения; в таких случаях признаки погребального обряда и состав сопроводительного комплекса сильно варьируют; появляются погребения иных типов - с другими наземными сооружениями, на чаатасах или обособленные, иногда впускные, иногда безынвентарные, относимые к культуре енисейских кыргызов по дате или по отдельным находкам, характерным для кыргызской культуры (например, по кыргызским вазам);

5) Л.Р.Кызласовым исследованы два памятника сырцовой архитектуры, однако они не опубликованы; датирующие обстоятельства неизвестны, и можно лишь учитывать сам факт существования таких сооружений. Кроме того, увы, имеются основания сомневаться в качестве полевых исследований (в основном это устные свидетельства очевидцев).

6) С VII в. о енисейских кыргызах начинают регулярно повествовать письменные источники, прежде всего китайские летописи. С VIII в. появляются памятники рунической письменности.

7) Наконец, с енисейскими кыргызами связываются определённые специфические традиции в изобразительном искусстве, представленном прежде всего петроглифами.

В литературе существует несколько версий общей хронологии кыргызской культуры; каждая состоит из нескольких решений самостоятельных хронологических вопросов, и рассматривать их удобнее по отдельности, в соответствующих главах и разделах, чтобы не отрывать историю вопроса от его непосредственного изучения. Как уже говорилось, ни одна из версий начальной даты культуры енисейских кыргызов не может считаться доказанной. Логика требует связать появление новых традиций с политогенетическим процессом, однако умозрительного, пусть даже системного соотнесения летописных данных с недатированными археологическими данными здесь недостаточно. Не лучше обстоит дело и с периодизациями, и с относительной хронологией культуры. Вопрос о времени прекращения строительства чаатасов тоже нельзя считать решённым.

Весьма показательна история обобщения материалов с кыргызских чаатасов. Существуют две периодизации, предложенные в разные годы Л.Р.Кызласовым и Д.Г.Савиновым.

Периодизация, предложенная Л.Р.Кызласовым. Попытка периодизации кыргызской культуры предпринята Л.Р.Кызласовым в серии статей, обобщённых в 1981 году в соответствующем разделе двадцатитомной “Археологии СССР”. Выделены два этапа, койбальский и копёнский, датированные соответственно VI-VII и VIII-IX вв. Впоследствии, выяснив или вспомнив, что в Хакасии есть два разных посёлка с названием Койбалы, автор во

избежание путаницы переименовал Койбальский чаатас и койбальский этап - в утинский, по р. Ут, на которой расположен этот памятник. Следует также отметить, что ранее Л.Р.Кызласов допускал, что чаатасы могли строить и в IX-X вв., имея в виду уздечный комплект с Сырского чаатаса (Кызласов 1955: 256; 245 - рис.40: 4) - вероятно, от этой даты автор отказался в связи со своими дальнейшими периодизационными построениями: выделяя на материалах IX-X вв. особую “тюхтятскую культуру”, он не мог оставить в силе им же предложенные поздние даты для чаатасов.

Основным признаком ранних кыргызских памятников Л.Р.Кызласов счёл аналогии таштыкским находкам - прежде всего это т.н. “амулеты”, вырезанные из листовой бронзы симметрично развёрнутые профильные изображения конских голов; из таштыкских ножей, по мнению автора, следует “выводить” коленчатые кинжалы, известные главным образом по изображениям на каменных изваяниях и по единичным находкам (на Уйбатском чаатасе и в Архиерейской заимке). Наконец, автор считает некоторые сосуды, найденные в памятниках койбальского/утинского этапа, прямым продолжением некоторых таштыкских типов (Кызласов 1981: 48-49).

Следует, однако, отметить целый ряд противоречий. Так, “амулеты” и коленчатый кинжал найдены в том числе и на безусловно поздних Копённом и Уйбатском чаатасах, с относительной хронологией которых не спорит и сам Кызласов, так что считать их ранними признаками явно неверно. Коленчатые кинжалы изображены на изваяниях наряду с весьма поздними вещами (ниже вопрос о хронологии этих изваяний разбирается подробно). Наконец, совершенно непонятно, что это за сосуды таштыкских типов в кыргызских могилах на чаатасах. Кызласов перечисляет: кубковидные на полых поддонах, острорёберные, округлодонные, закрытые баночные, сосуды с прямой шейкой (некоторые из них действительно похожи на таштыкские, но это сплошь единичные сосуды, в ряде случаев найденные на поздних памятниках - как острорёберный сосуд из кыргызской могилы на Сырском чаатасе, отнесённом Кызласовым к числу поздних, причём в этой же статье), и сосуды с налестами на венчике, в таштыкских склепах неизвестные, но имеющиеся в катакомбах могильников Чааты, по мнению самого Кызласова - уйгурских VII-IX вв. Таким образом, “ранние” признаки фактически не работают, а значит, “ранний этап” выделен методически неверно.

Памятники “копённого этапа VIII - первой половины IX вв.” отличаются, по мнению Кызласова, наличием рунических эпитафий на стелах (таковых единицы, и не всегда можно утверждать, что текст имеет отношение к погребению), “тайниками” на площади оград, дополнительными и межкурганными погребениями, находками предметов конской упряжи и сбруи, а также поясных принадлежностей.

Здесь тоже практически всё неверно. Дополнительные и межкурганные захоронения найдены на всех чаатасах, где раскопки велись широкими площадями, и к выделению этапов отношения иметь они не могут. Так называемые “тайники” - это объединяющее название для жертвенников и впускных погребений в ямах-“ячейках”; то и другое характерно для всех памятников, просто поздние отличаются по составу инвентаря и по материалу, из которого изготовлены жертвенные сосуды. Уздечные, сбруйные и поясные принадлежности действительно обнаруживаются в основном на поздних памятниках, однако таких находок очень мало, и всеобщим признаком позднего этапа такие находки быть не могут. Такие вещи найдены в могилах разных типов, и если в погребениях по обряду кремации найдены действительно лишь морфологически поздние вещи, то в могилах с трупоположением ситуация иная. К тому же датирующие находки на одних чаатасах не снимают вопроса о датировке прочих комплексов.

Таким образом, аргументация периодизации, предложенной Л.Р.Кызласовым, не отвечает важному контрольному требованию - ею нельзя воспользоваться для атрибуции новых памятников, к тому же состоит она из натяжек и недоговорённостей. Вне зависимости от того, как датируются те или иные отдельные памятники, проблема датирующих признаков остаётся открытой.

Развитие кыргызской культуры по Д.Г.Савинову. Рассматривая вопрос о периодизации культуры енисейских кыргызов, Д.Г.Савинов в целом принял деление на этапы, предложенное Л.Р.Кызласовым (тем самым фактически приняв и все указанные выше погрешности).

Характеризуя ранние чаатасы, автор синхронизировал их с памятниками кудыргинского этапа, аргументируя это отсутствием на “ранних” чаатасах находок катандинского облика. Как известно, датировать по отсутствию чего бы то ни было нельзя. К тому же непонятно, почему эти катандинские типы непременно должны были быть усвоены кыргызами. Как и Л.Р.Кызласов, Д.Г.Савинов при выделении поздних памятников ориентировался на типологически поздние находки. Зная о разработках темы киданьских аналогий кыргызским материалам и учитывая поздние западносибирские аналоги ряду уйбатских находок, Д.Г.Савинов предложил дополнить периодизацию третьим, уйбатским этапом, датируемым IX-X вв. и включающим Уйбатский чаатас, могильники Над Поляной и Капчалы II, курганы близ ж/д станции Минусинск, часть вещей из Тюхтятского клада. Опорным для выделения этапа назван предметный комплекс тувинских погребений кыргызов, имеющих надёжный *terminus post quem* - 840 г., когда кыргызы разгромили уйгуров и захватили Туву (Савинов 1984: 30-34). Серийные лясские аналогии (благодаря которым уточняются даты многих тувинских памятников X в., подробности см. ниже) действительно и для копёвских вещей, что ставит под сомнение правомерность отделения уйбатского этапа от копёвского.

Замечу, что естественная на первый взгляд попытка увязать деление кыргызской культуры с алтайской периодизацией, основанной на выводах А.А.Гавриловой, приводит к большой путанице. В предыдущей главе уже говорилось о противоречиях в периодизации всаднических погребений Алтая, предложенной Д.Г.Савиновым. Привязывая кыргызскую периодизацию к этой противоречивой системе, автор лишь множит противоречия. Если свести воедино предложения Д.Г.Савинова, начиная с выделения позднего этапа таштыкской культуры и заканчивая выделением по той же схеме позднего этапа культуры енисейских кыргызов, то Саяно-Алтай оказывается не периферией древнего и раннесредневекового мира (чем он всегда и был) а вновь, как у Киселёва и Кызласова, культурогенетическим центром чуть ли не континентального значения.

Развитие культуры енисейских кыргызов, культурные трансформации в Минусинской котловине вовсе не должны были непременно и немедленно реагировать на события истории алтайских народов и культур; это становится неизбежным при вполне определённых обстоятельствах, которые, в свою очередь, могут быть вызваны совершенно посторонними для Саяно-Алтая событиями - скажем, в Средней и Центральной Азии или Китае - но всякий раз требуется особо обосновать соотнесение. Увязка алтайской и минусинской периодизаций, предложенная Д.Г.Савиновым, лишь “перенесла” на Средний Енисей проблемы изучения алтайских культур. Что же касается самого принципа “надстраивания” периодизаций дополнительными поздними этапами, то этот приём никак нельзя признать удачным, ибо при таком подходе противоречия и ошибки старой периодизации не исчезают, а только усиливаются недоработками, допускаемыми всяким исследователем при выделении новых этапов.

Таким образом, положение с периодизацией истории культуры енисейских кыргызов оставляет желать лучшего. Причин тому много, но кажется наиболее важным подчеркнуть вот что. За несколько десятилетий изучения культуры енисейских кыргызов никто из исследователей не пытался выяснить происхождение и проследить развитие специфических элементов кыргызской культуры - оград чаатасов и круговых ваз. Лишь Ю.С.Худяков в одной из работ писал о “тенденции эволюции основных типов кыргызских погребальных памятников - от сложных курганов типа чаа-тас [...] к более простым курганам хыргыс-ур” (Худяков 1982: 47), но и не более того. К тому же как раз позднейшие ограды на чаатасах наиболее сложны и монументальны, так что указанная “тенденция эволюции” на самом деле иллюзорна. Л.Р.Кызласов и С.В.Мартынов (1986) попытались вывести формы ваз из таштыкской керамической традиции, но предложенная ими система аргументов совершенно неубедительна из-за огрехов метода формализованного анализа (см. ниже подробнее). Между тем в основе анализа проблем относительной хронологии и периодизации должно лечь изучение обстоятельств появления новых традиций и вопрос об их развитии. В последние десятилетия появились материалы, позволяющие исследовать указанные вопросы без умозрительных построений, но на основе достоверных полевых наблюдений и типогенетического подхода, с опорой лишь на достоверные датировки и однозначные свидетельства источников.

Индикаторами культуры енисейских кыргызов являются следующие новые для минусинских культур признаки:

- 1) ограды со стелами или без стел, заменяющие в качестве наземных сооружений внешние конструкции таштыкских склепов;
- 2) одиночные захоронения, объективно противоположные групповым таштыкским могилам по своему ритуальному содержанию;
- 3) вазы, сделанные на круге - принципиально новый для среднеенисейских культур тип сосудов, из необычного глиняного теста «шиферной» фактуры, с необычным орнаментом и новой технологией, так и не ставшей общепринятой для минусинских племён;
- 4) грубые лепные горшки из низкокачественного глиняного теста, плохо сформованные и неровно обожжённые, словно противопоставленные как круговым вазам, так и отличной таштыкской глиняной посуде;
- 5) обильные мясные приношения, прежде не практиковавшиеся. Ниже эти инновации разбираются подробно.

IV. 2. Арбанский чаатас и проблема раннекыргызских памятников.

С 1986 по 1991 гг. Среднеенисейская экспедиция ЛО ИА АН СССР/ИИМК РАН проводила систематические исследования на небольшом чаатасе в урочище Арбан на правом берегу р.Тёи, чуть выше известного Фёдорова улуса (Аскизский р-н Хакасии) [1]. Памятник получил полевой индекс Арбан II; за пять лет он был исследован практически полностью - возможно, остались незамеченными детские погребения на периферии комплекса, не имевшие никаких внешних признаков. Раскопки производились согласно методике, разработанной М.П.Грязновым и впервые применённой к чаатасам Л.П.Зяблиным при исследованиях в Гришкином логу (Зяблин 1965). Методика предусматривает поэтапную расчистку и разборку развалов каменных наземных сооружений, а также многоуровневую фото- и графическую фиксацию; при грамотном и последовательном применении эта методика полевых исследований обеспечивает полноту и достоверность реконструкции первоначального устройства раскопанного памятника. В 1994 г. Д.Г.Савинов, возглавлявший в ту пору Среднеенисейскую экспедицию, и я, руководивший работами на памятнике, подготовили исчерпывающую публикацию материалов раскопок, однако статья «Арбанский чаатас» почему-то не была опубликована своевременно; учитывая определяющее значение этого памятника для изучаемых в настоящей работе вопросов, я приведу здесь основные характеристики комплекса (Табл.).

Арбанский чаатас - один из самых маленьких памятников этого типа. Его основой был таштыкский склеп (соор. 3), к северу от которого располагались как бы по углам ромба четыре ограды кыргызского времени, весьма небольшие, две со стелами (соор. 2 и 5) и две — без стел (соор. 1 и 4), несколько детских могил, две из них — с особыми наземными конструкциями (соор. 6 и 7). В южную часть склепа было впущено всадническое погребение, повредившее конструкции входа и западную часть южной стены склепа (без следов ограбления), а с юга к склепу примыкал комплекс детских могил с небольшими каменными выкладками. Интересной особенностью Арбанского чаатаса было взаиморасположение соор. 3 и 4: склеп и ограда стояли рядом на расстоянии полуметра; стенки, сложенные из плит, были возведены с одного уровня и неплохо сохранились на высоту 0,4-0,5 м - несомненно, обе кладки были очень близки по времени.

Как известно, каждый таштыкский склеп своеобразен; это естественно, ведь их строили реже, чем это было бы нужно при господстве обычной индивидуальных захоронений; однако существует ряд признаков, общих для всех склепов. Арбанский склеп [2] демонстрирует отступления и от этих общеташтыкских норм. Так, обычно каменные конструкции - лишь плитовая обкладка деревянного сооружения, сооружавшаяся до сожжения склепа, почему многие камни находят при раскопках обугленными и даже оплавленными. Арбанский же склеп имеет не обкладку, а воспроизводящую её ограду высотой до семнадцати слоёв плитняка, сложенную после сожжения самого склепа и потому частично перекрывающую угли. В склепе не найдено ни одной пряжки, хотя обычно их по несколько штук на каждый склеп. «Амулеты» в обычном смысле этого понятия отсутствовали, вместо них нашлись скверной сохранности

бронзовые пластинки с дырочками (Табл....). Необычен состав керамики - по сравнению с обычными наборами таштыкской посуды он гораздо беднее формами и особенно декором: среди орнаментов преобладает опоясывающий декор с доминантным элементом - парой “усов” или полуволют, расходящихся от разрыва в пояске (Табл....). Некоторые сосуды перед помещением в склеп были разбиты, а черепки разложены по разным погребениям. Иные погребения представляли собой заведомо неполные кучки пережжённых костей — выбраны пять-шесть крупных кальцинированных обломков, с ними лежат фрагменты двух-трёх разных сосудов и обломок маски, в ряде случаев заменённый специально изготовленными плакетками из той же гипсовидной массы, прямоугольными, в форме губ и т.п. Вдоль непо потревоженной северной стены камеры обнаружен целый ряд таких “неполных” (“парциальных”) погребений, среди которых, прямо напротив входа располагалось погребение с целой маской (Табл. ...).

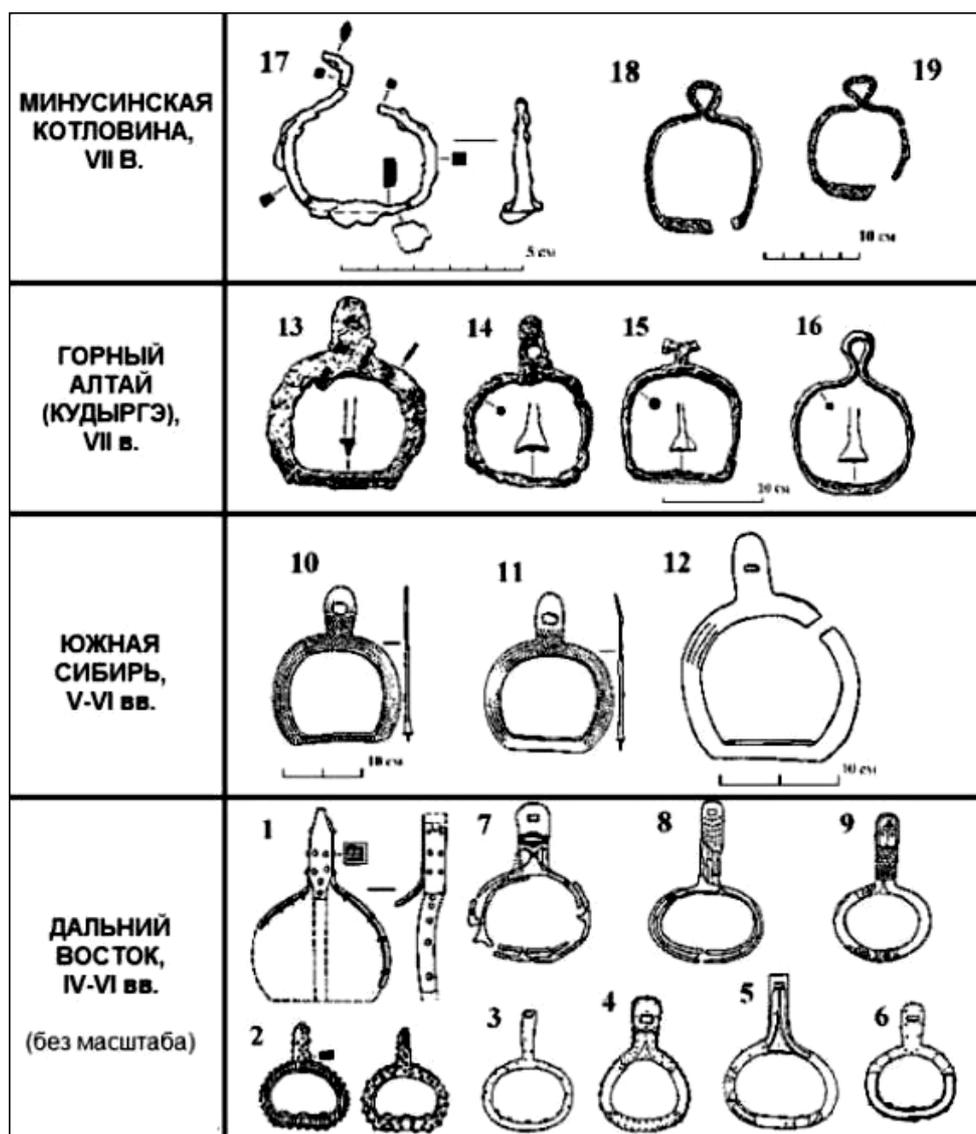


Рис 32. Модель стремени из склепа Арбанского чаатаса (№ 17) и её место в эволюции стремян IV-VII вв. 1,2,7 — Отани, Япония; 3,5,7-9 — Корея; 4 — Северный Китай; 10-11 — Улуг-Хорум, Тува; 12 — Крохалёвка-22, Алтай; 13-16 — Кудыргэ; 17 — Арбанский чаатас, 18 — Усть-Тесь, 19 — Кривинское, Минусинская котловина. (По И.Л.Кызласову, С.И.Вайнштейну, В.А.Грачу, Т.Н.Троицкой, А.А.Гавриловой, Л.А.Евтюховой, С.В.Киселёву. 17 — рис.автора).

Наиболее интересна находка миниатюрной железной модели стремени. Вещь сломана, но основные признаки “читаются” безусловно. Корпус выгнут из прутка сечением (2-2,5)х(2-2,5)

мм, он завершался 8-образной петлёй; подножка имела длину 35 мм, ширину 9-10 мм и толщину 2-3 мм; при переходе от корпуса к подножке подработаны углы (Рис. 32: 17). Значение этой находки весьма велико. С одной стороны, ею завершается дискуссия о том, существовала ли в таштыкское время традиция моделирования стремян; с другой стороны, эта модель открывает новые возможности для хронологических поисков.[3]

Миниатюрные модели всегда воспроизводят реально бытовавшие типы. Хронология стремян в настоящее время в целом разработана. Принципиально важно датировать модели по воспроизводимым ими типам, а не наоборот, как это пытался делать Л.Р.Кызласов (1960: 140). Приведённые им находки из эрмитажной коллекции (1960: 138 - рис.51: 9,10) являются не моделями, а детскими стременами и представляют легко датируемый тип предмонгольского времени (Амброз 1973: 87; Савинов 1984: 133-134; Степи Евразии...1981: 132 - рис.26: 11; 245 - рис.72: 23,43,44,64,91; рис.74: 3,4,5). Арбанская же находка - именно модель, а не детское стремя, и она имеет чёткие датирующие признаки, позволяющие уверенно говорить о времени изготовления модели и, соответственно, о датировке склепа. Это первый случай, когда таштыкский склеп можно датировать с опорой на независимую хронологическую систему, а потому имеет смысл рассмотреть данную ситуацию подробно, на фоне общей хронологии стремян.

Все ранние стремена, при всём их разнообразии, имеют ряд общих признаков, и среди них - узкие подножки: либо подквадратного сечения - у самых ранних экземпляров, либо Т-образного, у находок, относящихся к первому этапу развития собственно стремян как серийного типа; эти признаки объединяют все стремена IV-VI вв.(Рис.32: 1-12); как архаичный пережиток стремена с Т-образным сечением подножек встречаются и в VII в., например, в Кудыргэ (Рис.32: 13). Там же, в Кудыргэ, представлены едва ли не все остальные типы стремян древнетюркской эпохи - вскоре после того, как сама идея стремян как удобного подспорья для всадника была воспринята, механическое воспроизведение заимствованного типа прекратилось, и начался творческий поиск, следствием которого и стало такое разнообразие (Рис.32: 13-16), включавшее и новый тип стремян с широкими подножками (Рис.32: 14-19). *С.В.Киселёву. 17 - рис.автора).*

Бытует мнение, по которому стремена этих типов суть металлические воспроизведения ремennых петель, использовавшихся вместо стремян и ранее; это вполне возможно - если такие петли существовали, то они сильно облегчили восприятие идеи металлических стремян, они могли повлиять и на появление широких подножек, но это не имеет никакого отношения к хронологии типов металлических стремян и их моделей, воспроизводящих даже некоторые мелкие признаки прототипов. Принципиально важно подчеркнуть: металлические стремена появились у центральноазиатских и сибирских кочевников именно как следствие знакомства с соответствующей дальневосточной традицией. Массовое изготовление металлических стремян началось не ранее VI в., а все известные и датированные экземпляры с широкой подножкой (свидетельствующей об отказе от слепого воспроизведения китайских или корейских оригиналов) относятся не ранее чем к VII в.; не ранее этого времени была изготовлена и помещена в склеп и арбанская модель, датирующая содержащий её комплекс не ниже чем VII веком. Таким образом, в VII в. традиция сооружения склепов ещё бытовала. Выше говорилось о соотношении арбанских соор. 3 и 4; дата, полученная для склепа, верна и для сооружения 4. Это позволяет перейти к рассмотрению северного комплекса Арбанского чаатаса (№№ 1,2,4,5 - большие ограды, №№ 6 и 7 - детские погребения с наземными сооружениями), имея достаточно надёжный хронологический ориентир.

Большие ограды выстроены в технике сухой двух-трёхрядной многослойной кладки - из плитняка в верхних слоях и из блоков - в нижних. На общем плане (Табл. ___) видно, что ограды расположены как бы в вершинах ромба, вытянутого с юга на север. Южная (№ 4) и западная (№ 5) ограды стояли над погребениями, восточная (№ 1) и северная (№ 2) ограды могил не содержали, но в центре каждой из них располагалась небольшая яма со следами вертикальных деревянных столбов, некогда стоявших в геометрическом центре сооружения. У середины ЮЗ стенки ограды № 1 под небольшой выкладкой найден развал толстостенного сосуда, не подлежащего, к сожалению, даже приблизительному восстановлению: он практически раскрошен камнями развала. В центре ограды № 2 среди камней забутовки ямы найдены обломки желтоватого, толстостенного, грубого кринковидного сосуда со скошенным наружу

венчиком, первоначально стоявшего у подножия вертикального столба. Очевидно, что ограды №№ 1 и 2 — поминальные, и они явно соответствуют погребальным оградкам, №№ 4 и 5 соответственно. Ограды №№ 1 и 4 — без стел, сооружены в честь женщины средних лет, погребённой с разнообразным инвентарём, о котором ещё придётся поговорить в связи с вопросами происхождения кыргызских ваз (см. IV. 4). Ограды №№ 2 и 5 построены ради стандартного парного кыргызского погребения (соор.5, мог.1 — Табл. __). Комплекс должен быть признан безусловно одновременным, и хотя его дата “висит” лишь на модели стремени, эта дата достаточно надёжна — VII в.

Ситуация, открытая на Арбанском чаатасе, совершенно уникальна. Комплекс доказывает, что ограды, в течение веков возводившиеся над погребениями, в VII в. имели также значение ещё и поминальных сооружений. Напомню: одна из особенностей арбанского склепа состоит в том, что его каменная конструкция представляла собой не обкладку деревянного склепа или земляной усечённо-пирамидальной насыпи, а полноценную ограду, возведённую над уже сожжённым склепом. В ряде случаев раскопщики отмечали, что ограды чаатасов стоят на расплывшихся выбросах грунта из могил, то есть строились после погребения; во многих случаях отмечается также несориентированность ограды и могильной ямы — следовательно, если ориентирами служили некие астрономические или просто сезонные явления, то между погребением и сооружением над ним ограды проходило какое-то время, то есть в тех случаях, когда погребальную ограду не сопровождала поминальная, роль последней доставалась надмогильному сооружению.

Учитывая хронологию арбанского комплекса (VII в.); учитывая, что в течение полутора десятилетий этого века кыргызы жили под властью Сирского каганата; учитывая, что сирь — одно из основных телеских племён; учитывая, что одной из археологических “визитных карточек” теле являются именно поминальные ограды; учитывая, что ограды чаатасов, как теперь выясняется, были не просто надмогильными памятниками, но и весьма своеобразными поминальными оградками, — следует уверенно заключить, что погребально-поминальная обрядность енисейских кыргызов, выступающая как область существеннейших таштыкско-кыргызских различий, сформировалась под влиянием телеских, скорее всего — сирских традиций, и археологическая неидентифицированность сиров в данном случае не может быть препятствием для предлагаемых выводов. Таким образом, сопоставление арбанских поминальных оград с известными типами телеских и тюркских мемориалов укажет на конкретный источник заимствования. Подробнее других авторов классификацией поминальных сооружений занимался В.Д.Кубарев (1979; 1980; 1984).

Две поминальные ограды Арбанского чаатаса различны. Общие элементы композиции - подквадратная оградка, центральный столб, жертвенный сосудик, традиционная минусинская техника исполнения каменной конструкции. Разница в том, что у ограды № 2 в углы кладки встроены каменные стелы (одна из них с тагарской петроглифической сценой загонной охоты, другая — с окуневской личиной; ныне установлены подле Полтаковского ДК), а у ограды № 1 их нет, углы же слегка скруглены, как у склепов. Очевидно, что арбанские ограды имитируют инокультурный тип сооружений в традиционной для минусинских племён технике плитовой кладки.

Композиция ограды №1 — подквадратная ограда с вертикальным столбом в центре — имеет соответствие в виде алтае-тувинских поминальных оград уландрыкского типа; ограда №2 — подквадратная с вертикальными столбами по углам и в центре — соответствует структуре юстыдского типа поминальных оград (по классификации В.Д.Кубарева). Иных вариантов для соотнесения с арбанскими оградками не существует. Соотношение минусинских и алтае-тувинских оград очевидно: минусинские явно вторичны. В алтайских и тувинских оградках часто находят вещи катандинских типов; с этими оградками соотносятся изваяния с теми же реалиями. Так что заимствование не могло произойти до VII в., когда катандинские типы стали обретать значение элитных и легко заимствуемых компонентов государственных культур. Напрашивается уточнение даты Арбанского чаатаса с опорой на хронологию истории сиров, но об этом речь пойдёт особо и на большем материале.

Нет никакого сомнения, что облик кыргызских поминальных оград складывался под влиянием местных памятников. Ещё С.А.Теплоухов предположил, что тагарские ограды (по его терминологии — памятники минусинской курганной культуры), постоянно встречающиеся в

Минусинской котловине, служили образцом для строителей чаатасов (Теплоухов 1929:). Кыргызы, воспроизводя в знакомой им таштыкской технике инокультурную идею поминальных оград, ориентировались на древние местные сооружения, как бы сглаживая инородность заимствованной традиции.

Следует обратить внимание и на то, что представленный Арбанским чаатасом ритуал чрезмерно сложен, он включает непрактичное дублирование элементов (для одного погребения строили две конструктивно близких ограды), а это типичный признак недавнего заимствования. Складывается впечатление, что Арбанский чаатас зафиксировал очень ранний этап сложения кыргызских погребальных традиций; позже обряд был упрощён — отдельную поминальную ограду не возводили, просто надмогильную ограду строили спустя некоторое время после совершения погребения и считали её поминальной. Неоднократно отмеченная небрежность постройки чаатасовских оград находит себе объяснение: сооружая их, имели в виду не памятник, которому предстояло простоять как можно дольше, а конструкцию для ограниченного числа ритуальных действий, — отсюда и небрежность, ведь после совершения необходимых ритуалов сохранность ограды была уже не столь важна; потому-то стелы и не вкапывали на должную глубину, забутовывали кое-как, отчего они быстро заваливались, придавая чаатасу характерный хаотический вид.

Таким образом, материалы Арбанского чаатаса позволяют заключить следующее.

- 1) Сооружение склепов таштыкского типа не прекращалось и в VII в.
- 2) Начало развития чаатасовских традиций кыргызской погребальной архитектуры относится не ранее чем к VII в.
- 3) Появление новой системы погребально-поминальных ритуалов было связано с влиянием традиций телеских племён, культура которых включала поминальные ограды уландрыкского и юстыдского типов.

[1] Д.Г.Савиновым и мною подготовлена полная публикация памятника, но по неизвестной мне причине статья “Арбанский чаатас” так и не вышла.

[2] К сожалению, весьма неточна статья Э.Б.Вадецкой об арбанских масках (Вадецкая 2001), где использованы общие чертежи арбанского склепа, сделанные до детальной расчистки дна и не в полной мере отражающие особенности погребального обряда. Так, нет никаких оснований предполагать, что в северной части склепа находились т.н. «куклы»; указанное число масок в склепе — 30 — фантастично (все целые, что были, в этой статье и собраны, а с фрагментами всё обстоит гораздо сложнее, чем кажется Э.Б.Вадецкой); неясно, откуда взялось, будто в склепе найдены 15 сосудов с пеплом — таких случаев не более пяти; неточна характеристика деревянной конструкции.

[3] Л.Р.Кызласов, не разобравшись, поспешил сообщить в печати об одной из находок с Арбанского чаатаса, но перепутал реки и берега, указав вместо правого берега р. Тёи - левый берег р.Есь. (Кызласов 199:...). Это неправильно.

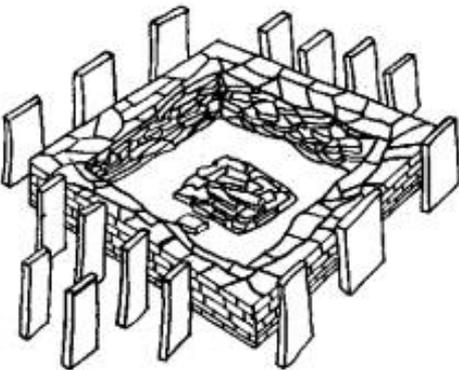
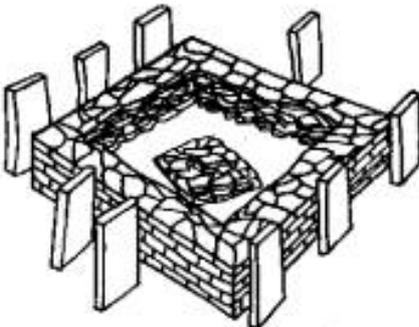
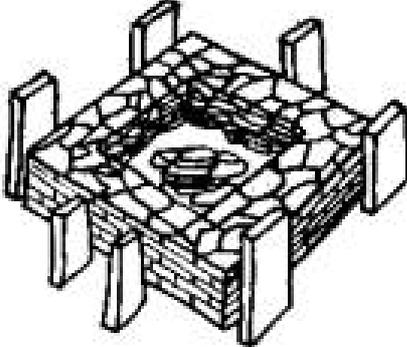
IV. 3. Конструкции оград на чаатасах.

Наряду со стабильными признаками, проявлявшимися на всём протяжении периода строительства чаатасов, их определяют и переменные признаки, разнообразие проявления которых позволяет рассчитывать на возможность раскрытия их датирующего потенциала. Таковы прежде всего разновидности орнамента круговых ваз (которым посвящён следующий раздел) и конструкции подквадратных оград со стелами, встречающихся на всех чаатасах без исключения и весьма разнообразных по особенностям своего устройства. Несколько десятков таких оград раскопано согласно методике, разработанной М.П.Грязновым и позволяющей подробно и достоверно выяснить первоначальный облик сооружения. Сопоставляя эти ограды между собой, нетрудно обнаружить некоторые закономерности их устройства, что, в свою очередь, при наличии общего чертежа с указанием расположения стел, могильных ям и границ развалов позволяет уверенно реконструировать некоторые важные детали конструкции оград Копёнского, Уйбатского и Сырского чаатасов, не зафиксированные раскопщиками (работы на этих памятниках проводились задолго до того, как была составлена упомянутая методика).

Учитывая размеры и степень сложности конструкции подквадратных оград со стелами, их следует сгруппировать следующим образом (Рис. 33).

I. Небольшие сооружения со стороной до 5 м, от которых остаются низкие развалы диаметром до 7-8 м, с 4 - 7 стелами. Стелы встроены непосредственно в углы кладки ограды с внешней стороны или стоят вплотную к ней; могилы объёмом около 1 куб.м, в плане подпрямоугольные (реже овальные), стенки ям укреплены тонкими жёрдочками. Основательные внутримогильные конструкции не зафиксированы. Памятники этой группы исследованы на чаатасах Новая Чёрная, Кёзеелиг-хол, Обалых-биль и Арбанском.

II. Сооружения со стороной 5-7 м, развалы диаметром 10-12 м, вокруг оград установлены 6-8 стел; кроме угловых стел, встречаются и простеночные; так или иначе оформлен вход в ограду; могилы сравнительно небольшие, иногда в них встречаются столбики, якобы поддерживавшие перекрытие, хотя конструктивно это не требуется. Стелы отставлены от кладки на расстояние, близкое их толщине. Памятники с такими признаками раскопаны на чаатасах Обалых-биль, Кёзеелиг-хол, Койбальском (Утинском), Тепсейском, Абаканском, в Гришкином логу и др.

ГРУППЫ	РЕКОНСТРУКЦИИ ОГРАД
<p style="text-align: center;">IV</p> <p>длина сторон примерно по 12-15 м</p>	
<p style="text-align: center;">III</p> <p>длина стороны около 10 м</p>	
<p style="text-align: center;">II</p> <p>длина сторон по 5 - 7 м</p>	

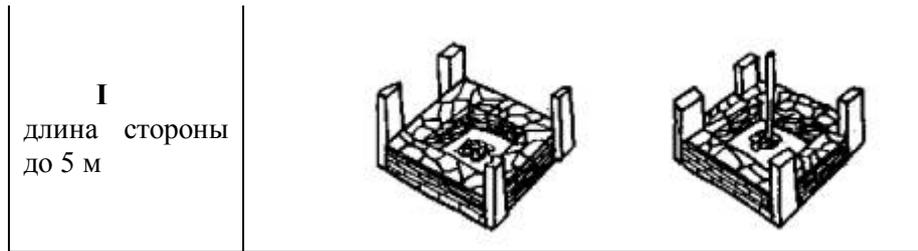


Рис.33. Размерно-конструктивная группировка оград чаатасов.

III. Крупные сооружения со стороной около 10 м, развалы диаметром 15-17 м, вокруг основания стоит до 10 стел, редко более; стелы стоят на расстоянии около 0,5 м от кладки. К этой же группе могут быть отнесены (по размерам) и шестиугольные в плане ограды, исследованные на чаатасах в Гришкином логу, Абакано-Перевозинском и Сырском. Могилы крупные, т.н. “кубические”, обычно с остатками внутримогильных деревянных конструкций. Ограды чаще всего не сориентированы с могилами; последние иногда обставлены врытыми на ребро плитками. Памятники - на чаатасах в Гришкином логу, Абаканском, Абакано-Перевозинском, Сырском etc.

IV. Очень большие сооружения, с развалами диаметром свыше 20 м, с 12-14 стелами, на Копёнском, Уйбатском, Ташебинском, может быть, и Кызылкульском чаатасах. Такие сооружения выстраиваются в меридионально ориентированный ряд на западном краю чаатаса; к востоку стоят ограды меньшего размера, но сходные по конструкции, близкие сооружениям III группы. Встречаются ограды с большими пристройками, которые, наряду с основными сооружениями, также окружены стелами. Могилы очень велики и всегда ограблены (видимо, бугровщиками в XVIII в.), однако остатки погребений и их описания, данные бугровщиком Селенгой, позволяют говорить о том, что нередко в одной могиле находились как скелеты, так и пепел погребённых. По тем же описаниям устанавливается наличие погребений со шкуркой коня и обкладкой стен могилы каменными плитками. На Копёнском чаатасе зафиксирована подбойная могила в пристройке. В составе сопроводительного инвентаря памятников IV группы нередко встречаются предметы сбруйных и поясных наборов, иногда из драгоценных металлов и роскошно украшенные; особенно это характерно для впускных захоронений в ямках-“ячейках”, которые в старой литературе неправильно называли “тайниками”. Следует отметить, что всем разновидностям подквадратных оград со стелами есть соответствия в виде таких же оград без стел; каждая размерная группа оград включает, кроме подквадратных, ещё и округлые в плане сооружения, которые тоже могут быть как со стелами, так и без стел. По всей видимости, состав типов сооружений на протяжении всей истории кыргызской культуры изменялся мало; к сожалению, большие чаатасы никогда не исследовались полностью, сплошным раскопом, и выяснить этот вопрос с необходимой подробностью пока невозможно.

Как видно из описания и из рисунка, основные элементы конструкции изменяются от I группы к IV в соответствии с одной и той же закономерностью, увеличиваясь в размерах и увеличивая число стел, усложняя оформление входа. Можно предполагать, что выделенные группы образуют хронологический ряд, что группировка отражает не синхронные, а диахронные различия, фиксирует этапы развития кыргызской погребальной архитектуры. Показательно, что сооружения I группы на Арбанском чаатасе датируются, как было показано в предыдущем разделе, VII веком, а находки в оградах IV группы часто имеют лясские (киданьские) аналогии и датируются X веком. Проверить это можно лишь путём независимого датирования памятников II и III групп с учётом того, что появление новых типов памятников само по себе не означает прекращения воспроизводства прежней традиции. Уже имеющиеся для оград I и IV групп даты - соответственно VII и X вв.— позволяют заключить, что если обряд погребения на чаатасах развивался от сложного — к упрощённому, то конструкции изменялись обратно - от простейших к более сложным.

	ТИП I	ТИП II	ТИП III
ЧААТАСЫ	 1	 2	 3
Михайловский мог-к	 4	 5	 6
ЧААТЫ I	 7	 8	 9
Наингэ-Сумэ	 10		 11

Рис.37. Типы ваз тувинской группы (7, 8, 9) и соответствия из других регионов.

Упрощение обряда, особенно если первоначально он был слишком сложен и трудоёмок, вполне естественно; однако постепенное усложнение конструкций оград, их увеличение, появление, вдобавок к угловым, ещё и простеночных стел — трудно свести к простому подражанию тагарским образцам. Их влияние, безусловно, сказывалось в выборе материала и конкретных конструктивных решений, однако сам процесс гипертрофирования конструкций должен был иметь своевременные причины, не сводящиеся к ссылке на стандартные типогенетические механизмы: речь как раз и идёт о том, чтобы объяснить срабатывание этих общекультурных закономерностей конкретными историко-культурными обстоятельствами. Ещё Л.А.Евтюхова указывала на то, что развитие минусинских культур нужно рассматривать не изолированно, но в связи с событиями истории центральноазиатских народов и государств (Евтюхова 1948: 5). И именно в Центральной Азии обнаруживаются культурные явления, весьма существенные для разбираемых здесь вопросов. Речь идёт об орхонских и других мемориалах высшей знати древнетюркских народов. Они неплохо обследованы, существует хорошая классификация (Войтов 1986). С одной стороны, эти монументальные памятники представляют собой предельно гипертрофированные и усложнённые варианты общей традиции, в их структуре есть практически все элементы, образующие любую поминальную оградку - с тем отличием, что этих элементов больше, и сами они выполнены в необычно крупных размерах - что неудивительно, ведь это памятники в честь весьма знатных людей. С другой стороны, эти монументы задавали тон для строительства поминков более позднего времени. Признаки, появившиеся как результат акцентирования составных частей комплекса для возвеличивания вождей и героев, при заимствовании оказывались вполне рядовыми и уже обязательными элементами композиции. Рассматривая историю центральноазиатских мемориалов под этим углом зрения, приходится заключить, что на самом деле эту традицию

нельзя считать дискретной - признаки как бы переливаются из одного периода в другой, смешиваются и меняют своё значение.

Мемориалы, обставленные по периметру не только угловыми, но и простеночными столбами, известны как на Алтае, так и в Центральной Азии. Наиболее интересна аналогия со знаменитым мемориалом в честь Кюль-тегина. Вдоль восточной (со входом) стены внешнего ограждения к северу и к югу от проёма были установлены по три каменных столба; вдоль других стен раскопы снаружи, к сожалению, не закладывались (Новгородова 1981:209 - рис.2). Ранних прототипов такое оформление не имеет; вероятно, это - изобретение устройств мемориала. Известно, что на этом мемориале дань памяти тюркского вождя отдавали представители самых разных южносибирских народов, в том числе и кыргызов. Вряд ли они видели что-то зазорное в подражании памятнику одному из самых прославленных степняков своей эпохи - Кюль-тегин и при жизни был очевидным образцом даже для своих врагов; а после смерти естественное стремление походить на него вполне могло вызвать волну подражаний в устройстве памятников, ведь смерть для кочевников была вовсе не концом, а лишь переходом в иное состояние, и от того, какие почести воздавали ушедшему оставшиеся на земле, зависел его "загробный статус". Если памятник, сооружённый в честь своего одноплеменника, напоминает (хотя бы только воображаемо) о мемориале в честь великого героя - то тень чужой славы падёт и на тех, кто при жизни не имел к ней никакого отношения. Такая логика вполне в духе раннесредневековых степняков, да и вообще в духе древности. Если все эти рассуждения сколько-нибудь основательны, то следует признать, что многостолбовые ограждения поминов не могли появиться до сооружения больших орхонских памятников, то есть до 710-х - 720-х гг. Памятник в честь Кюль-тегина построен в 731 году, и начиная с этого времени такие ограждения должны были стать среди кочевников второстепенных племён "признаком хорошего тона", знаком почтения к усопшим. Тогда небезосновательно предположить, что чаатасовские ограды второй группы строились начиная с третьей четверти VIII века.

Косвенным подтверждением послужит появление странного на первый взгляд обычая использовать при сооружении оградок уландрыкского типа стел белого цвета; на Среднем Енисее таким оградкам могут быть сопоставлены так называемые "курганы с белым камнем", уложенным на вершину "насыпи". К сожалению, это старые материалы, и о прочих деталях устройства наземной части этих памятников что-либо сказать нельзя. Выбор стелы по признаку цвета и использование камня того же белого цвета для акцентирования центра погребальной конструкции могут быть соотнесены с тем, что китайские мастера, присланные помочь при возведении памятника Кюль-тегину (а это зафиксировано источником), выбрали для изготовления изваяний белый мрамор, чего прежде в Центральной Азии не бывало. Изваяниями как таковыми азиатских кочевников удивить было трудно, а вот *белые* изваяния они, конечно, запомнили на всю жизнь - отсюда и белые стелы в уландрыкских оградках, и белые камни на "насыпях" нескольких минусинских курганов. Все такие памятники датируются опять же второй третью или четвертью VIII века - срок жизни одного поколения со дня погребения Кюль-тегина и время до разгрома Второго тюркского каганата уйгурами, при которых следовать тюркским обычаям явно не стоило (об этом см. также: Азбелев 1991а). Таким образом, влияние выдающегося памятника на культуру своего времени было, можно сказать, системным.

Конечно, предложенный подход к определению общей хронологии некоторых типов ритуальных сооружений нельзя назвать академически строгим. Должен, однако, напомнить, что тема датирования по аналогичным конструкциям вообще почти не разработана, в то время как допустимость и перспективность такого подхода представляется мне очевидной, и сделать первые шаги в этом направлении кажется мне полезным.

Итак, три группы оград из четырёх получают совершенно независимые хронологические ориентиры:

- I. начиная со второй трети VII в., со времени сирского эльтеберства на Енисее;
- II. начиная со второй четверти или трети VIII в., по орхонским прототипам;
- III. ?
- IV. с X в., по ляоским аналогиям.

Даты для групп I и IV практически бесспорны, увязка группы II с орхонской традицией по меньшей мере небезосновательна. Оставшиеся без абсолютных дат ограда III группы отличаются прежде всего резким увеличением размеров могил и распространением признаков, рудиментарно воспроизводящим таштыкские склепы. Здесь оказывается затронутой совершенно особая тема - об исторических судьбах таштыкских традиций и их носителей. Ей будет посвящён специальный раздел, где среди прочего пойдёт речь и об особенностях кыргызских оград III группы. Здесь же следует заключить, что предположение о диахронном значении размерно-конструктивных различий между кыргызскими памятниками в целом находит себе немало косвенных подтверждений. Для того, чтобы относительная хронология кыргызских памятников была выстроена корректно, группировку по конструкциям нужно сопрячь с анализом развития иных переменных компонентов кыргызской культуры. Таковы, как уже говорилось, орнаменты круговых ваз, которым посвящён следующий раздел.

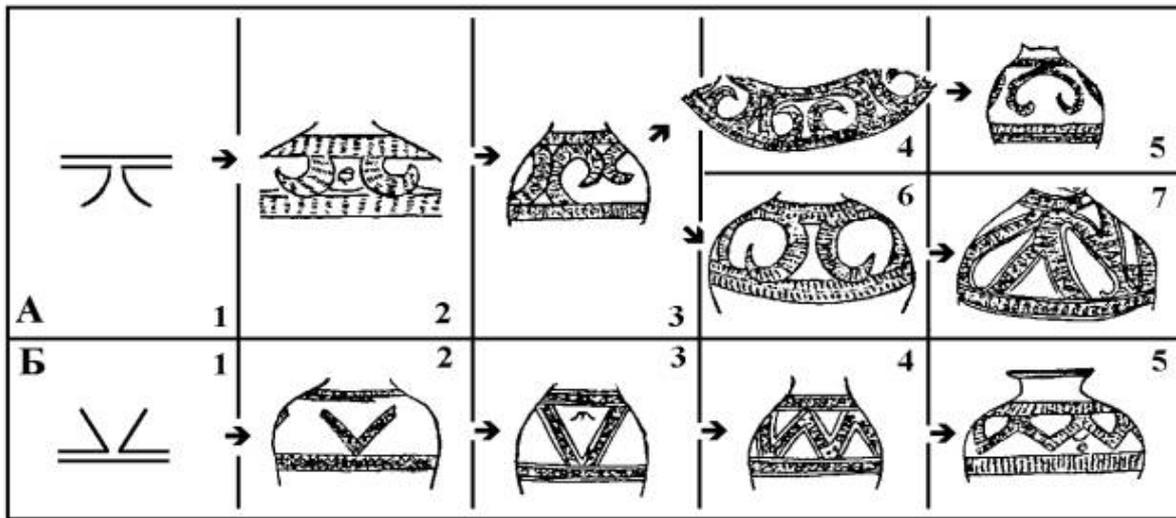


Рис.36. Типогенез волотовых (А) и зигзагообразных (Б) орнаментов минусинских ваз.

4. Раннесредневековые центральноазиатские вазы и проблема сложения кыргызской культуры.

Наиболее эффектной группой глиняных сосудов из раннесредневековых южносибирских погребений являются сделанные на круге вазы. Отточенность форм и изящество пропорций, сложная и разнообразная орнаментика, особая техника изготовления - всё это резко отличает вазы от сопровождающих их более или менее грубых лепных горшков. Известны две разновидности, обычно называемые *кыргызскими* и *уйгурскими*; однако этнические определения часто неточны и некорректны, так что правильнее говорить о минусинской и тувинской группах.

Изучение ваз имеет свою историю. Л.А.Евтюхова показала, что вазы, всего вероятнее, изготавливались на месте, а не ввозились откуда-то извне (Евтюхова 1948: 92-95). С.В.Киселёв пришёл к выводу, что техника изготовления и орнаменты ваз - южного, то есть китайского происхождения, и отнёс появление ваз на Енисее к VII в. (несмотря на противоречие этой датировки с другими хронологическими воззрениями этого автора), Находки ваз на минусинских чаатасах поняты им как свидетельства китае-кыргызских связей (Киселёв 1951:588-590).

Л.Р.Кызласов располагал уже не только минусинскими, но и тувинскими находками и мог сравнивать их. Автор решил, что те и другие примерно одновременны и равно восходят к прототипам хуннского времени. По мнению Л.Р.Кызласова, традиция изготовления круговых ваз была принесена в Южную Сибирь из Центральной Азии в II - I вв. до н.э. гянгунями

(Кызласов 1969: 74-75). Правда, существование соответствующей традиции на Енисее в первой половине I тыс.н.э. ничем не подтверждено, а современные данные не позволяют помещать гянгуней на Енисее - как показано выше, это было джунгарское племя (Боровкова 1989: 62).

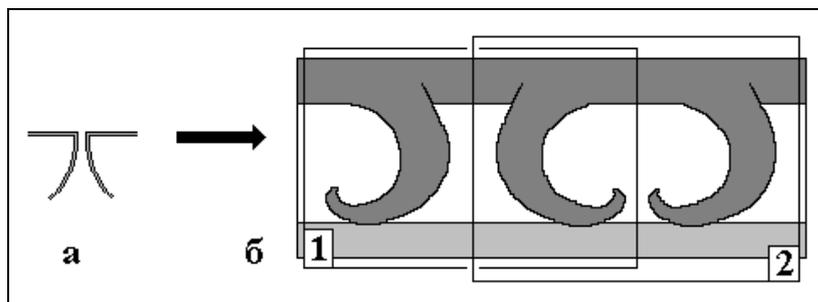


Рис.35. Механизм трансформации мотива парных волн в кыргызской культуре: *а* - исходный таштыкский орнамент; *б* - кыргызский вазовый орнамент, сложившийся при переходе на круговой сосуд с лепного. *1* - мотив, воспринимаемый как элемент раппорта в начальной фазе трансформации; *2* - мотив, воспринимаемый как элемент раппорта во второй фазе.

ТИП I	ТИП II	ТИП III	ТИПЫ IV-VI
1	5	10	14
2	6	11	15
3	7	12	16
4	8	13	
	9		

Рис.34. Классификация орнаментов минусинских круговых ваз.

Позже в статье Л.Р.Кызласова и С.В.Мартынова был предложен опыт формализованного изучения пропорций раннесредневековых южносибирских сосудов, в том числе ваз. К сожалению, авторы не учли неизбежной асимметричности лепных горшков, часто весьма заметной - из нескольких профилей одного сосуда можно построить целую типологию. Не учтены ни орнаменты, ни ситуации обнаружения сосудов, забыты абсолютные размеры. В результате выводы оказываются совершенно недостоверными. Авторы “выводят” минусинские

вазы из таштыкской керамической традиции, причём техника изготовления круговых сосудов, по мнению авторов, каким-то образом сохранялась с хуннского времени, никак не проявляясь в таштыкских материалах. (В скобках напомним, что черепица с крыши здания близ Абакана, по тесту напоминающая круговые вазы и служившая зацепкой для рассуждений о существовании подобных керамических производств на Енисее ещё в хуннское время, оказалась, как и следовало ожидать, импортом). Авторы также решили, что кыргызы и уйгуры как бы обменивались традициями: вазы могильников Чааты восходят к минусинским, оказывающимся прототипами, а кыргызские сосуды с налпами на венчике заимствованы из культуры могильников Чааты, по Л.Р.Кызласову - уйгурских (VIII-IX вв), но при этом входят в тип, отнесённый к VI в. (Кызласов, Мартынов 1986).

Опыты формализованного анализа были продолжены в совместной монографии Л.Р.Кызласова и Г.Г.Король (1990). Орнаменты классифицированы по “форме” и по способам нанесения. При этом объединены все композиции из оттисков штампа и налпы на венчике. а вот версии зигзагообразного узора оказались в разных типах. Исследование строится прежде всего на изучении техники нанесения декора. а композиции. напротив. проигнорированы. Выделены технологические группы орнаментов, что само по себе интересно и перспективно — но и только. Вывод о том. что кыргызские орнаменты происходят из таштыкских. обоснован недостаточно: все аргументы. приведённые в его пользу. могут с той же убедительностью свидетельствовать и о простом сосуществовании разнородных традиций (происхождение которых оказывается неизвестным). Наконец. без подробного разбора оставлен вопрос о соотношении минусинских и тувинских vaz.

Если сравнить итоги двух попыток формализованного исследования раннесредневековой южносибирской посуды. то бросается в глаза их взаимная противоречивость: одни и те же памятники оказываются то ранними. то поздними. Чувствуется, что внутренняя хронология изучаемых культур авторов на самом деле не интересует. Если называть вещи своими именами. то налицо попытки подвести модную аналитическую базу под заранее придуманную теорию.

Авторам хочется. чтобы кыргызские традиции “выводились” из таштыкских - так оно у них и получается.

Отмечу также обзор раннесредневековой южносибирской посуды. данный в статье Ю.С.Худякова (1989). Выделена “чаатинская культура”, одним из основных признаков которой оказываются, разумеется, круговые вазы; в остальном работа носит именно обзорный характер. Вопросы хронологии, как обычно у этого автора, не обсуждаются. Никто из исследователей, обращавшихся к изучению vaz, не пытался выяснить типолого-хронологическое соотношение разных групп по типологическим рудиментам, не пробовал интерпретировать наблюдения, связанные с этими сосудами. Между тем именно здесь, как мне представляется, кроется ряд возможностей. Следует особо остановиться на некоторых специфических обстоятельствах. Изучение vaz как особого культурного явления затруднено неочевидностью атрибуции могильников Чааты. Л.Р.Кызласов счёл их кладбищами уйгурских гарнизонов Шагонарских городищ (Кызласов 1969:



Рис. 34а. Сосуд с Ай-Дая.

74-77; 1979: 158). Однако уйгуры кочевали. а чаатинские материалы не содержат явных указаний на кочевой образ жизни (Гаврилова 1974: 180). Другие авторы, не оспаривая предложенной Л.Р.Кызласовым даты, полагают, что могильники Чааты нужно связывать не с уйгурами, а с каким-либо зависимым племенем (Худяков, Цэвендорж 1982: 74-77; Савинов 1984: 87-88). Д.Г.Савинов указал несколько чаатинско-кокзельских аналогий и предположил, что чаатинские катакомбы могли быть устроены сохранившимися до уйгурского времени

кокэльцами (Савинов 1987: 28-29); следует отметить, что предложенная автором аналогия между чаатинскими катакомбами и кокэльскими подбоями не имеет права на существование: это совершенно разные типы могильных ям, сходство тут лишь по факту усложнённости. Резче всех возразил Л.Р.Кызласову О.Б.Варламов (1987) — он датировал Чааты первой половиной I тыс. — правда, без должных объяснений, основываясь прежде всего на сходстве чаатинских катакомб с сарматскими; для датировки спорного и выразительного комплекса этого недостаточно. Позже Ю.С.Худяков (опять же без аргументации) отнёс чаатинские могилы ко времени “до образования Первого каганата и широкого распространения... древнетюркского предметного комплекса (Худяков 1989: 142). Таким образом, разброс датировок могильников Чааты — от I-V до VIII-IX вв.

В основе этих сомнений — отсутствие среди чаатинских материалов прямо датирующих находок, общая для южносибирской археологии неразработанность методов датирования и странное стремление отдельных исследователей непременно привязать каждый тип памятников к тому или иному этнониму из китайских и других письменных источников. Вместе с тем остаётся неразработанным такое направление поиска, как изучение системы культурных связей чаатинцев на фоне общих хронологических ориентиров; история региона *в целом* известна неплохо, и кажется разумным использовать это обстоятельство.

Нет сомнений в том, что чаатинцы - пришельцы в Туве; немногочисленные чаатинско-кокэльские параллели хотя и требуют внимательного исследования, ещё не дают повода для разговора об этнокультурной преемственности. Культура могильников Чааты многими аналогами связывается с Восточным Туркестаном и Средней Азией, причём сопоставимые культурные явления обыкновены для Туркестана и исключительны для Тувы и вообще Южной Сибири. Поэтому родиной чаатинцев следует считать указанные территории. Ряд культурных явлений, типичных для чаатинских могил, изредка встречается в кыргызских материалах, так что эти пришельцы из Туркестана имели какие-то связи с енисейскими кыргызами и были при этом, вероятно, влияющей стороной. Немногочисленность чаатинских могил косвенно свидетельствует о краткости искомого промежутка времени. Несколько глиняных черепков с характерными чаатинскими признаками найдены на одном из орхонских мемориалов Второго каганата, что указывает (опять же косвенно) на некое участие носителей этих традиций в истории тюрков.

Крупные переселения восточнотуркестанских племён в Центральную Азию имели место в первой четверти VII в., когда телеские племена, т.н. *гаогюйские поколения*, бежали от истребления, назначенного им правителями Западного каганата. Крупнейшие из этих племён - сиры, кит. *сийяньто*, и уйгуры, кит. *хойху*, - поочерёдно создавали в Монголии собственные каганаты, причём если уйгуры были вековыми врагами тюрков и кыргызов, то сиры, напротив, держали у кыргызов своего наместника-эльтебера и были прямыми союзниками правящего тюркского рода Ашина (обо всём этом уже подробно говорилось в предыдущей главе). Можно с высокой долей уверенности считать, что появление чаатинцев-туркестанцев в Туве и их недолгое там пребывание связаны с кратким периодом сирского господства в Центральной Азии в 630-646 гг. Следует согласиться с теми, кто видит в чаатинцах второстепенную, зависимую группу. Очевидное сходство круговых ваз из чаатинских катакомб с хуннскими сосудами заставляет осторожно предположить здесь проявление неизвестной культуры восточнотуркестанских хуннов-*юэбань*, но это уже из области догадок. Что же касается хронологии могильников Чааты I-II, то они датируются второй четвертью - серединой VII в. (об этом см. также: Азбелев 1991). Кыргызские аналогии чаатинским материалам следует расценивать как материальное подтверждение летописного сообщения о том, что сиры держали на Енисее своего эльтебера “для верховного надзора” над кыргызами.

По ряду черт вазы тувинской группы, как уже не раз отмечалось, близки хуннской традиции, но есть и существенные отличия. Хуннские вазы иначе украшены, их орнаменты богаче и сложнее. Технологически хуннские вазы не отличаются от прочей посуды, а чаатинские, как и вообще раннесредневековые — наоборот, уникальны для своего культурного контекста. Набор форм хуннских ваз (Давыдова 1985: 38-43) не совпадает с набором форм ваз раннесредневековых. Большинство исследователей согласно с тем, что чаатинские вазы в конечном счёте восходят к хуннской традиции - но нужно помнить, что их разделяет ряд этапов типологического развития, не представленный до сих пор в вещественном материале.

Минусинские (“кыргызские”) вазы подобного сходства с хуннскими уже не обнаруживают. Естественно предположить, что если линия развития этой традиции вообще едина, то типологически тувинские вазы “старше” минусинских и, возможно, непосредственно прототипичны им. Проверить это можно лишь путём сопоставления ваз тувинской и минусинской групп, независимого от сравнения с хуннскими прототипами. Наибольшие отличия - в орнаментах: минусинские вазы украшены весьма своеобразно. Причины этого своеобразия должны быть рассмотрены особо.

Орнаменты минусинских ваз едины по технике нанесения узора (очерченные полосы оттисков зубчатого цилиндрического штампа) и в размещении (всегда на верхней трети тулова, прямо под горлом, между двумя опоясывающими полосами). Основанием их классификации может служить заполнение межполосного пространства. Выделяется шесть групп, три из которых вариabельны и серийны, а другие три представлены уникальными или редкими экземплярами. Эти группы далее условно именуется типами орнаментов минусинских ваз (Рис.34). В кыргызской культуре наиболее распространены - и совершенно специфичны - волотовые и зигзагообразные узоры(типы II и III). Эта специфичность, то есть отсутствие аналогов в тувинской группе, требует искать истоки данных типов в местной минусинской орнаментике предшествующего времени - в таштыкской традиции (подчеркну: речь идёт не о таштыкском происхождении минусинских ваз вообще, а об истоках двух типов орнамента, не более того). Волоты, расходящиеся от точки разрыва опоясывающей полосы (чаще вверх, реже вниз), украшают многие таштыкские сосуды. Обычно на сосуде — лишь одна пара волот, выступающая как семантическая доминанта декора. Впрочем, известен ряд сосудов, украшенных более чем одной такой доминантой: с чаатасов Уйбатского (АИ 1941: 313 — Табл.XLVIII — Рис. 2) и Тепсейского (Грязнов 1979: 95 — Рис. 55 а: 14), а также с разнокультурного памятника Ай-Дай в Бейском районе Хакасии (Массон, Пшеницына 1994: 17, рис.). Эти сосуды свидетельствуют о психологической готовности таштыкцев к превращению семантической доминанты в рядовой элемент раппорта. Важно заметить, что всё это сосуды на поддонах, причём айдайский сосуд имеет на поддоне подтреугольные прорези, совершенно как на металлических котлах (Рис. 34а). Значит, эти необычные сосуды должны были изобразить или, скорее, обозначить металлические котлы. Тогда удвоение пар волот на таштыкских глиняных “котлах” — попытка воспроизвести обычными для местной керамики способами декор металлических котлов. Металлические котлы — редкость в таштыкских склепах, зато их много в кокэльских и чаатинских могилах. В таштыкской орнаментике перепутались два типа декора — узор с доминирующей парой волот, или “усов”, и имитация декора металлических котлов. Такое смешение традиций могло происходить и в культуре могильников Чааты, и в кокэльской культуре.

При увеличении числа пар волот происходит неизбежная трансформация узора: волоты соседних пар, расположенных близко одна от другой, воспринимаются как самостоятельный элемент раппорта, как бы образуя “закрытую” композицию, со временем замещающую исходную “открытую” (Рис. 35). Развитие этой тенденции приводит к появлению совершенно нового орнамента, в наиболее полном виде воплощённого на вазах с Ташебинского и Уйбатского чаатасов, уверенно относимых по вещам к числу позднейших (Рис.36 А).Основой для понимания происхождения и развития зигзагообразного узора минусинских ваз является уникальная находка из центральной могилы соор.№5 Арбанского чаатаса — ваза, имеющая декор в виде трёх угловидных фигур. С одной стороны, это утроение разновидности “усов” таштыкского декора, а с другой — этот орнамент связан с классическим зигзагообразным узором минусинских ваз через редкий промежуточный вариант, представленный находками с Обалых-биля и из Теси. Выстраивается ряд (Рис.36 Б), имеющий три безусловные хронологические привязки. Во-первых, это в целом более ранняя дата таштыкских традиций по сравнению с кыргызскими; во-вторых, это сравнительно ранняя дата Арбанского чаатаса; в-третьих, это безусловно поздняя абсолютная дата типологически позднейшей капчальской вазы, определяемая по вещам не ранее IX, а может быть, и X века.Как волотовые, так и зигзагообразные узоры ваз восходят к разновидностям одного таштыкского орнамента. Типологически ранняя арбанская ваза, открывающая эволюционный ряд кыргызских зигзагообразных узоров, найдена в составе заведомо единовременного комплекса, образуемого таштыкским склепом и четырьмя оградами (единовременность устанавливается

планиграфически и стратиграфически). Среди сосудов из арбанского склепа абсолютно преобладали горшки именно с этим таштыкским орнаментом, и можно предполагать, что преобладание узора с семантической доминантой в виде симметрично развёрнутых волн уже само по себе указывает на относительно позднюю дату.

Характер изменений декора показывает, что гончары - изготовители ваз, хотя и были знакомы с местной орнаментикой, но не понимали значения тех или иных традиционных элементов декора, знали только, что вот это почему-то важно. Прежде всего на вазах появились самые распространённые (судя по арбанским материалам) в это время таштыкские орнаментальные мотивы, имеющие прямые соответствия в кокельской и чаатинской традициях. Принцип изменения орнамента при переносе его с лепных сосудов на круговые таков: вращение гончарного круга диктует мастеру ритмичность узора, и при стремлении подчеркнуть, усилить значение традиционно важного элемента путём его повторения семантическая доминанта декора превращается в элемент раппорта. Скрытое значение орнамента, ранее требовавшее от мастера точного следования канону, уступает место внешней эстетике и завершённости композиции. К бытовому гончарству добавляется ремесло (нацеленное в данном случае на производство лишь одной формы).

Логика развития декора требует поместить уникальные вазы из центральной могилы кург. 6 Койбальского чаатаса (Рис.39: 2,3) и неопубликованную вазу с лямбдаобразными фигурами (раск. А.И.Поселянина, мог-к Белый Яр близ Изыха) между третьим и четвёртым этапами типологического развития - соединение традиции ваз с таштыкским орнаментальным каноном уже произошло, но единые стандарты декора ещё не устоялись, идёт что-то вроде творческого поиска (явление, сходное с чрезмерным разнообразием форм стремян в могильнике Кудыргэ). Быстрота, с которой минусинские гончары забыли семантику декора; уникальность способа изготовления ваз для Минусинской котловины; необычно высокое качество ваз на фоне общего упадка гончарного искусства в кыргызское время; корреляция ваз с оградами чаатасов и со всадническими могилами, не имеющими таштыкских прототипов,- всё это, вместе взятое, однозначно подтверждает вывод об исходной инородности круговых ваз для культуры минусинских племён и полностью подавляет теорию о местном происхождении изучаемой керамической традиции. Более того: характер трансформации декора, вытеснение большинства таштыкских форм и орнаментов, появление вместе с вазами новых типов памятников, несомненная престижность ваз в кыргызской ритуальной иерархии типов - всё это говорит о появлении на Среднем Енисее некоей группы переселенцев, господствовавшей политически и культурно.

Была ли в числе источников инноваций культура могильников Чааты? Ответить можно, лишь обратившись к вазам тувинской группы, имея в виду вопрос о соотношении разных групп ваз и ища указания на типогенетические связи с ясной направленностью (уже не только на керамическом материале).

Сосредоточенность и очевидная хронологическая близость тувинских ваз не позволяют строить эволюционные ряды, однако пропорции и орнаменты коррелируют (в отличие от минусинской группы), что позволяет классифицировать вазы. Признаки, общие для всей тувинской группы, таковы:

- 1) интенсивное вертикальное лощение, почти каннелирование тулова, безусловно восходящее к хуннской традиции и эпизодически проявляющееся на минусинских вазах;
- 2) в зоне наибольшего расширения тулова есть опоясывающая полоса оттисков штампа;
- 3) сетчато-ромбический рисунок оттисков штампа.

Выделяются три типа, каждый из которых имеет частичные соответствия среди ваз, найденных за пределами Тувы (Рис.37):

Тип 1. Диаметры горла и дна относятся как 8:10. Вся нижняя половина тулова “каннелирована”, верхняя треть покрыта несколькими опоясывающими полосами оттисков штампа. Тулово расширено в верхней трети. Максимальный диаметр тулова в полтора раза меньше высоты (яйцевидное тулово).

Тип 2. Диаметры горла и дна относятся как 6:10. “Каннелирована” как верхняя, так и нижняя половины тулова. Зона лощения ограничена сверху узкой полосой оттисков цилиндрического штампа. Тулово расширено в средней части. Максимальный диаметр тулова в полтора раза меньше высоты (яйцевидное тулово).

Тип 3. По декору идентичен типу 2, но отличается пропорциями - диаметр тулова равен его высоте, отчего вазы выглядят приземистыми (округлое тулово).

	ТИП I	ТИП II	ТИП III
ЧААТАСЫ	 1	 2	 3
Михайловский мог-к	 4	 5	 6
ЧААТЫ I	 7	 8	 9
Наинтэ-Сумэ	 10		 11

Рис.37. Типы ваз тувинской группы (7, 8, 9) и соответствия им из других регионов. Масштаб разный.

В таблицу как отдельные группы включены вазы из склепов Михайловского могильника на реке Кие (Мартынова 1976) и вазы из разрушенных погребений у буддийской кумирни Наинтэ-Сумэ в Монголии, в среднем течении реки Толы (Боровка 1927). Вазы из Монголии близки тувинским, но заметно грубее - возможно, это подражания. Вазы Михайловского могильника по пропорциям ближе к тувинской группе, а по орнаменту - к минусинской. Малочисленность этих находок не позволяет делать далеко идущие выводы, но замечу, что михайловские вазы доказывают: носители таштыкских традиций и изготовители ваз существовали в едином социуме, раз их можно было вместе хоронить. Среди групп, представленных на Рис.37, наибольшее удаление от чаатинского стандарта демонстрируют минусинские вазы. Здесь представлены аналогии всем вариантам пропорций, но зависимости между пропорциями и декором нет. Неспецифические признаки минусинских ваз в целом повторяют традиции тувинской группы, но с утратой принципов компоновки элементов и с добавлением специфических признаков местного происхождения. Совершенно очевидно, что

минусинская традиция по сравнению с тувинской типологически “моложе”. Однако это ещё не служит основанием для вывода о том, что на минусинскую традицию повлияла именно чаатинская: всё вышесказанное не исключает и прямого поочерёдного заимствования из некоего неизвестного третьего центра. Расставить всё по своим местам поможет разбор ситуаций обнаружения ваз.

Опорным памятником здесь служит могильник Чааты I. В могильнике Чааты II ваз нет, но в силу однокультурности этих курганных групп привлекать его материалы можно. Чаатинские катакомбы могут быть разделены на 2 группы. В 11 случаях погребённый лежит головой влево от входа в камеру и ориентирован между СЗ и СВ (тип 1). Ни в одной из этих могил нет сосудов с “усами”. В 19 случаях погребённый уложен головой вправо от входа в камеру и ориентирован между СВ и ССВ (тип 2). Именно в этих могилах найдены три из четырёх железных котлов. Это деление погребений не является половозрастным; вероятно, оно отражает какие-то социальные различия. Сосуды размещаются в особых нишах близ головы погребённого со стороны дромоса. Исключения разбираются ниже.

Набор посуды был, как можно судить по имеющейся выборке, регламентирован. Из 7 круговых ваз 4 найдены с лепными баночными сосудами, 3 — с металлическими котлами. Из 7 сосудов с “усами” 6 были единственными сосудами в погребении, один стоял с простым баночным горшком. Вазы ни разу не встречены вместе с сосудами с “усами”, котлы не совмещались с баночными сосудами. Ваза стоит либо с котлом, либо с баночным сосудом; сосуд с “усами” — либо один, либо с банкой. В нетипичной позиции стоит либо ваза, либо сосуд с “усами”. Эти сопоставления показывают, что в сознании строителей чаатинских катакомб существовала чёткая иерархия жертвенных сосудов. К высшему рангу относились вазы и сосуды с “усами”; показательна лепная имитация вазы, украшенная несколькими парами волнот-”усов” — своеобразный гибрид обеих престижных форм, как бы зародыш будущей минусинской традиции (Кызласов 1969: 68 — Рис.17: 1). К низшему рангу относились баночные сосуды и котлы, причём приведённая группировка катакомб показывает, что и на этом уровне существовали различия — может быть, как-то проявившиеся в наборе жертвенных сосудов.*

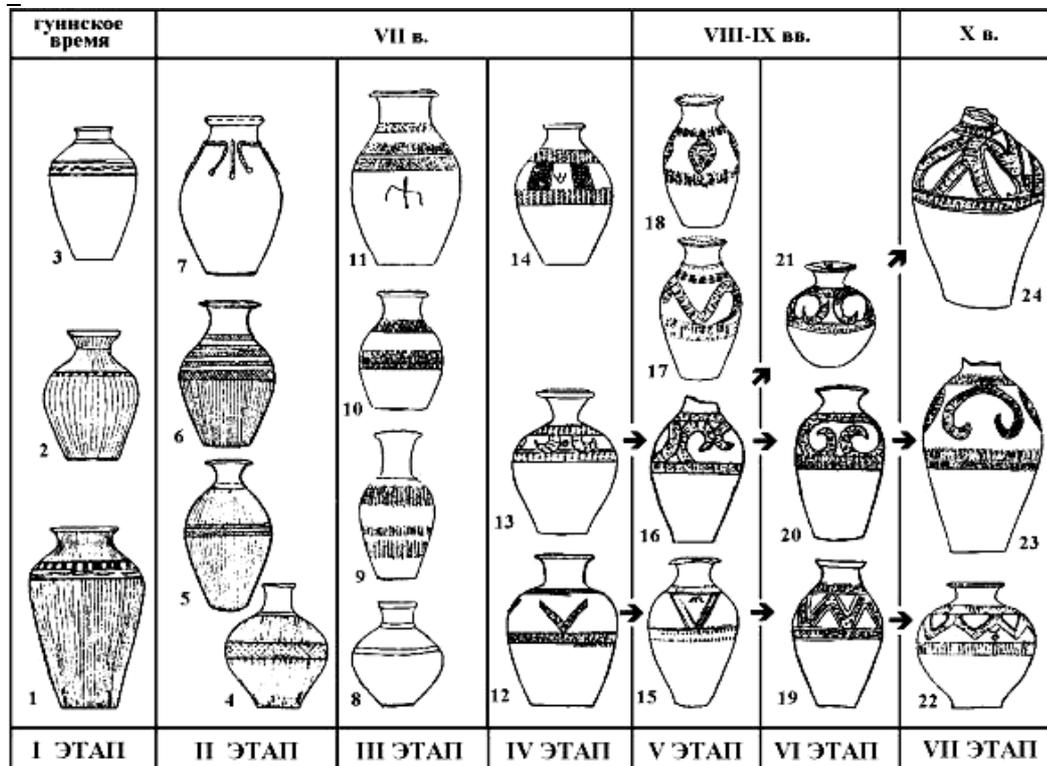


Рис. 40. Этапы развития раннесредневековых центральноазиатских ваз.

Некоторые вазы перед помещением в могилы были преднамеренно повреждены. Этот ритуал применялся в строго определённых случаях. В кург. 10 погребена убитая женщина

(часть черепа отсечена) — у вазы, стоявшей в этой могиле, венчик аккуратно оббит по кругу, а стоит эта ваза не в нише, а у входа в камеру. В кург. 13 погребение обезглавленного мужчины сопровождается вазой со срубленной горловиной. Ваза стоит в нише, а череп найден у входа в камеру. В кург. 17 и 18 погребены обезглавленные мужчины, причём головы на момент похорон отсутствовали. Нет и ваз. Важно, что все эти могилы не были ограблены в древности, и открывающаяся закономерность явно не случайна: вазу повреждали перед помещением в могилу, и степень повреждения вазы соотносилась с характером ранения, от которого умер погребённый. (Рис.38).

Эти факты позволяют сделать ряд выводов.

Во-первых, чаатинские материалы отражают сложную, детально разработанную систему похоронных ритуалов. Могильники Чааты I-II представляют древнюю культуру с

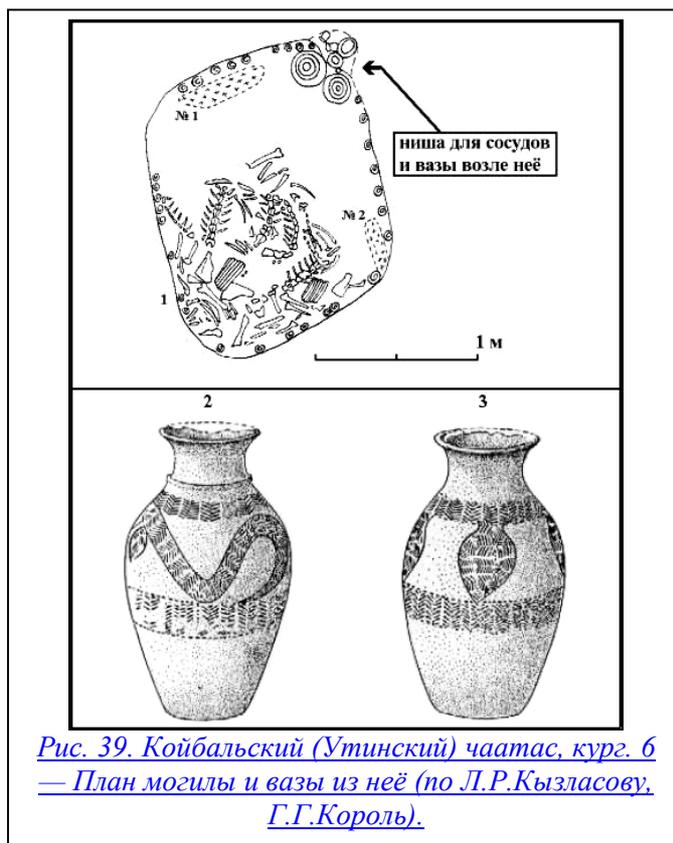


Рис. 39. Койбальский (Утинский) чаатас, кург. 6 — План могилы и вазы из неё (по Л.Р.Кызласову, Г.Г.Король).

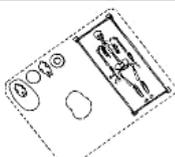
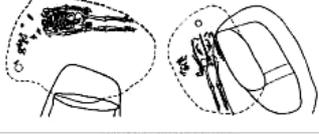
КУРГ. 28 (61)	
 ЧЕРЕП ЦЕЛ	 ВАЗА ЦЕЛА
КУРГ. 10	
 ЧЕРЕП ПРОБИТ	 ВЕНЧИК ОББИТ
КУРГ. 13	
 ЧЕРЕП ПЕРЕМЕЩЕН	 ВЕНЧИК СРУБЛЕН
КУРГ. 17 и 18	
 ЧЕРЕПОВ НЕТ	 ВАЗ НЕТ

Рис. 38. Соответствие состояния черепов погребённых и ваз в могильнике Чааты I.

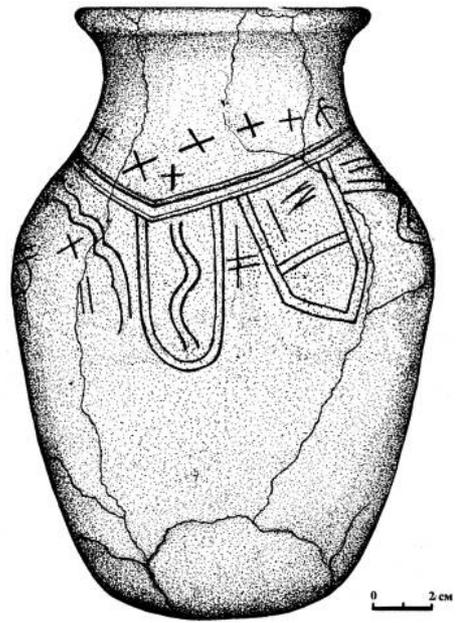
устоявшимися ритуальными нормами, сложившуюся за пределами Тувы и принесённую сюда сплочённой группой мигрантов. Переселение из Джунгарии в Южную Сибирь - сильнейшее потрясение для любых традиционных устоев: слишком многое изменялось в жизни людей. Тем не менее чаатинцы сохранили сложную систему похоронных ритуалов; более того - следы влияния чаатинцев обнаруживаются в разных культурах. О соотношении аналогичных элементов в культуре могильников Чааты и в кокзельской культуре здесь говорить не место, это особая тема; замечу только, что трактовать эти параллели можно по-разному, соответственно по-разному оценивая и направление культурных влияний. **Во-вторых**, соответствие степени повреждения ваз характеру смертельного ранения, увязка помещения в могилу вазы с наличием головы погребаемого -

свидетельствуют о глубокой сакрализованности ваз как типа сосудов. Близкие вазам по ритуальному рангу сосуды с “усами” исходно, надо полагать, в представлениях использовавшего их населения были, так сказать, “антропоморфны”. Опоясывающие тулово композиции со свисающими элементами напоминают и, быть может, обозначают реальные пояса с разного рода подвесками (не случайно “антропоморфна” и русская терминология для частей сосуда - тулово, горло, плечики). Обычай ритуального повреждения сосудов известен и в других культурах, например, в Приамурье (Медведев 1991: 23); не исключено, что это - отражение представлений, родственных реконструируемому обычаю повреждать после тризны каменные изваяния (Кубарев 1984: 77 - 78). Интересно в этой связи заметить, что нет культур, где одновременно существовали бы и “антропоморфные” сосуды, и ритуальные изваяния с изображениями поясов; в культуре енисейских кыргызов до сих пор не встречено ни одного погребения с вазой и поясным набором одновременно. (Рис. 39а. Лепная ваза из кург. 79 могильника Маркелов Мыс II. По О.А. Митько.)

Кыргызские вазы повреждены практически всегда, причём в ряде случаев это безусловно преднамеренные повреждения. Это либо срубленное горло, либо небрежно сколотый с одной стороны край венчика. По сравнению с чаатинской нормой эти действия производились очень неаккуратно. К сожалению, обычай кремации, распространённый у кыргызов, не позволяет изучить соотношение повреждений ваз и обстоятельств смерти погребённых; но показательно, что норма, применявшаяся в чаатинских обрядах выборочно, у кыргызов стала почти всеобщей. Это может служить указанием на деструктивную имитацию традиции с утратой её понимания.

Комплекты кыргызской посуды в целом близки чаатинским - ваза (круговая или лепная) плюс один-три лепных горшка на каждого погребённого в центральной могиле. В кург. 6 Койбальского чаатаса в одной из стен могильной ямы была устроена закрытая тыном ниша, в которой стояли две вазы; рядом стояли четыре горшка, а в могиле было, соответственно, два погребения (Рис.39). Полное отсутствие минусинских аналогов или прототипов позволяет видеть здесь след прямого влияния чаатинских (или родственников) традиций.

Есть и другие показательные аналогии. На Арбанском чаатасе ограда № 4 имела с севера пристройку - небольшой жертвенник. Для кыргызов это необычно, а чаатинские курганы всегда имели жертвенник в северной поле. В ограде № 2 чаатаса Новая Чёрная и в могиле упомянутой арбанской ограды зафиксировано размещение железных ножа и кинжала непосредственно под черепом погребённого; в кыргызской культуре аналогов нет, а для могильников Чааты это - одна из ритуальных норм. На Арбанском чаатасе зафиксировано размещение сосудов на ступеньке вдоль продольной стенки могильной ямы, а также сходным образом, но на плоском дне, как бы обозначая ступеньку (ограды №№ 6 и 7) - ещё один отпечаток культуры могильников Чааты, так и не закрепившийся на Среднем Енисее как устойчивое заимствование. Сказанного довольно, чтобы заключить следующее. Можно с определённой долей уверенности считать, что культурный комплекс, представленный в Центральной Туве могильниками Чааты I-II, оказал существенное влияние на процессы культурной трансформации, шедшие в кыргызском обществе. Это происходило одновременно и, скорее всего, в связи с культурным воздействием других групп, практиковавших строительство поминальных оградок юстыдского и уландрыкского (по классификации В.Д.Кубарева) типов. В кыргызской культуре эти заимствования причудливо смешались и были переосмыслены в духе местных традиций, причём понимание внутренних связей воздействовавших культур было вскоре утрачено - влияние было хотя и мощным, но недолгим. Эти влияния не просто обогатили местную культуру, они способствовали глубокому её преобразованию. Именно эти влияния сформировали облик целого ряда культурных явлений, определивших своеобразие



классической кыргызской культуры и её отличие от таштыкской. Письменные же источники позволяют с высокой долей уверенности связывать эти влияния с недолговременной, но значительной по своим последствиям гегемонией сиров (сйеяньто) в Центральной Азии в 630 - 646 гг. В рамках этой гегемонии существовало и сирское эльтеберство на Среднем Енисее, археологически выразившееся в перечисленных культурных явлениях и процессах. Всё это даёт основания провести хронологический рубеж между раннекыргызской таштыкской культурой и классической культурой енисейских кыргызов по второй четверти - середине VII в. Естественно, появление новых типов и ритуалов не пресекло воспроизводства таштыкской культуры, однако её постепенное угасание безусловно.

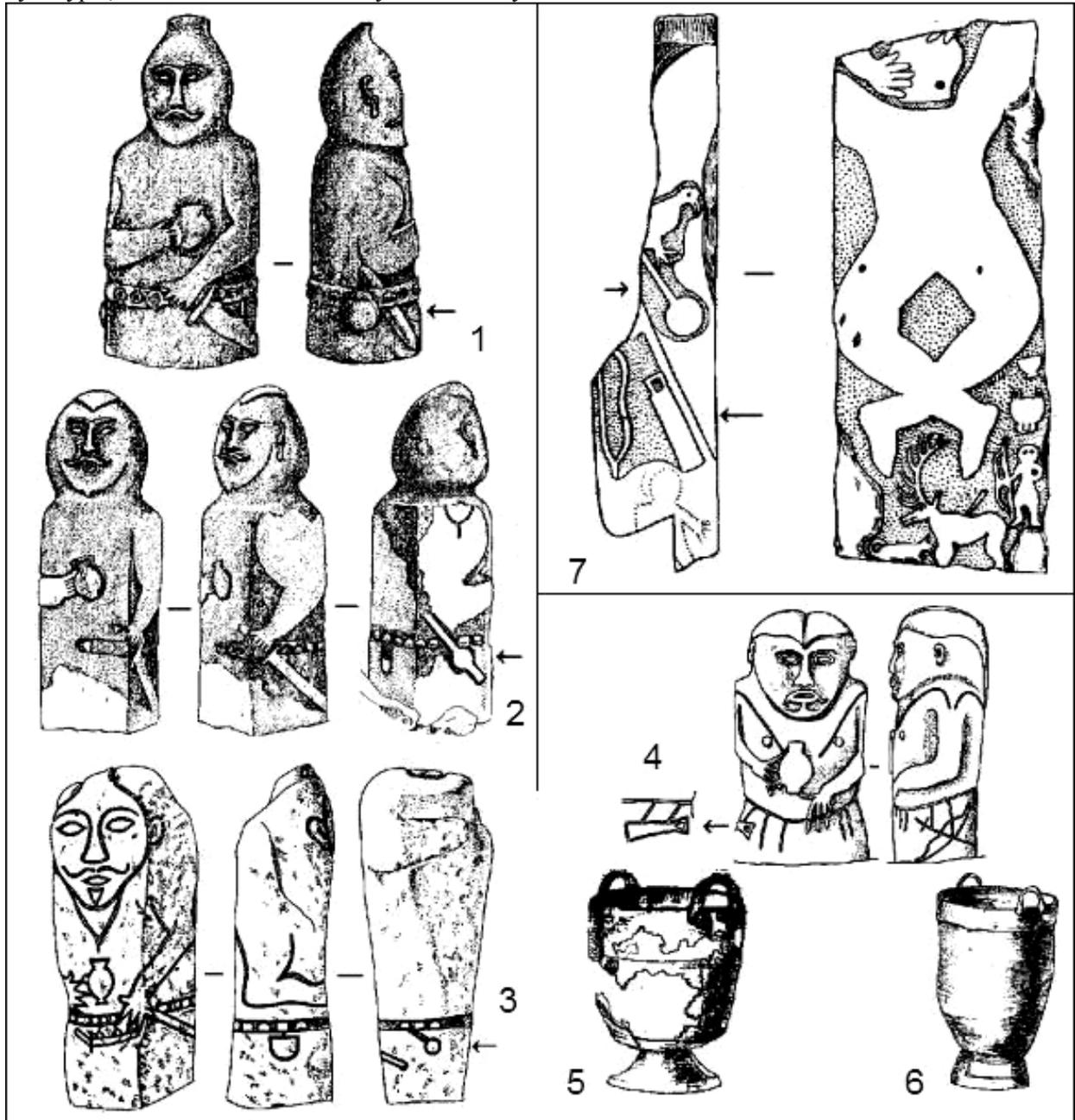


Рис.41. Минусинские изваяния: источники непонятных элементов изображений и некоторые аналогии.

Таким образом, изучение вопроса о типолого-хронологическом соотношении разных групп раннесредневековых центральноазиатских ваз с учётом историко-культурного контекста позволяет прояснить некоторые малоисследованные аспекты культурной и в известной степени

политической истории южносибирских народов. История круговых ваз как керамической формы здесь лишь намечена на самом общем уровне (Рис.40). Лучшими направлениями дальнейших поисков представляются: подробное сличение оттисков зубчатого цилиндрического штампа (кстати, до сих пор нет ни одной находки подобных инструментов); сравнение отпечатков шипа гончарного круга, обязательно присутствующих на донцах всех ваз; подробное исследование хуннских ваз; наконец, хочется верить, что появятся новые находки ваз в Монголии, в Кемеровской области и, конечно, в Туркестане, где традиция изготовления ваз сохранялась с хуннского до древнетюркского времени. Именно этим ожидаемым находкам предстоит связать круговые сосуды хуннской и древнетюркской эпох в единый хронологический ряд.

* Керамический комплекс могильников Чааты I-II, безусловно, гораздо сложнее, чем представлено здесь, и его подробное изучение остаётся отдельной, интересной и перспективной задачей. Например, чрезвычайно интересны лепные сосуды с частичным лощением (только верхней половины тулова, то есть сходно с размещением орнамента на круговых вазах), а также некоторые не упомянутые здесь орнаменты. Вместе с тем связь этих сосудов с вазами однозначно не устанавливается, и поэтому они не включены в реконструируемую здесь ритуальную иерархию керамических форм.

IV. 5. Относительная хронология кыргызских памятников.

В предыдущих разделах сделаны попытки выяснить происхождение и проследить развитие двух важнейших компонентов культуры енисейских кыргызов — оград чаатасов и круговых ваз; построены более или менее достоверные эволюционные ряды, имеющие абсолютные хронологические привязки. Они легко сопрягаются и между собой — ведь вазы находят в могилах под оградами; а это позволяет заложить в дальнейший анализ “автоматическую” оценку достоверности относительной хронологии памятников и эволюции культуры (Азбелев 1989б) — ведь совпадение линий развития — едва ли не лучший критерий правильной диахронизации массива памятников.

Соответствие типологических этапов эволюции орнаментов ваз (по рис.36) размерно-конструктивным группам оград не может быть полным, поэтому соответствие этапов векам может быть дано лишь ориентировочно - развитие разных категорий материала отражает действие разных закономерностей развития культуры. Хронологическая таблица строится по материалам десятка показательных памятников; критерием отбора была точность отнесения ограды к той или иной группе, безусловная принадлежность декора вазы тому или иному этапу развития орнаментики и наличие абсолютно датированных обстоятельств; кроме того, сюда введены не только ограды, но и курганы - с показательными вазами и хорошими датами; причина в том, что вазы из могил под оградами IV группы, как правило, разбиты и не восстановлены.

Относительная хронология кыргызских памятников строится путём соотнесения трёх независимых эволюционных рядов, построенных для подквадратных оград со стелами, а также для волнотых и зигзагообразных орнаментов круговых ваз.

Соответствие последовательностей памятников, на которых представлены конструкции и варианты декора, позволяет принять общую последовательность в качестве хронологического ряда. Конструкции оград от одного этапа к другому становятся всё более сложными, сами ограды — всё более монументальными; появление новых типов сооружений не сразу приводит к прекращению воспроизведения старого типа (ср. кург.7 Уйбатского чаатаса); орнаменты ваз постепенно гипертрофируются, уплотняются, словно стремясь полностью покрыть вернюю часть тулова, так что поздние узоры уже совершенно не похожи на исходную таштыкскую композицию. Перелом в постепенном развитии декора произошёл одновременно с началом повсеместной имитации устройства склепов в оформлении кыргызских могил. Нет никакого сомнения в том, что изменение ритуальных норм, одновременное с началом нового этапа в развитии керамической традиции, как-то связанное с таштыкскими элементами в культуре енисейских кыргызов - результат каких-то важнейших процессов, возможно, ключевых для понимания кыргызской истории и культуры. В соответствии с указанными выше

хронологическими ориентирами время этих событий - вторая половина VIII - первая половина IX веков. Конечно же, это прежде всего время кыргызо-уйгурских войн. Развитие культуры этого периода должно стать предметом особого внимания.

ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА

зигзагообразные узоры	конструкции оград	волютовые узоры
Арбанский чаатас, огр.5 (I этап)	Арбанский чаатас, огр.5 (I группа) - VII век	_____
_____	Кёзеелиг-хол, кург.2 (I группа)	Кёзеелиг-хол, кург.2 (I этап)
_____	Новая Чёрная, огр.1-2 (I группа)	Новая Чёрная, огр.1-2 (II этап)
Обалых-биль, кург.2 (II этап)	Обалых-биль, кург.2 (II группа)	_____
_____	Тепсейский чаатас,мог.7 (II группа)	Тепсейский чаатас,мог.7 (II этап)
Гришкин лог, кург.3 (III этап)	Гришкин лог, кург.3 (II группа)	_____
[Капчалы I, к.3] (IV этап)	[Капчалы I, к.3] (IX-X вв.)	_____
_____	Уйбатский чаатас, кург.7 (III группа, X век)	Уйбатский чаатас, кург.7 (IV этап)

6. Таштыкские традиции в кыргызской культуре. Проблема поздних склепов и палеодемография минусинских племён.

Многие исследователи указывали таштыкские элементы в культуре енисейских кыргызов: это и так называемые “амулеты”, и покрытые золотой и серебряной фольгой деревянные фигурки баранов, и деревянные внутримогильные конструкции на чаатасах, имитирующие устройство склепов; надо полагать, в том же ряду и таштыкская маска, найденная на Абаканском чаатасе в кыргызской могиле. Как правило, эти рудименты таштыкских традиций считают признаками преемственности культуры в I тыс.н.э., и не более того. Однако, как уже говорилось, всё это в равной степени может быть указанием на некий период сосуществования культур, в течение которого и имели место те или иные заимствования. Теперь, когда обоснованно построена основа относительной хронологии кыргызских памятников, эту проблему можно рассматривать предметно. И заранее понятно, что при детальном изучении вопрос не сводится к простому выбору - преемственность или сосуществование, ведь одно другому не мешает.

Как уже отмечено, во всех достоверных случаях оказывается, что таштыкские признаки проявляются не в ранних, а наоборот - в поздних кыргызских комплексах. Так, фигурки баранов найдены на заведомо поздних (по датирующим находкам) памятниках - Уйбатском чаатасе и могильнике Капчалы. Единственная достоверная находка “амулета” - на позднем Копёнском чаатасе. О маске с Абаканского чаатаса данных нет, но, судя по отчётам, большинство сооружений на этом могильнике относится не ранее чем к III этапу; там же зафиксированы и пристройки - тоже поздний признак. На том же этапе становятся массовым явлением имитации устройства склепов в кыргызских могилах. Всё это требует вернуться к вопросу о хронологии таштыкских склепов, точнее - к вопросу о продолжительности комплексного воспроизводства традиций таштыкской культуры.

Данные о раннем этапе истории кыргызской культуры показывают, что возникновение новых традиций не было связано с внутренним развитием таштыкского общества. Наоборот: экзогенные инновации привели к трансформации таштыкских обычаев. Поэтому можно с полной уверенностью говорить о том, что имел место период сосуществования таштыкской и кыргызской культур — точнее, это было время существования композитного таштыкско-

кыргызского культурного комплекса, отразившего сложное общественное устройство. Здесь необходимо остановиться на вопросе о количественном соотношении типов памятников.

Обычно в сибирской археологии, в масштабах целой культуры, а не отдельного могильника, об этом речь не идёт — слишком невелика доля изученных погребений, чтобы что-либо всерьёз подсчитывать. Однако чаатасы хорошо заметны, их невозможно спутать с иными типами памятников и легко пересчитать. В сводной статье Л.Р.Кызласов перечислил полсотни таких могильников (Кызласов 1980); учитывая данные разведок, ныне можно говорить о 75 известных чаатасах. Даже если допустить, что сохранилась и учтена лишь половина этих некрополей, всего их было не более ста пятидесяти. На каждом чаатасе — от трёх до пятидесяти оград и курганов; считая по максимуму, общее число следует определить как $150 \times 50 = 7500$. В центральной могиле каждого из этих сооружений размещено не более трёх погребений; на периферии сооружения в ямках-“ячейках” захоронено ещё не более пяти человек. Это верно для больших оград, а обычно общее число погребённых в каждом сооружении — 3-5, в среднем — четыре (в курганах же обычно по одному). Всего по чаатасам: $7500 \times 4 = 30000$ погребённых, причём нужно подчеркнуть, что это - максимально допустимое число. На самом деле их меньше.

Вне зависимости от расхождений в абсолютных датировках все исследователи определяют продолжительность существования чаатасовской традиции примерно в 350 лет, или примерно 14-15 поколений. При всей условности подобных подсчётов следует заключить, что в каждом поколении общее число людей, которых полагалось после кончины захоронить в оградах чаатасов или в курганах, не превышало $(30000/15)$ *двух тысяч человек*. Напомню, что при подсчётах использовались максимально возможные и даже заведомо преувеличенные числа.

Между тем, говоря о кыргызах, хронисты пишут о воинствах в десятки (до ста) тысяч всадников - конечно, если выступают “все поколения”. При всей условности летописных данных о численности варварских орд очевидна несопоставимость чисел; к тому же преувеличения встречаются там, где речь идёт об угрозе и особенно о победах китайского оружия - раннесредневековый официоз в этом мало отличался от нынешнего. Всё это означает, что на чаатасах погребена лишь малая часть населения Минусинской котловины. Исследователи, глядя на монументальность многих оград, оценивая трудоёмкость их возведения, неоднократно называли чаатасы престижными, аристократическими некрополями. Это, как показывают приведённые здесь подсчёты, совершенно верно, однако такое определение чаатасов требует решить вопрос о памятниках рядового населения. И здесь вопрос о сосуществовании таштыкских традиций с кыргызскими становится определяющим.

Действительно, нельзя забывать о том, что при восприятии минусинскими племенами культурных и политических влияний времён сирского эльтеберства новые традиции усваивались в первую очередь аристократией. Так бывает всегда: верхушка общества, элита поддаётся внешним влияниям легче, нежели простонародье. Социальная структура населения кыргызского государства на ранних этапах его истории отразилась в системе погребальных ритуалов как двухуровневая иерархия. Высший ранг - погребения под оградами (ингумации под оградами без стел и кремации под оградами со стелами); второй ранг - склепы таштыкского типа.

Следует отметить, что развитие такой структуры по пути конвергентного сближения типов совершенно нереально: между ними - огромное социально-политическое различие, так что типы погребений каждого уровня иерархии должны были развиваться впредь по-своему. Смещение же типов означало бы разрушение и коренное преобразование общества; в традиционалистском социуме это возможно лишь при мощном внешнем воздействии. Появление памятников, сочетающих кыргызскую основу с элементами таштыкского происхождения, свидетельствует о том, что такое воздействие было оказано, а культурные последствия этих событий состояли в том, что пресеклось развитие одной из двух основных погребальных традиций, а именно склепов таштыкской традиции, тогда как предметные таштыкские типы продолжали существовать и иногда попадали в состав инвентаря позднейших погребений. Основные вопросы, встающие здесь перед исследователем - о том, какие именно события привели к этому, и какие памятники после прекращения строительства склепов заняли место на нижнем уровне ритуальной (и в конечном счёте социальной) иерархии.

Характер искомого события очерчивается его последствиями. Главное из них, как уже сказано - прекращение строительства склепов, отказ от одной из двух основных погребальных традиций. Что могло привести к этому? Развитие конструкций оград чаатасов показывает, что таштыкские элементы начали проявляться в устройстве и в инвентаре кыргызских могил на целый этап позже, чем были восприняты влияния культуры Второго тюркского каганата, но до того, как в результате событий 840 года кыргызы захватили Туву, а в инвентаре погребений стали появляться драгоценности и трофеи вроде известной “сверкающей чаши”. Речь идёт о промежутке со второй четверти или трети VIII до первой половины IX вв. - именно в это время и произошли события, пресекавшие развитие таштыкских традиций. Это время существования двух центральноазиатских каганатов - Второго тюркского и Уйгурского. Отношения с ними складывались у кыргызов, мягко говоря, неодинаково. Речь не об обыкновенной напряжённости и враждебности - любые два крупных и сильных центральноазиатских государства всегда смотрели друг на друга косо; речь о характере войн - это более значимый показатель.

Правители Второго тюркского каганата признавали кыргызских вождей равноправными партнёрами, но болезненно воспринимали любые действия сильного южносибирского соседа, чем-либо опасные для центральноазиатской державы. Когда кыргызы, всячески подстрекаемые китайцами, начали налаживать за спиной у тюрков контакты с другими саяно-алтайскими народами (некоторые авторы считают возможным говорить даже о подготовке к созданию антитюркской коалиции), тюрки решили, что “сильный кыргызский каган” должен быть примерно наказан. Зимой 710/711 гг. состоялся поход. Тюркское войско возглавили будущий каган Бильге (кит. Могилян), мудрый советник Тоньюкук (кит. Туньюгу) и прославленный воин Кюль-тегин (кит. Кюе-дэлэ). “Проложив дорогу через снег глубиной в копьё” (Малов 1951: 41), справившись со сложностями, созданными предателем-проводником, тюркское войско форсировало саянские перевалы и внезапно обрушилось на кыргызов. В одном из боёв погиб кыргызский вождь Барс-бег. “Кыргызского хана мы убили и державу его взяли” - говорится в тюркском руническом памятнике, а другой добавляет: “кыргызский народ вошёл в подчинение [тюркскому] хану и повиновался ему”. “Сильный кыргызский каган” был, как считали тюрки, их “самым опасным врагом”, и победа в этом походе воспевалась в орхонских рунических памятниках как большое достижение.

Вместе с тем уже очень скоро появляются известия об очередных кыргызско-китайских сношениях, кыргызские делегации присутствуют на похоронах тюркских вельмож, кыргызские дружинники поступают на службу в тюркское войско (Азбелев 1991а: 160-161). Иными словами, поход 710/711 гг. был направлен прежде всего против злоумышлявшего “сильного кыргызского кагана”, но кыргызское общество и государство не были разрушены и вскоре восстановили свой статус и авторитет.

Отношения кыргызов с уйгурами складывались совершенно иначе. В 745 году господство в Монголии перешло к токуз-огузам. Уйгуры разгромили тюрков, воссоздали свой каганат и приняли более чем деятельное участие в подавлении антиправительственного мятежа Ань Лушаня в Китае. Едва вернувшись из китайского карательного-грабительского похода, в 758 году уйгуры нанесли удар по енисейским кыргызам и, естественно, победили, но ограничились разгромом элиты. Уйгуры сохранили власть за представителями местной верхушки, но отняли у них высокие титулы, присвоив взамен второстепенные. После этого, как пишет китайский хронист, кыргызские посольства уже “не могли проникнуть в Срединное государство”. Поражение было тяжёлым, но не окончательным. Через два поколения кыргызы восстановили, как им показалось, силы и подняли восстание против уйгурского господства. В 795 году уйгурский каган Кутлуг “сумел подавить кыргызов, подверг их страну разгрому, и их государственные дела прекратились, на земле их не стало живых людей”. Л.Н.Гумилёв считал эту победную реляцию уйгурского эпиграфического памятника обычным хвастливым преувеличением (Гумилёв 1967: 415), однако не приходится сомневаться в том, что в отличие от рядового завоевания в 758 году, карательная экспедиция 795 года была для кыргызов действительно страшной. Внутренние дела в Уйгурском каганате в те поры шли плохо, Кутлуг только что возглавил государство, и восстания на окраинах следовало подавлять со всей возможной решительностью; во все времена - и в древности, и даже сегодня - решительность в подобных делах означала и означает прежде всего кровавую бойню без разбора. Полагаю,

совпадение печальной общеисторической практики с похвальбой уйгурского кагана в данном случае указывает на то, что преувеличения, о которых пишет Л.Н.Гумилёв, были не слишком велики.

Традиция склепных погребений пресеклась в целом в то самое время, когда кыргызы безуспешно восставали против уйгуров, а те отвечали им расправой. Именно в этот период минусинское население, безусловно, понесло огромный урон, и нет причин не говорить о вероятности демографической катастрофы. Именно и только в эти годы существовали объективные условия для того, чтобы развитие одной из погребальных традиций пресеклось из-за исчезновения людей, способных адекватно воспроизвести все требуемые ритуалы. Поэтому приходится заключить, что за отсутствием других вариантов причиной прекращения строительства склепов таштыкского типа нужно признать карательные действия уйгуров во второй половине - конце VIII века. Условной, но достаточно достоверной верхней датой периода существования традиции погребения в склепах следует признать рубеж VIII/IX вв.; после этого таштыкские типы появляются в составе инвентаря эпизодически и не образуют комплексов, а элементы устройства склепов вроде символических опорных конструкций проявляются в оформлении кыргызских могил. Складывается новая система ритуалов, новая иерархия типов памятников, анализировать которую нужно уже с иных позиций.

Таким образом, история кыргызской культуры может быть разделена на два больших периода: до и после рубежа VIII/IX вв. Первый период характеризуется существованием двухуровневой иерархии погребальных памятников; высший ранг представлен оградами I и II групп, низший - склепами таштыкского типа; низший - склепами таштыкского типа. Вторым периодом представлен оградами III и IV групп, а о прочих памятниках этого времени, как и об образуемой ими иерархии, речь пойдёт особо (в следующем разделе).

Какие же склепы могут быть отнесены к числу поздних? Следует иметь в виду, что практически все склепы, раскопанные на чаатасах, относятся к собственно таштыкскому времени - до сирского эльтеберства; с них чаатасы и начинались, а ограды со стелами и вазами размещались здесь как бы в утверждение преемственности (здесь нужно согласиться с Л.Р.Кызласовым). Склепы, давшие начало чаатасам, в большинстве случаев образуют самостоятельный могильник. Вместе с тем известно немало одиночных склепов, редко попадавших в поле зрения археологов. Они часто расположены в логах и седловинах гор, иногда - на могильниках тагарского времени и представляют собой уже не “подквадратные насыпи” и не усечённо-пирамидальные сооружения, а очень своеобразные плоские выкладки с западинами. Часто особо стоят малые склепы и подробно описанные С.В.Киселёвым весьма необычные “склепы за каменными кольцами”. Эти памятники изучены пока очень плохо; не утверждая прежде времени ничего определённо, рискну предположить, что именно среди таких памятников и нужно искать поздние таштыкские склепы VII-VIII вв. Арбанский склеп VII века размещён уже не в долине, а в устье большого лога, но он ещё дал начало чаатасу; это переходный памятник, самый поздний среди ранних и самый ранний среди поздних. Ориентируясь на его особенности, можно предположить, что в поздних таштыкских склепах не стоит искать ни пряжек, ни богатого разнообразия форм и орнаментов посуды, ни “кукол”, ни больших серий масок. Весьма вероятно преобладание сосудов с “доминантным” декором (о котором подробно говорилось в разделе IV. 4), а также неполных, “парциальных” погребений. Впрочем, подтвердить или опровергнуть всё это могут лишь материалы, которых пока недостаточно.

Если всё это верно, то представления о системе погребальных ритуалов VII-VIII вв. могут быть дополнены. Аристократия, выдвинувшаяся в пору сирского эльтеберства и составившая костяк молодого кыргызского государства, продолжала хоронить на старых родовых кладбищах, как бы освящая свой особый статус даже посмертной близостью к предкам; рядовое же население, чей статус с образованием государства резко снизился, постепенно перешло к погребению на новых сакральных площадках. Эти обособленные площадки редко привлекали внимание археологов прежнего времени, естественным образом стремившихся работать в условиях бюджетного финансирования в удобных местах наибольшего скопления памятников. С началом массовых новостроек в поле зрения раскопщиков попадали прежде всего памятники, расположенные в зонах строительства дорог, ирригационных сооружений и т.д. — но никак не в горах. Таким образом, особенности истории минусинской полевой

археологии сыграли злую шутку с таштыкской культурой. Хочется верить, что исправить выявленный недостаток легче, чем неизвестный. В археологии так бывает; например, Н.Л.Членова убедительно связала внезапный поток случайных находок с началом распашки степных котловин.

Массовое истребление минусинского населения уйгурами не могло опустошить приенисейские котловины надолго. “Демографический вакуум” всегда заполняется быстро. Уже в начале IX в. на Среднем Енисее вновь вспыхивали восстания, а около 820 года кыргызский правитель самовольно “объявил себя ханом”, и началось двадцатилетие пограничных кыргызско-уйгурских конфликтов. За счёт чего же кыргызы, в чьей стране “не стало живых людей”, пополнили свои ресурсы “живой силы”? Ю.С.Худяков предложил гипотезу, согласно которой окрестные горно-таёжные племена при всякой возможности переселялись ближе к Енисею, в степные котловины, к плодородной пойме (Худяков 1983). По мнению автора, об этом свидетельствуют погребения по обряду трупоположения. Нужно заметить, что для таёжных охотников такое переселение было бы связано со сменой всего жизненного уклада, даже культурно-хозяйственного типа; кроме того, “таёжники” вряд ли смогли бы стать достойными противниками уйгуров, способными на двадцатилетнее противостояние, так что в данном случае идея Ю.С.Худякова неприменима; историю енисейских кыргызов определяли иные силы.

IV.7. Феномен чаатаса. Отражение историко-культурных процессов в ритуальной практике. [черновой текст]

Подумай - это всего лишь маленький археологический штрих: местные жители хоронят своих мёртвых в общих могилах. А культура Боевого Топора предоставляет каждому отдельную. Это тебе что-нибудь говорит? Пол Андерсон, “Коридоры времени”.

Своеобразие чаатасов отражено уже в самом их названии: в переводе оно означает “ЛУК+КАМЕНЬ”, то есть описывает один из отличительных признаков кыргызских некрополей — покосившиеся или просто кривые каменные стелы, столь несхожие со стоящими надёжно и прямо (и вдвое дольше) стелами тагарских оград. Тагарцы строили памятники на века: ставили каменные столбы в глубокие ямы, надёжно забутовывали их — и достигали цели. Кыргызским строителям было важно построить ограду, окружённую стелами, и совершить над ней какие-то ритуальные действия — а долго ли простоит памятник, их уже не интересовало; поэтому стелы на чаатасах вкопаны неглубоко и укреплены кое-как, так что сегодня лишь единицы стоят вертикально, остальные завалились. Народная этимология переводит слово “чаатас” как “камень войны” и связывает с этим значением легенду о неких древних богатырях-алыпах, которые, сражаясь, бросали друг в друга огромные камни, вонзавшиеся в землю как попало. Это легенда, но и с точки зрения археолога чаатасы на первый взгляд производят впечатление чего-то совершенно беспорядочного.

Если могильники многих иных культур обыкновенно однородны, то чаатасы чаще всего многосоставны. Здесь и таштыкские склепы, часто приуроченные к более ранним грунтовым могильникам и порою — к тесинским курганам-склепам, и кыргызские ограды (со стелами и без стел), и платформы — ограды, забутованные камнем, и курганы, и разнообразные выкладки, и выстроившиеся в длинные ряды таштыкские поминальные стелы; иногда здесь же расположены и позднейшие курганы аскизской культуры. Под разнообразными наземными сооружениями кыргызского времени обнаруживаются могилы самого различного устройства с погребениями, совершёнными разными способами: к сложному переплетению ритуалов таштыкских склепов добавляется обязательная биритуальность кыргызских памятников, где каждое третье захоронение, вопреки расхожему мнению, совершено по обряду трупоположения, изредка даже с конём или со шкурой коня (Азбелев 1989а). На поздних чаатасах ингумации обнаруживаются в центральных могилах, а кремированные останки размещены на второстепенных позициях. Соотношение погребений, совершённых по различным обрядам, на разных этапах истории енисейских кыргызов было различным;

несомненно, эти изменения отражают сложную динамику общественного развития, которая может и должна быть выяснена.

За кажущейся беспорядочностью древних некрополей всегда стоит разработанная система ритуалов, каждый элемент которой, как и способ соединения этих элементов, был обусловлен насущной (с точки зрения устроителей погребений) необходимостью делать всё именно так, а не иначе. За отказом от возведения памятников “на века” и переходом к строительству сооружений, рассчитанных лишь на некий ритуальный цикл, стоит коренная перемена в мировоззрении — ведь культура, как известно, сосредотачивается в отношении к смерти. Столь же значительна и главная погребальная инновация кыргызской культуры: переход от массовых погребений в склепах к индивидуальным погребениям в отдельных могилах (строго говоря, это не совсем так, в чаатасовских могилах нередко похоронены два-три человека, но здесь важен контраст между единицами и многими десятками, а то и сотнями погребённых). Как уже было показано на примере могильников Кудыргэ и Чааты I-II, кажущаяся бессистемность есть всего лишь незамеченная система; несомненно, феномен разнообразия погребений на чаатасах тоже может и должен быть разъяснён.

Первый период (I-II этапы). Как было показано выше, на ранних этапах истории кыргызской культуры сосуществовали две основные погребальные традиции: ограды со стелами и одиночные (парные) погребения под ними — и склепы таштыкского типа с их массовыми захоронениями; ограды (памятники кыргызской знати) строили на старых таштыкских кладбищах, а поздние склепы (памятники рядового населения), видимо — в других местах. Аристократические некрополи зафиксировали ещё одно сосуществование — здесь встречаются как ингумации, так и кремации. Как правило, над погребениями по обряду кремации стоят ограды со стелами, а над ингумациями — ограды без стел. Надо полагать, существовали две аристократические группы разного этнического происхождения, осознававшие (и поддерживавшие) свои различия. Ограды над погребениями по обряду ингумации бывают как подквадратными, так и округлыми в плане; видимо, в этом тоже зафиксировано какое-то отличие, но недостаток материала не даёт выяснить это подробно, однако вряд ли эти различия были глубоки; во всяком случае, на Арбанском чаатасе погребение этой группы имело округлую ограду (соор.4), а на чаатасе Новая Чёрная — подквадратную, тем не менее инвентарь их вполне сопоставим как по набору, так и по способу размещения — так, в обоих погребениях представлена чаатинская традиция класть под голову погребённого кинжал с ножом. В это же время появляются и курганы со всадническими погребениями вне чаатасов, как правило, не образующие могильников. Набор инвентаря в этих комплексах стандартен для всаднических могил, и лишь единичные находки круговых ваз и их лепных имитаций указывают на то, что погребённые здесь люди имели какое-то отношение к кыргызскому обществу. Говорить об их общественном статусе пока преждевременно, но вряд ли это элита кыргызского государства. Таким образом, очевидно существование двухуровневой системы:

1. Погребённые в центральных могилах оград чаатасов: ингумации и кремации; соотношение погребений по разным обрядам неясно.

2. Погребённые в склепах таштыкского типа (расположенных, вероятно, главным образом вне чаатасов); возможно, сюда же относятся и одиночные подкурганые ингумации, в т.ч. всаднические.

В начале IX в., после уйгурских карательных экспедиций Кутлуга и массового истребления жителей Минусинской котловины, приведшего, вероятно, к прекращению строительства склепов, положение заметно изменилось. На III — IV этапах система ритуалов отражает несколько более сложную общественную организацию, чем прежде. Её разбор приводит к весьма интересным выводам.

Второй период (III-IV этапы). Погребения в центральных ямах больших оград III и IV этапов, как и прежде, совершались по обоим основным обрядам: надо полагать, на высшем уровне общественной иерархии особых изменений не произошло. Однако, если с полным доверием отнестись к рассказу бугровщика Селенги, промышлявшего на Копёнском чаатасе в XVIII в., то придётся внести интересное и важное дополнение. По словам Селенги, некоторые могилы были обложены каменными плитами, а погребённых сопровождали конские черепа. Селенга был единственным человеком, видевшим копёнские погребения непотревоженными (он же сам их и ограбил), у него не было никаких причин приврать заезжим академиком из

Санкт-Петербурга — отчего ж и нам теперь ему не поверить? Рассказы бугровщика Селенги выглядят вполне достоверными, тем более что сходный обряд недавно был зафиксирован на частично разрушенном могильнике Ник-Хая, по найденным вещам синхронного большим оградом Копёнского чаатаса (не говоря уже об алтайских аналогиях), так что рассказы Селенги уже не кажутся недостоверными. Можно заключить, что в X в. (о хронологии Копёнского чаатаса см. ниже, в разделе V. 5.) в кыргызское общество уже была инкорпорирована некая новая этническая группа, представители которой поселились на Среднем Енисее до X в. и теперь занимали весьма высокое положение в этносоциальной иерархии, о чём ниже ещё пойдёт особый разговор.

Если погребения по обряду трупосожжения в целом устроены по традиционным схемам (подкурганые ингумации появились ещё в VII-VIII в.), то ингумации весьма разнообразны. Погребения бывают как простыми, так и всадническими; всаднические захоронения бывают всех видов — и с конём, и со шкурой коня, и с бараном, и просто с уздечным комплектом; могильные ямы бывают и простыми, и подбойными, и катакомбными, с плоским или ступенчатым дном, стены могут быть укреплены плитами; сопроводительный инвентарь также разнообразен и по составу, и по морфологии изделий. Налицо крайняя смешанность населения, не практиковавшего трупосожжение, но инкорпорированного во все слои кыргызского общества.

Иной статус — по сравнению с погребёнными на чаатасах — имели люди, похороненные на разновременных, но во многом однотипных могильниках Капчалы I-II, Над Поляной, у ж/д станции Минусинск, Ник-Хая и др. Эти памятники представляют новый для кыргызской культуры обычай: компактная курганная группа, однородная по конструкции сооружений, способу погребения и сопроводительному инвентарю. По ряду черт все эти памятники сопоставимы с “дружинными” кладбищами — основным типом памятников енисейских кыргызов в Туве. Особенно интересны погребальные комплексы Над Поляной и Капчалы: каждый состоит из двух могильников, один из которых — с кремациями, а другой — с ингумациями. Социальный ранг погребённых здесь несомненно ниже, чем на чаатасах, и представляется возможным, учитывая многочисленность этих комплексов, отнести их к числу рядовых могильников, стоящих в иерархии памятников в той же позиции, что прежде склепы. Ещё одна группа погребений также биритуальна и выделяется по единственному общему признаку: это — подхоронения. Они делятся, как и другие типы могил, на ингумации и кремации, причём в данном случае обряд похорон коррелирует с размещением могилы. Если кремированные погребения этой группы известны весьма широко (это, к примеру, так называемые “тайники”), то подхоронения по обряду трупоположения мало привлекали внимание исследователей.

Подхоронения по обряду кремации практиковались на чаатасах изначально, причём на раннем Арбанском чаатасе (огр. 5, погр. 2) в сосуде-урне были обнаружены пережжённые детские кости; считалось, что умерших детей не сжигали, однако здесь среди пепла найден кальцинированный фрагмент нижней челюсти с молочными зубами, принадлежавший ребёнку в возрасте около пяти лет — следовательно, в определённых случаях трупосожжение применялось и к умершим детям. На поздних же чаатасах (Копёнском и Уйбатском) подхоронения по обряду кремации сопровождаются изделиями всаднического набора, часто выполненными из драгоценных металлов или украшенными ими. Л.А.Евтюхова и С.В.Киселёв называли эти погребения “тайниками”, однако позднее А.А.Гаврилова предложила более подходящий термин — “дружинные погребения” (Гаврилова 1965:). Следует заметить, что на поздних чаатасах детских подхоронений нет; поздние детские погребения образуют особые небольшие могильники, размещаемые в южной части более ранних кладбищ, как на Арбанском и Тепсейском чаатасах; датировка в данном случае определяется по планировке — выкладки примыкают одна к другой, а это поздний признак, ср. мог-к Сарыг-Хая (Длужневская 1990). Весьма интересно, что ритуал подхоронения, первоначально применявшийся к умершим детям, на поздней стадии использовался уже для погребения взрослых: вероятно, это указывает на сниженный по сравнению с погребёнными в основных могилах статус. Но вместе с тем эти погребения приурочены к аристократическим некрополям, и можно полагать, что статус людей, погребённых по обряду сожжения во впускных могилах чаатасов, ниже, чем у похороненных в

основных могилах, но выше, чем у тех, чьи могилы группируются в вышеописанные могильники.

Подхоронения несожжённых покойников на чаатасах при оградах (в отличие от ингумаций в центральных могилах) практически не встречаются; они чаще обнаруживаются при раскопках тагарских курганов и таштыкских склепов. Именно к этому типу относится могила, впущенная в склеп Арбанского чаатаса (Табл. ...); это — всадническая могила, где жертвенный конь заменён бараном; по инвентарю она надёжно датируется IX-X вв. Другое погребение такого типа обнаружено в западнере перекрытия центральной могилы кургана подгорновского этапа в улусе Полтаков (раск. И.П.Лазаретова, 1999). Здесь на северном борту могилы, целиком засыпанной камнями, найдены ложновитые удила с 8-образными окончаниями и с дополнительными кольцами и стремяна в стандартном комплекте (одно с выделенной пластиной, другое — с 8-образной петлёй); комплекс уверенно датируется IX-X вв. Дважды в Бейском р-не Хакасии встречены целые комплексы впускных погребений: Сабинка II (IX-X вв.) и Кирбинский Лог (X в.), подробно опубликованные и прокомментированные; публикаторы отметили наличие в инвентаре вещей восточноказахстанских (западноалтайских), семиреченских типов (Савинов, Павлов, Паульс 1988).

Таким образом, кыргызские погребения IX-X вв. образуют более сложную иерархическую систему, чем в VII-VIII вв.; отчётливо выявляются три уровня, соответствующие трём социальным рангам:

1) Центральные могилы оград на чаатасах: ингумации (в том числе всаднические) и кремации.

2) Подхоронения:

а. — кремации на чаатасах,

б. — ингумации (в том числе всаднические) на старых курганах.

Не исключено, что эти погребения образуют два различных уровня иерархии (Азбелев 1992а).

3) Отдельные могильники, однородные по обряду:

а. — ингумации (в том числе всаднические) и

б. — кремации.

Не исключено, что определённые ранговые различия определялись и этнической принадлежностью, в ритуалах — способом погребения; вероятно, такое расслоение может быть выявлено на материалах подхоронений, слишком уж они разные и слишком уж вероятно, что размещение на чаатасе или вне его имело не только этнический, но и определённый ранговый смысл. Однако вряд ли внечаатасовские подхоронения можно поставить ниже третьего уровня — в Кирбинском логге погребены явно не простолюдины, это воины и члены их семей. Таким образом, произошло радикальное и весьма необычное обновление кыргызского общества: наиболее существенные изменения произошли не в высших, как это чаще всего случается, а в низших слоях, и археологически это отразилось в том, что в иерархии погребальных сооружений место склепов таштыкского типа с их массовыми захоронениями заняли одиночные погребения с инокультурными признаками. Поиск аналогий и возможных прототипов для всех этих новшеств приводит иногда к возможности указать источники инноваций. Уже говорилось о том, что ящичные погребения могильника Ник-Хая и, если верить Селенге, Копёнского чаатаса имеют аналоги на Алтае (Киселёв 1949: 289 - Табл. XLVIII, 1). Некоторые находки из впускных катакомб Бейского района Д.Г.Савинов квалифицировал как кимакские (Савинов, Павлов, Паульс 1988: 100-102). Появляющийся с IX в. обычай погребения на древней дневной поверхности по небольшим курганом (или другим сооружением) местных источников не имеет, но подобные ритуалы отмечались в западносибирских культурах. Необычные погребения по обряду кремации, но в длинных ямах (по замечанию Л.А.Евтюховой, как бы рассчитанных на труположение) имеют прототипы в Западной Сибири и в Кузнецкой котловине. Таким образом, можно говорить о том, что общее направление поиска определяется достаточно ясно.

В письменных источниках имеются прямые указания на прочные и регулярные связи енисейских кыргызов с народами Семиречья и Восточного Казахстана/Западного Алтая ещё до событий 840 года. Сопоставляя археологически выявляемые культурные связи со сведениями письменных источников и учитывая систему погребальных ритуалов на Среднем Енисее,

можно предполагать, что в первой половине IX в. в Минусинскую котловину переселились группы с запада — с Северного и Западного Алтая, из Семиречья, с территории нынешнего Казахстана. Переселенцы инкорпорировались в кыргызское общество, постепенно восполняя потери, понесённые минусинским народом от уйгуров. Вероятно, это были довольно значительные группы — во всяком случае, кыргызы очень быстро восстановили силы настолько, что около 820 года осмелились бросить вызов уйгурам.

Несколько отступая от основной темы настоящего раздела, приведу один из наиболее показательных примеров проникновения на Средний Енисей элементов культур западных соседей кыргызов. Этот пример никак не связан с чаатасами, но отражает те же процессы, какие определили характер перемен и на могильниках. Речь идёт о нескольких так называемых “таштыкских” изваяниях, обнаруженных в Минусинской котловине и толкнувших самых разных исследователей на довольно странные построения. [...]

Считая эти изваяния таштыкскими и датируя их в согласии с концепцией Киселёва — Кызласова, получают совершенно искажённую картину развития традиции изваяний. Авторы рассуждают о возможности эволюции от тесинских “глиняных голов” через таштыкские бюстовые маски к “таштыкским” изваяниям и далее — к изваяниям древнетюркской традиции (Кызласов 1960: 157-160). Таким образом оказывается, что таштыкская культура оказала мощнейшее влияние на развитие древнетюркских ритуалов и их материальное воплощение. Появляются попытки выстраивать эволюционные ряды вроде того, что предложил Д.Г.Савинов (Савинов 1984: 44-47) — считать изваяния “с повествовательными сценами” более древними, чем остальные, или что изваяния с сосудом в обеих руках не то древнее, не то моложе, чем изваяния с сосудом в одной руке. Все рассуждения такого рода совершенно удивительны; непонятно даже, как вполне солидные и уважаемые авторы могут всерьёз излагать подобное. В кочевнических культурах эпохи поздней древности и раннего средневековья существовали две сильные, развитые традиции изготовления каменных изваяний, в целом именуемые скифской и древнетюркской. По многим признакам изваяния обеих традиций сближаются. Совпадает набор поз и аксессуаров: руки согнуты, в руках сосуд, одна рука иногда опущена на пояс; к поясу подвешены предметы вооружения и снаряжения, а на шее часто изображены гривны. Порой совпадают даже специфические приёмы, например, такой: плечи плавной линией соединены с ключицами и с линией воротника. Совпадают и варианты степени абстрагирования: обе традиции включают и круглую скульптуру, и “обёрнутые” плоским изображением столбы, и гермообразные изваяния, и личины на неоформленных стелах. Различия же сводятся к морфологии реалий и к антропологическим особенностям изображённых лиц — и всё. Нет и не может быть ни малейших сомнений в том, что здесь перед нами — два этапа единой линии развития, и думать нужно не о том, как вывести тюркские изваяния из вываренных и обмазанных глиной черепов в погребениях тесинского этапа, а о том, что стоит за столь масштабной преемственностью и как она была осуществлена физически. Последнее, впрочем, постепенно проясняется — не так давно обнаружены и опубликованы чрезвычайно поздние, первых веков н.э., изваяния (по морфологии реалий — скифской традиции) в урочище Байте на плато Устюрт в Приаралье (Степная полоса 1992: вклейка), а также интереснейшие изваяния в Джунгарии (Ковалёв 19...), которые по некоторым признакам можно считать прототюркскими. Две стадиальные группы изваяний — скифская и древнетюркская — сближаются, таким образом, и территориально, и хронологически. Поэтому нет никакой нужды “выводить” древнетюркские изваяния из таштыкских масок и тесинских “глиняных голов”. Уникальные минусинские находки должны рассматриваться как часть общей традиции — тогда их можно должным образом атрибутировать. Следует обратить внимание на то, что ряд “непонятных” элементов минусинских изваяний (особенно на Ненинской стеле) очень напоминает вырванные из изобразительного контекста канонические элементы древнетюркских изваяний. Так, фигурная дуга в верхней части — вовсе не шляпа с полями (подобные сравнения вообще из области фантазий) *, а перевёрнутое изображение гривны. Загадочный “булавообразный предмет” — лишь изображённая вне области пояса разновидность стандартного сочетания “каптаргак+мусат”. (Рис. 41, 1-3,7). Изображения скрещённых ног и птицы указывают, что образцом послужили каменные изваяния Семиречья, где и то, и другое зафиксировано неоднократно (Шер 1966:).

Минусинские стелы при таком взгляде на них вовсе не загадочны. Это — не очень умелые попытки воспроизвести круглую скульптуру семиреченской традиции в совершенно ином культурном контексте, не знавшем ранее каменных изваяний, но включающем петроглифику. При воспроизведении было утрачено понимание композиции, и она рассыпалась на составные части и обогатилась элементами, несвойственными изваяниям-прототипам, зато привычными минусинским петрогифистам. (Рис.41, 5-7). Знакомые же реалии изваяний-прототипов (например, колчан) распозначались и воспроизводились адекватно (Рис. 41, 4,7) Следует признать, что прямых оснований для датировки минусинских изваяний нет. Можно только определить предельную нижнюю дату: прототипы указанных элементов достаточно надёжно (по реалиям) могут быть отнесены к VIII веку — не ранее этого времени появились и минусинские изваяния (ср.: Панкова 2000 а). Учитывая то, что было уже сказано о притоке западного населения после опустошения на рубеже VIII/IX вв., можно полагать, что тогда же на Среднем Енисее делались попытки воспроизвести некоторые традиционные ритуалы (и соответствующие этим ритуалам атрибуты) переселенцев, называть которых кыргызами можно было лишь в социополитическом смысле, хотя со временем мигранты, скорее всего, полностью интегрировались с аборигенами.

Перемены в системе погребальных ритуалов, подражания изваяниям и вещам западных типов, инокультурные погребения и вещи, случайные находки вещей западных типов, летописные и эпиграфические данные — всё это свидетельствует о том, что возрождение кыргызского государства шло при деятельном участии переселенцев из ближних западных областей — кимаков, карлуков, тюргешей, кыпчаков (не следует забывать, что кыпчаки — это поздняя ветвь сиров). Уйгуры, как и остальные центральноазиатские гегемоны, воевали со всеми западными и северными соседями, так что создание различных коалиций, направленных на борьбу с гегемонами, было не то что естественно — это было неизбежно. Несомненно, кыргызы, имевшие все причины ненавидеть уйгуров, нашли в лице своих западных соседей хороших союзников. Формирование новой структуры кыргызского общества, отражённой в системе погребальных ритуалов, было лишь частью глубокой культурной трансформации, связанной и с заметным обновлением этнического состава. Таштыкские традиции, ослабленные уйгурскими набегами, выжить в этой ситуации уже не могли.

Таким образом, беспорядочное скопление памятников, смешение веков и культур, чем кажется на первый взгляд любой крупный чаатас, оказывается (даже при беглом разборе) несомненной, хотя и не всегда во всём понятной системой. Несомненно, после полной публикации таких памятников, как Койбалский, Абаканский, Абакано-Перевозинский чаатасы, раскопанных на приемлемом методическом уровне, откроется возможность детально проработать вопросы пространственной организации и систематики ритуалов кыргызских некрополей. Но и сейчас, оценивая общий процесс развития похоронных обычаев енисейских кыргызов, можно сказать, что стержнем его был переход от групповых, даже массовых погребений к одиночным. Одиночные захоронения практиковались минусинскими племенами и в предшествующие времена, но переход от массовых погребений к индивидуальным происходил впервые; кроме того, переход от массовых таштыкских погребений к индивидуальным кыргызским происходил во времена летописей, когда собственно археологические наблюдения могут быть поставлены в событийный контекст и интерпретированы подробнее и надёжнее.

Появление индивидуальных могил знаменует разложение родового общества, его коллективистской идеологии, на смену которой приходит и новое отношение к личности. Его суть — в росте роли персонального героизма, богатства и общественного авторитета, в самой возможности признания значимости личности человека. Архаическое миропонимание всегда расценивало личную жизнь индивида лишь как период подготовки к посмертному инобытию (что и приводило к неумеренному акцентированию мемориальной функции памятников), но с появлением государственности возросли возможности личной самореализации. Эта общая закономерность нашла своё отражение в небрежности строителей чаатасов: им было важно не столько увековечить память для потомков, сколько утвердить статус погребаемых — для современников. Естественным образом традиционалистские, этнические ценности оказываются противопоставлены ценностям государственным и личностным; в отличие от поздних этапов развития государства, ранние его формы не подавляли личность, но опирались на неё. В

названии “героическая эпоха” больше исторического смысла, нежели поэтической романтики. На ранних этапах развития кыргызского общества, когда его практическую идеологию во многом определяла таштыкская родовая община, эти тенденции существовали в латентной форме. Но когда уйгурские набеги обрели черты настоящего геноцида, когда демографическая катастрофа заставила кыргызскую знать принять переселенцев с запада (возможно, выдвленных исламизацией Среднего Востока), — вот тогда и сложились условия для полного раскрытия этих тенденций. Пока сложно проследить этот процесс иначе, чем по устройству погребений; но и смены групповых могил индивидуальными, рудиментации таштыкских традиций устройства могил, появления множества инокультурных погребений — довольно, чтобы зафиксировать соответствующие сдвиги в общественном сознании. Иерархия кыргызских ритуалов показывает, что чем выше был социальный статус человека, тем меньшую роль играла его этническая принадлежность и происхождение — хотя о них помнили и вносили в ритуал похорон соответствующие поправки, порою весьма значительные. Скорее всего, мигранты жили отдельными группами (устраивая обособленные могильники) в постоянном контакте и взаимодействии с соседями. Процесс интеграции нового общества был бы весьма долг, кабы не сверхзадача, под которую это общество и создавалось — противостояние с уйгурами. Именно это противостояние сплотило “новых кыргызов”, но оно же привело и к совершенно неожиданным последствиям, о которых в начале IX в. никто, конечно же, не задумывался. История и культура енисейских кыргызов в IX-X вв. была предопределена именно тогда; её перипетии достаточно сложны, причём чаатасы Минусинской котловины вскоре перестают быть главным её зеркалом для археолога. Рассматривать развитие кыргызского общества и его культуры следует особо, по несколько иной схеме построения исследования, определяемой особенностями источников.

* Впрочем, теоретически здесь возможно сравнение со знаменитым Збручским идолом, также “работающее” на предлагаемую здесь трактовку, хотя и слишком общо.

Глава V. Эпоха, которой не было: енисейские кыргызы на рубеже тысячелетий. Введение.

“Эпоха великодержавия” — термин, прижившийся в отечественной научной литературе настолько, что давно уже не обсуждается ни его историческая правомерность, ни рамки, задаваемые им для интерпретации археологических материалов. Следует отметить, что археологам, занимающимся той или иной культурой, свойственно почти подсознательное стремление увидеть изучаемый ими народ великим и могучим, хотя бы в какой-то один из периодов его истории; это по-человечески понятно, однако может оказаться причиной существенных искажений реальной картины историко-культурного развития. Положение, в котором кыргызы оказались в 840 году, создаёт все предпосылки для появления завышенных и даже преувеличенно-восторженных оценок роли и значения минусинского государства на рубеже тысячелетий. В наиболее полном виде господствующий взгляд на историческую ситуацию IX-X вв. выражен Ю.С.Худяковым: “Это был звёздный час кыргызской истории, период, справедливо названный В.В.Бартольд “киргизским великодержавием”, время, когда кыргызы смогли подчинить обширные просторы степной Азии, оставить о себе память у многих народов и привлечь благодаря этому внимание позднейших историков. ... События IX-X вв. в Центральной Азии, активными участниками которых были кыргызы, изменили традиционную линию этнической истории в этом регионе, рассеяли уйгуров от Восточного Казахстана до Хангая, способствовали консолидации кимако-кыпчакского объединения, открыли путь кыргызам на Тянь-Шань, стали прелюдией для выхода на арену мировой истории монголоязычных кочевников. Всё перечисленное убеждает нас в необходимости вернуть изучаемому периоду прежнее название “эпоха (кыргызского) великодержавия”, сохранив его хронологию в пределах IX-X вв.” (Худяков 1982: 62-63). Лучшей иллюстрацией к словам Ю.С.Худякова может послужить карта, составленная Л.Р.Кызласовым (Рис.42). Термин “эпоха великодержавия” впервые появился в знаменитой работе акад. В.В.Бартольда о киргизах (1927). На несколько десятилетий это словосочетание предопределило тот угол зрения, под которым многие историки и археологи рассматривали южносибирские и центральноазиатские

археологические памятники IX-X вв. В большинстве публикаций именно кыргызы предстают главной движущей силой историко-культурного развития в огромном регионе на переломном этапе; если принять без разбора и критики всё, что приписывают кыргызам, то они выступают как невероятно могучая сила: ни танскому Китаю, ни Тибету не удалось одолеть уйгуров, а кыргызы легко “рассеяли” их после взятия Орду-Балыка в 840 г. Все новые культурные типы, распространившиеся в это время в указанном регионе, обычно считают однозначными свидетельствами кыргызского влияния; все погребения с сожжениями, датированные IX-X вв., принято считать кыргызскими; именно с этого времени ряд авторов отсчитывает историю тяньшаньских киргизов, якобы поэтапно переселившихся в Среднюю Азию со Среднего Енисея (Д.Г.Савинов посвятил отдельную статью подробной разработке археологических оснований данной версии этногенеза тяньшаньских киргизов, о чём ниже речь ещё пойдёт особо). Территория, подвластная кыргызам в это время, якобы простиралась от Красноярска на севере до Гобийского Алтая на юге и от Байкала на востоке до Иртыша на западе. Действительно, в хронике прямо говорится, что сильное кыргызское государство “по пространству равнялось тукюеским владениям”. Однако, во-первых, любые территориальные сопоставления хроник, мягко говоря, условны; а во-вторых, имеются и обратные по смыслу свидетельства, разрушающие логику концепции “кыргызского великодержавия”; и вот главное.

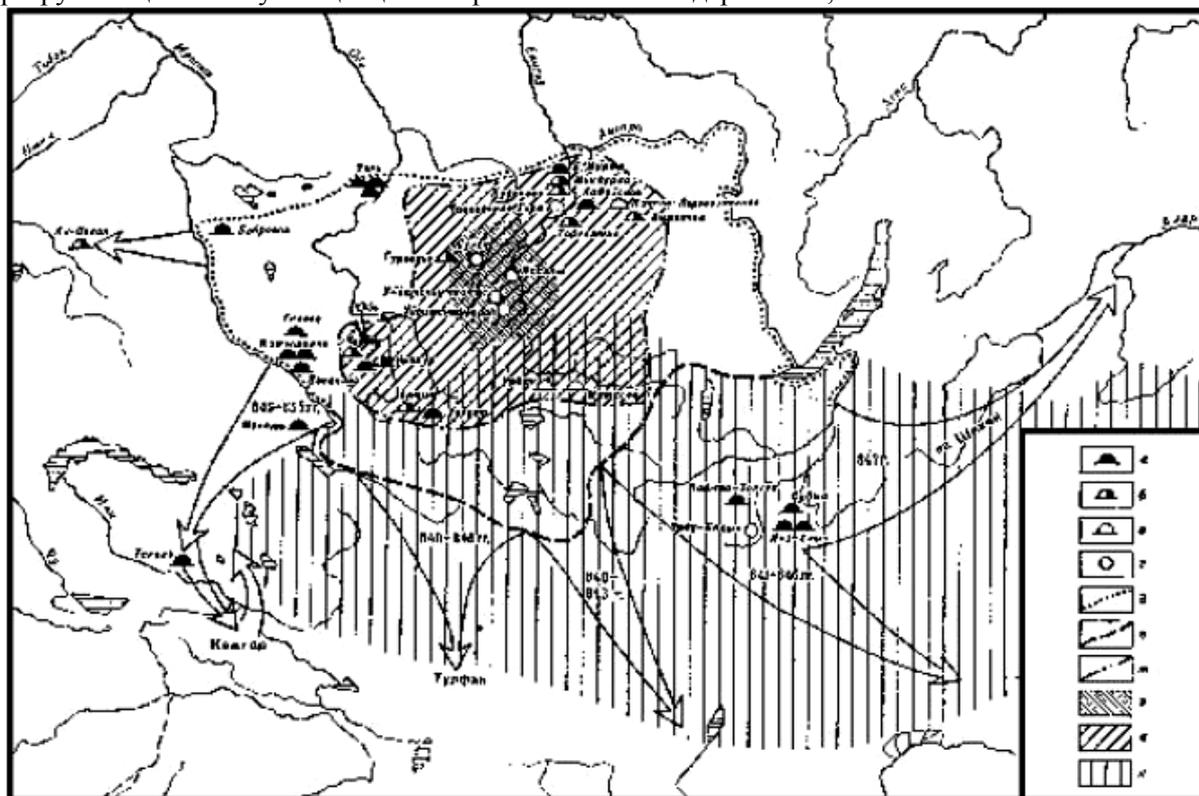


Рис.42. Центральная Азия в IX-X вв. с позиций концепции “кыргызского великодержавия” (По Л.Р.Кызласову).

Подробное повествование китайского хрониста о кыргызо-уйгурских коллизиях середины IX в. завершается на сообщении о том, что в 847 г. кыргызский правитель Ажо умер; летописец коротко упоминает несколько посольств, сожалеет о том, что кыргызы так и не смогли окончательно добить уйгуров, и добавляет, что о дальнейших событиях, связанных с кыргызами, “историки не вели записок”. И вот здесь возникает противоречие: с одной стороны — “равнялось тукюеским владениям”, “великодержавие” и т.п.; с другой стороны — “историки не вели записок”*. Достаточно вспомнить о том, с каким вниманием составители китайских летописей относились ко всей информации о “северных варварах”, представлявших собой реальную силу в стратегически важнейшей Центральной Азии — о тюрках и сирах, об уйгурах и о тех же кыргызах (до определённого момента), чтобы понять: уж если китайские хронисты “не вели записок” о енисейских кыргызах, то лишь потому, что никакой великой

кыргызской державы на самом деле не было, а роль этого народа была вовсе не такой значительной, как это представляется некоторым современным исследователям; термин же “кыргызское великодержавие” — историографический нонсенс, недоразумение, которое можно и должно устранить, предложив иное, более разумное освещение известных исторических событий и археологических фактов.

Следует помнить о том, что концепцию “кыргызского великодержавия” создавали и поддерживали исследователи, чьи работы порой составляют золотой фонд науки — В.В.Бартольд, А.Н.Бернштам и др. Поэтому необходимо не только выработать более современный взгляд на рассматриваемую проблему, но и установить, почему заведомо неверная концепция оказалась настолько живучей и привлекательной. Одна из причин указана в первых строках настоящего раздела; другие следует найти в публикациях. Следует также помнить, что материалы, позволяющие пересмотреть интерпретацию кыргызской истории IX-X вв., появились намного позже, чем концепция, и не могли быть учтены её создателями, однако в настоящее время несоответствие идеи о “кыргызском великодержавии” накопленным историческим и археологическим данным очевидно.

Нужно ещё отметить, что далеко не все авторы в полной мере восприняли концепцию “кыргызского великодержавия” и её обоснования как нечто само собой разумеющееся. Так, Л.Н.Гумилёв избегал использования этого словосочетания и отводил кыргызам весьма скромную роль разрушителей Уйгурского каганата, которые сразу после доставшейся им в 840 году победы “ушли обратно в благодатную Минусинскую котловину, где могли жить осёдло, заниматься земледелием, а не кочевать” (Гумилёв 1970: 66). Справедливости ради заметим, что Туву кыргызы всё-таки захватили и освоили, причём о кыргызском земледелии в Туве никаких серьёзных данных нет. Постоянный оппонент Л.Н.Гумилёва, синолог А.Г.Малявкин, автор ряда важнейших работ по истории уйгурского народа, подчёркивает, что кыргызы ограничились ликвидацией единого уйгурского государства и не пытались ни добить уйгуров, ни расширить экспансию (Малявкин 1983: 24) — это полностью соответствует прямым указаниям источников. Авторитетнейший специалист по истории и этнографии тьяньшаньских киргизов, С.М.Абрамзон в своём основном труде назвал “кыргызское великодержавие” — весьма преувеличенным (Абрамзон 1971: 21).

Таким образом, имеются все основания критически отнестись как к самой концепции “кыргызского великодержавия”, так и к её обоснованиям — историческим и археологическим. Выяснение же реальных обстоятельств истории енисейских кыргызов в IX-X вв. должно быть основано прежде всего на изучении исторического и археологического материала, исходящем не из “общепринятой” концепции, а из твёрдых методологических требований.

V.1. Кыргызы и уйгуры: замечания к истории противостояния.

События 840 года невозможно правильно оценить без разбора истоков и обстоятельств кыргызско-уйгурского противостояния. В предыдущих разделах показано, что уже на самом раннем этапе существования кыргызского государства имелись объективные предпосылки к тому, чтобы зародилась взаимная враждебность двух народов. Напомню, что в основе кыргызской государственности — недолгая история сирского эльтеберства на Енисее. Образование же самого Сирского каганата ущемляло самолюбие, амбиции и, возможно, какие-то традиционные права токуз-огузов. В 646 году уйгуры, разгромившие сирское государство, действовали в союзе с китайцами; те, в свою очередь, благосклонно принимали кыргызские посольства. То, что кыргызы в каком-то смысле были наследниками сирской государственности, а до того — одним из второстепенных племён Сирского каганата, и никоим образом не подтвердили свою лояльность новым хозяевам Центральной Азии (во всяком случае, данных о добровольном выражении покорности нет), превращало их во врагов токуз-огузов — пусть и не способных как-то помешать уйгурам в создании новой степной гегемонии. Традиционная вражда соседних племён и народов нередко уходит корнями в такую глубокую древность, что первоначальные причины забываются, а взаимное неприятие закрепляется в легендах, преданиях и прочем фольклоре. Отсутствие известий о ранних кыргызско-уйгурских столкновениях никак не свидетельствует о том, что вражда ушла в историю — уйти она могла только в традицию и, следовательно, должна была возродиться.

Первый уйгурский набег на кыргызов в 758 г. имел свою предысторию, благодаря хроникам известную более или менее подробно. Этот поход вовсе не был следствием захватнических устремлений уйгуров или мерой предосторожности, направленной на обезвреживание опасного северного соседа, как пытаются трактовать его некоторые исследователи. Рассмотрим обстановку в регионе. Известно, что разгром Второго Тюркского каганата уйгуры совершили в союзе с басмылами и карлуками (745 г.). Уже в 746-747 гг. уйгуры нанесли удар по своим недавним союзникам, но если басмылы покорились и стали одним из второстепенных племён Второго Уйгурского каганата, то карлуки бежали на запад, в Семиречье, и пытались с помощью татар противостоять уйгурам. Лишь китайское вторжение остановило эту войну: китайцы захватили Суяб, а затем Чач; карлуки вступили в союз с арабами, что и привело к поражению китайцев в Таласской битве 751 года. Затем карлуки переориентировались, в 752 году договорились с Китаем и возобновили войну с уйгурами (что, надо полагать, и было главной целью всех этих союзов и хитростей), параллельно устанавливая союзные отношения с тюргешами, басмылами и впервые появляющимися в этой истории кыргызами. Между тем китайцы не могли воспользоваться уйгурско-карлукской распрей: с 755 до 762 года империю сковывал мятеж Ань Лушаня/Ши Чао-и. Танский режим не смог ничего противопоставить мятежному инородцу-военачальнику, опиравшемуся на “федератов” — интернированных в империи тюрков. Сюаньцзун был вынужден обратиться за помощью к уйгурам; токуз-огузы подавили мятеж, разоряя всё на своём пути и нанеся урон куда больший, нежели могли нанести восставшие, после чего вернулись к своим северным и западным врагам, в том числе и к енисейским кыргызам. Следует подчеркнуть: если бы в тылу существовала реальная угроза, уйгуры не решились бы на долгий поход по Китаю; однако к 756 году уйгурам уже удалось отразить притязания карлуков, которые закрепились в Семиречье и, пока уйгуры громили войска Ань Лушаня, не пытались ударить им в тыл. Так что уйгуры, возвратившиеся из крайне выгодного китайского похода, давно уже были безраздельными хозяевами Центральной Азии. Считать, что в 750-х гг. кыргызы могли как-то угрожать уйгурской гегемонии, просто нелепо. Поход на кыргызов, предпринятый в 758 году, на общем фоне выглядит лишь завершением, последним штрихом войны, к которой кыргызы, в общем-то, не имели ни малейшего отношения. Северный енисейский народ был наказан за контакты с карлуками и в более раннее время — с тюрками Второго каганата, причём наказание не было жестоким — кыргызский правитель получил от уйгуров титул *бильге-тонг-эркин*, второстепенный по общественной иерархии; в сущности, кыргызов просто поставили на место и, может быть, обложили данью. Иной вопрос — зачем кыргызам понадобился опасный союз с карлуками. Как уже говорилось, возможно, что в кыргызской “политической традиции” неприязнь к уйгурам уходила корнями ещё в сирскую старину. Возможно, имели место некие несусветные амбиции. Впрочем, это неважно; главное в том, что и для карлуков, и для уйгуров кыргызское участие в описанных выше событиях было лишь небольшим эпизодом. А вот для кыргызской аристократии это обернулось потерей лица — титулам придавалось огромное значение, да и военное поражение было серьёзной неприятностью и поводом для новой волны вражды. Поскольку реальных событий в кыргызской истории было немного, этот незначительный по общим меркам эпизод вполне мог наложить сильный отпечаток на общественное сознание. Следует также отметить, что в 747-748 гг. имели место очередные кыргызско-китайские контакты, связанные, всего вероятнее, с восстановлением уйгурской гегемонии: китайцы, как всегда, прощупывали почву. Подстрекали ли китайцы кыргызов к чему-либо антиуйгурскому, неизвестно; однако после уйгурского набега 758 года кыргызские послы более “не могли проникнуть в Срединное государство”. Таким образом, можно со всем основанием заключить, что кыргызы в 750-х гг. попросту влезли не в своё дело и, естественно, поплатились за это; по иронии судьбы, именно эта мелкая история стала одной из причин последующей многолетней кыргызско-уйгурской вражды с куда более значительными последствиями как для кыргызов, так и для уйгуров. Но реальных последствий для кыргызской культуры (во всяком случае — для её археологизируемой части) сам по себе уйгурский набег 758 года иметь ещё не мог.

Предыстория катастрофического для кыргызов уйгурского набега 795 г. не может быть рассмотрена столь же подробно, однако весьма примечателен исторический контекст, позволяющий сделать несколько обоснованных предположений. Обычно, говоря о кыргызско-

уйгурских войнах, причиной этого набега называют антиуйгурское восстание на Енисее, но причины самого этого восстания не рассматривают — всё как бы и так ясно: раз уйгуры ранее покорили кыргызов, значит, восстания вполне естественны. Однако уйгуры нанесли поражение множеству племён, но далеко не все затем восставали, причём свирепость подавления, после которого “не стало живых людей”, практически беспрецедентна, в древнетюркскую эпоху такая жестокость встречается единственный раз, словно рецидив регулярных кровавых расправ хуннской древности. Никакой реальной угрозы уйгурам кыргызы не составляли; жестокость уйгурского карательного рейда была обусловлена не самим кыргызским восстанием, а его причинами, а также, несомненно, положением дел в самом Уйгурском каганате.

Основы коллизии были заложены более чем за тридцать лет до восстания. В 761 году танский двор вновь оказался не в силах самостоятельно справиться с мятежниками, которых после гибели Ань Лушаня возглавил Ши Чао-и; император вновь обратился к уйгурам, те вновь подавили мятеж и вновь разграбили северные провинции Китая. Из этой экспедиции уйгуры возвращались не только с добычей, но и с манихейскими проповедниками; деятельность последних имела успех среди уйгурской знати, и вскоре манихейство стало в каганате основной религией правящей элиты. Естественно, ни о каком “уверовании” речь не идёт: манихейские общины, по точному выражению С.Г.Кляшторного, “были главными координаторами торговых операций на трассе от Семиречья до Внутреннего Китая” (Кляшторный 1994: 33). В сущности, миссионеры были агентами влияния, торговыми атташе, если угодно, лоббистами согдийских купцов Восточного Туркестана. Эти последние, убедившись в прочности могущества новых гегемонов Центральной Азии, сделали на них ставку точно так же, как за двести лет до того — на тюрков. В уйгурской столице Ордубалыке появилось множество согдийцев, иные из которых были даже советниками каганов. Влияние согдийцев, как и в случае с тюрками, было огромным; его результатом должна была стать стабильность на караванных тропках, в городах Восточного Туркестана, а платой за влияние — гегемония Уйгурского каганата в степи. Китай был донельзя ослаблен восстанием Ань Лушаня/Ши Чао-и и уйгурским усмирением мятежа. Примечательно, что Ань Лушань был не то сыном, не то воспитанником богатого согдийца; во время мятежа он открыто сотрудничал с согдийцами; но только восстание было подавлено — согдийцы немедленно наладили тесные отношения с теми, кто это восстание подавил. Неизвестно, какую роль согдийцы сыграли в организации этого страшного мятежа, но то, что они использовали его до конца, не вызывает ни малейших сомнений.

В Китае после восстановления порядка началось, как это и теперь часто бывает, восстановление государства; теперь важнейшей внешнеполитической задачей было ослабить недавних спасителей-разорителей, взимавших грабительскую дань и не допускавших усиления китайского влияния на западе. Уйгуро-китайские отношения благодаря череде взаимных провокаций постепенно обострялись, и к концу 770-х гг. империя и высшая знать каганата стояли на грани войны. Имперские эмиссары умело подогревали сепаратистские настроения во второстепенных племенах. Л.Н.Гумилёв отмечает, что Китай прямо финансировал сепаратистов, тогда как среди рядовых уйгуров “существовало недовольство роскошью ханского двора” и неумеренными поборами (Гумилёв 1967: 408) — безграмотное, грабительское налогообложение погубило не один государственный режим. В 779 году Бегюкаган был убит Тон-бага-тарканом, лидером прокитайски настроенных степняков и противником новой войны с Китаем. Вместе с каганом погибли его сыновья, советники-согдийцы и учителя-манихеи. Уйгуро-согдийское сотрудничество и основанное на нём равновесие были разрушены. С точки зрения степняков, господство токуз-огузов сменилось гегемонией ранее второстепенного рода Яглакар (кит. Иологэ). С точки зрения прочих участников конфликта, китайцы выиграли у согдийцев очередную партию бесконечной кровавой игры вокруг контроля над восточными трассами Великого Шёлкового пути. Уйгуры же “предпочли прямое налоговое ограбление согдийских и тюркских общин в Таримских оазисах” (Кляшторный 1994: 33), которые сразу восстали, заручившись поддержкой карлуков. Те, в свою очередь, также искали союзников.

Главным врагом танского Китая в те годы был Тибет, за короткий срок выросший в мощное государство, по большинству важнейших характеристик мало чем уступавшее Китаю. Естественно, тибетцы (цяны) рвались взять под свою руку богатый Таримский бассейн, а

потому и для них Уйгурский каганат был в то время естественным врагом. Другими возможными союзниками были арабы и кыргызы — особенно кыргызы, имевшие как опыт союза с карлуками, так и веские основания для ненависти к уйгурам, сильно унизившим енисейских вождей в 758 году. Позднейшие события показали, что в каких-то антиуйгурских действиях кыргызы участвовали. Известно, что в следующем веке у кыргызов были налаженные связи с арабами, тибетцами и карлуками, причём последние указаны как посредники (то есть в конце концов — организаторы) в сношениях кыргызов с посланниками Тибета. Замечательным подтверждением кыргызо-тибетских связей стали находки тибетских берестяных грамот-амулетов в кыргызских курганах середины IX в. в южном Овюрском районе Тувы (Грач 1980а; Воробьёва-Десятовская 1980). Л.Н.Гумилёв предположил, что “тибетская дипломатия сделала своё дело: в тылу у уйгуров подняли восстание кыргызы” (Гумилёв 1967: 415). Однако, учитывая совокупность изложенных выше фактов, активизацию кыргызов следует считать результатом работы не столько тибетских, сколько карлукских послов, выступавших в качестве проводников и посредников; участие Тибета было лишь дополнительным фактором.

Вместе с тем противники уйгуров всё же недооценили их. К середине 790-х гг. уйгурам удалось остановить и карлуков, и тибетцев. В ходе войны выдвинулись и обрели массовую поддержку уйгурские военачальники — вожди телеского племени эдизов, второго в иерархии каганата (прежде они были третьими в иерархии Второго Тюркского каганата). В 795 году каган Ачо умер, не оставив законного наследника, и произошёл переворот; новый каган, Алп Кутлуг, объявил себя наследником рода Яглакар и принял титул “тэнридэ улуг булмиш алп кутлуг билъге каган” (божественный, героический, счастливый и мудрый каган). Он восстановил манихейскую ориентацию ставки, сняв главную причину, по которой его предшественники утратили согдийскую поддержку. Для борьбы с Китаем, Тибетом и карлуками требовалось обезопасить северные тылы, и Кутлуг, едва приняв власть, совершил поход за Саяны, после которого, по хвастливому свидетельству уйгурского источника, в кыргызской стране “не стало живых людей”. То, что стало трагедией целого народа, было, по сути, элементом подготовки решающей кампании на южных рубежах Уйгурского каганата.

Антиуйгурский союз распался. В течение двадцати с лишним лет шли войны за Восточный Туркестан, в которых военная победа оставалась за Тибетом. Карлуки в Семиречье более всего были заняты сдерживанием арабской экспансии; они создали т.н. “государство Караханидов”, продержавшееся очень долго — вплоть до нашествия кара-киданей в начале XII века; к тому времени местное население уже было в основном исламизировано. Китай воевал с Тибетом и с уйгурами. В 821 году Китай и Тибет заключили мир, выгодный более Тибету — то есть Китай проиграл. Тибет не претендовал на чуждые ему центральноазиатские степи, и уйгуры могли практически ничего не опасаться — каганат оказался в сравнительно благоприятном окружении. Однако внутри самого каганата шла ожесточённая грызня за власть — фактически за доходы от караванной торговли. Многие исследователи полагают, что главными противниками уйгуров в это время становятся кыргызы; в частности, именно к этому времени относят строительство системы крепостей в Туве, протянувшихся вдоль Енисея, однако нужно заметить, что археологических подтверждений столь точной их датировки нет. Что же касается кыргызов, то они в течение первых десятилетий IX века восстанавливали силы после резни 795 года. Примерно за двадцать лет до падения Ордубалыка они восстали (исследователи по-разному определяют этот момент — 815, 818, 820 годы; уточнить датировку в настоящее время невозможно).

За двадцать лет до падения Орду-балыка кыргызский правитель, называемый в китайской хронике Ажо (неясно, имя это или титул) объявил себя ханом; уйгурский каган Бао-и немедленно отправил на север “министра с войском”, чтобы наказать самозванца, но карательный отряд “не имел успеха”, и началась двадцатилетняя пограничная война, в которой, судя по её продолжительности, успеха не имел вообще никто. В самом Уйгурском каганате в это время происходили события, объясняющие безуспешность карательных акций на севере. В 832 г. “хан убит от своих подчинённых”; через семь лет, в 839 году, “министр Гюйлофу (Кюлюг-бег) (по А.Г.Малаявину — Курабир) восстал против хана (кагана Ху из племени эдизов), и напал на него с шатоскими войсками. Хан сам себя предал смерти... В тот год был голод, а вслед за ним открылась моровая язва и выпали глубокие снега, от чего много пало овец

и лошадей”. “Синь Таншу” сообщает, что в тот год было много болезней, голод и падёж скота; энциклопедия “Тан хуэйяо” под 839 годом сообщает, что “ряд лет подряд был голод и эпидемии, павшие бараны покрывали землю. Выпадал большой снег”. Кюлюг-бег и его сторонники поставили ханом “малолетнего Кэси Дэле” (Кэси-тегина). В следующем, роковом для Уйгурского каганата 840 году “старейшина Гюйлу Мохэ (Кюлюг-бага-тархан из телеского племени эдизов), соединившись с хагасами (кыргызами), со 100 000 конницы напал на хойхуский (уйгурский) город (Орду-балык), убил хана, казнил Гюйлофу (Кюлюг-бега, Курабира) и сожёл его стойбища. Хойху поколения рассеялись”. (Бичурин 1950, т. I: 334; Малявкин 1983: 22). Проследив развитие событий, можно заключить, что Уйгурский каганат ко времени начала настоящей войны с кыргызами был предельно ослаблен как усобицами, так и природными катаклизмами, и лишь благоприятные внешние обстоятельства, в сложении которых сами уйгуры участвовали минимально, позволяли степному государству ещё существовать, расходуя силы на внутренние усобицы. Для развала великого каганата оказалось довольно одного набега на столицу.

В Орду-балыке кыргызы захватили, среди прочей добычи, китайскую “принцессу” Тайхэ, дочь императора Сянь-цзуна, состоявшую в браке с несколькими уйгурскими каганами, передававшими её один другому по наследству. Её безопасность была условием сохранения нормальных отношений с Китаем, и “принцессу” с охраной и эскортом отправили на родину. Однако один из уйгурских отрядов во главе с Уге-тегином из рода Яглакар напал на эскорт, перебил охрану и захватил китайку, вознамерившись отправить её на родину от своего имени, чтобы вернуть расположение Китая. Но голодная орда Уге-тегина занялась грабежами; уйгуры столкнулись с тюрками-шато, вытеснили их в Маньчжурию, где шато были разбиты китайцами. Уйгуры вторглись в Ордос и Шэньси; китайцы призвали на помощь кыргызов, а сами нанесли удар с юга и отбросили в Маньчжурию уже самих уйгуров, где их и настигли кыргызы. В 843 году орда Уге-тегина после трёх лет борьбы за спасение каганата была уничтожена. “Хойху почти уничтожились. Оставалось именитых князей и высших чиновников до 500 человек, возлагавших единственную надежду на Шивэй”. Остатки уйгуров бежали в Приамурье, где “семь родов шивэйских разделили хойху между собою. Хягас, рассердившись на это, с министром своим Або и 70 000 войска напал на Шивэй и, забрав остальных хойху, возвратился на северную сторону Песчаной степи” (846 г.). Часть уйгуров бежала на Восточный Тяньшань и к Тарбагатаю, в Джунгарию. В 842, 843 или 844 гг. кыргызы, вняв подстрекательствам китайцев, разгромили группировку “хэлочуаньских” уйгуров на р. Эдзин-гол (Малявкин 1983: 111), по ходу нанеся поражение обитавшим в тех же краях татарам — последнее косвенно подтверждается руническими текстами в Хербис-баары и IX памятником с Уйбата (Кляшторный 1987; 1994: 58-59). Сообщается, что ещё в 843 году кыргызы совершили поход на Аньси и Бэйтин, но А.Г.Малявкин сомневается в том, что это известие соответствует действительности, поскольку эти наместничества к описываемому времени “уже давно прекратили своё существование”, а известия о взятии кыргызами Бешбалыка и Кучи вызывали сомнения и у современников-китайцев (Малявкин 1983: 144-145). Впрочем, не исключено, что какой-то кыргызский отряд действительно преследовал уйгуров до Бешбалыка и даже закрепился в Восточном Туркестане; косвенным подтверждением этого допущения может служить то, что в 981-983 гг. китайский посол Ван Яньдэ застал в Гаочане какую-то группу кыргызов. Но даже если и был этот прорыв, то ни о каком “великодержавии” он не свидетельствует — догнали уйгуров, разбили их, да и осели на новом месте, вот и всё. Это не великодержавие, а военизированное бродяжничество с бандитским уклоном.

Как следует из летописного повествования об уйгурах и из других источников, роль кыргызов сводилась к разгрому каганата и к погоням за разбежавшимися в суматохе по всей степи уйгурскими отрядами. Двадцатилетние пограничные столкновения не привели к реальным успехам, а в 840 году уйгурские вельможи из племени эдизов просто использовали кыргызов во внутриуйгурской усобице точно так же, как за год до того токуз-огузы использовали тюрков-шато. В погоню за Уге кыргызы отправились по просьбе китайцев, о чём свидетельствует переписка китайского чиновника Ли Дэюя, где прямо говорится о том, что кыргызов нужно использовать для полного разгрома уйгуров; о кыргызах как о самостоятельном факторе военно-политических игр летописи не говорят вовсе. Сообщается, что в 847 году кыргызский Ажо умер; сообщается, что в период с 860 по 873 год кыргызы “три

раза приезжали ко Двору. Но Хягас не мог совершенно покорить хойху. Впоследствии были ли посольства и были ли даваны и жалованные грамоты, историки не вели записок”. Как только выяснилось, что добить уйгуров кыргызы не в состоянии, интерес к ним пропал.

Если в разделе об уйгурах летописец характеризует роль кыргызов как весьма скромную, то в повествовании о самих кыргызах акценты заметно смещены. Объявив себя ханом, Ажо отразил первый карательный рейд уйгуров, после чего, “надмеваясь победами”(?), слал уйгурскому кагану хвастливые ультиматумы: “Твоя судьба кончилась. Я скоро возьму Золотую твою орду, поставлю перед нею моего коня, водружу моё знамя. Если можешь состязаться со мною — приходи; если не можешь, то скорее уходи” (Бичурин 1950, т. I: 355-356). Через двадцать лет “хойхуский хан не мог продолжать войны. Наконец его же полководец Гюйлу Мохэ привёл Ажо в хойхускую орду. Хан был убит в сражении, и его Дэле рассеялись”. Очевидно несоответствие двух повествований об одних и тех же событиях; в повествовании об уйгурах кыргызский поход — лишь эпизод многолетней внутренней уйгурской усобицы, дошедшей до привлечения обеими сторонами иноплеменников, которые в конце концов вышли из-под контроля и разграбили столицу; в повествовании о кыргызах их поход 840 года выставлен победным результатом двадцатилетнего противостояния. На вторую версию и предпочитают опираться нынешние исследователи. Напомним, что в 839 году Кюлюг-бег (Курабир) поставил ханом “малолетнего Кэси Дэле”, который вряд ли мог быть “убит в сражении”; но даже если юный каган и был достаточно взросл для участия в бою, версия повествования об уйгурах, согласно которой и Кюлюг-бег, и его малолетний ставленник были убиты Кюлюг-бага-тарканом, выглядит более правдоподобной благодаря упоминанию конкретных имён и общей согласованности со всем ходом событий. Рассказ кыргызской версии как бы “подправлен” в пользу кыргызов — в тот момент союзников танского Китая. Повествование же об уйгурах в целом более последовательно и логично, чем запутанное и компилятивное (подробнее об этом см. в след. разделе) летописное повествование о кыргызах.

В целом приходится заключить, что исторические обстоятельства, сопутствовавшие кыргызско-уйгурскому противостоянию, не только не свидетельствуют о каких-либо великодержавных настроениях енисейских кыргызов, но и вообще не дают повода видеть в них самостоятельную военно-политическую силу первой половины — середины IX века. Они выступают как союзники других, более активных участников центральноазиатских войн, главным образом играя роль северной угрозы для уйгуров, которые, в свою очередь, карательными набегами обеспечивали status quo в своём глубоком северном тылу. Ни в 750-х, ни в 790 гг. кыргызы даже не успевали собрать войско и выступить в походы, предусматривавшиеся военными союзами. Ко вступлению в эти союзы кыргызов подталкивала главным образом традиционная враждебность к уйгурам, унаследованная кыргызской аристократией от сиров. Вместе с тем надо полагать, что антиуйгурские настроения с каждым карательным рейдом уйгуров всё глубже пропитывали кыргызское общество и в конце концов закономерно стали одним из доминирующих факторов общественного сознания — урок всем любителям скорых расправ. Резня 795 года привела не к полному подавлению кыргызской угрозы (как, конечно же, рассчитывал беспощадный Кутлуг), а к прямо противоположному результату: у кыргызов появились более чем реальные и общепонятные причины для мести. Вполне естественным было и углубление связей с традиционными союзниками — карлуками (как уже говорилось выше, весьма вероятно, что культура именно этого народа была одним из основных источников инноваций в кыргызской культуре первой половины IX века). Возрождение Кыргызского каганата около 820 года было естественным следствием уйгурской жестокости, проявленной за четверть века до этого.

Вместе с тем совершенно очевидно, что на полный разгром уйгуров и уж тем более на создание новой центральноазиатской гегемонии сил у кыргызов не было. Действия кыргызов в 840-х гг. не имеют ничего общего с великодержавной экспансией — это просто грабительский набег на вражескую столицу и несколько рейдов после него. Кыргызы никого не сделали своими данниками, они даже не попытались выстроить новую государственную структуру и как-то организовать разрозненных степняков. Разочарование китайского Двора, выраженное в одной фразе источника, и дальнейшее развитие событий однозначно показывают: прорыв 840 года был, в общем, случайностью, трагической для всех её участников. Впрочем, уйгуры всё-таки создали свои княжества в Восточном Туркестане, то есть там, где китайцы меньше всего

хотели бы их видеть; в Центральной же Азии не возникло ни кыргызской, ни вообще чьей бы то ни было гегемонии. Л.Н.Гумилёв объясняет это многолетней засухой во внутренней Азии, сделавшей кочевническую жизнь в степи невозможной; проверить эти палеоклиматологические построения мне не под силу, но я вынужден признать, что лучшего объяснения “вакууму власти” в Великой степи никто предложить пока не сумел.

Оценивая весь исторический контекст кыргызско-уйгурского противостояния во второй половине VIII — первой половине IX вв., следует отметить, что, как и прежде, сутью событий была ожесточённая борьба за контроль над трассами караванной торговли, а наиболее деятельными участниками этой борьбы при ближайшем рассмотрении оказываются не уйгуры и тем более не кыргызы, и даже не китайцы — а согдийцы. Арабское завоевание лишило согдийцев их “исторической родины”, и всё, что могли теперь делать эти “евреи Среднего Востока” — это максимально ловко использовать во благо своих восточнотуркестанских колоний противоречия между Китаем, Тибетом и центральноазиатскими кочевниками. В целом им это обыкновенно удавалось, но возрождение согдийской цивилизации было уже невозможно. Что же касается кыргызов — то им выпало на короткое стать не только жертвами всей этой борьбы гигантов, но и её инструментом. Как будет показано ниже, для самих кыргызов это обернулось вовсе не тем, на что они надеялись.

* Крестьянская война 874-901 гг. вряд ли была препятствием для “ведения записок”, хотя на политику Китая по отношению к “северным варварам” она, конечно, оказала большое влияние.

V.2. Кыргызы и Китай: о пределе доверия к летописям.

Во второй половине IX в. в китайских летописях перестали появляться записи о енисейских кыргызах. До того именно китайские источники содержали наибольшее число сведений об этом народе; именно на китайских источниках (разумеется, вместе с арабскими) основывался В.В.Бартольд, предлагая злополучный термин “кыргызское великодержавие”; именно китайские источники содержат загадочную и заведомо ложную идентификацию “Хягас есть древнее государство Гяньгунь”, породившую ряд ошибочных интерпретаций археологического материала. Поэтому, добравшись до момента, после которого китайские “историки не вели записок” о енисейских кыргызах, стоит оглянуться и присмотреться к тому, что, как и когда китайские хронисты сообщали о кыргызах. Тема включает два связанных вопроса: о путанице с локализациями и о хронологии посольств.

Говоря о различных локализациях кыргызского ареала в китайской летописи, нужно иметь в виду три ключевых фрагмента.

1. “Хягас есть древнее государство Гяньгунь. Оно лежит от Хами на запад, от Харашара на север, подле Белых гор. Иные называют сие государство Гюйву и Гйегу. Жители перемешались с динлинами. Владение Хагас некогда составляло западные пределы хуннов. Хунны покорившегося им китайского полководца Ли Лин возвели в достоинство западного Чжуки-князя, а другого китайского же полководца Вэй Люй поставили государем у динлинов. Впоследствии Чжичжы шаньюй, покорив Гяньгунь, утвердил здесь своё пребывание, в 7000 ли от орды восточного Шаньюя на запад, в 5000 ли от Чешы на север; почему владельцы сей страны впоследствии ошибочно Хягас называли Гйегу и Гйегйесы. Народонаселение простиралось до нескольких сот тысяч, строевого войска 80 000. Прямо на юго-восток до хойхуской орды считалось 3 000 ли; на юг простиралось до гор Таньмань”.

2. “От местопребывания Ажо до хойхуской орды считается 40 дней пути верблюжьего хода. Посланники шли из Тьхянь-дэ 200 ли до городка Си Шеу-сян чен; далее на север 300 ли до Гагарьего ключа; от ключа на северо-запад до хойхуской орды 1 500 ли. Находятся две дороги: восточная и западная. Дорога от ключа на север называется восточною. В 600 ли от хойхуской орды на север протекает Селенга; от Селенги на северо-восток снежные горы. Сия страна изобилует водою и пастбищами. По восточную сторону Чёрных гор есть страна Гянь-хэ. Через неё переправляются на батах. Все реки текут на северо-восток, минуя Хягас, соединяются на севере и входят в море”.

3. “Хягас было сильное государство; по пространству равнялось тукюеским владениям. Тукюеский Дом выдавал своих дочерей за их старейшин. На восток простиралось до Гулигани, на юг до Тибета, на юго-запад до Гэлолу”.

Приведённые здесь фрагменты даже теоретически не могли бы относиться к одной территории. Наиболее понятен второй фрагмент. Несмотря на некоторые неясные и нелокализуемые топонимы, в целом совершенно очевидно, что речь идёт о Южной Сибири, а прямое указание на реку Гянь (Гянь-хэ), то есть Енисей — окончательно решает вопрос. Правда, не совсем понятно, идёт ли речь о Минусинских или Тувинских котловинах, но в данном случае это не столь существенно, поскольку летопись составлена в ту пору, когда кыргызы уже контролировали оба эти региона. А вот локализации, объединённые в первом фрагменте, совершенно несовместимы. В Главе I уже рассматривался вопрос о локализации земли гяньгуней — это запад и/или север Джунгарии, может быть, прилегающие к Тарбагатаю прииртышские степи. В тоже время привязка к горам Таньмань (хребет Танну-ола) указывает на Енисей. Примечательно, что хронист всё время кого-то поправляет и настойчиво отождествляет несколько названий — видимо, ему известно, что такое отождествление может вызвать недоумённые вопросы сведущих читателей.

Третий фрагмент цитируют, говоря о т.н. “эпохе великодержавия”, когда кыргызы якобы захватили огромные территории. Однако династические браки с тюрками имели место только в период Второго Тюркского каганата, и образованный летописец не мог этого не знать — в то время кыргызы уже бывали при дворе, о чём делались соответствующие записи. Пространственные сопоставления летописей особого значения не имеют, а вот куда кыргызское государство “простиралось” — это важно.

Гулигань — это прибайкальские курыканы, от кыргызских земель их отделял труднопроходимый Восточный Саян, а связываемые с ними памятники сходны с кыргызскими не более, чем памятники иных народов того времени. В тех краях кыргызы оказались лишь однажды, когда ходили в шивэйские земли добывать бежавших туда уйгуров. Тибет в годы наибольшего своего могущества контролировал территории не севернее Тяньшаня — но даже самые убеждённые сторонники теории “кыргызского великодержавия” не включают в область кыргызского господства ещё и Джунгарию. Гэлолу, то есть карлуки, кочевали в Джунгарии и Семиречье, в Восточном Казахстане и на Монгольском Алтае; однако в IX-X вв. их земли были отделены от кыргызских владений территориями кимаков и кыпчаков. Таким образом, речь не может идти о реальной границе. Фрагмент становится осмысленным лишь при том условии, что слово “простиралось” будет понято как указание на посольские связи или как свидетельство наиболее дальних военных рейдов. При таком подходе всё становится на свои места — действительно, кыргызы имели развитые контакты с карлуками и с Тибетом, есть и упоминания о столкновениях с курыканами. Таким образом, третий фрагмент говорит о том, что прежде кыргызы имели династические связи с тюрками, а теперь тем или иным образом контактируют с карлуками, Тибетом и курыканами. И не более того.

Сведения “Таншу” о местонахождении кыргызского государства запутанны и противоречивы; хроника смешивает данные о разных регионах и временах. В повествованиях о других народах и племенах локализации даны коротко и ясно, а структура текста чаще всего стандартна: происхождение — локализация — этнография и география — история — хроника. Рассказ же о кыргызах построен очень сложно. Вот последовательность основных информационных блоков:

- I. Варианты названия, локализация и древняя история.
- II. Численность населения и войска.
- III. Этнографические данные.
- IV. Локализация.
- V. Сведения о соседях — таёжных племенах.
- VI. История от 630 до 758 года.
- VII. Варианты названия.
- VIII. Сведения об отношениях кыргызов с западными странами и с Тибетом.
- IX. Хроника 820-873 гг.

Стандартная последовательность “взломана” вставками, касающимися локализаций и этнонимии — вопросов весьма болезненных, если компилируются данные о разных народах.

Э.Б.Вадецкая отметила, что в рассказ о южносибирском народе попали зоологические и ботанические сведения, относящиеся к Средней Азии, а не к Южной Сибири (Вадецкая). Смешанность настолько заметна, что я считаю возможным заключить: в летописном повествовании о кыргызах имеет место сознательное соединение данных о разных народах с одним и тем же названием (или с двумя похожими названиями) — о туркестанских и енисейских кыргызах, очевидное и для составителя; иными словами — перед нами подтасовка, которая не могла быть прихотью хрониста, но имела свои весьма основательные причины.

Ключ к поиску причин столь вольного обращения с фактами отыскивается в динамике и содержании кыргызо-китайских контактов. Хроника сообщает, что до падения Восточного Тюркского каганата кыргызы не имели контактов с Китаем; в 632 году китайцы отправляют к кыргызам посольство во главе с неким Ван Ихунем; ответное посольство состоялось лишь в 643 г., затем в 648 году, когда кыргызский эльтебер Сыбокюй (Шибокюй) Ачжань изъявил желание “держать хубань”, то есть просил покровительства, по сути — международного признания. Последнее посольство этого века зафиксировано в 675 году, затем контакты прервались до начала следующего столетия. В VIII веке посольства отмечены под 707, 709, 711, 722, 723, 724, 747 и 748 годами; затем уйгуры разгромили кыргызов, и посольские обмены прекратились, чтобы возобновиться в 840-870-х годах. Л.Р.Кызласов считает эти посольства в основном “торговыми” — из-за того, что во всех случаях посланцы везли с собой подарки; по этой логике торговыми надо бы признать вообще все посольства в истории. История этих посольств гораздо интереснее, чем простая торговля.

Следует обратить внимание на два обстоятельства. Во-первых, посольские связи неритмичны: периоды чрезвычайной активности сменяются десятилетиями забвения. Дипломатические сношения учащались как раз в те годы, когда в Центральной Азии складывались острые кризисные ситуации. Действительно, следите за датами:

1) посольство 632 года имело место вскоре после образования Сирского каганата, к которому китайцы относились безо всякого энтузиазма;

2) посольство 643 года — незадолго до гибельного для сиров мятежа токуз-огузов; посольство 648 года — вскоре после падения Сирского каганата и в ходе образования Первого Уйгурского, причём кыргызский эльтебер просит подтвердить его независимость;

3) посольство 675 года — накануне антиуйгурских походов тюрков, прежде интернированных в Китае и теперь собиравшихся воссоздать своё государство в степи;

4) посольства 707-711 годов совпадают по времени с походами тюрков Второго каганата против южносибирских народов, пытавшихся разрушить тюркскую гегемонию;

5) посольства 722-724 годов произошли сразу после тюрко-китайской войны, фактически выигранной тюрками;

6) посольства 747 и 748 годов — сразу после падения Второго Тюркского и создания Второго Уйгурского каганатов;

7) посольства 840-870-х годов — сразу после падения Орду-Балыка и в период создания локальных уйгурских княжеств.

Перед нами — полный список смутных времён центральноазиатской истории VII-IX веков. Во времена относительно политической стабильности кыргызы китайцев не интересовали, и если в эти периоды и были какие-то контакты, хронист ими пренебрёг. Будь эти посольства и впрямь “торговыми”, как утверждает Л.Р.Кызласов, с ними всякий раз стоило бы подождать до лучших времён: отправлять караваны с добром в годы войн и усобиц решился бы только безумец. Нет ни малейшего сомнения в том, что все эти посольские связи были связаны между собой общей политической задачей — китайцы, всегда следовавшие установке “громить варваров руками варваров”, стремились контролировать или хотя бы сдерживать беспокойных центральноазиатских кочевников и создавать для них внутренние и внешние трудности. Кыргызы, соседствуя с центральноазиатскими гегемонами на их северной периферии, лучше всего подходили для участия в решении этих задач. Показательно, что завершились эти контакты как раз тогда, когда кыргызы продемонстрировали свою неспособность справиться с рассеянными по степи уйгурами. Зачем нужен союзник, от которого уже нет никакого проку?

Во-вторых, во всех случаях, когда летописец пересказывает содержание бесед между императорами и посланниками, обязательно затрагивается одна и та же тема. Вот пример —

одно из посольств времени смуты начала VIII века. Тогда император Чжун-цзун “подозвал к себе посланника и сказал ему: ваш царствующий Дом происходит из одного со мною рода, и я отличаю его от прочих вассалов”. Вскоре после падения Орду-Балыка в присутствии одного из кыргызских послов императором было “указано, чтоб Ажо, как происходящего из одного рода с царствующим в Китае Домом, внести в царскую родословную”, а сами кыргызы даже получили кое-какое символическое подкрепление для борьбы с уйгурами. Тему родства царствующих Домов китайцы поднимали неукоснительно, заодно подталкивая кыргызов к тем или иным действиям против центральноазиатских каганатов.

Тезис о родстве правящих Домов основывается на том, что родовым именем танских императоров было Ли: основоположника династии звали Ли Юань, сменивший его знаменитый Тайцзун первоначально носил имя Ли Шиминь etc. То же имя носил и неоднократно упоминавшийся в начале этой работы китайский военачальник Ли Лин, перебежавший к хуннам и вдобавок к должности Западного Чжуки-князя получивший во владение земли кыргызов-гяньгунь. Летописец подчёркивает, что потомки Ли Лина царствуют у кыргызов и поныне. Приводятся даже якобы бытующие поверья, что черноглазые особенно удачливы, ибо происходят прямо от Ли Лина. Последнее просто забавно: откуда кыргызы, не имевшие летописной традиции, могли в VII веке знать о персонаже истории семисотлетней давности? Конечно, от самих же китайцев и знали.

Могли ли китайцы не знать о том, что владение Гяньгунь никакого отношения к енисейским кыргызам не имеют, и вопрос сводится лишь к примерному совпадению названий? Упомянувшееся выше китайское сообщение о походе Иби Дулу-хана в 638 году, когда к западу от реки Или им были покорены в том числе и некие гйегу, свидетельствует о том, что китайцы были осведомлены о туркестанской группе кыргызов и, в отличие от некоторых нынешних историков, географию знали и Среднюю Азию с Южной Сибирью не путали. Именно поэтому в летописи появилась не только ложная идентификация названий “хягас” и “гяньгунь”, а ещё и совершенно верное замечание о том, что путать Хягас и Гйегу “ошибочно” — причём сразу после туркестанской локализации и перед локализацией минусинской (см. фрагмент I в начале данного раздела). Эта поправка попала в скомпилированный текст из первоисточника. Соответственно, китайские историографы были осведомлены и о том, что ни на каком Енисее Ли Лин не правил и никакого династического родства у кыргызов с китайским двором нет. Сведения о туркестанской группе кыргызов относятся к тому самому времени, когда Тайцзун периодически беседовал с кыргызскими послами о Ли Лине. Великий император не был неучем — напротив, он был великолепно образован и даже сам принимал непосредственное участие в составлении хроник. При этом он был расчётливым и хитрым политиком. Он прекрасно знал историю — кыргызы её не знали. Он знал о туркестанских кыргызгах-гйегу — кыргызские посланники о них не имели никакого представления. Тайцзун знал летописный рассказ о своём древнем однофамильце или предке, связанном с какими-то кыргызами в далёком Западном крае, и перед ним стояла задача привлечь каких-то совершенно других кыргызов к решению своих текущих политических задач. Решение императора было на диво цинично и эффективно: он запросто изменил прошлое, признал своё родство с вождями неведомого северного народца, им это, безусловно, льстило, их это даже выделяло среди других варварских правителей, а самое главное — это заставляло центральноазиатских каганов в их вечном противостоянии с Китаем то и дело оглядываться на север — не сговорились ли родственники? Императорское враньё заложило под южносибирские межплеменные отношения мину замедленного и неоднократного действия на много лет вперёд; это стоило и признания мифического родства, и подтасовки хроник, и смехотворных подарков и титулов. Следует заметить, что это — лишь реконструкция событий, вполне может быть, что в частности всё происходило не так, но главное — логика процесса — не кажется мне недостоверной. Вывод о целенаправленной подтасовке летописных данных целиком объясняет, почему повествование о кыргызгах столь очевидно противоречиво, а текст “Таншу”, сложившийся в целом уже в IX-X вв., содержит смешанные сведения о кыргызгах-гяньгунь, гйегу и хягас.

Кыргызы, судя по всему, поверили, и впоследствии дорого заплатили за свою доверчивость. Они были всего лишь далёким варварским народом, не искушённым в политических играх, плохо знавшим географию и вовсе не знавшим древнюю историю. Они легко могли быть введены в заблуждение ссылками на то, что рассказывают об их дальних

предках древние китайские хроники, ибо не знали, что даже скрупулёзная китайская летопись в случае необходимости легко может превратиться в политический документ. Кыргызов было несложно обмануть, и китайцы не преминули попробовать. Жаль, что вместе с кыргызами обманулись иные из современных историков.

V.3. Кыргызы и кидани: великодержавие мнимое и подлинное.

Историку остаётся лишь сожалеть о том, что после 873 года кыргызы, разочаровавшие китайских политиков, перестали интересовать и хронистов. Источники не содержат данных о енисейских кыргызах конца IX — начала X вв. Как уже было замечено, молчание летописей — лучший аргумент против концепции “кыргызского великодержавия”. Основным источником сведений становится археология. Достоверно выяснено, что кыргызы оккупировали и освоили Туву, однако проблема действительного ареала кыргызской культуры в указанное время очень непроста: памятников сравнительно немного (Тува в этом смысле — отрадное исключение), опубликованы они плохо и неполно, интерпретированы очень тенденциозно. Некоторые сведения могут быть почерпнуты из арабских источников; весьма интересные выводы сделаны из анализа тувинских ареалов распространения кыргызских родовых и личных тамг. Эпизодически кыргызы упоминаются и в источниках по истории киданей. Прежде чем перейти к изучению вещественных материалов этого времени, следует суммировать имеющиеся исторические сведения.

Сразу после падения Орду-балыка кыргызы перенесли ставку кагана в Монголию, однако спустя несколько времени вернувшиеся туда с разведкой уйгуры кыргызов уже не застали: ставка была возвращена на север, первоначально в Туву, которую кыргызы завоевали надолго. В середине X века ставка находилась уже в Минусинской котловине, а в Туве происходили сложные события, к разбору которых ещё придётся вернуться ниже. Арабские источники более позднего времени сообщают о разделённости кыргызского государства на две части — Кыргыз на Среднем Енисее и Кем-Кемджиут на Верхнем. Правители этих областей титуловались не ханами и тем более не каганами, а всего лишь иналами. Совершенно очевидно, что реальной роли в центральноазиатской политике эти образования не играли. Но как кыргызское общество к этому пришло — вопрос иной. Как же выглядела политическая карта Центральной Азии после исчезновения Уйгурского каганата? Есть ли на ней место “кыргызскому великодержавию”?

Развал Уйгурского каганата привёл к активизации народов, прежде пребывавших в тени степного гиганта. В Семиречье находился центр карлуков, создавших т.н. “государство Караханидов” (этот условный термин закрепился в литературе со времён В.В.Бартольда). Его правители после 840 года сочли возможным именоваться каганами, так как их вожди возводили своё происхождение к роду Ашина, а после падения уйгуров должность верховного хана никто так и не занял. Противостояние карлуков с арабами привело не к военному, а к идеологическому поражению — в течение X века карлуки были исламизированы. В Прииртышье главенствовали кимаки, под властью которых объединились, среди прочих племён, остатки прежде непримиримых врагов — уйгуров, частично переселившихся сюда после 840 года, и сиров-кыпчаков, переселившихся на Алтай ещё после разгрома Второго Тюркского каганата. Кимаки также претендовали на каганский титул; они контролировали степи Западного Алтая (Восточного Казахстана) и Северную Джунгарию вплоть до Семиречья и развивали экспансию, осваивая степь в западном направлении, куда постепенно и смещалось их государство. Эта экспансия осуществлялась главным образом силами сиров-кыпчаков, в конце концов оказавшихся в Юго-Восточной Европе под именем куманов-половцев. Кимакское объединение в Прииртышье просуществовало до рубежа X/XI вв., когда и оно развалилось в ходе переселений кочевников. Этот процесс, к сожалению, изучен крайне недостаточно.

По заключению С.Г.Кляшторного, “в IX-XII вв. на территории Ганьсу и в Восточном Туркестане существовало государство татар, известное и китайским дипломатам, и мусульманским купцам” (Кляшторный 1994: 61). В начале 840-х гг. в районе Эдзин-гола татары, возможно, были биты разгулявшимися кыргызами, но это не особенно повлияло на их историю: в X веке “Худуд-ал-Алам” называет Восточный Туркестан “страной тогузгузов и татар”. Но роль этого народа в домонгольские времена никогда не была значительной.

Реальной же силой после развала Уйгурского каганата стали дальневосточные кидани, до того формально подчинявшиеся уйгурам. Этот народ во второй половине IX века стремительно расширял свои владения; через несколько десятилетий создал империю, в X-XI вв. абсолютно господствовавшую на востоке Азии. В 915 году киданьский вождь Елюй Амбагянь (кит. Абаоцзи) объявил себя императором и развернул широкую экспансию, захватывая обширные территории Северного Китая, причём сохранившие независимость руководители южнокитайских провинций не только смирились с небывалой потерей своих исконных территорий, но и признали формальное старшинство династии Елюев. Прежде чего-то подобного добивались лишь хунны. Так появилась империя Ляо (Железная). Она просуществовала под властью династии Елюев до 1125, когда была уничтожена чжурчжэнями.

В отличие от мифического кыргызского, киданьское великодержавие было совершенно безусловным и вполне обоснованным. Не имело значения, могли ли Елюи связать своё происхождение с каким-либо древним китайским родом — они сами впервые за тысячелетие сумели переписать карту своего мира. Не имело значения даже то, что абсолютное численное превосходство китайцев делало неизбежной ассимиляцию победителей: кидани получили то, что хотели, и были готовы за это платить. Не встречая сопротивления, кидани в 920-х годах прошли сквозь всю Центральную Азию; в 924 году они вышли к Орхону, где, кстати говоря, никаких кыргызов уже не встретили, затем прошли на запад до Верхнего Прииртышья, оставили там гарнизон и вернулись: степь мало интересовала киданей, более склонных к освоению всех достижений цивилизации, они ориентировались не на каганат, а на империю — просто потому, что не были кочевниками. Конечно, существуй в то время на Орхоне очередная кочевническая гегемония, амбиции Елюя Амбагяня остались бы неудовлетворёнными. Но остановить киданей было некому: незадолго до провозглашения империи Ляо и в Китае начался тяжёлый кризис, династия Тан пресеклась, и огромная страна неудержимо распалась. Начиналась “эпоха У-дай”, характеризовавшаяся смутами и частой сменой власти, когда сильный сосед мог сколько угодно хозяйничать, не опасаясь имперского возмездия. Собственно, именно окончание эпохи Тан и открыло киданям возможность провозгласить империю. На карте Азии появилась новая держава, оставившая свой след даже в русском языке — мы называем Срединное государство по имени его завоевателей (*Kumai* — *Кытай* — от *Кидань*).

Культура киданей изучена не лучшим образом — прежде всего потому, что китайские исследователи долгое время сдержанно относились к изучению периодов “варварского правления”. Значительные материалы ляоского времени были получены при раскопках в Маньчжурии и Внутренней Монголии, предпринятых японскими археологами в годы японской оккупации Китая в конце 1930-х — начале 40-х гг. В последние годы культура купольных гробниц Восточной Ляо всё чаще становится предметом внимания и китайских исследователей. Следует обратить внимание на одно крайне важное обстоятельство. Кидани не были степняками-кочевниками, но они очень долго жили в сфере влияния кочевнических культур и восприняли серию характерных типов и традиций: поясные и сбруйные гарнитуры, узды, оружие — все эти категории ляоской культуры имеют в качестве морфологической основы катандинский предметный комплекс, но не находят себе ранних местных прототипов. Важно отметить, что кидание в течение века жили под номинальной властью уйгуров, хотя и проявляли неприличную самостоятельность, иногда сносясь с Китаем “через голову” уйгурских владык. Всё это необходимо помнить, разбирая вопросы истории кыргызской культуры IX-X вв.

Итак, после развала Уйгурского каганата на окраинах его бывшей территории образовались новые государства, просуществовавшие довольно долго — дольше, чем первые каганаты древнетюркской эпохи, однако лишь дальневосточные кидани сумели в полной мере воспользоваться кризисом и создать действительно великодержавное государство. Ни один из источников не даёт оснований говорить о том, что кыргызы играли сколько-нибудь значительную роль в жизни региона. Следует заключить, что исторические данные не дают оснований для теории о “кыргызском великодержавии”. История в течение полутора веков определялась не тем, что кыргызы вышли из-под контроля призвавших их на помощь уйгурских раскольников и разнесли всё, что попало им под руку, а тем, что расшатанный многолетним кризисом Уйгурский каганат рухнул от первого же толчка — и не имело

принципиального значения, кому именно выпало совершить этот роковой толчок. При внимательном прочтении источников “экспансия” оказывается несколькими полубандитскими рейдами, не связанными между собой ни общим руководством, ни единым планом — ничем, кроме угара случайной удачи и ненависти к уйгурам. Кыргызов просто использовали как инструмент, а инструмент взял и взбесился. И совершенно неудивительно, что последствием этого стало не создание новой державы, а многолетнее запустение.

Почему же В.В.Бартольд предложил термин, не соответствовавший данным исторических источников? Тому немало причин. Представления об археологии региона были в те годы минимальны, невелик был и объём письменных источников; не была ещё в полной мере осознана роль, сыгранная в истории Дальнего востока киданями. Существовали и объективные причины. Обсуждая со мной черновик текст настоящей работы, Ю.А.Заднепровский заметил, что труд В.В.Бартольда следует оценивать в контексте того времени, когда он был создан: в 1920-х годах шло становление национальной интеллигенции “советского призыва” многих азиатских народов, в том числе и Тяньшаньских киргизов, и существовала острая потребность в трудах по истории соответствующих регионов. В.В.Бартольд рассматривал имевшиеся в его распоряжении материалы с позиций поиска исторических корней киргизского народа (и желательно — с героическими страницами). Академик не мог не обратить внимание на совпадение — первые систематические известия о кыргызах на Тяньшане появились лишь после того, как енисейские кыргызы, разгромив Уйгурский каганат, пропали из поля зрения китайских историографов. Идея о “переселении енисейских кыргызов на Тяньшань” была, с одной стороны, выводом из этого совпадения, а с другой — следствием концептуальной оппозиции мнению Н.А.Аристова, ещё в конце XIX века выдвинувшего гипотезу об автохтонности Тяньшаньских киргизов, ложную в деталях, но верную в ряде принципиальных пунктов; оппонировать же Аристову было политически необходимо вне зависимости от научных обстоятельств (точно так же впоследствии Киселёв упорно оппонировал Теплоухову). А героический эпизод на заре истории изучаемого народа был слишком привлекателен уже с позиций социального заказа на исследование, чтобы подвергать его основательному разбору. Несомненно, В.В.Бартольд закрыл глаза на некоторые явные противоречия и освятил своим бесспорным авторитетом красивую, но ошибочную теорию.

Следует отметить, что связь между проблемой происхождения Тяньшаньских киргизов и вопросом об истории енисейских кыргызов в IX-X вв. вообще иллюзорна. Конечно, нельзя исключать, что в китайских источниках отражены не все рейды кыргызов по Центральной Азии, и вполне допустимо, что какая-то группа закрепились где-то в Притяньшанье (например, уже упоминавшиеся загадочные гаочанские кыргызы конца X века, упоминаемые Ван Яньдэ). Однако не подлежит сомнению, что именно в Притяньшанье закрепились основные группы уйгуров, а они, господствуя в тех краях, вряд ли потерпели бы соседство с кыргызами. Все исторические рассуждения о “переселении” основаны исключительно на домыслах, а домыслы допустимы лишь в объяснениях событий, но не в их изложении. Попытка растянуть ареал кыргызского влияния до Притяньшанья, подгоняя материал под надуманную концепцию, неверно и нелепо; в результате получишь одно нагромождение противоречий. К сожалению, приходится признать, что археология Восточного Туркестана известна пока недостаточно, а имеющиеся материалы опубликованы плохо. Поэтому исследование этно- и культурогенеза Тяньшаньских киргизов остаётся делом будущего. Ясно лишь, что енисейские кыргызы никакого отношения ко всему этому не имели и из Южной Сибири на Тяньшань не переселялись. Наоборот: как было показано выше, носители названия “кыргыз” (и/или его производных) фиксируются сначала в северном Приордосье, затем в Джунгарии, откуда часть этих племён в ходе расселения раннетюркских поколений попала на Енисей, а другая, судя по сообщениям VII века, ещё долго обитала в Туркестане, смещаясь, судя по всему, на запад от р. Или; это была мелкая, незначительная группа, редко привлекавшая внимание хронистов. Сыграла ли она какую-либо роль в сложении киргизского народа, пока неизвестно, но вполне возможно.

Возвращаясь от исторических изысканий к археологическим, нужно заметить, что в трактовке вещественных источников этого времени путаницы ничуть не меньше. Основными являются проблемы ареала кыргызской культуры и её диагностирующих признаков. Как и в других случаях, история исследований здесь не менее важна, чем сами исследования и их

результаты; и особую роль играет вопрос о ключевом памятнике, настолько в данном случае важный, что ему придётся посвятить особый раздел.

V.4. “Копёнская проблема” в археологии Южной Сибири.

Каждый комплекс проблем имеет, словно дерево сердцевину, центральный памятник или тип памятников, — внутренний стержень, ось, на которую нанизываются все узловые вопросы данной проблематики. От отношения к такому центральному памятнику, как правило, зависит то, каким образом будет в конечном счёте интерпретирован весь соответствующий проблемный комплекс. Для VI-VII вв., например, таким памятником является могильник Кудыргэ; а для выяснения вопроса о судьбе кыргызского государства и его культуры таков знаменитый Копёнский чаатас. Открытый ещё в XVIII веке, он стал предметом специального интереса археологов лишь в середине XX века. Уцелевший в течение почти тысячелетия и ограбленный русскими бугровщиками, этот памятник дал множество интереснейших и ценнейших находок, а полностью не раскопан и поныне. Даже теперь этот некрополь, стоящий на берегу Красноярского водохранилища у крутого спуска к речке Тесь, несмотря на заросшие бурьяном отвалы и рытвины, выглядит весьма впечатляюще, и можно представить себе, сколь величествен был Копёнский чаатас для современников его строителей. Материалы раскопок в основном опубликованы (Евтюхова, Киселёв 1940).

Копёнские материалы в системе азиатских культур эпохи раннего средневековья наиболее подробно рассмотрел С.В.Киселёв (1949; 1951). Наряду с копёнскими находками в центре внимания автора — Тюхтятский клад, датированный по монете X веком, и материалы Сросткинского могильника. Копёнские находки, по мнению С.В.Киселёва, имеют “много общего с наборами (поясными. — П.А.) из таких могильников, как Салтовский, Балта и Чми”; указаны аналогии из нескольких центральноазиатских памятников VI-VII вв. Изображения звериных морд на известной сбруйной бляхе из “тайника” № 1 кург. 6, по мнению автора, сходны с образцами тагарской изобразительной традиции, что “имеет большое значение для установления происхождения звериной орнаментации кыргызского искусства”. В основе хронологии — прямая синхронизация копёнских находок с далёкими и не всегда точными аналогиями. Из местных аналогов указаны вещи из памятников, либо не имевших точных дат, либо состоявших в невыясненном типолого-хронологическом соотношении с Копёнским чаатасом. Автор особо отметил копёно-тюхтятские аналогии, но не синхронизировал чаатас и клад, несмотря на то, что в данном случае аналогичность вполне очевидна и бесспорна. Примечательно, что до получения монетных определений С.В.Киселёв и Л.А.Евтюхова по тем же восточноевропейским аналогиям датировали Тюхтятский клад VII веком (вместо X в.), однако столь явное свидетельство непригодности как сравнительного материала, так и самого метода датирования не смутило С.В.Киселёва. Отмечая, что копёнским находкам очень близки тюхтятские и сросткинские вещи (с монетными датами IX-X вв.), автор предпочёл датировать не по близким и точным, а по далёким и неточным аналогиям. Чаатас был отнесён ко времени до 840 года. Особую проблему составляли несожжённые кости, найденные в восьми могилах из десяти. Это не соответствовало существовавшим представлениям о погребальной обрядности енисейских кыргызов; противоречие устранялось через интерпретацию Капчальского комплекса. Сопоставляя материалы могильников Капчалы I-II, В.П.Левашова отнесла первый могильник (с погребениями по обряду трупосожжения) к VII-IX вв., а второй (со всадническими ингумациями) — по монете ко второй половине IX века (Левашова 1952); С.В.Киселёв придерживался сходного взгляда и развил тезис о смене кыргызами погребального обряда с трупосожжения на трупоположение; он считал, что все основные погребения в копёнских могилах совершены по обряду трупосожжения, а несожжённые кости объявил остатками сопроводительных погребений слуг и невольников; одновременно С.В.Киселёв получил причину датировать Копёнский чаатас ниже, чем могильник Капчалы II — по обряду погребения. Позднее выяснилось, что никакой смены обряда не было, просто в 1949 году, когда труд С.В.Киселёва был впервые издан, ещё не были выделены кыргызские сожжения предмонгольского времени (Кызласов 1975), тезис о смене обряда отпал, а трактовка обрядовой ситуации на Копёнском чаатасе осталась, и логику прежних построений уже никто не пересматривал.

Сравнивая полученные даты, С.В.Киселёв заключил, что Копёнский чаатас древнее Тюхтятского клада и Сросткинского могильника, а значит, “в IX-X вв. по всему Саяно-Алтаю распространилась новая мода на вещи тюхтятско-сросткинского типа”, истоки которого благодаря ранней дате Копёнского чаатаса усматриваются в кыргызской культуре. Заметный след китайского влияния автор прокомментировал так: “нигде в Сибири не проявляются в такой степени для VI-X вв. сношения с Китаем, как у енисейских кыргызов”. Таким образом, трактовка материалов Копёнского чаатаса оказывается ключевой при оценке всей этнокультурной ситуации на Саяно-Алтае соответствующего периода.

Опираясь на заниженную С.В.Киселёвым датировку Копёнского чаатаса, А.Н.Бернштам трактовал вещи из Кочкорского клада, во многом сходные с копёнскими, как доказательство присутствия енисейских кыргызов на Тяньшане в “эпоху великодержавия” (о неприемлемости этого термина см. выше). Как сообщила мне Г.В.Длужневская, кочкорские находки на самом деле нужно датировать временем Западной Ляо, так что к разбираемым здесь вопросам эти вещи отношения не имеют. Однако недействительность аргумента не повлияла на восприятие выводов, и нередко можно встретить ссылки на А.Н.Бернштама в обоснование теории “великодержавия”.

После труда С.В.Киселёва все сибирские памятники с вещами “тюхтятско-сросткинского типа” либо объявлялись кыргызскими, либо учитывались как свидетельство кыргызского влияния на местные культуры. В результате кыргызский ареал, очерчиваемый для IX-X вв., практически совпал со всей территорией Саяно-Алтайского нагорья, захватив часть Казахстана и Прибайкалья. Наиболее подробно эту концепцию разрабатывали Л.Р.Кызласов (1981) и Д.Г.Савинов (1974; 1984; 1994). Кызласов выделяет особую “тюхтятскую культуру”, а Савинов пишет о временном расширении ареала культуры енисейских кыргызов, образующей в IX-X вв. пять локальных вариантов. Ни один из этих авторов не объяснил, на какой основе сформировался этот совершенно новый стиль оформления престижных изделий (Д.Г.Савинов вслед за С.И.Вайнштейном отметил сходство соответствующих изделий с ляоскими, но и не более того). И тем более эти авторы не перепроверяли выкладки С.В.Киселёва.

Между тем методика датирования, применённая С.В.Киселёвым, кажется по меньшей мере странной. Автор привлекает к выяснению даты Копёнского чаатаса всё, кроме территориально близких и имеющих хорошие монетные датировки памятников. Копёнские материалы дают множество веских оснований для синхронизации их и с тюхтятскими, и со сросткинскими находками. Даже меньшее сходство, большая удалённость и меньшая определённость с хронологией сопоставительного материала не раз служили С.В.Киселёву основанием для уверенной синхронизации — именно так были синхронизированы пазырыкские, ноинулинские и таштыкские комплексы. Почему же привычная автору методика синхронизации аналогий была отброшена при работе с копёнскими находками?

Если бы автор следовал своему обычному методу, он был бы вынужден датировать Копёнский чаатас IX-X вв.; при этом стало бы невозможным выведение из кыргызской культуры “тюхтятско-сросткинского стиля”, объединяющего саяно-алтайские комплексы этого времени. Не зная о ляоских находках, С.В.Киселёв был вынужден заключить, что в IX в. Южная Сибирь попала в зону мощного китайского влияния; это никак не соответствовало ни данным по истории самого Китая, ни целиком воспринятой С.В.Киселёвым от В.В.Бартольда концепции “кыргызского великодержавия”. Генеральная теория самого С.В.Киселёва сводилась к идее поступательного эволюционного развития минусинских культур преимущественно на местной основе со спонтанными появлениями инновационных комплексов, эта концепция требовала завершенности, особенно в области интерпретации ключевых памятников. Кроме того, как уже говорилось Э.Б.Вадецкой, если С.А.Теплоухов был верен источниковедческому подходу, то С.В.Киселёв ориентировался на социально-экономические реконструкции (Вадецкая 1992а: 18). С.В.Киселёв искал признаки классового общества и, естественно, легко находил их путём вольной интерпретации материала; хронологические же нюансы имели для него куда меньшее значение. Как не раз выяснялось выше, именно хронология и оказалась ахиллесовой пятой монументального киселёвского труда.

В 1971 году появилась монография Б.И.Маршака “Согдийское серебро. Очерки восточной торевтики”. Исследование, проведённое на высоком методическом уровне, коснулось и кыргызской культуры. Выяснилось, что золотые и серебряные сосуды из “тайника”

(правильнее называть его жертвенником) кург. 2 Копёнского чаатаса датируются серединой или второй половиной IX века (Маршак 1971:). Это столь явно противоречило принятой хронологии памятника, что Б.И.Маршак проанализировал планиграфию комплекса и предположил, что кург.2, не имеющий стел по периметру — позднейший на чаатасе, с чем согласуется и цепочка меньших курганов без стел, тянущаяся от кург.2 на юг. Следует заметить, что глазомерный план чаатаса, приведённый в книге Л.А.Евтюховой, крайне неточен. К югу от кург.2 на самом деле никаких курганов нет, а есть ряд скальных выходов, которые при недостатке опыта действительно можно на глаз принять за небольшие курганы (подобные ошибки делаются и поныне). То, что курган не окружён стелами, как мы теперь знаем, никакого значения для хронологии не имеет. Наконец, та хронологическая система, примирения с которой искал Б.И.Маршак, настолько безосновательна, что согласовывать с ней что-либо нет никакой надобности. Наоборот, выводы Б.И.Маршака стали первой реально обоснованной датировкой кыргызских материалов — прежде даты скорее угадывали, ориентируясь не на систему хронологии, а на случайный набор плохо интерпретированных и часто неточных аналогий.

В 1970-80-х годах появился ряд исследований кыргызской культуры, принадлежащих Г.В.Длужневской. В центре внимания автора — тувинские памятники, однако выводы имеют принципиальное значение и для минусинских чаатасов. Для Г.В.Длужневской характерен строгий типолого-хронологический подход к материалу; особое внимание уделяется вопросам хронологии памятников. Как датирующие привлечены киданьские аналоги из купольных гробниц Восточной Ляо; тем самым исправлена ошибка С.В.Киселёва, необоснованно занизившего дату Копёнского чаатаса. “Тюхтятско-сросткинский”, или, как пишет Длужневская, копёно-тюхтятский стиль оказался не саяно-алтайским (то есть не сравнительно локальным) явлением, а частью мощного культурного пласта, определившего своеобразие традиций декоративно-прикладного искусства на рубеже I/II тыс. в огромном регионе от Дальнего Востока до Средней Азии. Не все выводы автора могут быть приняты — например, заключение о принципиальной возможности обратного влияния кыргызов на киданей (об этом ниже). Кроме того, автор не предъявляет конкретные типологические рудименты, которые однозначно указали бы направление культурных воздействий; это формально позволило Л.Р.Кызласову и Г.Г.Король утверждать (впрочем, без предметных аргументов), что ляоские находки по отношению к кыргызским вторичны. Не выясняется и происхождение ляоского декора, что оставляет определённое пространство для сомнений. Однако главное в трудах Г.В.Длужневской не это; суть в том, что впервые кыргызский материал был уложен в разработанную, подробную хронологическую систему, снабжённую хорошими реперными привязками к надёжно датированным памятникам.

Выявление ляоского компонента в культуре енисейских кыргызов имеет большое значение для оценки всей культурно-политической обстановки на Саяно-Алтае в IX-X вв.; закладывается основа нового подхода к изучению всей системы связей между культурами и внутри них — и ключом ко многим вопросам по-прежнему остаётся Копёнский чаатас.

Итак, серийные аналоги копёским находкам обнаруживаются прежде всего в Туве и в купольных гробницах Восточной Ляо. Ляоские изделия отличаются большей проработанностью деталей и завершённой композицией, они в целом выше по качеству. Заметное во многих элементах декора китайское влияние вполне объяснимо: кидани сносились с Китаем вне зависимости от того, кому подчинялись. Следует подчеркнуть, что ранние киданьские памятники (доляоского времени) пока не выявлены или просто не попадались раскопщикам, и любые суждения об истоках киданьского прикладного искусства могут быть основаны не на фактах, а только на косвенных данных и домыслах. Однако вне зависимости от соотношения компонентов в киданьской орнаментике ясно, что кыргызских элементов там нет и быть не может. Само соотношение кыргызского государства и империи Ляо, чьё превосходство признавал Китай, снимает вопрос о направлении влияний. Г.В.Длужневская по ряду признаков допускает возможность прямого киданьского присутствия в Туве: здесь найден киданьский краснолаковый сосуд и обнаружены памятники, представлявшие собой ограды с ложнокупольными перекрытиями — ничего подобного кыргызская погребальная архитектура не знала, это несомненные реплики ляоских образцов.

Мне уже приходилось писать о том, что наземные конструкции кыргызских памятников, представляющие собой погребально-поминальные сооружения, возводились под влиянием господствующей центральноазиатской традиции. Механизм такого заимствования является частью общего правила распространения элементов государственной культуры этноса-гегемона (Азбелев 1988). И если в области погребальной архитектуры влияние ляоской традиции на кыргызскую фиксируется по остаткам псевдокупольных конструкций однозначно, то и в сфере орнаментики престижных изделий направление влияний не могло быть иным. Изделия, оформленные в “копёно-тюхтятском” стиле, безусловно воспроизводят аналогичные вещи культуры киданей Восточной Ляо. Поэтому кыргызские изделия этого круга не могут быть старше своих ляоских прототипов, и хронологическая система, разработанная Г.В.Длужневской, должна быть принята без оглядки на возражения со стороны Л.Р.Кызласова и Г.Г.Король. Единственная существенная поправка, которую ввести необходимо, обусловлена слабой изученностью внутренних типогенетических связей самой ляоской культуры. Нижнюю дату для кыргызского изделия даёт не сам ляоский аналог (будь вещи хоть полностью неразличимы), а начальная дата распространения соответствующего типа. В случае с южносибирскими находками такая дата — 924 год, когда кидани вышли к Орхону и к Иртышу. Более поздние даты, основанные на данных надписей из купольных гробниц, остаются ориентировочными — ведь неясно, когда именно тот или иной тип сложился в ляоской культуре и насколько долго он воспроизводился.

Следует отметить, что большая серия минусинско-алтайских аналогий теряет своё значение показателя кыргызско-кыпчакских культурных связей: проводниками ляоский инноваций могли быть не только кыргызы, но и сами кидани, оставившие на Иртыше небольшой гарнизон (Пиков 1989). Ляоские элементы в сrostкинской культуре, связанной с кыпчаками, не несут следов однозначно кыргызского “посредничества” — даже неясно, что могло бы быть признано такими следами. Точно так же должен был снят тезис о влиянии кыргызов на прибайкальские племена — Хойцегорский могильник фиксирует не кыргызское, а непосредственно ляоское влияние (учитывая расположение памятника, такой вывод не требует дополнительного обоснования).

Согласно хронологической шкале, разработанной в публикациях Г.В.Длужневской, копёнские находки датируются 950±25 г. (Длужневская 1990). Согласовывая это определение со сведениями по истории кыргызов, несложно прийти к некоторым уточнениям. Масштабность копёнских сооружений, обилие драгоценных находок, оставшихся даже после ограбления некрополя бугровщиками, биритуальность комплекса, где, по рассказу бугровщика Селенги, сочетались трупосожжения и всаднические ингумации в плитовой обкладке, исключительное богатство сопроводительных погребений, наличие “дарственных” рунических надписей на жертвенных сосудах из жертвенника — всё это ясно указывает на то, что Копёнский чаатас был некрополем кыргызской аристократии самого высокого ранга. Памятник расположен в глубине кыргызских земель, вдали от пограничных районов; не исключено, что территориально он был приурочен к традиционной ханской ставке. Появление таких погребений на Среднем Енисее следует связывать с окончательным возвращением ставки из Тувы, что произошло где-то в середине X века. Не разбирая пока вопроса о времени и обстоятельствах переноса ставки, следует заключить, что по совокупности данных Копёнский чаатас нужно отнести в целом ко второй половине X века. Это не противоречит датировке, предложенной Б.И.Маршаком: его определение “середина или вторая половина IX века” фиксирует лишь нижнюю дату сложения комплекса признаков, отражённого в декоре копёнских жертвенных сосудов. Ляоское происхождение кыргызского декора X века указывает на то, что реальные сибирские даты будут выше, чем это предусмотрено общей шкалой дат восточной тюрвтики.

V.5. К вопросу о культурогенезе киданей.

Как уже было сказано, недостаток материала уводит любые поиски прототипов ляоских престижных изделий в область предположений и косвенных аргументов; одновременно возрастает значимость такого довода, как системность тех или иных процессов. Кроме того, безусловность ляоских влияний на кыргызов и сомнительность, если не невозможность,

обратного процесса ослабляет остроту вопроса об истоках ляоского стиля: считать его кыргызским по происхождению просто нелепо. Наконец, известно, что морфологической основой престижных ляоских изделий был предметный комплекс катандинского этапа, а их специфика среди прочих вариантов этого комплекса во многом обусловлена китайским влиянием на киданей. Между тем вопрос о культурогенезе киданей должен быть рассмотрен — главным образом потому, что в археологической литературе появился весьма необычный взгляд, согласно которому стиль оформления копёвских и тюхтятских находок имеет не ляоское и не кыргызское, а уйгурское происхождение. Эта позиция высказана Ю.С.Худяковым, который увязал с уйгурами не только копёно-тюхтятский стиль, но и погребения по обряду ингумации со шкурой коня (Худяков 1983; 1992). Если это предположение соответствует действительности, то возникает необходимость радикально пересмотреть представления обо всём историко-культурном процессе на Саяно-Алтае и в Центральной Азии в конце I тыс.н.э.: получается, что не кыргызы и не кидани, а уйгуры были источником самого яркого и своеобразного стиля древнетюркского декора; получается, что именно уйгуры оказали основное воздействие на культуру кимако-кыпчакского объединения; что кыргызо-уйгурская вражда сопровождалась активным усвоением уйгурских традиций кыргызами и постоянным присутствием уйгуров среди высшей кыргызской аристократии. Неудивительно, что позиция Ю.С.Худякова была воспринята специалистами сдержанно; её упоминают, не соглашаясь и не вступая в дискуссию — видимо, опасаясь получить в ответ критику того же сорта, какую Ю.С.Худяков обрушивает, например, на Кызласова — агрессивную и абсолютно неконструктивную. Но раз уж позиция Ю.С.Худякова столь существенно расходится со многими весьма корректными и очевидными выводами других исследователей, её нужно разобрать внимательно.

Не занимаясь вопросами хронологии, Ю.С.Худяков следует традиционному взгляду на датировки, выработанному ещё С.В.Киселёвым, и настаивает на датировании чаатасов VI-VIII вв., а возможность их строительства в IX-X вв., соответственно, отрицает. Поскольку местных корней копёвский стиль декора не имеет, постольку перед Ю.С.Худяковым встаёт тот же вопрос, что и перед Киселёвым: откуда взялся новый стиль? С.В.Киселёв решал его ссылкой на связи енисейских кыргызов с Китаем, что имело некоторый смысл, так как китайские элементы в этом стиле декора, безусловно, присутствуют. Ю.С.Худяков же предложил ссылку на уйгуров. “Возможно, некоторые украшения сбруи и наборного пояса, золотая и серебряная посуда из Тюхтятского клада, Ржаного, Копёвского чаатаса и могильника Над Поляной есть результат военного грабежа кыргызами уйгуров” — пишет автор (Худяков, Нестеров 1984: 141). При этом не разъясняется, почему “уйгурский” стиль получил столь широкое распространение у злейших врагов, как вышло, что кыргызы усвоили декор трофеев и стали воспроизводить его на собственных изделиях в таких количествах, что на какое-то время он определил специфику декоративно-прикладного искусства.

Ю.С.Худяков предлагает и более интересные, далеко идущие определения. Комментируя публикацию материалов могильника Ник-Хая с погребениями со шкурой коня, он пишет: “особенности погребального обряда и канонические мотивы в орнаментике позволяют предполагать пришлое происхождение оставившего их населения. Погребения ... со шкурой коня известны ... в Минусинской котловине, в пределах узкой локальной зоны на левобережье Енисея, между устьями рек Тесь и Ерба. Широкое распространение подобного обряда на весьма отдалённых друг от друга территориях — в Монголии, в Минусинской котловине, в Западной Сибири, в Среднем Поволжье, в Венгрии — не позволяет отнести его к определённой этнической общности. Основные категории инвентаря и орнаментальные мотивы свидетельствуют в пользу проникновения населения, оставившего погребения Ник-Хая, с юга, из Центральной Азии. Вероятно, это уйгуры, принявшие в VIII в. манихейство и дважды в ходе войн 758 и 795 гг. нанесшие жестокие поражения кыргызам в пределах Минусинской котловины. ... Уйгуры оказали значительное влияние на кыргызов, в результате среди последних получило некоторое распространение манихейство” (Худяков, Нестеров 1984: 140-141). Говоря о распространении манихейства среди кыргызов, автор ссылается на Л.Р.Кызласова, взгляды которого на сей предмет заслуживают особого разбора; здесь же я ограничусь сомнением в правомерности подобных воззрений.

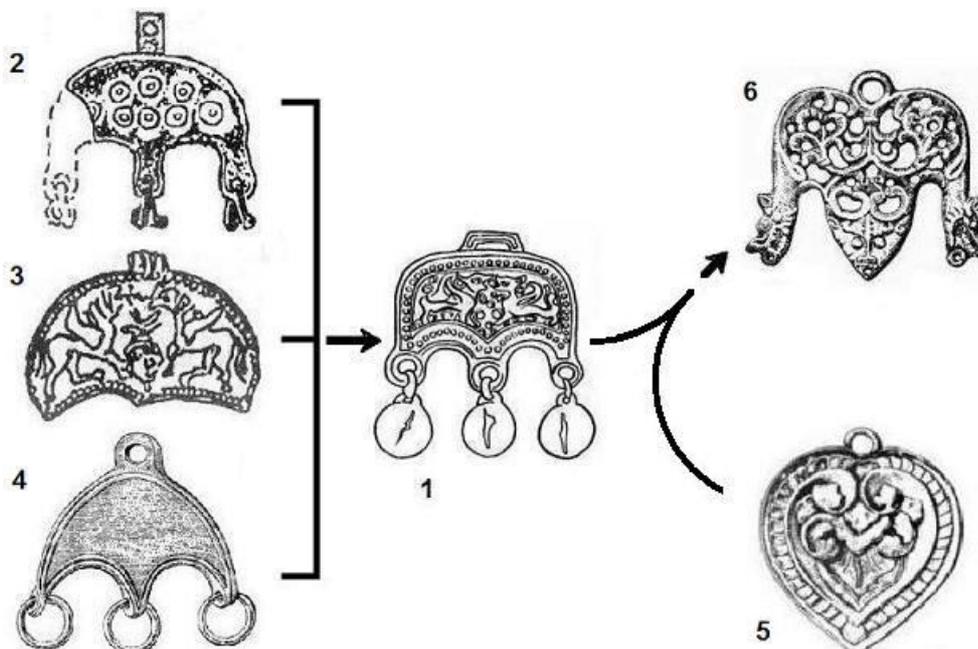
Но если Ю.С.Худяков прав, и южносибирские погребения по обряду ингумации со шкурой коня принадлежат уйгурам, то выходит, что именно уйгуры были погребены и в центральных могилах Копёнского чаатаса. Бугровщик Селенга рассказывал заезжим академикам, что в этих могилах ему встречались “остовы” людей и конские черепа (именно черепа, а не целые “остовы”), обложенные каменными плитами, то есть ровно то же самое, что и в погребениях могильника Ник-Хая. Нет никаких оснований не доверять рассказу Селенги: бугровщик не мог предвидеть наших научных споров, он просто рассказывал о том, что видел, а если что и утаивал, то лишь золото и серебро, чтобы не отняли. Очевидная невозможность погребения уйгуров в центральных копёнских могилах вкуче со свидетельствами ляоского влияния на кыргызов заставляет отбросить теории Ю.С.Худякова (и насчёт происхождения обряда минусинских погребений со шкурой коня, и насчёт орнамента с манихейством) как совершенно негодную. Но вместе с тем соединение вопроса о ляоском влиянии на кыргызов с проблемой поиска археологических памятников уйгуров далеко не случайно.

Для поиска корней ляоского (на Енисее копёнского) стиля следует проследить хотя бы одну связь с более ранними культурами, не относящуюся к числу китайских элементов киданьского декора. Такая связь существует — это мотив геральдически сопоставленных животных, нередкий на различных бляхах из кыргызских и ляоских наборов. Несмотря на очевидную простоту этой композиции, её появление в ляоском и кыргызском декоре необычно для Центральной и Восточной Азии — местная традиция ничего такого не предусматривала; симметричные изображения на передних луках сёдел совсем иные.

В связи с вопросом о ляоских и кыргызских симметричных изображениях следует обратить особое внимание на необычную сбруйную подвесную бляху с бубенцами из всаднического погребения в Увгунте (Монголия). Изображение вполне сопоставимо с рассматриваемой композицией, но сама бляха для Южной Сибири совершенно уникальна. Д.Г.Савинов пишет о ней, что “налицо эклектичный характер этого изделия, при оформлении которого было использовано наследие различных традиций. Сочетание их в одном предмете могло произойти не ранее середины IX в.”. По мнению Д.Г.Савинова, человек, погребённый в увгунтском кургане, “принадлежал к привилегированной группе населения, обитавшего здесь (на реке Толе в Монголии, — П.А.) после падения Уйгурского каганата и широкого расселения енисейских кыргызов, овладевших Северной Монголией” (Кляшторный, Савинов, Шкода 1990: 9, 10). К сожалению, автор ошибается в определении данной находки — это не эклектичное соединение разных южносибирских типов, а обычная пельтовидная лунница восточноевропейского происхождения. Подобные вещи были распространены в Восточной Европе на протяжении всего I тыс.н.э.; среди них есть и точные соответствия увгунтскому экземпляру — или привезённому с дальнего запада, или аккуратно скопированному с привозного образца. Место увгунтской находки (или её непосредственного прототипа) в эволюционном ряду пельтовидных лунниц устанавливается совершенно определённо (Рис.32). Вместе с ней в могиле найден золотой брактеат с византийской монеты второй половины VII — первой половины VIII вв., изготовленный, по мнению В.Г.Шкоды, в одной из согдийских колоний; на нём имеется уйгурская надпись с палеографическими особенностями IX-X вв.

Копия стандартного восточноевропейского типа лунниц и брактеат — явные свидетельства связи устроителей увгунтского погребения с согдийцами — источником многих импортов в Центральной Азии. Меридиональная ориентация могилы связывает её не только с погребениями джаргалантинского круга (о чём справедливо пишет Д.Г.Савинов), но и с орхонскими мемориалами уйгурской группы; учитывая уйгурскую надпись на брактеате, следует заключить, что весьма вероятно уйгурская принадлежность погребения в Увгунте. 840 год здесь ни при чём, так как уйгуры возвращались а Монголию и после этого времени. Вероятная связь традиции, представленной лунницей-пельтой из увгунтского комплекса, с ляоско-кыргызским мотивом геральдически сопоставленных животных — позволяет с некоторой осторожностью выстроить довольно сложный типогенетический ряд (Рис.33). Система связей, представленная на (Рис.33), раскрывает возможный механизм трансформации типа. Восточноевропейская традиция, представленная увгунтской находкой, прямых соответствий в иных азиатских культурах, кажется, не имеет, но композиция декора представлена на наременных бляхах. Связь между декором и формой, как это часто бывает при

заимствованиях, распалась. На Енисее геральдически сопоставленные стоящие животные обычно грубо воспроизводят лясский прототип.



1 - Увгунт (Монголия); 2 - Данчены (Молдавия); 3 - Сквиря (Украина); 4 - Лудза (Латвия);
5 - Бея, 6 - Копёнский чаатас (Минусинская котловина).
Масштаб разный. Рис. 33. [К вопросу о культурогенезе киданей.]

Копёнская бляха, предложенная Д.Г.Савиновым как аналог увгунтской, представляет собой композитный вариант сердцевидной решмы (ср. оформление петли и верхнего края бляхи). Вместе с тем сравнение копёнской и увгунтской блях по трёхчастной нижней зоне в какой-то степени оправдано: может быть, трёхчастные композиции как-то ассоциировались с симметричностью изображения, и при дополнении сердцевидной решмы головками драконов вещь подогнали по контуру под совершенно иной тип — недаром в обоих случаях к бляхе подвешены бубенчики. Тогда можно теоретически допустить, что пельты воспроизводились и в лясской традиции, просто нам они неизвестны. Правда, на пельтах изображены сенмурвы, а у киданей и кыргызов — козлики, что несколько ослабляет и без того слишком сложную систему типогенеза.

Недостаток материала ощущается в данном случае очень остро; если же предложенное построение верно, то открывается возможность говорить об уйгурских истоках лясского стиля наременных гарнитуров не только на основе общих рассуждений и летописных данных о межплеменных отношениях, но и на базе типогенетических выкладок. Появляется и перспектива поиска уйгурских погребений, выделяемых по меридиональной ориентации (одного этого признака, конечно, недостаточно, но в качестве отправного пункта поисков он может оказаться существенным).

Возможность выведения престижного комплекса лясской культуры из уйгурских традиций позволяет усмотреть некую “иронию судьбы” в том, что кыргызы, осев в Туве, вскоре усвоили престижный комплекс восходящий к традициям их застарелых врагов. Возможно ли, чтобы кто-то из кыргызских стариков помнил уйгурскую традицию и мог распознать её отражение в новомодных лясских побрякушках? Вряд ли это существенно, но сама возможность такого переплетения традиций весьма интересна.

Итак, если кыргызский декор копёнского стиля и связан с уйгурским, то лишь через посредство киданей, причём от выхода киданей из-под номинальной уйгурской власти до их соприкосновения с кыргызами прошло более восьмидесяти лет. Если кто-то из уйгуров и трактовал стилизованные изображения цветков лотоса как образ “пламенеющей жемчужины” (эту трактовку предлагает Ю.С.Худяков), то в течение жизни трёх-четырёх поколений и двух

этапов заимствования — от центральноазиатских уйгуров к киданям и от дальневосточных киданей к енисейским кыргызам — “идеологическая нагрузка” декора была, конечно, напрочь утрачена. Вообще следует отметить, что изображений пламени на древней и средневековой восточной тюркике нет; то, что археологи именуют “пламевидным завитком” — лишь современный описательный ассоциативный образ, и навязывать его элементам древнего декора по меньшей мере некорректно.

В купольных гробницах Восточной Ляо встречаются “стремена, удила с псалиями, округлые тройники, которые являются обычными для погребений кыргызов” (Длужневская 199.: 10); иными словами, автор не исключает обратного влияния кыргызов на киданей. Следует, однако, подчеркнуть, что все указанные типы характерны для центральноазиатских памятников катандинского круга, причём не ранних (VII-VIII вв.), а поздних (VIII-IX вв.). Можно ли считать эти типы специфически кыргызскими?

Общая историческая ситуация требует отказаться от такого взгляда. Более оправданно предположить, что указанные типы заимствованы киданями от уйгуров или других центральноазиатских носителей катандинских форм. Применима ли в этой области типогенетическая схема, построенная вокруг увгунтской пельтовидной лунницы? Для ответа на этот вопрос нужно представить себе историю перечисленных типов.

Стремена с прорезными подножками часто называют специально кыргызским типом и порой — как в случае с киданями — расценивают как свидетельство кыргызского влияния. Между тем прорезные подножки стремян как таковые появились впервые не в кыргызской культуре и вообще не в Азии, а в поволжских культурах, соотносимых с ранними болгарами и хазарами (Рис.43). Система прорезей в хазаро-болгарской традиции не идентична южносибирской, она находится в полном соответствии с распространённой в Восточной Европе “рассыпанной” версией прорезей геральдических изделий; это и неудивительно, ведь уже не раз говорилось о явственном стремлении древних мастеров к унификации стиля декора в рамках общей традиции. Нигде более эта система прорезей, перешедшая и на подножки стремян, не зафиксирована. Как и когда данный тип подножек был воспринят южносибирскими племенами — совершенно особый вопрос; нужно отметить главное: азиатские системы прорезей на подножках гипертрофированы и явно вторичны по сравнению с восточноевропейскими, а восточноевропейские появились в результате расширения области применения позднегеральдического ажурного декора. Следовательно, считать стремена прорезными подножками специфически кыргызским типом нельзя, и обратного влияния кыргызов на киданей они никоим образом не доказывают. Данная традиция зародилась в Восточной Европе, может быть, конкретно в Поволжье, и поэтапно распространилась на восток — и к киданям, и к кыргызам.

Уздечные принадлежности (удила и псалии) — также указывают как свидетельство кыргызского влияния на киданей. Уже говорилось о том, что морфологической основой в обоих случаях явилась катандинская традиция, и общая схема (S-образные стержневые псалии со скобой и удила с дополнительными кольцами) определяется общим происхождением. Особенности узды рассматриваемого этапа определяются такими признаками, как 8-образные окончания грызл, “сапожковое” окончание псалиев снизу и их оформление миниатюрной головкой барана сверху, уплощение скоб и усложнение их контура. Эти признаки и рассматриваются ниже; что же касается мелких деталей декора, то они, как и вся орнаментика, безусловно ляоского происхождения.

Первые раннесредневековые скобчатые псалии (вместо двудырчатых) в Южной Сибири найдены в Кудыргинском могильнике — это близкое воспроизведение раннего восточноевропейского типа гуннского периода. Усвоение скобчатого крепления для телеских племён облегчалось, вероятно, тем, что архетипичная для них пазырыкская традиция предусматривала жёсткое вильчатое крепление ремня к двудырчатому псалию. Ранние варианты “сапожкового” оформления окончаний псалиев также известны в Восточной Европе, в тех же культурных комплексах, что и стремена с прорезными подножками (Рис.44). Вопрос о происхождении обычая украшать псалии головками баранов решается иначе и будет рассмотрен особо.

Псалии с сапожковым завершением в Восточной Европе и в Южной Сибири. Таким образом, уздечные комплекты также не служат индикатором кыргызского влияния на

кого-либо — это “пластовые”, сквозные культурные явления, которые сами по себе мало что могут доказать, кроме реальности общего потока восточноевропейских влияний на азиатские культуры в VIII — начале IX веков.

Сбруйные тройники, или распределители ремней — широчайше распространённая категория инвентаря. В рассматриваемый период сосуществуют два типа тройников: округлые и Т-образные, причём вторые служат скорее не распределителями ремней, а просто укрепляющими накладками на шитые ремни. Декор кыргызских тройников либо примитивен (вплоть до полного отсутствия), либо выдержан в ляоском стиле — изделия украшались различными версиями стилизации цветка лотоса, завитками флористического орнамента или симметричными фигурками козликов, причём нижняя лопасть бывает украшена третьей фигуркой, повторяющей одну из основных — явно вторичная версия, один из типологических рудиментов ляоской традиции в кыргызской культуре (Рис.45). Что же касается морфологической основы, то у округлых и Т-образных тройников она в конечном счёте одина; типогенез в данном случае прослеживается достаточно ясно.

Типогенез сбруйных тройников. Исходным пунктом типогенеза явилась ситуация, неизбежная при формировании любого компонента конской сбруи — соединение трёх ремней, осуществляемое с помощью соединительного кольца или округлого тройника, представляющего собой то же кольцо, но с заполненным просветом. На западе степей в этом случае использовались длинные пластинчатые обоймы. Простым усовершенствованием явилось сращивание обойм с округлым распределителем, причём обоймы, превратившиеся уже в лопасти тройника, первоначально располагались под углом примерно 120° друг к другу и оформлялись в соответствии с местной традицией декора (Рис.45). В центре получавшейся “звезды” помещалась розетка, воспроизводящая декор округлого тройника. Видимо, практически одновременно появился и Т-образный вариант типа, специфицированный для случаев перпендикулярного примыкания ремня к ремню — ранние Т-образные тройники совершенно повторяют “звездовидные” с отличием во взаиморасположении лопастей (Рис.45). Эти жёсткие тройники уже обеспечивали необходимую прочность крепления ремней и без исходного соединительного кольца, а потому превращались в накладки. Сложение типа завершилось примерно к VIII веку, и он, наряду с другими сбруйными типами того времени, распространялся из Приуралья на Восток, где из ранних форм представлены лишь округлые тройники, а длиннопластинчатые обоймы-наконечники существовали только в предтюркскую эпоху в инородных и инокультурных комплексах (например, в Балыктыюле), а до того — в хуннских памятниках. Более поздние формы уже сплошь Т-образны и различаются в деталях, обусловленных конкретным культурным контекстом (Рис.45). Рудиментарная выпуклость на перекрестиях Т-образных тройников то воспроизводится, то заменяется плоским декоративным элементом. В ляоской традиции начинается украшение тройников изображениями животных, перенятое затем и кыргызами. “Звездовидное” схождение ремней по-прежнему обеспечивается округлыми тройниками, а перпендикулярное — Т-образными. Обе разновидности сосуществуют практически во всех азиатских культурах (однако распределение этих тройников ещё станет предметом особого разговора).

Таким образом, типы, приводимые в качестве аргумента обратного влияния кыргызов на киданей, были не специфически кыргызскими, а широко распространёнными, не имеющими значения этнокультурных индикаторов. Учитывая, что прототипы сложились на западе степей примерно к VIII веку, следует заключить, что появление соответствующих изделий у киданей следует связывать с уйгурской гегемонией в степи. Данное обстоятельство подразумевает наличие этих типов и в уйгурской культуре, представленной пока крайне немногочисленными материалами.

Итак, подробное рассмотрение вопросов, связанных с отдельными аспектами культурогенеза киданей Восточной Ляо, приводит к чрезвычайно важному выводу. В VIII-IX вв. срединноазиатские культуры испытывали существенное влияние культур Поволжья и Приуралья. Кроме указанных выше типогенетических рядов, этот вывод подтверждается серией случайных находок в Южной Сибири (Рис.46): это и литые имитации составных хазарских “самоварчиков”, и бронзовые округлые ажурные амулеты “аланского” типа (воспроизводившиеся в Сибири вплоть до этнографической современности), и наконечники ремешков с карикатурными изображениями лиц. О последних нужно сказать особо. весьма

вероятно, что их появление следует связывать со случайным совпадением одной из восточноевропейских систем прорезей на геральдических бляхах со схемой человеческого лица; как уже говорилось, иногда такое чисто случайное сходство явно обыгрывалось мастерами, незнакомыми с архетипом, и позднейшие наконечники с рельефным изображением лиц, может быть, идут именно от этих бляшек (Рис.46). Кроме того, внезапно распространившиеся по всей Южной Сибири лировидные подвески (иные сибироведы пытаются выводить их из костяных блоков для чумбура) — воспроизводят составные хазарские поясные подвески, особенно показательны совпадения некоторых деталей (Рис.46). Столь серийные параллели не могут происходить от инфильтрационного проникновения отдельных типов. Несомненно, имело место комплексное проникновение западнестепных традиций на восток, связанное, конечно, с движением людей.

Одним из факторов, стимулировавших переселения отдельных групп кочевников, могло быть принятие хазарским каганом Буланом иудаизма (730 г.) и окончательное утверждение этой конфессии в качестве официальной веры в пору реформ Обадии в конце VIII — начале IX века. Последствием этих мероприятий стал раскол в Хазарском каганате и местные мятежи, при разгроме которых отдельные роды и целые племена искали спасения в бегстве. Сибирские и центральноазиатские находки показывают, что одним из направлений “разлёта осколков” — если не основным — было восточное. Западные источники его, естественно, не фиксируют, зато там говорится о переселениях на территориях, известных авторам хроник; конечно, на неизвестных землях происходило то же самое. На востоке у переселенцев была одна возможность выжить — договориться с местными ханами о приёме на службу. Естественно предполагать, что такие группы оседали и у карлуков, и у уйгуров, и у кыргызов, причём кыргызам на рубеже VIII/IX вв. пополнение войска требовалось как никогда. Конечно, группы мигрантов из Европы были смешанными, и находки изделий западных типов имеют лишь хронологическое и типогенетическое значение, но не позволяют искать хазарские или, например, болгарские группы где-нибудь на Енисее или Оби. Впрочем, переселенцы держались вместе и даже хоронили на особых кладбищах.

V.6. Развитие культуры и общества енисейских кыргызов в IX-X вв.

Рассмотренные в предыдущих разделах историко-археологические обстоятельства служат основой для изучения истории кыргызской культуры IX-X вв. и отразившихся в ней процессов общественного развития. Как было уже показано, их нельзя анализировать на основе концепции “кыргызского великодержавия” — она неверна по сути и некорректна по методологическому обеспечению. Кыргызов было слишком мало для того, чтобы осуществить настоящую великодержавную экспансию; их вожди не происходили из знатных кочевнических родов и не могли рассчитывать на династическую поддержку степных племён; мифическое родство с Ли Лином и его якобы потомками — императорами династии Тан — не заменяло кровного родства с элитной аристократией номадов. Кыргызская культура была дестабилизирована как войнами, так и притоком подмоги с запада, она теперь представляла собой нечто весьма динамичное, готовое к восприятию инноваций — этакая капля ртути, легко сливающаяся с подобными шариками. Кроме того, военные успехи всегда опасны для любого государства, ибо возвышают полководцев над правителями. Захват и освоение новых земель провоцирует сепаратизм. Ко всему этому была бы готова мощная, высокоразвитая и крепко организованная цивилизация — а кыргызское общество оставалось этнокультурным конгломератом с заимствованной государственностью и никоим образом не была готова ко всем перечисленным испытаниям. Государство енисейских кыргызов было обречено стать жертвой собственного, случайно выпавшего военного успеха; так и произошло. Главным фактором дальнейшей истории кыргызов было разделение их государства на две обособленные части — минусинские котловины Среднего Енисея (“метрополия”) и тувинские котловины Верхнего Енисея (“колония”). Именно такая ситуация зафиксирована письменными источниками, а именно — “Сборником летописей” (“Джами’ ат-таварих”) Рашид-ад-Дина (1247-1318), везира (1298-1317) в правительстве Газан-хана (1271-1304) и Олджайту-хана, образованнейшего энциклопедиста, придворного историографа, влиятельного политика, финансиста и феодального реформатора. Таланты не спасли его от навета и казни, но труды

Рашид-ад-Дина увековечили его имя. “Сборник летописей” представляет ситуацию по состоянию на конец XIII — начало XIV века, однако в Южной Сибири эта ситуация сложилась намного раньше как раз в рассматриваемые времена. “Сборник летописей” в разделе “О тюркских племенах, имевших своего государя и вождя...” содержит рассказ и о “племени киргиз”. Приведём важнейшие для нашей темы фрагменты.

“Киргиз и Кэм-Кэмджиут две области смежные друг с другом; обе они составляют одно владение. Кэм-Кэмджиут — большая река, одною стороною она соприкасается с областью монголов и одна (её) граница — с рекой Селенгой, где сидят племена тайджиутов; одна сторона соприкасается с (бассейном) большой реки, которую называют Анкара-мурэн, доходя до пределов области Ибир-Сибир. Одна сторона Кэм-Кэмджиута соприкасается с местностями и горами, где сидят племена найманов. Племена кори, баргу, тумат и байаут, из которых некоторые суть монголы и обитают в местности Баргуджин-Токум, также близки к этой области. В этих областях много городов и селений, и кочевники многочисленны. Титул их государя, хотя бы он имел другое имя, — инал, а родовое имя тех из этой области, кто пользуется уважением и известностью — иди. Государь её был ... (пропуск). Название другой области — Еди-Орун, государя тамошнего называли Урус-инал.” (Рашид-ад-Дин 1952, т. I, кн. I: 150).

Кэм — безусловно, Енисей. Кэмджиут — монг. мн.ч. от “кэмджи”. А.А.Семёнов в комментарии к переводу предлагает связать это название с позднейшими татарами-камачи, или камаша, обитавшими в верховьях Енисея (Рашид-ад-Дин 1952, т. I, кн. I:123-прим.1), однако проще по примеру “Кэм — Хем/Енисей” трактовать “кэмджи” как “хемчик” — “енисейчик”, название одного из притоков Верхнего Енисея; таких притоков там множество, и называть район верховий Енисея словосочетанием, обозначающим “Енисей и енисейчики”, вполне естественно.

В труде Рашид-ад-Дина есть и другие упоминания о кыргызах, позволяющие кое-что уточнить. В разделе о племени тумат говорится: “Местопробывание этого племени было поблизости вышепоименованной Баргуджин-Токум. ... (Туматы) жили в пределах области киргизов” (Рашид-ад-Дин 1952, т. I, кн. I:122). Выше говорилось, что туматы живут не поблизости от области Баргуджин-Токум, а именно в ней, и не “в пределах области киргизов”, а неподалёку. Это мелкое противоречие подчёркивает и условность границ того времени, и недостаточность представлений автора о географии региона.

В повествовании о татарах Рашид-ад-Дин пишет об Ангаре: “Та река находится вблизи города по имени Кикас и в том месте, где она и река Кэм сливаются вместе. Город тот принадлежит к области киргизов” (Рашид-ад-Дин 1952, т. I, кн. I:102).

В повествовании о найманах, крупном монголоязычном племени, доставившем Чингизхану немало хлопот, говорится: найманы “были кочевыми, некоторые обитали в сильно гористых местах, а некоторые — в равнинах. Места, на которых они сидели..., таковы: Большой Алтай, Каракорум, ... горы: Элуй-Сирас и Кок-Ирдыш (Синий Иртыш), — в этих пределах обитала также племя канлы, — Ирдыш-мурэн, который есть река Иртыш, горы, лежащие между той рекой и областью киргизов и соприкасающиеся с пределами той страны, до местностей земель Могулистана, до области, в которой жила Он-хан, ... до области киргизов и до границ пустынь, соприкасающихся со страной уйгуров” (Рашид-ад-Дин 1952, т. I, кн. I: 136-137; изъятые фрагменты, не имеющие касательства к локализациям). Итак, между Иртышом и областью киргизов существовали горы, принадлежавшие найманам, то есть Алтай. Из контекста следует, что относится это сообщение к XII веку.

Итак, безусловно кыргызскими областями были тувинские и минусинские приенисейские котловины, а на север кыргызские владения простирались до Ангары. Нет никаких намёков на то, что Алтай когда-либо принадлежал кыргызам (хотя когда и как он отошёл к найманам, тоже неизвестно). Не совсем ясно, что стоит за словами источника о том, что кыргызы “должны опасаться предприимчивости царя кимаков” (Кумеков 1972: 120). До найманов Алтай, как известно, принадлежал кыпчакам, входившим в кимако-кыпчакский союз, так что поле вероятного соприкосновения существовало, но подробности, к сожалению, неизвестны. Источник указывает на единство и одновременно разделённость тувинской и минусинской частей кыргызского ареала; уточнить, в чём состояло единство и что, кроме Западного Саяна,

разделяло эти области, по письменным источникам невозможно. Однако археологические данные в этом случае более репрезентативны.

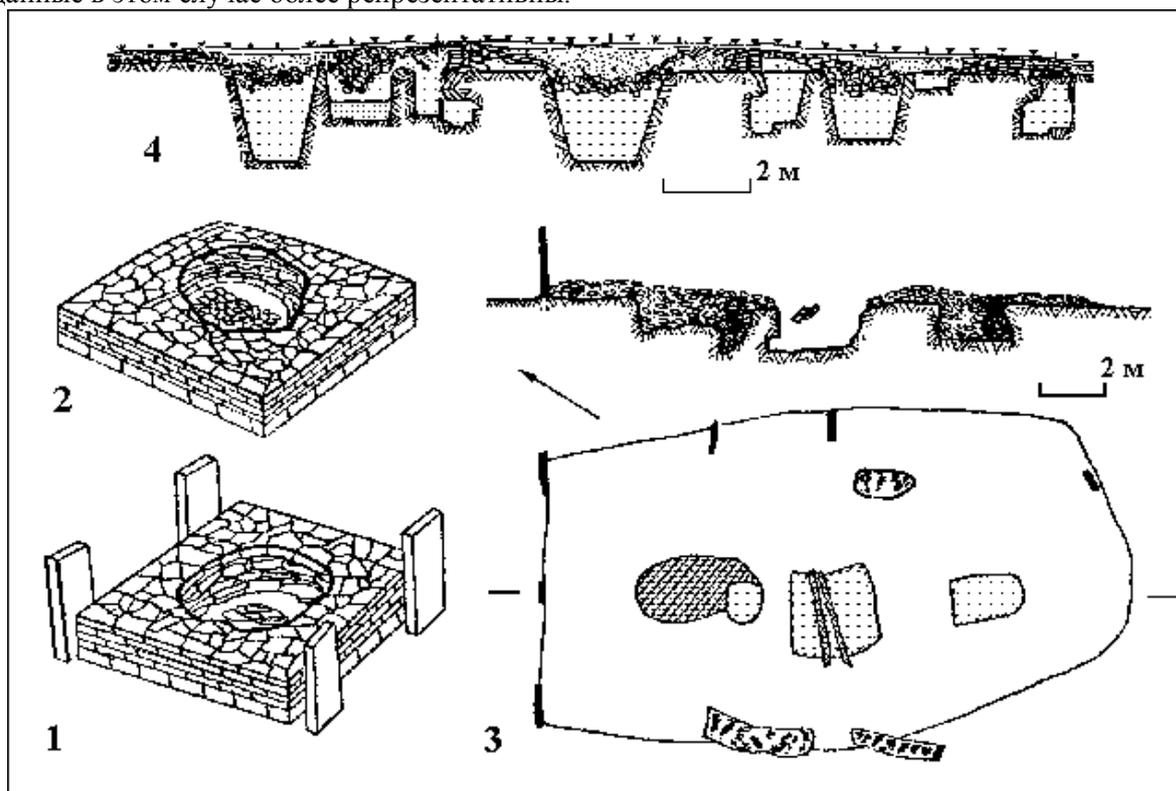


Рис.56. Минусинско-шульбинская аналогия: 1,3 — Копёнский чаатас, кург. 5, план и разрез; 2,4 — Акчий II,5, разрез; (по Л.А.Евтюховой, С.В.Киселёву, Ю.И.Трифонову). 1,2 — графические реконструкции первоначального облика наземных сооружений.

Если культура минусинской части кыргызского государства в течение какого-то срока после 840 года оставалась в целом прежней, то тувинский вариант культуры ярко своеобразен. Господствующий тип памятников — ограды различной конструкции, возведённые над погребениями по обряду трупосожжения, совершёнными на дневной поверхности. Иногда погребения совершены в небольшой ямке-”ячейке” (как подхоронения на чаатасах). В отличие от старых кыргызских обычаев, по которым всаднический комплект клали лишь в захоронения по обряду труположения, погребения кремированных останков теперь также сопровождаются оружием, поясными принадлежностями и сбруей. Группировка тувинских памятников, разработанная Г.В.Длужневской (1994: 39) с привлечением дат по лясским аналогиям, надёжно обосновывает периодизацию истории тувинского владения кыргызов. Материальные ориентиры периодизации — морфология предметов сопроводительного инвентаря и особенности погребального обряда. Г.В.Длужневская выделяет три этапа:

I. Время памятников с преобладанием изделий “общетюркского облика”, то есть принадлежащих к катандинской традиции, и элементов погребального обряда чаатасов. Середина IX — первая четверть X века (то есть от победы кыргызов над уйгурами в 840 году до — ориентировочно — 924 года, когда кидани впервые появились в центральноазиатском регионе).

II. Время памятников с преобладанием изделий в копёно-тюхтятском стиле, то есть опять же катандинских, но декорированных в соответствии с лясскими традициями, и с различными вариантами похоронного ритуала. Вторая четверть X — середина XI века (верхняя дата продиктована лясскими аналогиями; выше сказано об условности такого подхода, но в данном случае это не так важно).

III. Время памятников с преобладанием изделий аскизского облика и унифицированным погребальным обрядом. XI - XII вв. (верхняя дата — по позднейшим датам находок аскизских вещей и с ориентацией на сведения письменных источников).

Следует отметить, что тувинские памятники I этапа хронологически предваряются наиболее ранними кыргызскими комплексами IX в. южнее Саян — это погребения, исследованные А.Д.Грачом в Овюрском районе Тувы. Специфика этих погребений — необычно большие для кыргызских памятников Тувы могильные ямы. Среди инвентаря встречена маленькая византийская пряжка VIII-IX вв. и знаменитые тибетские охранительные тексты на берёсте. В целом эти комплексы сопоставимы с курганами могильника Капчалы I, хотя в тувинских погребениях нет керамики, а наземные конструкции по сравнению с капчальскими очень велики. Эти тувинские курганы должны быть отнесены к тому краткому периоду (840-е гг.), когда кыргызская ставка находилась южнее хребта Танну-ола (Рис.47). Исследователи не выделяют в тувинском массиве памятников кыргызские погребения по обряду ингумации; таковые, безусловно, существуют, ведь кыргызское общество было полиэтничным, и вряд ли большой южный поход предприняла какая-то одна из этнических групп; источники прямо указывают, что на войну “выступают все поколения”. Следует отметить, что тувинские памятники с погребениями по обряду ингумации с изделиями “общетюркского облика” никто как кыргызские не рассматривал. При поиске этих погребений следует ориентироваться на такие минусинские комплексы, как Капчалы II или, возможно, Сабинка I. Можно указать, например, кург.72 и 75 могильника Чааты II, курган в посёлке Аксы-Барлык, кург. № 24-2 близ деревни Успенской, кург. № 46 в Уюк-Тарлыке, № 142 на Могое и др. (Кызласов 1979: 188-196).(Рис.48-51). Возможно, эти погребения могут быть признаны кыргызскими — в том смысле, что захороненные в них люди не обязательно считали себя кыргызами, но входили в воинскую элиту самопровозглашённого каганата и участвовали в большом набеге на уйгуров. Вместе с тем даты упомянутых памятников не вполне ясны, и после того, как будет разработана генеральная хронология саяно-алтайских погребений с конём, установленные даты могут и не подтвердить предполагаемую здесь интерпретацию перечисленных могил. Однако современные представления о хронологии таких памятников её не исключают.

Вместе с тем на втором этапе кыргызские памятники легко распознаваемы по инновациям лясского происхождения, и это сплошь кремнированные погребения. Инокультурное население либо ушло, либо уже было ассимилировано. На третьем этапе обряд уже унифицирован, а лясский стиль вытеснен новым, аскизским. Согласно выводам Г.В.Длужневской, в начале второго этапа в “колонии” происходили сложные внутренние процессы, связанные с переселением отдельных групп, с борьбой за власть между различными кланами — иными словами, в кыргызском обществе случились неурядицы. В те же годы ставка переносится из Тувы на север, в Минусинскую котловину, где вскоре появляется Копёнский чаатас. В Туве же понемногу распространяются изделия, относящиеся уже к аскизскому культурному комплексу. К концу второго этапа лясские традиции исчезают.

Исследование, аналогичное труду Г.В.Длужневской, на минусинских материалах не проводилось, да и не могло быть проведено, ибо основные памятники раскопаны по давно устаревшей, малоинформативной методике. Однако и неполные материалы, будучи рассмотрены с учётом сделанных выше выводов, позволяют в целом представить себе ход культурных процессов.

К рассматриваемому периоду следует относить чаатасы с оградами III и главным образом IV групп, а также все памятники с вазами, имеющими орнаменты IV этапа (с гипертрофированными и уплотнёнными элементами декора). Из чаатасов реально датируются лишь два, Копёнский и Уйбатский, причём если копёнские материалы обильны и в основном опубликованы, то уйбатские — наоборот (заявленная в книге Л.А.Евтюховой монографическая публикация Уйбатского чаатаса по каким-то причинам не состоялась). К этому же периоду относятся могильники Капчалы I-II, Над Поляной, у железнодорожной станции Минусинск, комплексы впускных всаднических ингумаций на могильниках Степновка I и Кирбинский лог. Эти памятники образуют систему, подробно рассмотренную в разделе IV. 6. Ко всему, что там сказано, нужно добавить ряд наблюдений и заключений.

Высказывалось мнение, будто позднейшим из датируемых чаатасов является Уйбатский (Савинов 1984: 96). Между тем единственные указания на хронологическую принадлежность дают две находки: покорёженная решма с бубенцом и коленчатый кинжал. Решмы с бубенцами заимствованы у киданей в X веке. Коленчатые кинжалы появились как подражание палашам и

саблям, где, как показывают расчёты, коленчатый отгиб рукояти повышает эффективность оружия (Соловьёв 1985); они датируются по изваяниям, несущим их изображения вместе с изображениями вещей VIII-IX вв., по находке такого кинжала в более позднем комплексе Архиерейской заимки, и по соображениям общего характера касательно времени введения отогнутых рукоятей (Рис.52). Для выяснения даты Уйбатского чаатаса важно, что ляоские типы в данном случае не серийны, а единичны. Вероятно, общая дата памятника лежит в пределах второй четверти X века, когда уже появились ляоские типы, но ханскую ставку на север ещё не перенесли.

Следует обратить внимание на то, что в доляоский период крупные Т-образные тройники в кыргызских памятниках почти не встречаются, а среди мелких абсолютно преобладают тройники с фигурными лопастями. Тройники с прямоугольными лопастями становятся массовым явлением лишь вместе с усвоением ляоских инноваций. В этом, по-видимому, проявилась неоднородность потока западных влияний и асинхронность появления в Центральной Азии разных типов одной категории.

Одним из распространённых образов декора X века становятся изображения крылатых животных, в том числе собак или волков (возможно, это упрощение образа сенмурва). Показательно, что появился новый для Южной Сибири стандартный приём изображения крыла в виде треугольного паруса; эта деталь, вероятно, имеет западное происхождение, так как прежде крылья изображались иначе, с завитком на конце, а “парусные” изображения крыльев с угловым завершением в предшествующий период известны в Европе (Рис.53).

В целом различия между минусинским и тувинским вариантами кыргызской культуры показывают следующее. Если на Среднем Енисее сохранялась и продолжала усложняться прежняя ранжированная социокультурная система общества, то в завоёванной Туве происходила постепенная стандартизация похоронного обряда, свидетельствующая об упрощённой общественной организации. Обстоятельства развития тувинского варианта кыргызской культуры, выявленные трудами Г.В.Длужневской, позволяют предположить, что к середине — третьей четверти X века в Туве назрел некий конфликт — всего вероятнее, между старой аристократией (с которой следует связывать заимствование ляоского стиля оформления престижных изделий) и выдвинувшейся в войне с уйгурами и центральноазиатских рейдах новой дружинной воинской элитой (в среде которой складывается новый — аскизский стиль металлической фурнитуры костюма и сбруи, новые традиции декора). Следует помнить, что престижный стиль декора у средневековых кочевников — не просто дань моде, он имел то же значение, что теперь имеет военная форма со знаками различия и наградами; именно благодаря этой особенности у нас есть возможность реконструировать многие историко-культурные процессы (Азбелев 1988). Следствием конфликта был перенос ханской ставки из Тувы в Минусинскую котловину, а это привело к фактическому обособлению тувинской части кыргызов. Несмотря на полное молчание письменных источников, можно заключить, что во второй половине X века две кыргызские области, будущие Киргиз и Кэм-Кэмджиут Рашид-ад-Дина, встали на грань распри и войны между собой.

Итогом, как мы знаем, стало распространение традиций аскизской культуры, зародившихся в Туве, на обе кыргызские области. Кыргызская культура глубоко изменилась, и в первую очередь нужно обратить внимание не на то, как она в результате стала выглядеть, а на то, что ушло из культуры предшествующего времени. Список утраченного в высшей степени интересен.

В области погребального обряда: исчезли погребения всадников по обряду ингумации с конём. Исчезли могилы с внутренними деревянными конструкциями, да и могильные ямы вообще (погребения стали наземными). Обряд труположения сохранился лишь в так называемых “кыштымских” (чаще всего безынвентарных) погребениях, которых раскопано и опубликовано пока слишком мало для того, чтобы всерьёз их анализировать. Из всего разнообразия наземных погребальных конструкций остались лишь округлые и полигональные оградки. Исчезли сооружения со стелами по периметру; теперь лишь изредка около оградки устанавливалась одна стела. Радикально изменился и кыргызский предметный комплекс. Исчезли кыргызские вазы — либо их вообще перестали делать, либо их, как и горшки, более не помещали в могилы. Исчезли вещи, имитирующие ляоские образцы, и вещи, изготовленные в старой таштыкской традиции. Произошли перемены и в духовной культуре: исчезли

эпитафийные рунические надписи; во всяком случае, тексты, достоверно датируемые позже X века, на Енисее отсутствуют. Изменилась социально-политическая структура: исчезли претензии на каганский титул, и теперь, судя по позднему свидетельству Рашид-ад-Дина, кыргызские вожди назывались иналами. Суммируя, следует отметить, что в списке утраченного оказались все основные признаки, определявшие специфику кыргызской культуры, начиная с VII века, причём эти признаки связываются главным образом с аристократической правящей верхушкой кыргызского общества. Это позволяет говорить о том, что конфликт, ранее приведший к переносу ставки из Тувы на север за Саяны, завершился-таки военной усобицей. Речь не идёт о постепенной эволюции или о поэтапном вытеснении старых признаков — они исчезли сразу и в комплексе. Это были традиции людей, обладавших реальной властью — а власть просто так не отдают. Поэтому я считаю возможным заключить, что во второй половине X века тувинская группа кыргызов просто захватила Минусинскую котловину, но не скопировала прежнее государственное устройство, а отказалась от централизации власти; в итоге возникли две области одного владения, о которых пишет Рашид-ад-Дин. Старая аристократия уступила новой; в истории так бывало не раз. Вместе с господством старой знати пресеклось и господство традиций её престижной субкультуры.

Существуют памятники, позволяющие проследить судьбу проигравших в этой “гражданской войне” (Азбелев 1994). Это — могильники, исследованные в зоне затопления Шульбинской ГЭС на Иртыше (Трифонов 1987: 115-246). Наземные сооружения двух десятков курганов на могильниках Джаргас, Темир-Канка, Акчий I-III, Карашат I-II, Когалы — по серии признаков сближаются с оградами чаатасов. Это и техника сухой многорядной и многослойной кладки из плитняка, и планировка сооружений, и небрежность оформления внутренних сторон кладки при тщательном выравнивании снаружи, и акцентирование углов кладки каменными стелами (в публикации таких чертежей нет, но участвовавший в работах Н.А.Боковенко сообщил мне о существовании таких деталей), и скругление внутренних углов путём усиления мощности кладки (на эту параллель мне указал раскопщик и публикатор данных памятников покойный Ю.И.Трифонов). Как и на большинстве чаатасов, могилы ориентированы в основном широтно, а валик выброса часто подстилает ограды, возведённые после устройства могил. Размеры шульбинских оград колеблются в тех же пределах, что и на минусинских чаатасах. Из наиболее типичных конструктивных особенностей чаатасов шульбинские не имеют лишь входных конструкций (не всегда присутствующих и на Енисее), да стелы по углам на Иртыше практически не устанавливались (это опять же не обязательно и для чаатасов; кроме того, в шульбинских оградах погребения совершены по обряду ингумации, а на Енисее этот обряд редко сочетается с установкой стел; нужно также заметить, что на Иртыше нет и тагарских могильников, откуда кыргызы предпочитали выкорчёвывать стелы для чаатасов). (Рис.54-55). Весьма показательно сходство между копёвским курганом № 5 и объектом 2 могильника Акчий II. Шульбинский комплекс исследован на высоком методическом уровне, и его первоначальная конструкция вполне ясна. Копёвский курган раскопан, наоборот, в соответствии с методологическими нормами 1930-х гг., то есть по нынешним меркам плохо, но на опубликованном чертеже показано расположение стел и контур развала наземного сооружения, так что можно экстраполировать на этот комплекс представления, сложившиеся при анализе новых памятников. Во всех поддающихся проверке случаях средний диаметр развала каменных оград примерно в 1,5 раза больше, чем длина стороны ограды. Учитывая это и сообразуясь с ориентацией стел (здесь тоже есть свои правила), можно достоверно реконструировать копёвский курган и сравнить его с Шульбинским (Рис.56). Совершенно очевидно, что принцип расширения комплекса за счёт пристроек в обоих случаях один и тот же, причём совпадает даже приём увода подбоя из пристройки под стену основной ограды и пристройки.

По сумме данных можно уверенно говорить о том, что шульбинские сооружения построены людьми, переселившимися в Прииртышье из Минусинской котловины примерно в копёвское время. Нужно отметить странную позицию Д.Г.Савинова; комментируя историческую ситуацию рубежа I/II тыс. в связи с публикацией могильника Эйлиг-хем III, этот автор упоминает и шульбинские комплексы; процитировав название моей статьи (Азбелев 1994), Д.Г.Савинов не соглашается с моим определением этих памятников как сооружений “типа минусинских чаатасов”, поскольку “на самом деле это ... только воспоминание о них, о

том, как надо (и можно) делать подобные сооружения (при полном отличии обряда захоронения и предметов сопроводительного инвентаря)” (Грач, Савинов, Длужневская 1998: 74). Д.Г.Савинов ошибается, когда, имея в виду отсутствие кремаций под шульбинскими оградами, говорит о несоответствии обряда погребения минусинским нормам — треть погребений в центральных могилах на чаатасах совершена по обряду ингумации. Шульбинские погребения, совершённые по обряду трупоположения, нужно сравнивать не с кремациями, а с ингумациями на чаатасах; именно для ингумаций характерен всаднический набор вещей, найденный под шульбинскими оградами. Вазы в минусинских могилах с ингумациями встречаются редко, нет их и в шульбинских могилах; да и вряд ли на новом месте мигранты стали бы воспроизводить престижную посуду Кыргызского каганата. Морфология и декор инвентаря шульбинских могил в целом обычны для кимакских областей — значит, мигранты вошли в состав населения Кимакского каганата, и развитие знаковых элементов кыргызской культуры должно было прекратиться. По сути, Д.Г.Савинов пересказал мои выводы как свои собственные, но зачем-то тут же не согласился с ними; непонятно, чем “памятники типа чаатасов” (не чаатасы!) хуже “воспоминания о чаатасах”; вероятно, тем, что мой вывод о несоответствии шульбинских памятников теориям о “кыргызском великодержавии” плохо вписывается в контекст позиции самого Д.Г.Савинова.

Шульбинские ограды не идентичны между собой; некоторые отличия позволяют проследить на примере этих памятников финал традиции, столь внезапно пресечённой усобицей на Енисее. Некоторые шульбинские ограды построены на выровненных площадках, а у других кладка стоит на валиках выброса — в сущности, на наклонной плоскости. Этот наклон уже в следующем поколении стали считать обязательным и воспроизводили, имитировали выемкой грунта так, чтобы площадка превратилась с уплощённую усечённую пирамиду. Налицо необычное проявление правила деградации типа без точного его понимания: те, кто строил позднейшие ограды не на плоских, а на “усечённо-пирамидальных” площадках, помнили о том, что ограды ставили не на плоскость, а на скос, но забыли, что скос этот происходит не от выемки грунта вокруг могилы, а от валика выброса из самой могильной ямы (Рис.57). Таким образом, традиции мигрантов быстро вырождались, и скорее всего, эта группа быстро была ассимилирована.

Полагаю, шульбинские комплексы доказывают, что в середине — второй половине X века часть высшей кыргызской знати была вынуждена бежать из своей страны. Судьба этих беженцев очевидна; важно отметить, что эта локальная миграция ни о каком переселении кыргызов на Алтай или тем более на Тяньшань не свидетельствует — это не более чем бегство нескольких аристократических семей, вскоре совершенно растворившихся в новой этнокультурной среде.

Некоторые авторы во многих работах указывают памятники, по их мнению, маркирующие расселение кыргызов на запад, и типы, якобы фиксирующие кыргызское присутствие в Притяньшанье. Разобрав минусинско-шульбинскую аналогию, следует рассмотреть и другие.

V.7. Об археологической основе концепций “кыргызского великодержавия” и енисейского происхождения тяньшаньских кыргызов.

По мнению ряда исследователей, кыргызы не только разгромили уйгуров и захватили географический центр Азии, но и постепенно расселились в западном и юго-западном направлении: сначала на Горном и Степном Алтае, затем в Восточном Казахстане, а оттуда проникли и на Тяньшань. В некоторых публикациях говорится о заселении кыргызами “енисейско-иртышского междуречья” и даже о каком-то “обь-иртышском плацдарме”, с которого завоёвывали что-то ещё. Ни один из авторов, разрабатывавших соответствующую проблематику, не предложил развёрнутого анализа собственно кыргызской культуры на основе сравнительно-типологического, корреляционного или типогенетического метода. Правда, публикации одного из исследователей — Ю.С.Худякова — обильно оснащены формальными, ни к чему не приуроченными и никак не используемыми классификациями, а также странными “типолого-хронологическими матрицами”, где по непонятному принципу сведены сделанные чуть ли не по линейке и циркулем чертежи обезличенных и неузнаваемых вещей. К анализу всё

это, естественно, отношения не имеет. Позиции большинства исследователей в данном случае можно рассматривать лишь на уровне общих аргументов и принципов подхода к материалу. Неизбежно возникающие здесь споры идут не с попытками аналитического изучения конкретного вещественного материала (как, например, можно спорить с Л.Р.Кызласовым по вопросу о хронологии таштыкских склепов), а лишь с оценками, причём обычно ангажированными концептуально. Исключение составляют лишь работы Г.В.Длужневской, однако они посвящены лишь тувинским памятникам кыргызов.

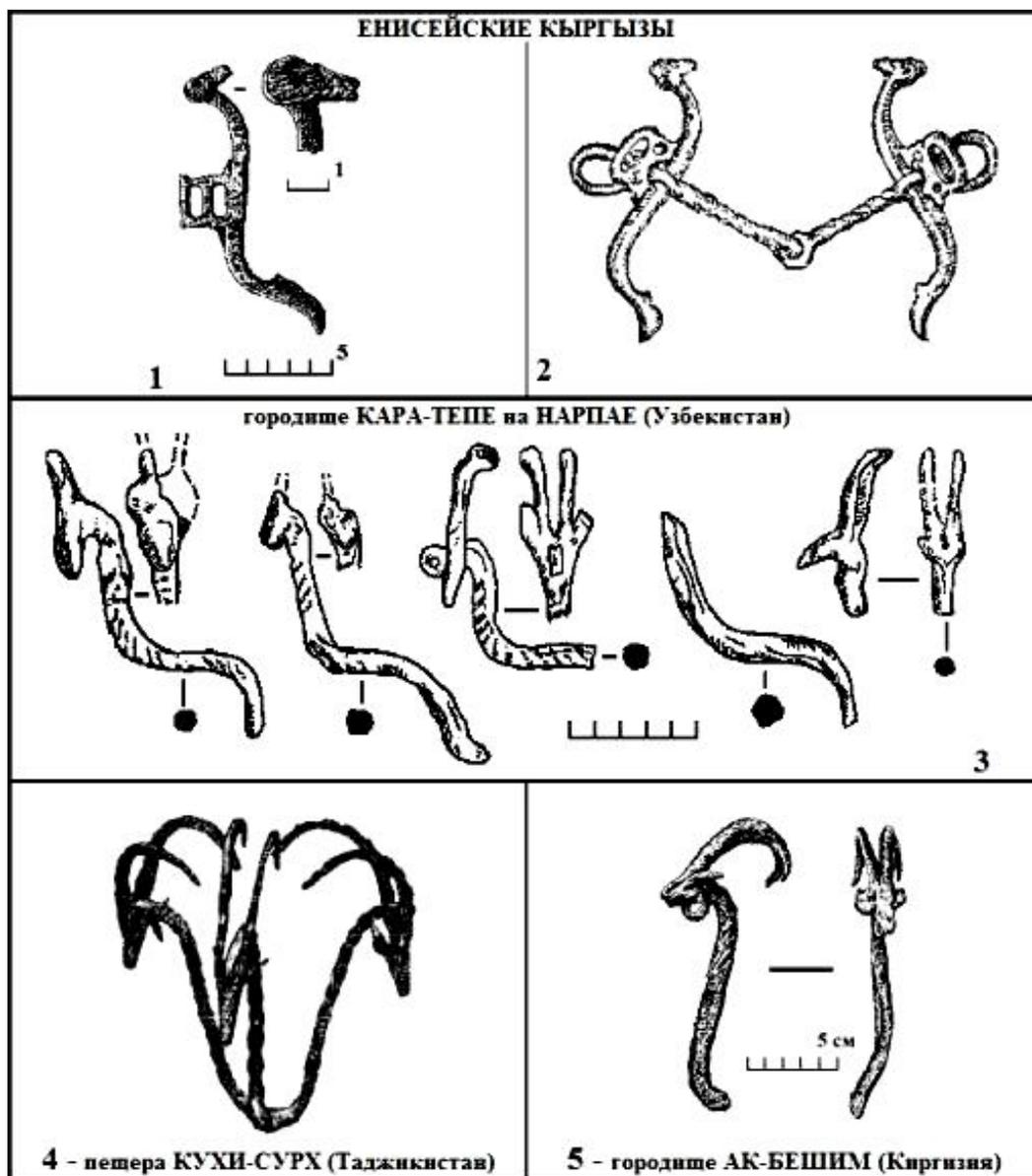


Рис.60. Акбешимская находка (4): ложные (1,2) и настоящие (3, 5) аналогии.

Единственный пример попытки корректного изучения проблемы — в статье Д.Г.Савинова “Этнокультурные связи енисейских кыргызов и кимаков” (Савинов 1978). Собрав аналогии, автор предложил весьма наглядную и убедительную таблицу, ясно демонстрировавшую значительное сходство предметом по категориям. Поскольку вопрос о происхождении отдельных типов автором не рассматривался и вообще не учитывался, постольку нет и вывода о расселении: ведь аналогия сама по себе ещё не указывает направления влияний, а явных типологических рудиментов таблица не выявила — просто похоже, и всё. Сделанный автором вывод о связях выглядит вполне корректным, однако при более подробном рассмотрении с учётом лясских материалов вопрос оказывается более

сложным. Большинство аналогий, составляющих таблицу, имеют лясское происхождение — а значит, связей между кыргызами и кимаками не документируют. Другие же обусловлены общими восточноевропейскими прототипами и свидетельствуют разве что о кимацком влиянии на кыргызов, а не наоборот.

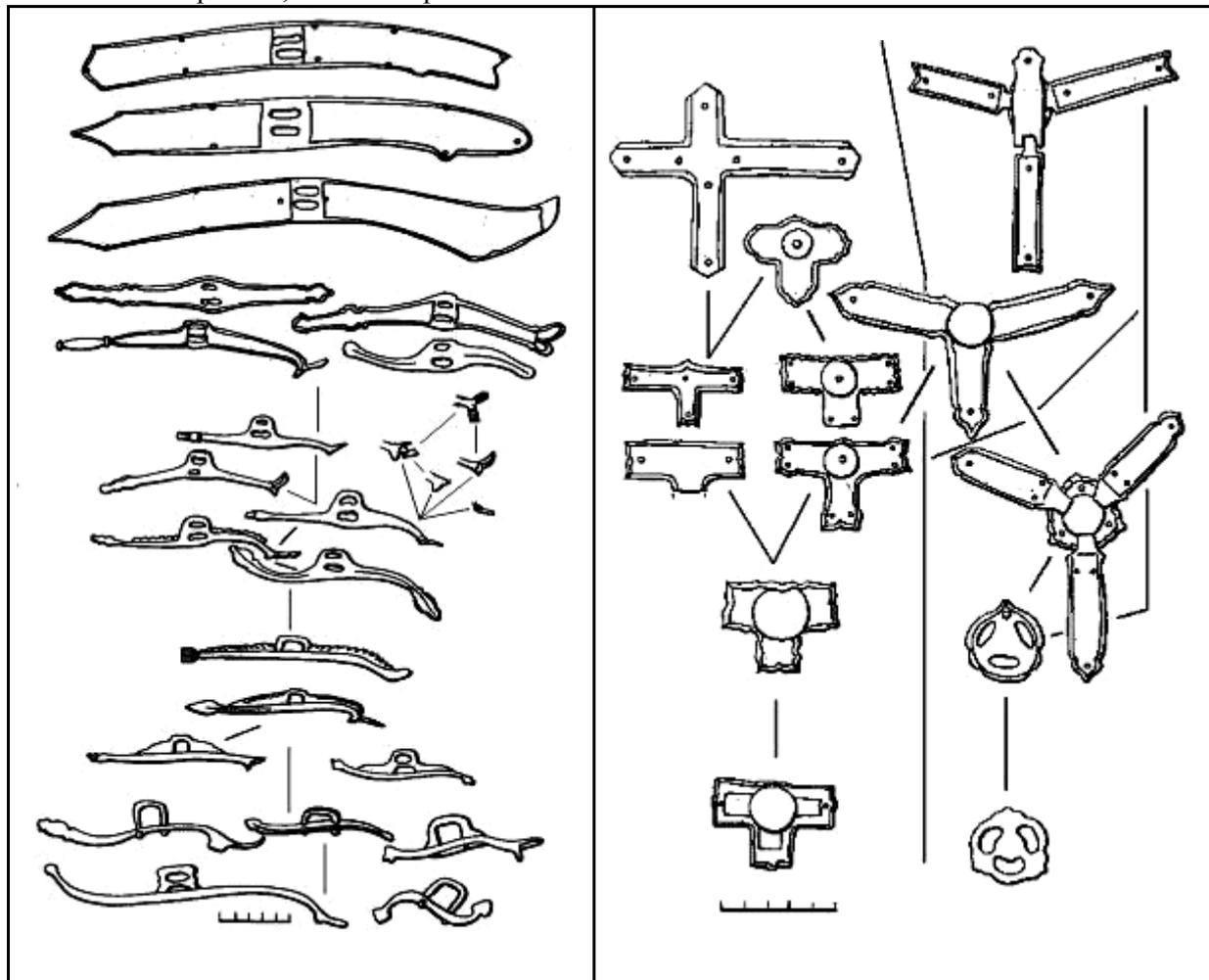


Рис.61. Развитие позднекыргызских типов псалиев и сбруйных тройников по И.Л.Кызласову.

Кыргызскими называют ряд погребений на таких могильниках, как Корболиха VIII, Зевакино, Гилёво, Яконур и др. Оценивая эти памятники, следует разделять историко-культурный и аналитический аспекты проблемы.

Выделяя “внесаянские” памятники, предположительно оставленные кыргызами, то в “тюхтятскую культуру”, то в “памятники эпохи великодержавия”, то в локальные варианты кыргызской культуры, авторы имеют в виду три общих признака: трупосожжение на стороне, размещение погребения на древней дневной поверхности и определённый набор вещей определённого облика. Для исследователей важно, что все эти признаки появляются в комплексе и, следовательно, эти совпадения не случайны. При этом как-то забывают о том, что многие элементы данного комплекса до IX века отсутствовали и в кыргызской культуре. Ни одно минусинское погребение на горизонте не имеет признаков, позволяющих говорить об отнесении комплекса ко времени до 840 года. Любые рассуждения о том, что в условиях походного быта ритуал погребения упрощался, следует отвести как бессодержательные — обряд есть обряд, и если есть время и возможность сжечь тело, то отчего бы не вырыть яму? Погребения в Овюрском районе Тувы (с тибетскими текстами на берёсте), относящиеся к числу наиболее ранних в регионе, совершены в больших ямах под внушительными сооружениями. Несомненно, нужно ставить вопрос не о кыргызской принадлежности кремаций на горизонте вне зависимости от места их обнаружения, а о происхождении этого обряда вообще. Будут ли

при этом найдены аргументы в пользу теорий о том, что по всему Саяно-Алтаю такие погребения распространяются именно через кыргызов — второй и совершенно не очевидный вопрос. В этом плане особенно интересны материалы некоторых западносибирских культур, которым свойствен обычай трупосожжения с размещением пепла на древнем горизонте; эти культуры существовали на протяжении всего I тыс. и позднее. Часть их ареала расположена на трассах миграций, выявляющихся по восточноевропейским элементам в сибирских культурах этого времени. Восточноалтайские погребения с сожжениями на горизонте вернее сопоставлять именно с западносибирскими аналогами и вероятными прототипами, а не с кыргызскими комплексами, вовсе на них не похожими. (Рис.58-59).

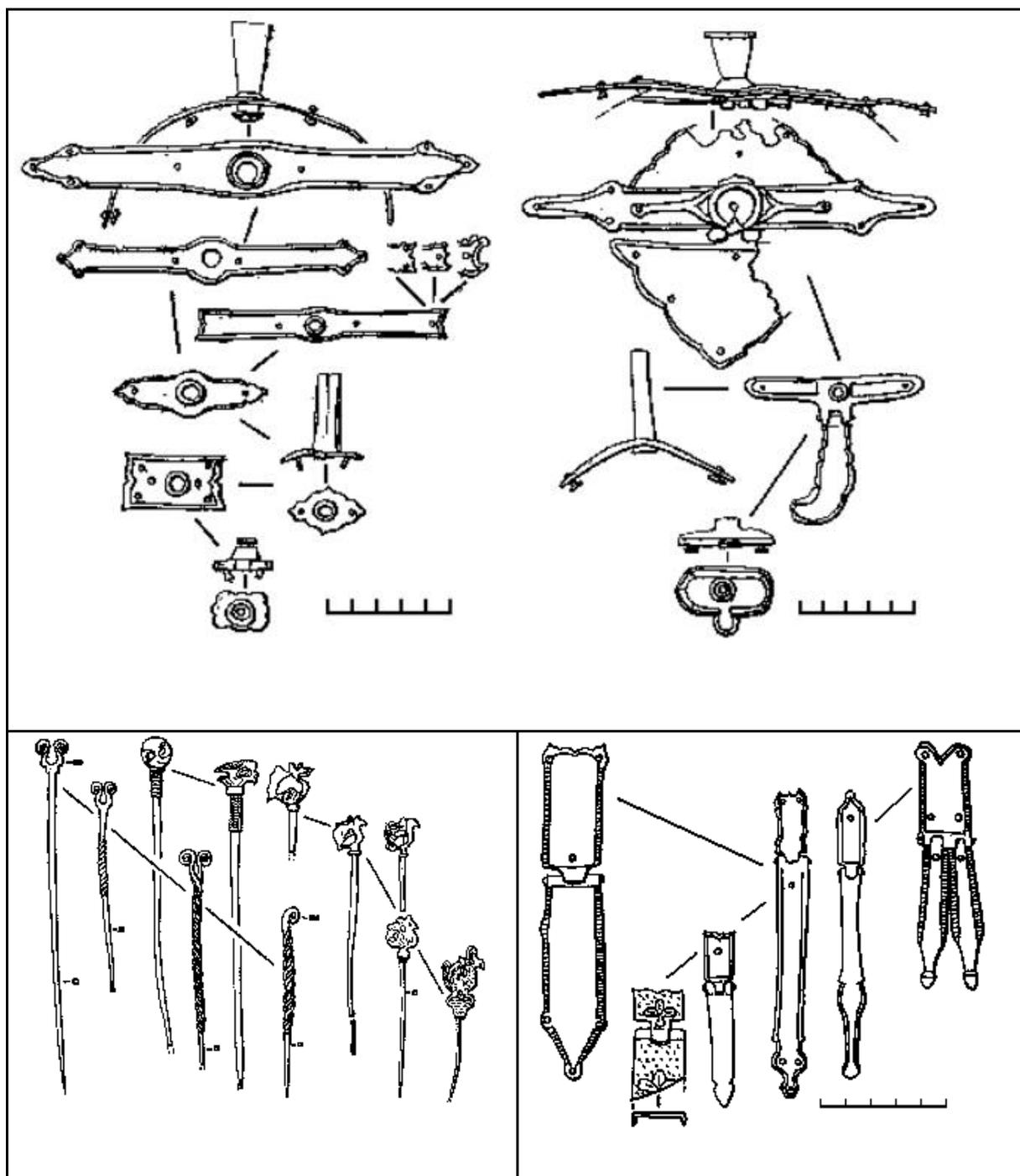


Рис. 62. Развитие аскизских типов уздечных султанов, булавок и шарнирных блях по И.Л.Кызласову.

Далее, необходимо иметь в виду, что предметный комплекс этих памятников не имеет ничего специфически кыргызского. Специфически кыргызским является комплекс, состоящий из характерных наземных каменных конструкций и узнаваемой глиняной посуды. Однако ни вазы, ни горшки “кокэльская-чаатинской” традиции вне приенисейских котловин не встречены, а единственный случай обнаружения кыргызских каменных конструкций вне указанного ареала — это рассмотренные выше шульбинские комплексы. Зато именно в это время на Енисее появляются погребения под земляными курганчиками без каких-либо каменных конструкций — прежде здесь такого не бывало, а в Западной Сибири и на Северном Алтае это обычное дело. Таким образом, можно заключить следующее. Ни по отдельности, ни в комплексе признаки, считающиеся индикаторами кыргызской принадлежности внесаянских памятников, таковыми не являются. Всего вероятнее, они появились при миграциях западносибирских племён, втянутых в многочисленные миграции с запада на восток, порождённые конфликтами в Поволжье и Приуралье. В том числе эти мигранты проникли и на Енисей. Я не утверждаю, что вне приенисейских котловин кыргызских памятников нет и не может быть. Но я утверждаю, что памятники, обычно приписываемые к числу кыргызских, не имеют никаких специфически кыргызских черт. Основания для определения этих памятников как кыргызских не выдерживают никакой критики. Даже беглый обзор этого круга проблем открывает возможности совсем иных решений, не требующих произвольной трактовки материала. Рассматривая вопрос о якобы кыргызских памятниках к западу от Кузнецкого Алатау и Абаканского хребта, следует учитывать историко-культурные обстоятельства. Северный и, может быть, Горный Алтай в IX-X вв. — область расселения кыпчаков в составе Кимакского каганата. На юго-запад от них лежали земли карлуков. Нет никаких причин видеть в этих народах проводников кыргызского влияния или тем более часть кыргызского государства. Они доминировали в своём регионе и проявляли хищный интерес к соседям — недаром арабский аноним пишет о том, что кыргызы должны опасаться “предприимчивости” царя кимаков. В том же “Худуд-ал-Алам” сообщается о сходстве культуры кыргызов и кимаков — но ведь существуют кимакские находки на кыргызской территории, а не наоборот. Конечно, можно предполагать, что на кимакской службе состояли какие-то кыргызские отряды и так далее; но домыслы не являются аргументом. Далее, внутренняя обстановка в кыргызском государстве никак не способствовала развитию экспансии: в обществе назревал этнополитический кризис, оформлялись противостоящие общественные силы (что отражено в декоре престижных изделий) — до экспансии ли тут? Это фиксируется и письменными источниками: о кыргызах упоминают, но не повествуют.

Суммируем: роль енисейских кыргызов в историко-культурных процессах на Саяно-Алтае в IX-X вв. сводилась к пассивному выживанию в Минусинской котловине и в завоёванной Туве. Во второй половине X в. вследствие внутренних усобиц группа кыргызских аристократов бежала в Прииртышье, где со временем была ассимилирована. Все прочие внесаянские памятники, традиционно связываемые с кыргызами, оставлены местными племенами и мигрантами из Западной Сибири.

Все исследователи учитывают расселение кыпчаков на запад, однако односторонние миграции невозможны, всегда существуют встречные потоки, из-за которых даже пресловутые “цепные миграции” превращаются в серии “рокировок”. Просто об одних миграциях написано много и подробно (это в тех случаях, когда народы с развитой письменной традицией оказывались лицом к лицу с невесть откуда пришедшими кочевниками), а о других — ни слова (когда мигранты оказывались вне поля зрения хронистов). Некому было написать о западносибирских племенах, частично оттеснённых в Южную Сибирь. Зато о кыргызах было написано много, а в силу особенностей развития отечественной археологии минусинские памятники изучались дольше других сибирских, и археологи, встречая в других регионах вещи, знакомые по кыргызским памятникам, по инерции приписывали их кыргызам.

Соответственно, совершенно беспочвенны рассуждения о “поэтапном проникновении” енисейских кыргызов на Тяньшань. Среди всего, что написано о проблеме соотношения енисейских и тяньшаньских кыргызов, в археологическом плане выделяется статья Д.Г.Савинова, посвящённая поиску кыргызских вещей среди археологических материалов из Притяньшанья (Савинов 1989). Методический посыл, безусловно, верен: если такие вещи

найдутся, то можно будет всерьёз говорить и о проникновении в этот регион кыргызов. Автор отобрал серию находок, действительно имеющих кыргызские аналогии, однако и здесь не учёл ни западных, ни лясских аналогий и прототипов. Единственная вещь, не имеющая ни западных, ни дальневосточных прототипов — это так называемый “акбешимский псалий” — S-образно изогнутый стержень, завершающийся изящной головкой козлика; как аналогии приведены S-образные скобчатые псалии, завершающиеся миниатюрными головками баранов. Эту находку с 1950-х гг. считают доказательством того, что кыргызы на Тяньшане всё-таки побывали и разрушили Ак-Бешим в пору своих “великодержавных” завоевательных походов. Данное сопоставление в высшей степени показательно, ибо наглядно иллюстрирует методы и степень внимательности авторов, стремящихся подогнать материал под надуманную, но любимую теорию. На разборе данного казуса стоит остановиться поподробнее. Первое, что следует иметь в виду — место находки. Городище Ак-Бешим находится на территории современной Киргизии. Ни один источник не даёт ни малейших оснований предполагать, что в середине IX вв. сюда проник хотя бы один кыргызский отряд и что-либо здесь разрушил. Об этом почему-то не вспоминают, ограничиваясь ссылкой на “общеизвестную” активность енисейских кыргызов в “эпоху великодержавия”.

Второе — степень сходства акбешимской находки с кыргызскими псалиями. Стержень, найденный на городище, не имеет ни отверстий, ни скобы, ни вообще каких-либо приспособлений для крепления к чему-либо. Этот предмет мог крепиться лишь за свою нижнюю часть, но тогда при чём тут псалии? Небольшая скоба, прикрепленная непосредственно к скульптурной головке козлика, не может быть приспособлением для крепления к чему-либо; наоборот, она явно предназначена для крепления чего-то к самому этому стержню. Наконец, если в случае с акбешимской находкой скульптурная головка плавно продолжает изгиб стержня, то кыргызские псалии демонстрируют обратное. Будь акбешимская находка кыргызским псалием, головка была бы развёрнута на 180 (Рис.60: 1,2). Да и изображали на псалиях головки баранов, а не козчиков.

Третье — это определение акбешимской находки. Что же это за вещь? Если в 1950-х гг. о реальном происхождении этого стерженька можно было только гадать, то сейчас уже можно однозначно её идентифицировать. Сразу четыре таких стержня были найдены в слоях VI-VIII вв. городища Кара-тепе на Нарпае в Узбекистане; автор публикации указал акбешимскую аналогию и законно усомнился в том, что всё это как-то связано с конской сбруей (Маньолов // ИМКУ-21). В отличие от гладкого акбешимского стержня, каратепинские — ложновитые (Рис.60: 3). Наконец, все вопросы снимает находка из пещеры Кухи Сурх в Таджикистане. Это навершие, состоящее из небольшой треугольной, с отверстием основы, от которой расходятся три витых S-образно изогнутых стержня, завершающиеся блестяще исполненными, слегка стилизованными скульптурными головками козчиков (Рис.60: 4). О дате и конкретном назначении в данном случае судить сложно, однако ясно, что и в Ак-Бешиме, и в Кара-тепе на Нарпае найдены обломки именно таких наверший. Вероятно, к этим головкам что-то привешивалось — ленты, кисти, бубенцы etc. Главное в том, что с этой находкой — к слову, экспонировавшейся даже в Эрмитаже (Древности Таджикистана...), где некоторые из adeptов теории “кыргызского великодержавия” должны были её видеть — все разговоры о “кыргызском псалии из Ак-Бешима” нужно закончить.

Таким образом, археологическая база концепций “кыргызского великодержавия” и енисейского происхождения тяньшаньских кыргызов оказывается весьма шаткой, основанной на односторонней трактовке материала. Даже лучшие работы сторонников этих теорий при внимательном разборе аргументов оказываются ошибочными в выводах, так как при построении системы аргументов не учитывается происхождение типов и допускаются очень вольные сопоставления. Это — результат стремления найти выход из ситуации, сложившейся из-за несоответствия устаревший умозрительных конструкций новым материалам. Считалось, что кыргызы были великим народом, выступавшим на исторической арене наравне с тюрками, уйгурами и киданями, и все события кыргызской истории непременно должны были быть значительными и грандиозными. Однако имеющиеся материалы диктуют другой взгляд. Кыргызы не были великим народом — они были просто одним из народов Южной Сибири, с интересной, самобытной культурой и сложной, во многом трагической судьбой. Этого достаточно для уважительного отношения к памяти древнего народа. Необоснованное же

возвеличивание унижает куда больше, чем незаслуженное пренебрежение, ибо делает обидной правду.

Кыргызская культура IX-X вв. не была доминирующей в Азии — наоборот, она легко впитывала инновации и трансформировалась под влиянием внешних и внутренних причин. Результатом серии трансформаций стало сложение аскизской культуры — весьма своеобразной, неповторимой и во многом пока непонятой. Нет нужды ставить в её начало некое мифическое “великодержавие”. Есть необходимость тщательного, всестороннего её изучения — непредвзятого и результативного.

Глава VI. Аскизская культура: традиции енисейских кыргызов предмонгольского времени.

VI. 1. Замечания по истории вопроса.

Аскизская археологическая культура была выделена Л.Р.Кызласовым в одной из лучших его статей (1975), где автор, приведя описание нескольких выразительных комплексов, наглядно продемонстрировал их своеобразие и заключил: “по формальным признакам мы имеем дело по существу с новой археологической культурой. Каждому, кто знаком с предшествующими по времени памятниками VI-IX вв., среди которых ведущими являются курганы типа чаатас <...>, очевидны отличия вновь открытых объектов. <...> Культура <...> занимает также всю Тувинскую автономную республику <...> На западе её памятники встречены в Горном Алтае, один комплекс обнаружен даже в Северном Казахстане у г.Степняка. Прослеживается некоторое влияние рассматриваемой культуры на памятники племён низовья Томи в XI-XII вв. (Басандайка)” (Кызласов 1975: 207, 209). Нужно подчеркнуть, что речь идёт лишь об отличии аскизских курганов от чаатасов (о промежуточной “тюхтятской культуре” в этой статье речь ещё не заходит, её придумали позже). Говоря о западных памятниках, автор исходно полагает причиной сходства материалов аскизское влияние, даже не рассматривая возможность ни противонаправленных, ни двусторонних связей. Однако в целом статья Л.Р.Кызласова содержит вполне справедливые выводы о культурном своеобразии аскизских памятников. В те же годы позднекыргызские памятники подробно рассматривались в ряде работ Д.Г.Савинова. Цельной концепции происхождения и развития аскизской культуры автор не предложил, однако многие его суждения по отдельным вопросам весьма интересны и существенны; они будут рассмотрены в соответствующих разделах данной главы.

Наиболее подробно аскизские материалы анализировал И.Л.Кызласов. Серия его статей, сведённых и обобщённых в Своде археологических источников (ЕЗ-18), остаётся одним из основных источников сведений о культуре приенисейских племён начала II тыс.н.э. (Кызласов И. 1983). Большим достоинством издания является публикация множества случайных находок и вещей из комплексов, ранее известных в основном по упоминаниям и разбросанных по публикациям в самых разных изданиях. К сожалению, сами комплексы представлены недостаточно, в виде “примеров”, призванных лишь проиллюстрировать аналитическую часть; приведены 11 документированных комплексов и 5 условных “комплексов”, составленных из случайных находок с одного пункта (заметим к слову, что если разрушен, размыт, раздут компактный могильник, то в один такой “комплекс” наверняка попадут вещи из разных погребений). Основная масса вещевого материала сгруппирована по категориям, а памятники представлены списками находок. Находки представлены в отрыве от сооружений. В перечне памятников ссылка на таблицу вовсе не означает, что приведено изображение именно этой находки: автор широко практикует ссылку на вещи “того же типа”, что значительно затрудняет пользование Сводом. Прилагаемые к настоящей работе перекомпонованные таблицы лишь в малой степени исправляют положение: в целом опубликованность аскизской культуры пока явно недостаточна. Целая глава Свода посвящена “типологии курганного инвентаря”. Автор составил впечатляющие классификационные таблицы (по удилам, псалям, султанчикам, наконечникам стрел, бусинам и булавкам). Классификации построены по классической схеме: категория — разряд — раздел — отдел — тип, а путём прибавления к этим терминам приставок “под-” и “над-” систематика усложняется вдвое-втрое. Неудивительно, что при всём обилии аскизских находок многие типы представлены в этой систематике лишь одной-двумя вещами.

С одной стороны, такая классификация может быть удобна в музейной работе, при подготовке материала к формализованному описанию (ибо описывает каждую вещь очень подробно). С другой стороны, в практической исследовательской работе подобные конструкции применимы лишь как не слишком удобный справочник. Уместно привести здесь точное наблюдение А.К.Амброза, лучше всего характеризующее подобное классифицирование: «Давно отвергнут ошибочный взгляд, что классификация должна быть прежде всего простой и удобной в пользовании. Прежде всего она должна достаточно полно и гибко отражать всё многообразие материала, пытаться уловить объективные закономерности его создания древними мастерами. К сожалению, археологи нередко создают «парадную», чисто формальную классификацию «для отчётности». В хороших работах рядом с нею как бы «негласно» существует вторая, «неофициальная» классификация, по которой составляются иллюстрации и ведётся описание погребений. Именно она даёт объективную и ясную картину фактического состояния материала. Но почему-то для научного анализа памятника применяется исключительно первая, «парадная», — возможно, потому, что вспомогательная источниковедческая классификация и периодизация смешиваются с основанной на ней исторической, оперирующей более обобщённым делением материала. <...> Конечно, даже по исчерпывающим указаниям типов и вариантов вещей в публикациях можно сделать только первый вариант периодизации. Для углубления исследования нужно видеть вещь в оригинале. Но даже это не всегда удаётся — при хранении она может депаспортизироваться, утеряться, разрушиться от коррозии. Единственное средство избежать этого — полная публикация всех вещей по комплексам и, конечно, обязательно полное воспроизведение их в полевом отчёте.» (Амброз 1980: 26). Так вот, в Своде, изданном Л.Р.Кызласовым, предложена лишь «парадная» классификация некоторых аскизских материалов. У этого автора то, что в повседневной практике именуется типом, названо «отделом», а «типы» крайне дробны и являются, по сути, частными вариантами. Комплексы раздроблены, встречаемость типов и вариантов практически не изучается. В результате классификация оказывается лишь малополезным приложением, создающим видимость фундаментальности там, где на деле проявлена одна только усидчивость. Непонятно, почему соответствующая глава названа «Типология...», ведь речь идёт всего лишь о классифицировании.

Другая глава Свода посвящена проблеме происхождения аскизской культуры. Впрочем, для И.Л.Кызласова такой проблемы не существует: он исходит из постулируемой преемственности минусинских культур, и главные его усилия направлены на согласование материала с этой концептуальной установкой. Задача автора — «вывести» аскизские типы из ранних местных материалов вне зависимости от обстоятельств. И.Л.Кызласов считает, например, что аскизские двукольчатые удила — «результат эволюции местных южносибирских форм VII-X вв.»; что «сборные скобчатые псалии были широко распространены в Южной Сибири в культуре чаатас (VI-IX вв.) и в тюхтятской (IX-X вв.)»; что «прототипами аскизских султанчиков явились, несомненно, бронзовые султанчики тюхтятской культуры»; что «аскизские бляхи-распределители ремней также восходят к местным прототипам IX-X вв.»; что округлые тройники — форма, «прямо связанная с материалами предшествующего времени»; то же самое сказано о наконечниках ремней, о «нащёчниках», наременных бляхах, пряжках, стременах, седлах, палашах, ножах, стрелах, «втульчатых ножах», пинцетах, сосудах, тёслах, булавах и, наконец, о декоре. Лишь бляхи с кольцами, кресала да набалдашники-рукояти плетей не имеют, по мнению И.Л.Кызласова, местных прототипов (Кызласов И. 1983: 22-44). При этом автор добросовестно указывает аналогии из других культур, но либо вообще не комментирует их, либо априорно называет результатом «общеизвестного» влияния енисейских племён на окружающий мир.

Для обоснования этих тезисов автор приводит несколько схем (воспроизведены: [Рис.61-62]). Подробно комментируя лишь развитие узды, автор не усматривает за развитием форм ничего, кроме неких «типологических процессов» — во всяком случае, он лишь констатирует появление новых признаков, не пытаясь установить причины трансформаций. Это и не входит в задачу И.Л.Кызласова. Для него, например, не важно, что новые скобковидные кресала ничуть не лучше и не удобнее прежних кресал-накладок (то есть это изменение не было техническим усовершенствованием) — а ведь налицо свидетельство неких культурных процессов! Автор игнорирует факты, которые не могут быть объяснены с позиций исходно заданной концепции

— новые типы просто появляются, и всё. Безусловно, концептуальная ангажированность снижает ценность аналитической части Свода.

Периодизация преподнесена в Своде как нечто само собой разумеющееся: автор не счёл нужным развить или хотя бы повторить аргументацию, им самим предложенные в ранее опубликованных работах. Выделены два больших этапа — “малиновский” и “каменский”; первый подразделён на три периода, причём отнесение многих памятников к тому или иному периоду небылословно, в чём признаётся и сам автор (с.49). “Эйлигхемский” период отличается от последующих наличием вещей “тюхтятской” декоративной традиции. А третий, “черновской” период отличается от предшествующего ему “оглахтинского” наличием “черт, которые будут господствовать или послужат основой для формирования характерных деталей оформления в последующий каменский этап” (с.55). Столь формальный эволюционистский подход, безусловно, чреват ошибками — ведь неизвестно, как долго бытовали в культуре енисейских племён “тюхтятские” традиции, не выяснено автором и происхождение инноваций, обусловивших появление “каменских” типов. Недолгие периоды малиновского этапа автор датирует путём прямой синхронизации аскизских вещей с их инокультурными аналогами — но срок жизни последних в их “родных” культурах намного превышает продолжительность датируемых периодов, отчего внутренняя хронология оказывается совершенно неосновательной. Типолого-хронологическое соотношение аналогичных, но разнокультурных изделий автором не рассматривается, и неудивительно, что обширный (и, замечу, весьма интересный) перечень подобранных автором аналогий оказывается для исследования столь же бессмысленным, сколь и классификация: он лишь подкрепляет и без того очевидную общую дату.

Свод не даёт адекватного представления о развитии аскизской культуры; он призван лишь подвести аналитическую базу под концепцию поступательного развития “древнехакасской цивилизации” преимущественно на местной основе, а потому полезен прежде всего как иллюстративно-справочное издание. Группировка памятников, положенная в основу периодизации, очевидна и без “многоэтажных” классификаций, и проблема в том, как и на каких основаниях группы памятников будут атрибутированы — а вот этого в работе как раз нет. Свод имеет значение как публикация материала (хотя пользоваться ею не всегда удобно), он содержит немало интересных наблюдений (которые, однако, не систематизированы и не осмыслены). Труд И.Л.Кызласова ценен в первую очередь как не всегда позитивный опыт, который может и должен быть учтён при дальнейшей исследовательской работе. В связи с публикацией материалов, добытых при раскопках памятников в долине р. Табат, Ю.С.Худяков уделил особое внимание критике взглядов И.Л.Кызласова (Худяков 1982: 72-74, 179-182). Автор отказался принять само название “аскизская культура”; памятники “малиновского этапа” он отнёс к выделяемой им “эпохе сууктэр”, а памятники “каменского этапа” — к “монгольской эпохе”. Несостоятельность выделения И.Л.Кызласовым периодов “малиновского этапа” автор решил продемонстрировать на примере своего материала, здесь же и публикуемого. По мнению Ю.С.Худякова, раскопанные им курганы Терен-хол 1, 2, 5, 6 и Ортызы-оба 7 по составу предметов попадают в “оглахтинский период”, а по сечению, декору и крепежу пластин — к “черновскому”. В то же время курганы Терен-хол 3, Хара-тигей 12 и Ортызы-оба 7 (? — ср. выше), 8 — соответствуют признакам “эйлигхемского этапа” (Худяков 1982: 172). Несмотря на всю резкость предлагаемой ниже оценки, я вынужден заметить, что Ю.С.Худяков просто не разобрался в системе критериев, предложенной И.Л.Кызласовым. По этой системе кург. Ортызы-оба 8 вообще не атрибутируется из-за недостатка находок, а кург. Ортызы-оба 7, как и все курганы могильников Терен-хол и Тербен-хол, однозначно принадлежат позднему “каменскому этапу”; лишь кург. Хара-тигей 12 можно признать ранним и подискутировать насчёт его принадлежности к тому или иному из названных “периодов”. Вывод автора: “считать выделение в рамках эпохи сууктэр более дробных хронологических единиц нецелесообразным, поскольку оно не находит соответствия в археологических материалах и никак не связано с канвой исторических событий этого времени” (с.174) — свидетельствует исключительно о непонимании Ю.С.Худяковым простейших принципов датирования и о неумении этого исследователя разобраться хотя бы в собственном материале. Совершенно очевидно, что подход к периодизации, избранный И.Л.Кызласовым, некорректен. Однако сама группировка памятников, механически переименованная этим автором в

периодизацию, столь же очевидна и вряд ли может быть оспорена. Можно (как это сделано выше) критиковать разработанную И.Л.Кызласовым классификацию за отрыв аналитической части от интерпретаций — но речь не о том, что классификация неверна, а о том, что она практически не используется самим её разработчиком. Материалы, добытые и опубликованные Ю.С.Худяковым, однозначно подтверждают как общее культурное единство памятников (разнесённых автором по двум “эпохам”), так и своеобразии ранних и поздних аскизских комплексов. Ю.С.Худяков выбирает для критики построений И.Л.Кызласова весьма жёсткие слова: “поставив перед собой задачу формализации разнообразного в функциональном отношении материала, И.Л.Кызласов классифицирует его в соответствии с одной шестичленной схемой, что ведёт к нивелировке существенных свойств предметов... Выделив группу признаков для двух этапов культуры, автор не ранжировал их по степени значимости, что затрудняет их применение к конкретному материалу при отсутствии полного тождества с опубликованными параметрами образцов” (с.173); что всё это значит, я так и не понял. Ещё Ю.С.Худяков ругает И.Л.Кызласова за то, что “характеристика деталей сбруи... без соответствующей реконструкции конского убранства... оставляет возможность для произвольного сравнения вещей различного назначения” (с.174). Непонятно, чем плохо вполне естественное наблюдение И.Л.Кызласова о межкатегориальном сходстве? Более того, нужно заметить, что И.Л.Кызласов как раз недостаточно учёл стремление кыргызских мастеров к единственности фурнитуры в рамках комплекта, в аскизских материалах весьма выразительное; а Ю.С.Худяков, запирая себя в рамки категорий, делает в результате грубейшие ошибки в общей атрибуции, которых, естественно, нет у И.Л.Кызласова. Методологию Ю.С.Худякова лучше всего характеризует следующая цитата из этого автора: “Кольцевой характер насыпи традиционен для надмогильных конструкций Минусинской котловины с начала II тыс.н.э. и ориентирован на облик курганов сууктэр” (с.138). Действительно, “сууктэры” круглые.

Таким образом, ныне реально существует лишь одна концепция истории и археологии енисейских кыргызов предмонгольского времени, разработанная И.Л.Кызласовым. Воззрения Ю.С.Худякова, как показано выше, неосновательны. Ряд ценных наблюдений и интересных гипотез принадлежит Д.Г.Савинову — они рассматриваются ниже в соответствующих разделах. Тувинские памятники подробно изучались Г.В.Длужневской; эти интересные и важные исследования, к сожалению, касаются лишь очень ограниченных территорий. В связи с публикацией материалов могильника Эйлиг-хем III Д.Г.Савинов сделал ряд предположительных выводов об обстоятельствах истории енисейских кыргызов предмонгольского времени (Грач, Савинов, Длужневская 1998: 72-77), весьма интересна и развёрнутая интерпретация эйлигхемского комплекса, предложенная Г.В.Длужневской и Д.Г.Савиновым (там же: 44-53). Однако систематический анализ кыргызской культуры начала II тыс. есть лишь в работах И.Л.Кызласова, столь же интересных, сколь и противоречивых. Из тезисов И.Л.Кызласова, основополагающих для его концепции, полное согласие вызывает лишь общая группировка памятников: отличие “малиновских” комплексов от “каменных”, как и общее хронологическое соотношение обеих групп, не вызывает ни малейших сомнений. Другие вопросы дискуссионны. Очертим обсуждаемую ниже проблематику.

1. Не вполне разработан вопрос о сложении аскизской культуры. Многие характерные типы аскизских изделий до сих пор считаются уникальными, а ведь они, конечно, имели свою предысторию. Следует выяснить их происхождение.

2. “Каменные” типы отличаются от более ранних столь многими особенностями, что плавное “выведение” поздних типов из ранних (как предлагает И.Л.Кызласов), весьма спорно. Должна быть решена “каменная проблема”.

3. В рамках “каменного этапа” собраны весьма разнообразные памятники, в том числе и погребения “часовенногорского типа”. Они настолько своеобразны, что это своеобразие кажется чрезмерным; нужно разобрать “часовенногорскую проблему”.

4. Решение указанных выше проблем неизбежно приведёт к пересмотру относительной и абсолютной хронологии аскизских памятников и потребует выработки нового взгляда на периодизацию истории аскизской культуры.

5. Вне Южной Сибири известен ряд комплексов, либо частью, либо целиком состоящих из вещей, очень похожих на аскизские. Их интерпретация прежде неизменно основывалась на

теории о культурном континуитете — то есть их считали попросту аскизскими и “отслеживали” по ним границы кыргызского влияния. Несомненно, здесь также будет необходим пересмотр.

Этим перечнем и определяется структура данной главы.

VI.2. Сложение и состав аскизской культуры.

Вторая половина X в. была временем перелома для кыргызского общества и его культуры. Как уже говорилось, многое указывает на конфликт между старой, в большинстве своём иноэтничной знатью и новой военной аристократией, стремившейся играть в жизни общества более заметную роль. Ставка кагана была выведена из Тувы на север, за Саяны, а в Туве одна из групп начала использовать вместо бронзовых поясных и сбруйных наборов, украшенных в ляоском стиле, железные кованые изделия, иначе выглядевшие и по-новому украшенные. Учитывая всю важность декора престижных изделий в азиатских культурах, следует говорить о том, что создавалась новая знаковая система, в целом маркировавшая реализацию тенденций к региональному сепаратизму, заложенных как обстоятельствами истории енисейских кыргызов, так и орографией региона, разделённого надвое хребтами Западного Саяна. С XI в. именно этот новый стиль и связанные с ним традиции становятся господствующими и в Туве, и в Минусинской котловине. Ляоские традиции декора вытесняются, а вместе с ними исчезают традиции строительства чаатасов, изготовления круговых ваз, погребения с конём, эпитафийная руника — всё то, что определяло культурное своеобразие кыргызов в предшествующие века. Восприятие ляоских типов престижного предметного комплекса отражало культурно-политическую ориентацию правителей каганата на киданей (проявившуюся не только в многочисленных посольствах, но и в том, что знатных кыргызских юношей посылали учиться к ляоскому двору); это не устраивало дружинных вождей, которые сперва вынудили кагана переселиться в “метрополию”, а затем захватили и её. Группа сторонников старой знати переселилась (или бежала?) в Прииртышье; кто-то спрятал до лучших времён, которые так и не наступили, знаменитый Тюхтятский клад. На Среднем и Верхнем Енисее складывалось новое общество.

Дело не ограничилось новым стилем декора — появились совершенно новые типы изделий, произошла технологическая переориентация; прекращение использования рунической письменности — это уже настоящий культурный переворот. Вместе с тем нельзя предположить, что люди вдруг взяли да и придумали себе новую культуру, новый декор и морфологию стольких категорий инвентаря. Безусловно, существовала некая среда, в которой эти новые для кыргызов традиции сколько-то времени бытовали, развивались, обретали своё яркое своеобразие — словом, если не сам инновационный комплекс, то хотя бы некоторые определявшие его элементы были откуда-то заимствованы. Откуда, когда и при каких обстоятельствах?

Второй важный вопрос — о местном субстрате аскизской культуры. Если в работе 1975 года Л.Р.Кызласов сравнивал аскизские погребальные сооружения с классическими чаатасами (и, естественно, приходил к выводу о глубоком своеобразии памятников начала II тыс.н.э.), то в Своде и предварявших его статьях И.Л.Кызласов сравнивает аскизские памятники уже с курганами т.н. “тюхтятской культуры”; здесь отличия уже не столь очевидны. Они проявляются главным образом в морфологии инвентаря погребений, что наглядно продемонстрировано сопоставительными схемами, опубликованными в разное время Д.Г.Савиновым и Г.В.Длужневской (воспроизведены: [Рис.63-64]). Следует, однако, отметить, что если морфология изделий от одного периода к другому заметно изменяется, то набор инвентаря остаётся прежним с небольшими отличиями: это всё те же предметы вооружения и снаряжения всадника и конская узда и сбруя. Как уже говорилось, такой набор совершенно нехарактерен для чаатасов и появляется на Енисее с VIII-IX вв. во второстепенных погребениях. Поэтому вернее говорить о тюхтятско-аскизской традиции компоновки предметного сопровождения погребённых. Сходство погребального обряда этим не ограничивается. Наземные сооружения “тюхтятских” и аскизских памятников во многом сопоставимы (правда, первые более разнообразны: помимо круглых оградок, встречаются каменные и земляные курганчики, выкладки etc.). Как “тюхтятские”, так и аскизские

погребения совершены обыкновенно на горизонте или в небольших приямках; настоящие могильные ямы — редкость.

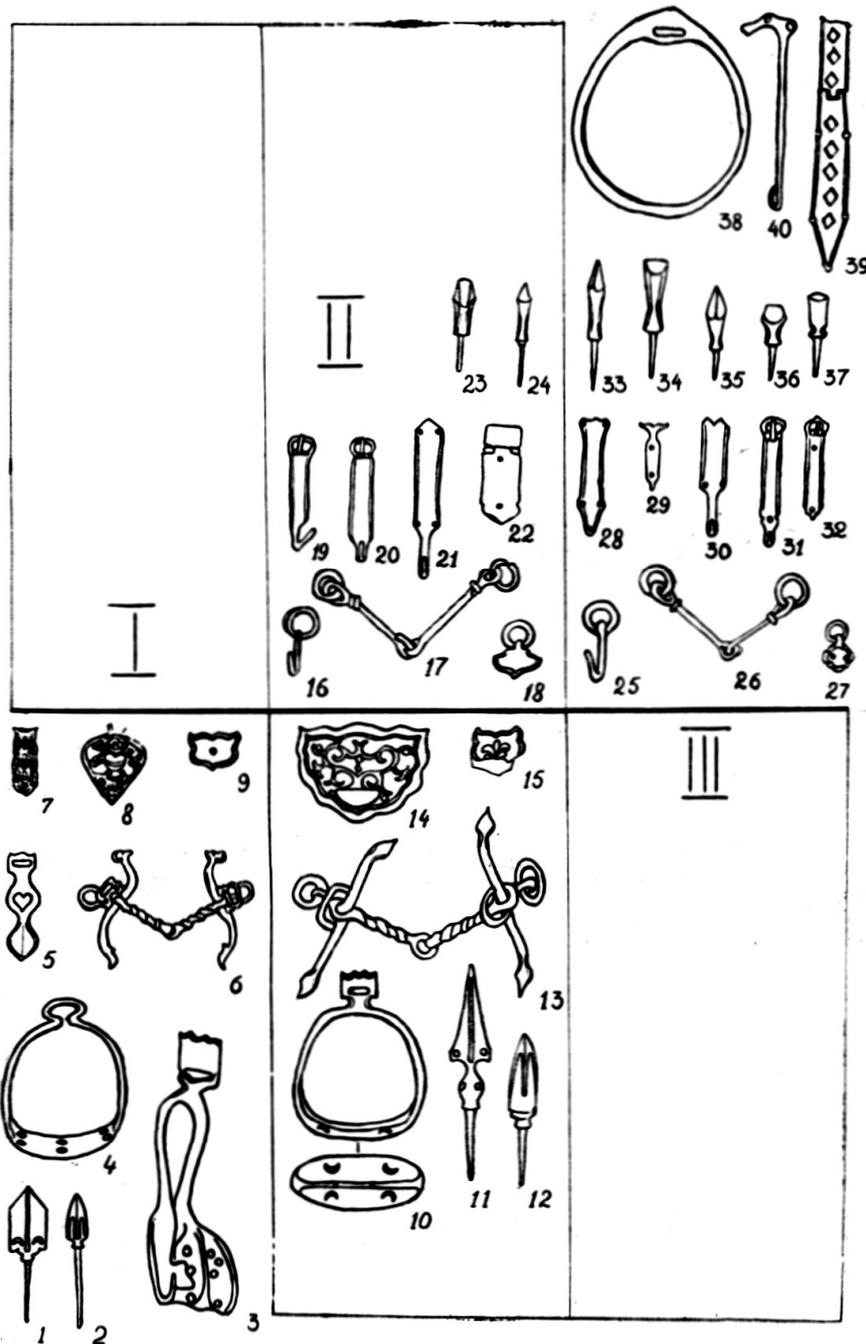


Табл. I. — комплексы IX—X вв. н. э.; II — смешанные комплексы XI в.; III — комплексы XI—XII вв. н. э. I—1, 2, 4, 5, 9—Шанчиг. Тува (по Л. Р. Кызласову), 3, 6—Уйбатский чаатас. Минусинская котловина (по Л. А. Евтюховой), 7, 8—Бай-Булун. Тува (по Л. Р. Кызласову); II—10—24—Эйлиг-Хем III. Тува (раск. А. Д. Грача); III—25, 26, 27, 29, 31, 32, 33—Малиновка. Тува (по Л. Р. Кызласову), 28—Абакан. Минусинская котловина (по А. Н. Липскому), 30—Урбюн. Тува (раск. автора), 34—Уюк-Тарлык. Тува, 35—Шанчиг. Тува (по Л. Р. Кызласову), 36, 37, 38—Черная. Минусинская котловина (раск. Г. П. Сосновского), 39, 40—Каменка. Минусинская котловина (раск. Я. А. Шера)

Рис. 63. Соотношение позднекыргызских культурных комплексов с ранними по Д.Г.Савинову.

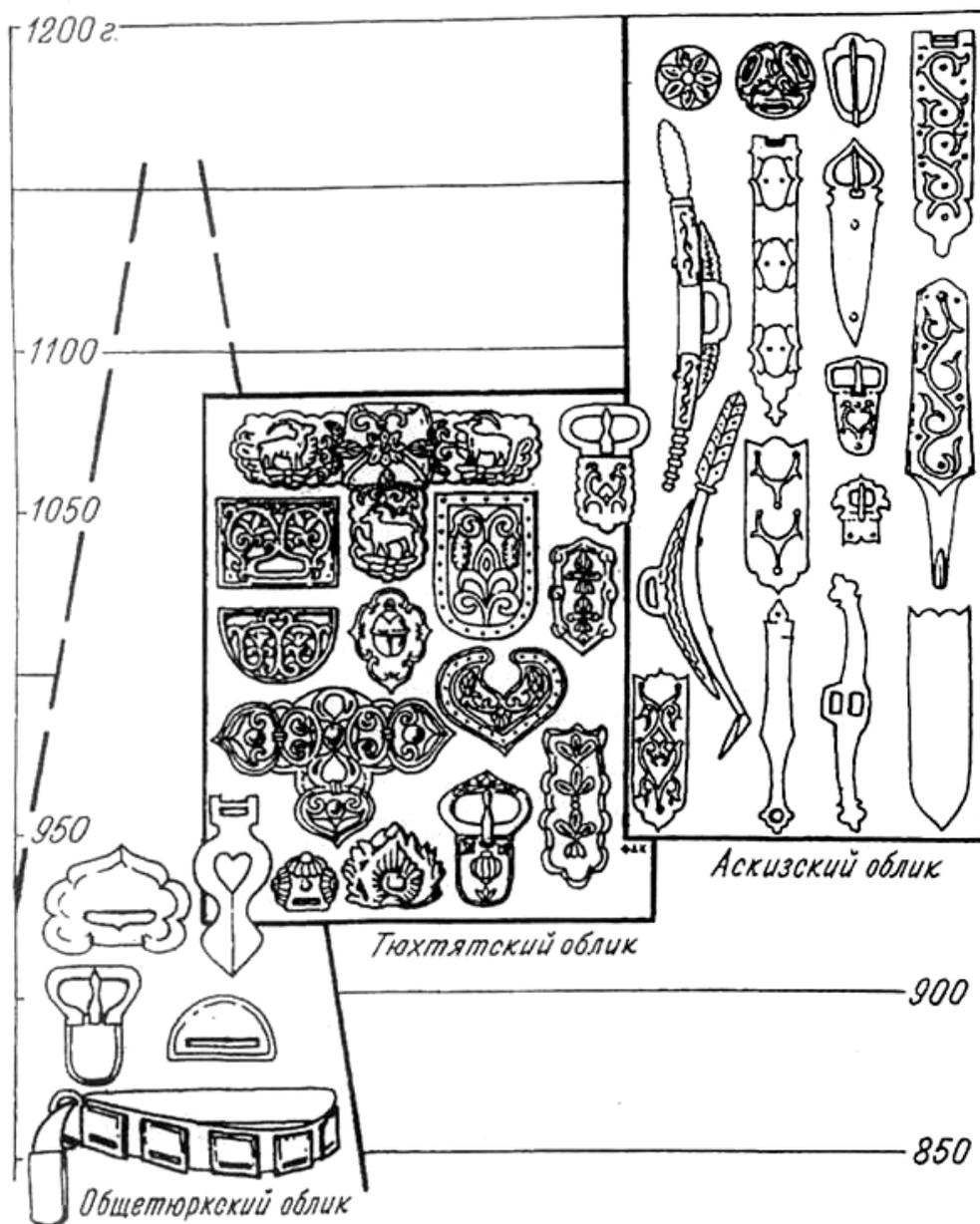


Рис.64. Соотношение позднекыргызских культурных комплексов по Г.В.Длужневской.

Таким образом, различия между “тюхтятскими” и аскизскими традициями реально прослеживается в двух областях: во-первых, в морфологии инвентаря, во-вторых, в большем или меньшем разнообразии погребального обряда (вместе с тем аскизская культура существовала намного дольше, чем период, выделяемый Кызласовым для “тюхтятской культуры”, и могла стабилизироваться). Налицо структурное единство: “тюхтятский” культурный комплекс отделяют от аскизского искусственно, более того — неправомерно. Это единство отчётливо проявилось в том, что “тюхтятские” и аскизские материалы легко и органично объединяются общей системой классифицирования. Такая схема разработана Г.В.Длужневской и наиболее полно опубликована в малодоступном польском издании (Длужневская 1994); эта классификация удобна в пользовании, она свободна от недостатка большинства формальных разработок такого рода — поскольку применима и к новым материалам; многочисленные лясские аналогии позволили автору подробно датировать многие выделенные типы, и эти даты вполне можно принять как надёжно ориентирующие; поэтому эта классификация воспроизводится здесь [Рис.65-73] с незначительными сокращениями пояснительного текста. С автором можно согласиться не во всём.

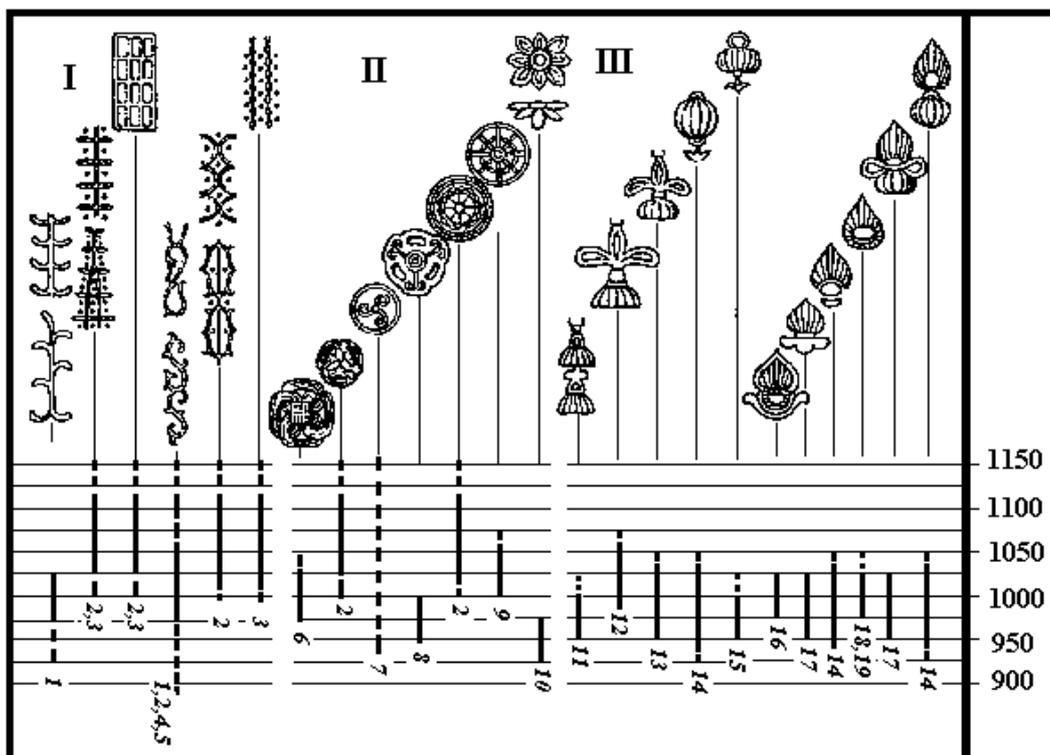


Рис. 65-73, 74-76. Хронология позднекыргызских типов по Г.В.Длужневской.

Так, объединение подпрямоугольных бляшек и продолговатых наконечников вряд ли удачно, нужен разделяющий их критерий (либо функциональный — бляшки и наконечники, либо пропорциональный, по отношению длины и ширины). С другой стороны, в данной классификационной системе акцентируются контуры сторон пластинчатых изделий, а они у бляшек действительно часто те же, что у наконечников. В целом и следовало бы говорить как раз о классифицировании не столько самих вещей, сколько способов оформления края пластин. Но это сглаживается наличием специальной типолого-хронологической шкалы декора [Рис. 74-76]. Хронологическая классификация, разработанная Г.В.Длужневской, адекватно отражает как единство, так и разнообразие позднекыргызских материалов, хотя и не учитывает многих минусинских находок, а также ни “каменских”, ни “часовенногорских” материалов (те и другие в Туве практически не встречаются). Здесь же наиболее важно подчеркнуть, что превосходная работа Г.В.Длужневской служит ещё одним доказательством неправомерности отделения “тюхтятских” памятников от аскизских.

Правомерность выделения “тюхтятской культуры” оспаривалась многими исследователями. Одни (как, например, Ю.С.Худяков) спорили разве только с названием периода, однако эта позиция по существу идентична критикуемой точке зрения Л.Р.Кызласова. Другие авторы приняли точку зрения Г.В.Длужневской, предлагавшей не делить памятники одного народа и объединить их под именем “культура енисейских кыргызов”. Но в состав такой “сверхкультуры” следовало бы включить и таштыкские склепы ранних енисейских кыргызов. Очевидно, оба взгляда на проблему не в полной мере учитывают особенности изучаемого материала.

Главным обоснованием обособления “тюхтятских” памятников, идёт ли речь о “культуре” или об “эпохе” — является своеобразие морфологии и в ещё большей степени декора престижных изделий. Соответствующий стиль декора един не только для нескольких типов кыргызских памятников — он определяет хронологическое единство нескольких культур на территории от Дальнего Востока до Средней Азии, маркируя тем самым область культурно-политического влияния империи Ляо. Для южносибирских культур ляоские типы не могут считаться культуурообразующими, это не более чем хронологические индикаторы и маркеры культурных связей и влияний. Культуурообразующие категории — способ погребения, погребальная архитектура, набор инвентаря захоронений, посуда — практически не были

затронуты лясскими влияниями, как раньше в эти сферы почти не проникало влияние танского Китая. По всем культурообразующим признакам минусинские погребения с вещами лясских типов принадлежат классической кыргызской культуре, известной по большинству чаатасов; по тем же признакам тувинские памятники со следами лясских влияний нужно рассматривать как раннеаскизские.

Предлагаемый взгляд снимает значительную часть аргументов, предложенных И.Л.Кызласовым для обоснования тезиса о местном сложении аскизской культуры: этому автору было достаточно установить связь аскизских традиций с “тюхтятскими”, чем он в большинстве случаев и ограничивается. Однако до сих пор ни в одной работе не было предпринято попытки комплексного изучения истоков инноваций всей позднекыргызской культуры — отсюда и запутанность вопроса о происхождении многих основных аскизских традиций.

В предыдущей главе были разобраны отдельные аспекты этой проблемы. С начала IX в. на Среднем Енисее появляются мигранты западного происхождения, в культурном отношении связанные с кимако-кыпчакским, с западносибирским и с хазаро-болгарским миром. Некоторые из установившихся при этом связей оказались не только прочны, но и заметны для китайских историографов. Для многих инноваций этого времени именно западное направление поиска их истока оказывается наиболее перспективным. Однако в высшей степени показательно, что в результате господствующей формой погребальных сооружений оказывается одна из местных форм — округлые оградки из плитняка, уложенного в несколько слоёв и рядов (или небольшие каменные курганчики), прежде нередко занимавшие второстепенные места на чаатасах. Таким образом, в области погребального обряда аскизские памятники прямо возводимы к одной из основных местных традиций. Однако обычай наземного размещения останков и обусловленное им размещение инвентаря особой кучкой рядом с пеплом, как и незакрепившиеся типы вроде земляных курганов и погребений пепла в ямах, “как бы рассчитанных на труположение” (по выражению Л.А.Евтюховой), имеют западное происхождение — алтайское и западносибирское. Вырванные из культурного контекста и ставшие из второстепенного основным типом наземных сооружений, внешне “дружинные” курганы не изменились. Распространённое мнение об отсутствии керамики в этих курганах несколько неточно: во многих погребениях встречены отдельные фрагменты сосудов, а ведь в классической кыргызской культуре парциализация и/или порча сосудов — обычное дело, практически ритуальная норма. Не означают ли находки обломков сосудов в аскизских погребениях (часто игнорируемые раскопщиками), что керамика в этих могилах на взгляд их строителей всё-таки была представлена?

Одной из инноваций конца I тыс. являются и погребения со шкурой коня. Судя по рассказам бугровщика Селенги, именно таковы были захоронения в центральных могилах копёвских сооружений; известны и другие комплексы такого рода. Ранее на Енисее этот обряд не практиковался; известен странный комплекс, раскопанный А.Н.Липским в Абакане (Липский 195...), но там найдены таштыкские сосуды; этот уникальный памятник остаётся пока необъяснённым. В аскизских курганах несожжённые конские кости ног и черепа, то есть остатки шкуры — обычное явление; таким образом, здесь мы имеем уникальный тип обряда — погребение с трупосожжением и с несожжённой шкурой коня. Из ближних аналогий, указывающих на происхождение этой комбинации, нужно указать не только минусинские памятники, но и “туяхтинские” погребения, исследованные С.В.Киселёвым (1949: 289 - табл. XLVIII,1). С.В.Киселёв определил эти погребения как “второстепенные” (там же: 300), к тому же их сопровождали конские туши, а не шкуры, но здесь важно, что погребения совершены в каменных ящиках. Туэктинский кург. № 2, копёвские центральные могилы, погребения могильника Ник-Хая и им подобные, аскизские курганы с комбинированным обрядом образуют некое “зыбкое” пространство неустойчивых сочетаний нескольких ритуальных норм — то отмирающих, как в минусинских котловинах, то закрепляющихся, как в аскизских курганах Тувы. Эта запутанная ситуация практически не поддаётся подробному анализу и должна рассматриваться в целом — тогда станет очевидной и породившая её историческая коллизия, характеризующаяся невообразимым этнокультурным смешением в регионе, куда по многим причинам стекались группы мигрантов из различных западных областей. В Туве кыргызами была усвоена часть привнесённых ритуалов — размещение останков на дневной

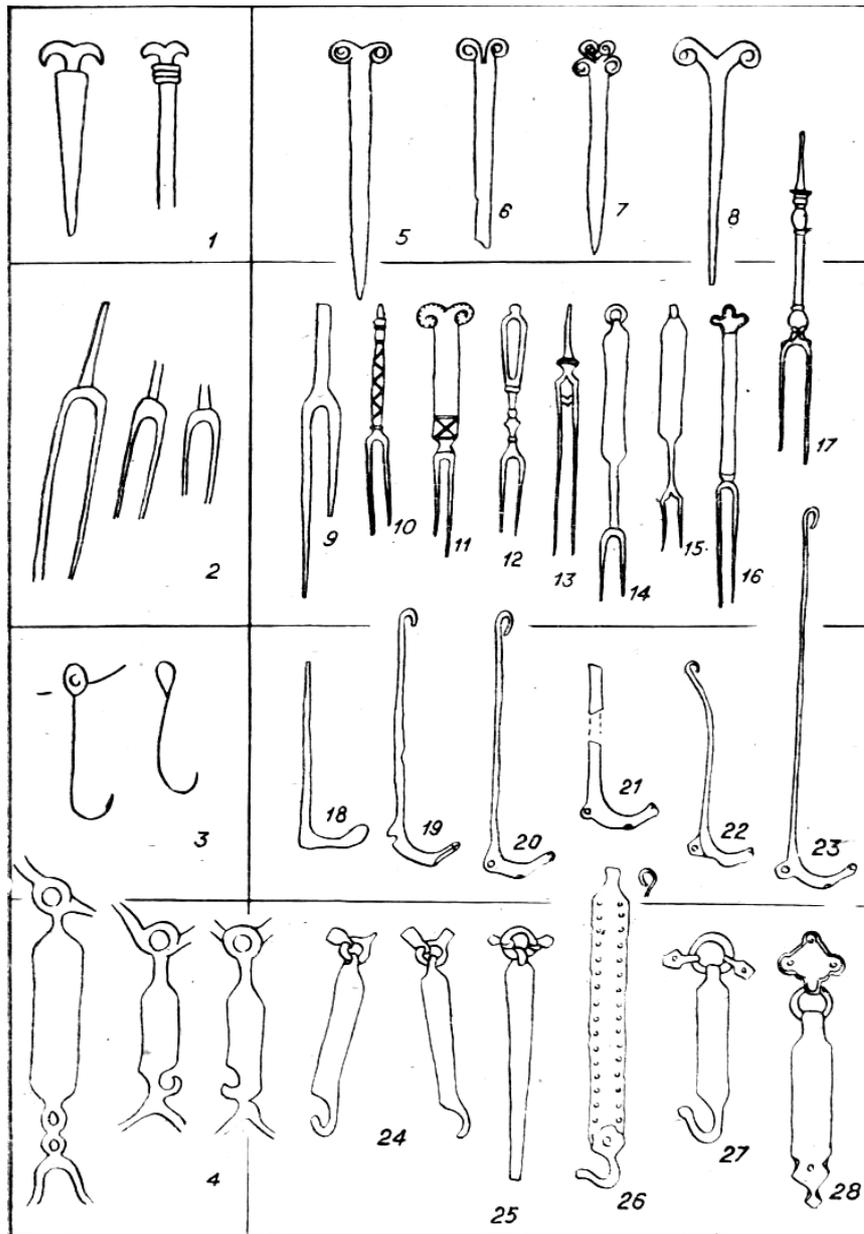
поверхности и сопровождение их конской шкурой, которая, по верному замечанию И.Л.Кызласова, “играла определённую роль в погребальном обряде” (Кызласов И. 1983: 21). Таким образом, в области похоронной практики наблюдается синтез исконно кыргызских и привнесённых западных элементов. Напомним о выявленных в Туве остатках ложнокупольных конструкций, рассматриваемых как свидетельство лясских влияний (Длужневская 1994: 22), но эта деталь не закрепились.

Сопроводительный инвентарь представлен обычными всадническими комплектами вещей: удила и псалии, стремена, сбруйный убор и крепёж, седельная фурнитура; принадлежности костюма, бытовые предметы; разнообразные предметы вооружения; украшения и — изредка — металлические сосуды. В наиболее показательной области — декоре наременных гарнитуров и других престижных изделий — в раннеаскизское время сочетаются три главных компонента, которые определены Г.В.Длужневской как “общетюркский”, “копёно-тютхятский” (то есть лясский) и “аскизский”. Первые два имеют общую морфологическую основу — традиции катандинского круга, восходящие в ретроспективе к пазырыкской культуре алтайских динлинов. Исходный, “субстратный” облик собственно аскизских изделий представлен минимальным числом находок и может быть не столько выделен, сколько “вычислен” путём вычитания местных наслоений. К числу заведомо внесаянских элементов аскизского стиля можно отнести: стремена с угловидным завершением корпуса и дополнительной скобой-перемычкой; удлинённые ременные наконечники; шарнирные бляхи и наконечники; своеобразные обоймы-“нащёчники”; крюки и петли на пластинах; Т-образные застёжки; скобчатые кресала; подтреугольные клёпанные пряжки-петли; рукояти плетей; бляхи с подвесными кольцами; султанчики; обоймы-тренички [Рис.76]. С той же культурной средой, вероятно, нужно связывать и переход от каменных оселков-мусатов к железным напильникам, а также к преимущественному использованию инкрустаций серебром и ряда специфических узоров при украшении вещей.

Ранние стремена с угловидным завершением корпуса известны в памятниках пруссов второй половины I тыс.н.э.; они просто привязывались к седлу. Позднее, чтобы стремя не проскальзывало в ременном узле, внутренний угол завершения корпуса ограничивали дугообразной или прямой скобой-перемычкой, нередко разнообразно декорированной. Позднее рудиментарные подтреугольные очертания просвета оптимизировались, а угловидное завершение стали оформлять фигурно [Рис.77]. Прусские находки не позволяют усомниться в европейском происхождении стремян данного типа. Для всех ранних азиатских стремян характерен вынос петли выше корпуса — и на европейских подвязных беспетельчатых стременах встречаются рудиментарные выступы сверху. В аскизских материалах встречаются пластинки, которые И.Л.Кызласов неверно называет “лунницами” [Рис.77] — это металлические накладки на верхнюю часть корпуса деревянных стремян, предохранявшие прорезь от быстрой порчи в точке наибольшего трения и тешившие самолюбие владельца имитацией дорогих изукрашенных стремян. Вообще-то теоретически не исключено, что эти бляшки — только ритуальная имитация, как бы намёк на стремяна, вотив, предназначенный специально для похорон; но мне ближе первая версия, поскольку использование деревянных стремян в аскизское время зафиксировано находкой в гроте Узун-хая I.

Существует распространённое мнение, будто стремяна с отверстием прямо в дужке появляются в результате последовательной эволюции — петля или пластина с отверстием для ремня понемногу “сплющивались”, как бы прижимаясь к дужке корпуса, пока не слились с ней; этот взгляд восходит к старым исследованиям золотоордынских материалов (Фёдоров-Давыдов 1966). Спору нет, можно найти формы, “промежуточные” между чем угодно — например, расставить погребения так, будто возможна плавная эволюция от вытянутых к скорченным или наоборот. Однако типогенез таким способом не выясняется. С чего бы это вынесенные петли стремян древнетюркского времени стали сплющиваться, а пластины — укорачиваться? И откуда тогда взялись формы с отверстием, образованным нижней стороной дужки и дополнительной скобой-перемычкой [Рис.77]? Неужели прорезь всё опускалась, опускалась, да и проскочила ниже дужки? Нет никакого сомнения в том, что стремяна предмонгольского времени во всех отношениях лучше более ранних — недаром их форма стабилизировалась и используется поныне. Но усовершенствования не происходят путём плавной эволюции — в тех случаях, когда развитие стимулируется новыми идеями, они приходят спонтанно; например,

выступы наверху корпуса у восточноевропейских беспетельчатых стремян [Рис.77] дают повод предположить, что первоначально у кого-то всего лишь сломалось стремя с выделенной пластиной, и обломок просто подвязали — а затем и “узаконили” случайную рационализацию, добавив перемычку. Так или иначе, но чаще всего “переходные” виды изделий оказываются на поверку всего лишь реакцией старого типа на усовершенствование, агонией устаревшего образа вещи. Именно при таком взгляде на внезапное разнообразие форм стремян рубежа I/II тыс. их многочисленные разновидности получают объяснение — это просто попытки согласовать былые традиции с новейшей технологически прогрессивной модой. А механический эволюционизм не только скучен, но и вреден, поскольку причает к неоправданной упрощённости.



Длинные наконечники, в том числе и двучленные, а порой и шарнирные, а также наконечники, имеющие характерное сердцевидное завершение, представлены в приуральских, восточноевропейских и северокавказских материалах начиная с гуннского и даже более раннего времени. А.К.Амброз убедительно показал, что гуннские мелкие длинные наконечники использовались на обувных ремешках (Амброз 1989:). На ранней стадии своего развития эти типы уже проникали в Южную Сибирь, о чём в разделе о типогенезе таштыкских пряжек

сказано подробно. Но тогда в Сибири эти формы не закрепились; они были вытеснены формами катандинского круга — употребительны стали короткие наконечники разных форм. А на западе развитие длинных пластинчатых наконечников продолжалось, и в X веке они были вновь принесены в Южную Сибирь. Непосредственные прототипы аскизских форм представлены в материалах, например, Еловского могильника (Степи Евразии 1981: 243 - рис.71: 29). Их нельзя считать следствием аскизского влияния — во-первых, это типогенетически ранние коробчатые формы, во-вторых, особое оформление передней части наконечника свойственно не сибирским, а восточноевропейским культурам I тыс.н.э. [Рис.78]. То же касается и шарнирных соединений.

Крюки и петли на пластинах аскизской культуры уже сопоставлялись с восточноевропейскими. Д.Г.Савинов опубликовал статью, где попробовал систематически сопоставить реалии половецких каменных изваяний с южносибирскими находками (Савинов 1984а). Автор пишет, что эти параллели интересны “в свете известных свидетельств о ранних этапах этнической истории кыпчаков в Азии”, они говорят “об участии кыпчакских племён в сложении культуры Южной Сибири предмонгольского времени” (Савинов 1984а: 115,120), — то есть, по сути, считает, что сопоставляемые находки и изображения равно восходят к культуре азиатских кыпчаков. С ней обыкновенно связывают сроткинскую культуру (и Д.Г.Савинов с этим не спорит), но в сроткинских материалах ничего, подобного аскизским или половецким крюкам на пластинах, нет. С другой стороны, автор признаёт, что “многие предметы, получившие известность как вещи южносибирского происхождения, имеют прототипы в памятниках предшествующего времени на очень широкой территории, в том числе и в европейских”, приводится ряд показательных примеров. Всё это, по мнению автора, говорит о “контактах, происходивших на территории евразийских степей на рубеже I и II тыс.н.э., причём они могли быть направлены не только с востока на запад, но, по-видимому, и с запада на восток, хотя это и не отражено в письменных источниках” (там же: 119-120). Последний вывод совершенно безусловен, однако при чём же здесь “ранние этапы этнической истории кыпчаков в Азии”? Сопоставления, предложенные Д.Г.Савиновым, весьма интересны и перспективны [Рис.79], но они ни в коем случае не свидетельствуют о южносибирском и вообще азиатском происхождении изучаемых типов. Крюки на пластинах для ранних южносибирских культур вообще нехарактерны (кудыргинские находки совершенно уникальны) — здесь бытовали рамчатые крюки. А крюки на пластинах с позднекифского времени характерны для восточноевропейских памятников. Это, конечно, исходно западный тип, воспринятый и кыпчаками после их переселения в юго-восточную Европу — почему их изображения и появились на половецких каменных изваяниях. В аскизском же культурном комплексе такие же крюки оказались до появления кыпчаков на западе; они указывают на западное происхождение аскизского инновационного комплекса. Как верно отмечает Д.Г.Савинов, для понимания истории рассматриваемых типов очень важны басандайские находки. Они отличаются от аскизских простотой контура — в аскизской традиции их оформляли в соответствии с теми же стилевыми канонами, что и щитки и наконечники [Рис.80]. Будь басандайские изделия результатом аскизского влияния — они повторяли бы и эти устойчивые элементы аскизского стиля. Но ничего такого в басандайских материалах нет, и следует заключить, что вне зависимости от абсолютной даты басандайских находок они зафиксировали предаскизский этап развития целой серии типов. Восточное влияние в басандайских материалах также заметно — это черты ляоской традиции в оформлении двойных застёжек и зажимов для кистей [Рис.80]. Басандайский комплекс интересен прежде всего вот этим столкновением стилей, господствовавших на двух последовательных этапах развития сибирских культур. Басандайка маркирует трассу трансконтинентальных миграций из Европы на восток, которые не были, да и не могли быть зафиксированы письменными источниками — если переселения с востока на запад приводили к непосредственным столкновениям мигрантов с народами, имеющими развитую летописную традицию, то встречные миграции вели к появлению переселенцев в южносибирской глуши, где никто и не помышлял записывать данные о событиях. Эти миграции имели место и в IV-V в., и в начале IX, и в X веке, и позднее (о чём речь ещё пойдёт ниже). T-образные застёжки в доаскизские времена были совершенно нехарактерны для южносибирских культур. Бляшка, имитирующая подобные изделия, есть в кудыргинских материалах, но это воспроизведение рамчатого крюка с

перекладной [Рис.81]. Те же кудыргинские находки фиксируют типологически ранний этап истории Т-образных застёжек, когда это ещё не цельная вещь, а устойчивое сочетание щитка с “костыльком” [Рис.81]. Наибольшее распространение Т-образные застёжки на щитках получили в восточноевропейских культурах “геральдического” круга с конца VI века, они заходили на восток не далее Западной Сибири [Рис.81]. Аскизские Т-образные застёжки на пластинах, конечно, вторичны; им свойствен столь поздний признак, как “разветвлённая” перекладная, не имеющая следов выпуклого перехвата посередине, стандартного для ранних восточноевропейских типов. Как и в восточноевропейской традиции, щитки (пластины) воспроизводят оформление наременных блях и наконечников — в данном случае это типовое сердцевидное завершение [Рис.81]. Происхождение султанчиков, блях и подвесок с кольцами, а также подтреугольных клёпаных петель также связано с Восточной Европой. Это — однозначно хазарские типы, в конце I тыс. они бытуют лишь в одном регионе. И.Л.Кызласов пытается отвести данное сопоставление, отказываясь сравнивать поясные и сбруйные принадлежности; однако, как показывают многочисленные примеры, фурнитура пояса и сбруи — две составляющие единой области материальной культуры; декоративно-прикладное искусство многих народов явственно демонстрирует очевидное стилевое единство наременных гарнитуров и прочей фурнитуры костюма и сбруи. Весьма показательны, что (как и в случае, например, с “портальными” бляшками) некоторые формы унаследованы сибирской традицией в отрыве от поверхностного декора, под который внешний контур был подогнан изначально. Именно такие случаи и позволяют утверждать, что налицо заимствование западных традиций восточной культурой, а не наоборот. Западное происхождение имеют и аскизские рукояти плетей в виде набалдашника с крюком; в Южной Сибири ранее такие вещи не были известны вообще, а применялись стержневые рукояти. Итак, даже краткий обзор материала убеждает в том, что обширная серия специфических аскизских типов имеет западное происхождение — поволжское, приуральское, западносибирское.

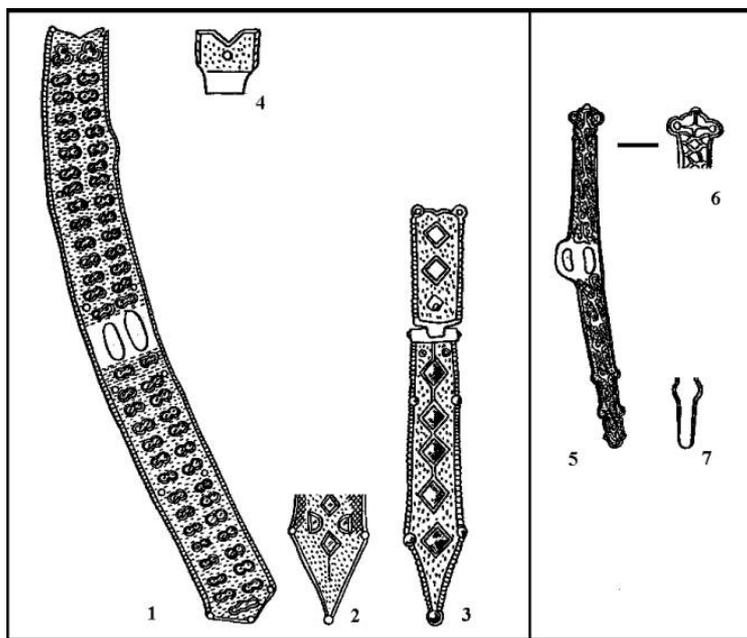


Рис.88. Формальные соответствия принадлежностей аскизской узды.

Вместе с престижными поясными наборами распространялись и бытовые предметы новых форм — таковы, скажем, скобчатые кресала, пришедшие на смену накладным узорчатым кресалам ляской традиции [Рис.83]. Это доказывает, что происходили именно миграции, а не просто абстрактные влияния — ведь скобчатые кресала ничуть не лучше пластинчатых, и распространились они только потому, что пришли какие-то люди и принесли с собой соответствующую традицию. Характеризуя художественные вкусы мигрантов, нужно отметить неприятие ими фигуративного декора: даже растительный орнамент, широчайше распространённый в Южной Сибири ещё с доляских времён, с появлением новых узоров

очень быстро распался и деградировал, а изображения животных просто исчезли. Может быть, здесь мы имеем дело с материализацией неких идеологизированных запретов. Далее, другой важной особенностью нового художественного мышления стало стремление к плоскостным орнаментам, объёмный же декор постепенно исчез. Весьма вероятно, что в некоторой мере это было продиктовано технологическими новациями — литая бронза уступала место кованому железу. В целом стремление к унификации декора вне зависимости от назначения изделий в аскизской традиции торжествует в полной мере. Вместе с тем в рамках каждого комплекса имеются свои особенные нюансы декора, позволяющие говорить не о серийном производстве отдельных вещей, а об изготовлении комплектов, включающих фурнитуру костюма и сбруи. И.Л.Кызласов, основываясь на этой особенности (хотя и не комментируя её), составляет “комплексы” из случайных находок, подобранных поблизости одна от другой. Сопоставляя материалы могильника Эйлиг-хем III и других кыргызских памятников того времени, Г.В.Длужневская и Д.Г.Савинов разделяют собственно кыргызский и композитный инновационный комплекс; этот последний образуется из сротскинских, “западных”, “восточных” и “неопределённых” инноваций, причём инновации именно неопределённого происхождения оказываются впоследствии основой кыргызской культуры предмонгольского времени. Компонентный анализ, предложенный авторами, весьма показателен и заслуживает особого внимания. Предложенную авторами текстовую таблицу (Грач, Савинов, Длужневская 1998: 46) можно перевести в наглядный графический вид [Рис.84].

традиции	инновации			
кыргызские	сротскинские	“западные”	“восточные”	неопределённые
Рис.	Рис.	Рис.	Рис.	Рис.

Рис.84. Компонентный состав предметного комплекса могильника Эйлиг-хем III по Д.Г.Савинову и Г.В.Длужневской.

Следует обратить внимание на то, что формы, отнесённые авторами к числу собственно кыргызских, на самом деле таковыми не являются. Соответствующий предметный комплекс действительно представлен в ряде кыргызских памятников, но те же типы обычны и для многих других центральноазиатских памятников того времени; даже сторонники теории “кыргызского великодержавия” не связывают все эти погребения с енисейскими кыргызами; именно этот предметный комплекс Г.В.Длужневская предложила именовать “общетюркским”. Как показано выше, в значительной своей части эти типы имеют западное происхождение. Совершенно непонятно, почему из этого комплекса нужно изымать формы, включённые в число “восточных”. И столь же непонятно, почему ляоский компонент, столь подробно и плодотворно исследовавшийся Г.В.Длужневской, растворился в этой таблице среди “кыргызских форм”. Следует иметь в виду, что ляоские типы не могли быть заимствованы кыргызами до 924 года, а могильник Эйлиг-хем III, на основе которого и строится этот компонентный анализ, относится к концу X и началу следующего века и уже демонстрирует отказ от ляоских типов, остающихся в абсолютном меньшинстве и даже не оказавших заметного воздействия на дальнейшее развитие кыргызской культуры. Нужно признать парадоксальную, на первый взгляд, вещь: ни один из компонентов эйлигхемского предметного комплекса собственно кыргызским (по происхождению) не является — как и, добавим, комплекс погребального обряда. Кыргызским является лишь само сочетание столь разнородных составляющих частей. Что же касается “неопределённого” компонента, то частично он разъяснён выше (крюки на пластинах etc), происхождение же характерных предметов конской узды в основном прослеживается в следующем разделе этой главы. Подытоживая, можно заключить следующее. Аскизская культура сложилась на местной этнокультурной основе, обогащённой миграциями западных племён, культура которых была тесно связана с хазаро-болгарской, приуральской и западносибирской традициями предшествующего времени, и в меньшей степени с кимако-кыпчакской культурой. Сплав традиций оформился в Туве к середине X века, когда под давлением его носителей старая

кыргызская аристократия и ханская ставка были вытеснены из тувинской “колонии” в минусинскую “метрополию”.

Объективные условия для оттока восточноевропейских племён на восток сложились на рубеже IX/X вв., с появлением в южнорусских степях новой грозной силы — канглов (кенгересов, печенегов). Именно к ним было приковано внимание хронистов, а уход каких-то периферийных групп подальше от новых гегемонов восточноевропейской степи никого заинтересовать, естественно, не мог. Конечно, в Южную Сибирь пришли смешанные группы — как всегда, ни одна культура не может быть указана в качестве единственного источника инноваций. Судя по хазарскому происхождению многих явно престижных типов, среди мигрантов важную роль играли именно хазары или представители других этнических групп Хазарского каганата. Мигранты, оказавшись на Енисее чем-то вроде “иностранного легиона”, стали ядром, вокруг которого сплотились дружинные кыргызские вожди, конфликтовавшие со старой знатью и каганским двором — может быть, из-за чрезмерного почтения к далёким лясским императорам. Интересно напомнить, что за несколько веков до этого сходную роль сыграли в Центральной Азии ираноязычные ашина, сплотившие вокруг себя мелкие телеские племена, недовольные жужаньским владычеством. Вероятно, иноземцы — идеальный дестабилизатор для застойных полиэтнических аристократических обществ. Не связанные с местными традициями, вынужденно двуязычные, двукультурные и оттого пластично мыслящие, они легко раздвигают рамки традиционного мышления, способствуя брожению в умах и смуте в обществе. Новые культуры, как мы не раз убеждались, чаще всего возникают при столкновении двух и более старых.

VI.3. Развитие аскизской культуры. Эволюция узды.

Как уже говорилось, ареал формирования аскизской культуры — прежде всего Тува; в Минусинской котловине в X в. по-прежнему функционировали чаатасы. Эталонным памятником раннего этапа аскизской культуры считается тувинский могильник Эйлиг-хем III (Грач, Савинов, Длужневская 1998), где сочетаются изделия, выполненные как в “тюхтятском”, так и в аскизском стиле. По этой логике, данный памятник отражает переходное состояние аскизской культуры, что не совсем верно: аскизские материалы этого памятника вовсе не кажутся “смешанными”, это именно раннеаскизские вещи, соседствующие в комплексах двух курганов (№№ 3 и 4) с вещами лясской традиции. Эйлигхемские материалы отражают сосуществование культурных комплексов в некоей общности, причём эта общность в эйлигхемское время уже разваливалась.

Исчезновение во второй половине X в. традиции строительства чаатасов и связанных с ней элементов кыргызской культуры (как бы ни трактовались обстоятельства этого процесса) является точкой отсчёта времени абсолютного господства аскизских традиций, распространившихся из Тувы на оба приенисейских региона. В конце X в., в XI и XII вв. аскизские традиции полностью определяют облик кыргызской культуры. Однородность памятников — новое для кыргызской культуры явление: прежде система погребальных ритуалов складывалась как минимум из двух основных традиций. Письменные источники не дают оснований говорить о каких-либо серьёзных потрясениях в указанный период. Кыргызское общество в течение какого-то времени развивалась стабильно и до определённого момента — без заметных внешних влияний. Поэтому проследить развитие культуры не так просто: в основе поиска должен лежать анализ изменчивых форм одной из распространённых категорий инвентаря. Такова прежде всего узда, а именно — удила и псалии, весьма своеобразные, изменчивые, представленные сериями комплексных и случайных находок. Общую схему развития псалиев предложил И.Л.Кызласов [Рис.85-86]. В целом эволюция прослежена этим автором верно, однако построенная им схема представляется слишком общей и недостаточно структурированной, и кажется необходимым рассмотреть эволюцию узды поподробнее. Любой культурно-эволюционный процесс имеет две стороны: формально-морфологическую и функционально-технологическую. Они состоят в диалектической взаимосвязи: декор развивается в рамках, заданных функциональностью предмета, но и свобода технологического совершенствования во многом ограничена традиционными представлениями о декоре. В развитии удил и псалиев аскизской культуры это правило

проявилось в полной мере. Функционально-технологическая составляющая этого развития — в переходе от вставных псалиев к напускным и от кольчатых удил к упоровым; декоративная, формально-морфологическая составляющая — проявлена главным образом в переходе от стержневых псалиев к пластинчатым и в переносе акцента с окончаний и вставных скоб псалиев на плоскость пластины [Рис.87]. Всё это было в значительной степени обусловлено и производственно-технологическими обстоятельствами — переходом к ковке, серебряным инкрустациям etc. Поэтапно этот процесс выглядел следующим образом. Исходной формой стали обычные для предшествующего времени S-образные и J-образные (у И.Л.Кызласова Г-образные) псалии с двукольчатыми (8-образными, витыми или ложновитыми) удилами. Стержни псалиев вставлялись во внутренние кольца удил, однако при необходимости, простоты ради, надевались на грызла, то есть использовались как напускные — вероятно, такое случалось при оперативной замене, когда кузницы поблизости не было [Рис.87]. При этом, однако, псалии неизбежно болтались, а при снятой узде комплект разваливался и запутывался. Скобы вставных псалиев первоначально выгибали из стержней, а позднее изготавливали из фигурно вырезанной пластинки с двумя шпеньками, вставлявшимися в отверстия на стержне (I-II этапы). Такие псалии известны как в аскизской культуре, так и в других синхронных и более ранних культурах. Изготовление этих форм не прекращалось и позднее, когда уже существовали псалии следующих этапов. Наряду с двукольчатыми удилами в раннеаскизских памятниках встречаются и однокольчатые со стремечковыми завершениями грызл. Они особенно важны для понимания процесса развития аскизской узды. Внешние стремечковые завершения грызл были тоньше, чем собственно грызла, так как при выковывании удил окончания просто расплющивали и затем оформляли в соответствии с обычаем. Поэтому при переходе от “стремечка” к стержню грызла естественным образом возникал уступ, и при использовании псалия как напускного этот уступ оказывался в роли упора, благодаря которому псалий, запертый снаружи кольцом для повода, не болтался. Мастеру оставалось лишь “узаконить” этот уступ, оформить его в виде поперечной полочки; таким образом, появление упоровых удил было обусловлено технологически; однако не меньшую роль сыграло и развитие псалиев. Плоские скобы сборных стержневых псалиев в большинстве сибирских культур украшались путём придания большей или меньшей вычурности вырезному внешнему контуру, и только. Однако в аскизской культуре были распространены богато декорированные пластины, и неизбежно появлялось стремление не только предельно украсить пластинчатую скобу, но и расширить декорируемую плоскость; отверстия же для грызл, наоборот, следовало уменьшить, чтобы освободить как можно больше места для декора. Раз акцент сместился с окончаний на пластину, то стандарты оформления окончаний постепенно стали размываться, и появились многочисленные вариации на тему “сапожков” и “шишечек”, отражавшие не столько канон, сколько прихоть мастеров и заказчиков. Эти псалии уже не нужно было делать сборными — они использовались как напускные, и необходимость в стержне как основе псалия отпала. Псалии III-IV этапов — уплощённые и плоские — уже цельнокованные; они как бы представляют собой отделившуюся от стержня очень длинную скобу с двумя щелевыми отверстиями — для удил и для наконечника нащёчного ремня, — но с окончаниями, воспроизводящими оформление традиционных стержневых псалиев. Распространение приёмов украшения пластинчатых изделий на псалии должно было повлечь за собой и отказ от традиционных “сапрожковых” и “шишечковых” завершений. Так и произошло; на V этапе развития псалиев “шишечки” исчезли, а вместо них распространились вырезные окончания, сходные с окончаниями шарнирных накладок из тех же комплектов [Рис.87]. Известна большая серия таких псалиев, главным образом из случайных находок. Редкие комплексные находки подтверждают правомерность сопоставления псалиев с накладками, причём это влияние было взаимным: известны подвески с каплевидной или биконической шишечкой на конце. Следует отметить, что из двух основных типов на V этапе сохраняются лишь J-образные, а S-образные выходят из употребления. Уже в раннеаскизском материале фиксируется сосуществование трёх основных типов набора инвентаря:

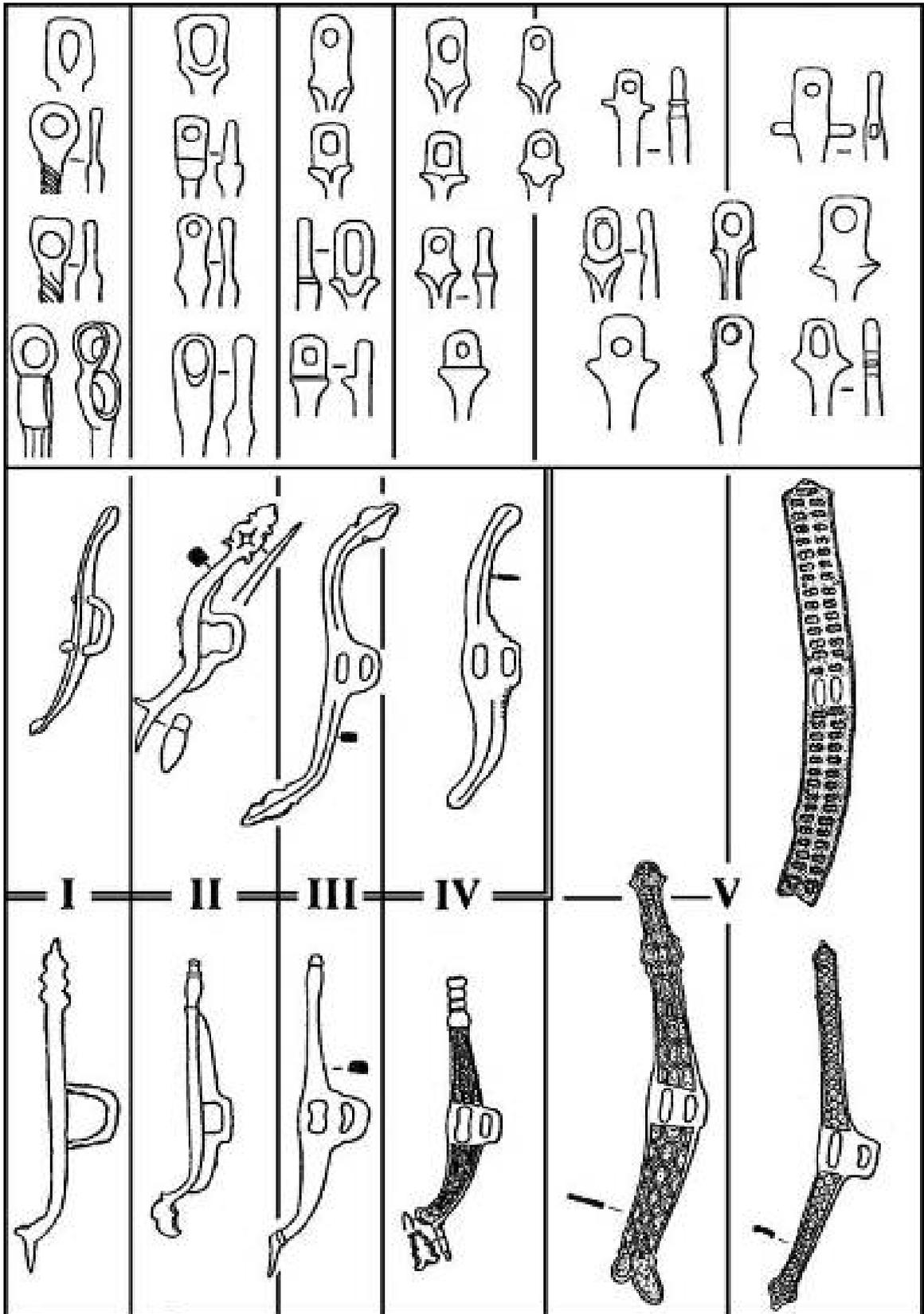
1. с уздечными принадлежностями — удилами и псалиями, с султанчиками, однако без тройников-распределителей;
2. без удил и псалиев, но обязательно с султанчиками и тройниками-распределителями;

3. без узды, а только с седельными принадлежностями и стременами, с бусами, булавками и серьгами (И.Л.Кызласов определяет погребения с таким набором инвентаря как женские).

По поводу различий между первыми двумя типами наборов интересно отметить, что позднейшая композиция “пластинчатый псалий+нащёчник” (из наборов первого типа) образует фигуру, сильно напоминающую шарнирный тройник-распределитель (из наборов второго типа). То, что пластинчатые псалии с нащёчками, не попадая в одни комплексы с шарнирными тройниками, повторяют их форму и декор, наводит на мысль о возможности ритуального замещения [Рис.88]. Даже стержневые псалии не попадали в один комплект с шарнирными тройниками (исключение — кург. Уюк-Тарлык, 51, столь богатый инвентарём, что появляется подозрение о смешанности сопроводительных наборов группового погребения — одних уздечных комплектов там три пары; вообще вопрос об аскизских курганах, перенасыщенных инвентарём, ещё ждёт особого исследования). Возможно, разница между наборами первого и второго типов отражает разницу в общественном положении погребённых; этот вопрос требует особого исследования. Наконец, отмирает и “сапожковое” завершение: типологически позднейшие псалии имеют окончания, оформленные с одной стороны по образцу шарнирных подвесок, а с другой — по образцу нащёчных ремней из того же комплекта [Рис.88]. И.Л.Кызласов не заметил соответствия между псалиями и нащёчками и разнёс псалии из кург. Черновая, 12 и Каменка V,3 по разным типологическим этапам (Кызласов И.1983: 28 - Рис.7). Однако именно с V этапа развития аскизскую традицию оформления узды можно считать окончательно сформировавшейся, полностью освободившейся от наследия форм предшествующей эпохи. Нужно заметить, что количественно преобладают псалии IV этапа; V этап представлен крайне незначительным числом экземпляров, причём именно на этом этапе появляются изделия весьма своеобразного “каменского” облика. Относительно поздняя дата “каменных” типов не вызывает сомнений (что не помешает рассмотреть этот вопрос поподробнее), и общую последовательность основных этапов можно считать установленной. Вместе с тем не следует забывать о том, что рассматриваемый период истории кыргызов был весьма спокойным, и нет никаких оснований думать, будто формы резко сменяли одна другую. Конечно, типологически ранние формы бытовали довольно долго. К тому же скорость типогенетических процессов может быть любой, и если бы удалось точно датировать каждый экземпляр, то итоговая хронологическая шкала оказалась бы далеко не столь стройной, как эволюционная. Можно, однако, указать ориентирующее правило: чем больше вариантов у типа, тем меньший промежуток времени следует отвести для всей этой совокупности, отражающей период поиска оптимальных форм. А вот стабильные типы, наоборот, чаще всего бытуют подолгу.

Удила с упором-полочкой тоже развивались, но здесь влияние декора уже не сказывалось. Края полочки часто выводились за границу контура петли, и вскоре выяснилось, что полочка и не требуется, если есть шиповой упор, который к тому же проще в изготовлении. Удила с шиповым упором коррелируют с псалиями IV-V этапов и являются типологически позднейшей формой, использовавшейся с вертикальными псалиями (но не позднейшей формой упоровых удил вообще). Соответствие эволюции удил с эволюцией псалиев доказывает справедливость предложенных построений и усиливает возможности относительного датирования [Рис.87].

К V типологическому этапу относятся и уникальные сборнопластинчатые псалии из Малиновки; видимо, к тому же времени относятся и псалии из органических материалов, от которых остаются скобы на длинных пластинах со шпеньками (И.Л.Кызласов в своей тщательно разработанной классификации не нашёл для них места ни в одном из шестидесяти типов). “Дробление” традиции при отсутствии внутренних причин для интенсификации типобразовательных процессов показывает, что на исходе изучаемого периода, где-то одновременно с появлением “каменных” инноваций, развитие аскизской культуры было резко дестабилизировано. Надо полагать, произошли некие события, оказавшие воздействие на жизнь енисейских кыргызов и их культуру. Очевидная соотнесённость этих событий с инновациями “каменского” типа требует с особым вниманием рассмотреть поздний, по периодизации И.Л.Кызласова — “каменский” этап аскизской культуры.



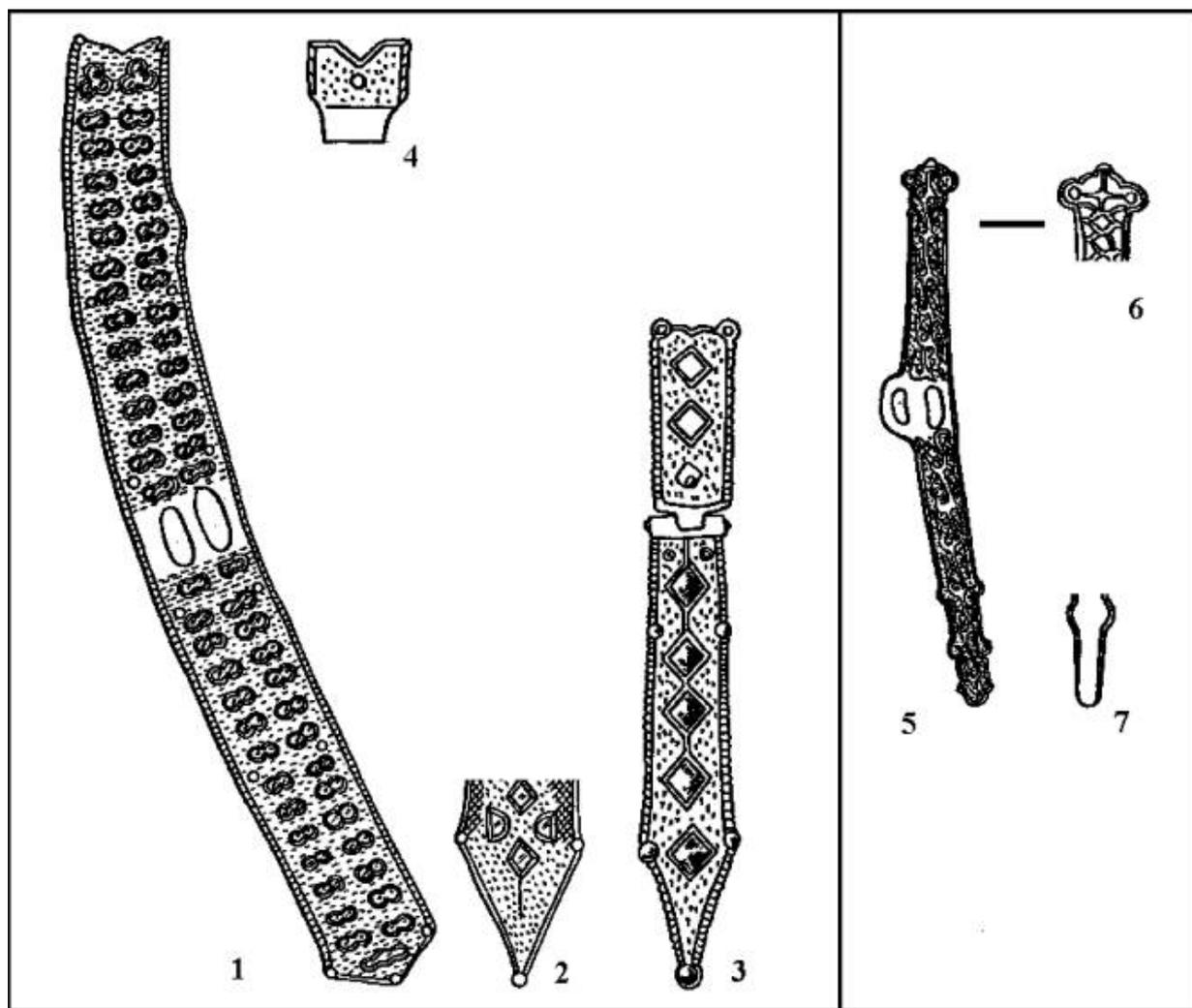


Рис.87. Типогенез аскизской узды. Рис.88. Формальные соответствия принадлежностей аскизской узды.

VI.4. Развитие аскизской культуры. “Каменская” и “часовенногорская” проблемы.

Характерные признаки “каменского этапа” действительно в высшей степени своеобразны. Бросается в глаза выраженная геометризованность контура пластинчатых изделий; выступающие углы теперь акцентируются заклёпками, иногда даже выносимыми на специальные округлые “мыски”. Распространяется “жемчужниковый” орнамент, чаще всего украшающий седельные обивки. Появляется прорезной декор и связанные с ним композиции из рядов или россыпей простых геометрических фигур. Приострѐнные завершения пластин вытягиваются, обретая как бы “готические” очертания. Оригинально смотрятся пряжки с “рогами” — выступающими вперѐд углами рамки, и перекликающиеся с ними обоймы-тренчики. Распространяются угловидные и М-образные бляшки, а также уже упоминавшиеся бляшки (накладки на деревянные стремена), имитирующие верхнюю часть корпуса металлических стремян. Появляются крюковые удила с трензелями; пластины седельных пробоев увеличиваются и приобретают вычурные очертания; появляются новые формы больших седельных блях.

Все эти новшества позволили И.Л.Кызласову говорить о выделении позднего “каменского этапа” аскизской культуры. Памятники, где отдельные “каменские” элементы сочетались с обычными аскизскими признаками, обособлены им под названием “черновского периода малиновского этапа” (Кызласов И. 1983: 54-64). Автор не задаѐтся вопросом о причинах столь многочисленных перемен; по его логике, новые типы волшебным образом

“зародились” в недрах кыргызской культуры и с какого-то момента взяли, да и вытеснили всё остальное. Почему — для И.Л.Кызласова несущественно; автор не допускает мысли о том, что все эти инновации могут оказаться инокультурными влияниями, а “черновские” памятники вовсе не предшествовали им, а всего лишь зафиксировали аккультурационные процессы. Материал, однако, всегда сильнее концепций. И.Л.Кызласов вынужден признать, что “нет возможности говорить о появлении аскизских кольчатых псалиев не только на местной, но и вообще на южносибирской основе. Удила, с которыми они употреблялись, принадлежат к уральской традиции... Влияние западных (возможно, западносибирских) культур здесь несомненно” (Кызласов И. 1983: 58). Не будем, однако, забывать, что заимствования единичных культурных элементов крайне редки: обычно влияния бывают комплексными. Но И.Л.Кызласов настаивает на автохтонности большинства минусинских традиций. Геометризацию контура пластинчатых изделий автор вовсе не комментирует; изменение способа крепления пластин расценивается как вариация прежних технологических приёмов. По мнению И.Л.Кызласова, “есть данные, позволяющие говорить о преемственной связи нового (каменского — П.А.) геометрического орнамента и ячеистых узоров малиновского этапа. Материалы его черновского периода демонстрируют ступени перехода от одной системы узоров к другой” (там же: 63) — но как и почему начался этот переход, не объясняется. Рассуждая о постепенном переходе к прорезным силуэтно-геометрическим узорам, автор рассматривает аскизские вещи изолированно от всего остального мира, при этом игнорируя саму возможность инокультурного происхождения новшеств (а в этом случае все “ступени развития” оказываются всего лишь версиями, появившимися во множестве при попытках воспроизвести чуждую “картинку” в местной традиционной технике).

Появление “каменных” элементов в культуре “черновского периода” никак не может служить доказательством местного происхождения соответствующих типов. Это было бы вероятно при наличии серии точных абсолютных или хотя бы относительных дат, если бы оказалось, что все “черновские” комплексы предшествуют “каменским”. Однако абсолютная хронология определена И.Л.Кызласовым весьма общо, а относительная строится на постулируемой эволюции типов, которую как раз и надо бы по меньшей мере проверить, а на самом деле — пересмотреть. О доказуемости предложенного исследователем эволюционного ряда можно было бы говорить при наличии типологических рудиментов и вразумительных объяснений причин трансформации. Ни то, ни другое автором не указывается. Он пишет: “Основной особенностью внешнего вида предметов черновского этапа является появление тех черт, которые будут господствовать или послужат основой для формирования характерных деталей оформления в последующий каменный этап” (там же: 55), то есть: новые вещи появились, и всё, вот вам и аналитическая база.

Относительная хронология аскизской культуры построена И.Л.Кызласовым на основе правильно прослеженной эволюции узды и весьма общих историко-культурных соображениях. Автор, не заботясь об аргументах, просто переименовал весьма условную последовательность не только в эволюционный, но и в хронологический ряд. Сходную ошибку допустил, напомним, и А.К.Амброз (при выяснении происхождения восточноевропейского геральдического стиля); но у А.К.Амброза была серия независимых абсолютных дат, а у И.Л.Кызласова их нет.

Исследователи часто (и правильно) подчёркивают, что выявленная эволюционная последовательность вещей не заменяет относительной хронологии, ведь ранние типы часто “запаздывают”. Пишет об этом и И.Л.Кызласов: типологическая последовательность “не означает хронологической последовательности, так как во многих случаях видоизменение предметов зарождается и протекает одновременно с существованием прежних традиционных форм” (там же: 44). Не следует забывать, что верно и обратное: хронологическая последовательность не доказывает типологической преемственности. И.Л.Кызласов об этом как раз и забывает.

Кроме того, постепенное изменение форм без каких-либо стимулирующих воздействий — явление хотя и вероятное, но крайне редкое. Достаточно вспомнить о том, что эволюции орнаментов кыргызских ваз и конструкций оград чаатасов были стимулированы именно внешними воздействиями. Морфологические трансформации провоцируются самыми различными событиями — например, сменой культурно-политической ориентации, когда

изменяются прежде всего престижные, знаковые элементы культуры, или притоком нового населения, когда начинается процесс взаимодействия совершенно разнородных традиций. Изредка трансформации типов происходят вследствие технологических усовершенствований; намного чаще к изменениям приводит забвение первоначальной семантики того или иного признака, особенно если тип изначально инокультурен. Словом, эволюционные механизмы срабатывают не сами по себе, что-то должно запустить их в действие. И если некая вещь вдруг начинает выглядеть не так, как раньше — скорее всего, имели место какие-то события, которые следует так или иначе “вычислять”. Даже биологический естественный отбор происходит не сам по себе; материальная же культура тем более не способна к спонтанным, немотивированным трансформациям. Археолог оперирует типами, при воплощении которых рамки прихоти были крайне сужены: люди изготавливают, используют и кладут в могилу те или иные вещи в соответствии с традиционными представлениями о том, как это всё должно выглядеть и происходить, и лишь веские причины могут заставить их изменить свои привычки. На всё это И.Л.Кызласов не обращает внимания: у него, знаете ли, концепция. Вернёмся к инновациям “каменского этапа”. Ясно, что рассматривать их следует вместе с аналогичными элементами культуры “черновского периода”, стремясь прежде всего отделить экзогенные (то есть внешние) инновации от инноваций внутренних, эндогенных, выраженных не в появлении новых типов, а в изменении местных.

Экзогенные инновации — это прежде всего трензеля с крючковыми удилами. И.Л.Кызласов верно интерпретировал плоские трензеля как воспроизведение инокультурного типа местными средствами (1983: 58-59). Кстати, здесь автор изменяет своей общей логике: если применить его стандартный подход и к этим вещам, то пришлось бы декларировать спонтанное появление идеи круглых псалиев, в начало ряда поставить большие широкие псалии из Каменки, затем — дисковые трензеля, далее — плоские кольца и лишь в самом конце — выгнутые из дрота; заодно можно было бы в духе теорий о “древнехакасской цивилизации” вывести из аскизских вещей их западные прототипы, подтвердив всё это тем, что в конце концов повсеместно распространились именно “дротовые” трензеля. К счастью, до этого дело не дошло, уж слишком очевидно в данном случае инокультурное происхождение нового типа. Возвращаясь к историко-культурным реалиям, отметим, что трензеля ничуть не хуже и не лучше вертикальных псалиев — это просто решение той же задачи другим способом. Значит, заимствование нового типа было связано с появлением на Енисее *людей*, для которых использование круглых трензелей было традиционным. И.Л.Кызласов верно указывает и область первоначального распространения этой традиции — Приуралье и Западная Сибирь. Там же, в Приуралье и в Восточной Европе, в древнетюркскую эпоху были распространены: длинные узкие наконечники и подвески, завершающиеся шишечками; пряжки с двухпластинчатыми щитками и тем или иным образом сдвоенные бляшки и подвески. На протяжении всего I тыс. в Восточной Европе бытовали различные пластинчатые и рамчатые изделия трапециевидно-вогнутых очертаний (о чём уже говорилось в разделе о таштыкских пряжках). Следует отметить, что территориальный разброс этих вещей в Восточной Европе весьма значителен [Рис.89].

М-образные бляшки напоминают находки из плиточных и турасуйских могил хуннского времени, но это слишком ранние вещи. Правомерно сопоставить аскизские М-образные бляшки с оформлением задних краёв некоторых разновидностей аскизских пластин “каменского” облика [Рис.90]. В этой связи уместно вспомнить, что для некоторых разновидностей раннесредневековых поясных наборов характерно однотипное фигурное оформление бляшек, располагавшихся на ремне вплотную и как бы “вкладывавшихся” одна в другую, что должно было создать впечатление сплошной гибкой накладки. Тот же принцип реализован и в некоторых восточноевропейских культурах I тыс.н.э. [Рис.90] Вряд ли стоит, как это делает И.Л.Кызласов, выводить М-образные (“каменские”) бляшки из угловидных (“черновских”): те и другие бытовали в рамках одной традиции, и не имеет смысла выстраивать “эволюционный” ряд из двух позиций.

Если восточноевропейские и другие предложенные прототипы аскизских угловидных и М-образных бляшек располагались поперёк оси ремня, то сами аскизские слишком велики и могли крепиться лишь вдоль оси. К тому же их находят по одной, по две штуки, тогда как исходная идея подразумевает серию. Исключение — кург. Ортызы-оба, 7 (Худяков 1982:

149,151,158 — рис.104). Ю.С.Худяков предлагает и реконструкцию сбруи, где располагает угловидные бляшки вдоль ремня (там же: 157 — рис.103, справа). На первый взгляд всё правильно, но на плане кургана (там же: 152 — рис.96) видно, что эти бляшки найдены *in situ* как раз “вложенными” одна в другую [Рис.91]. Это даёт основания предполагать, что кург. Ортызы-оба, 7, во-первых, подтверждает западное происхождение одной из “каменных” традиций, а во-вторых, оказывается одним из ранних среди прочих комплексов с “каменскими” инновациями. В состав этого комплекса также входят 11 сдвоенных бляшек в виде рыбьего хвоста — это восточноевропейская форма, типогенез которой рассматривался выше, в разделе о таштыкских традициях.

Многочисленные разновидности геометрических линейно-зигзаговых узоров известны в восточноевропейских и приуральских материалах второй половины I тыс.н.э. Иногда это ряды полукружий, или треугольников, или ромбов — то есть тех же фигур, которые образуют и аскизские “россыпи”. Нельзя не обратить внимание на удивительное сходство между композициями восточноевропейского “полихромного стиля” и позднеаскизскими “россыпями”. Подчеркну — речь идёт не более чем о сходстве композиций. Конечно, было бы неосмотрительно трактовать аскизские прорези как касты из-под утраченных вставок, но идея композиции в обоих случаях, по сути, одна; на фоне всех остальных аналогий это во многом ассоциативное сходство служит штрихом, дополняющим общую картину [Рис.92]. Подводя итог, можно заключить следующее. Имеются веские основания считать, что экзогенные инновации “каменского этапа” происходят из западных культур; причиной появления этих инноваций были миграции, причём, как и в других случаях, указать какую-то одну культуру — источник влияний — невозможно: надо полагать, отток восточноевропейского населения на восток всякий раз предварялся смутой, разрушением местных варварских обществ и их смешением. История восточноевропейских племён освещена летописцами неплохо, и можно попытаться выяснить, какие события провоцировали очередное переселение. Но прежде следует рассмотреть приёмы датирования памятников “каменского этапа”.

Наиболее подробно об этом пишет И.Л.Кызласов (1983: 64-68). В состав забайкальского Нюкского клада входил кубок, подобный найденным на Часовенной горе и в Урбюне [Рис.93]; в том же кладе — пайцца не древнее 1278 года. Приведено мнение М.Г.Крамаровского, относящего часовенногорский кубок к число золотоордынских изделий, что в целом согласуется с датировкой по пайцце. И.Л.Кызласов ссылается также на находку костяной рукояти щётки (Часовенная гора, 2) — указаны аналогии “в древнемонгольских городах XIII-XIV вв. в Туве и Монголии, в юаньских погребениях”; говорится о принадлежности S-образных серёг и каменных наременных блях к монгольской эпохе. Железным кочедыкам — крюкам для шнуровки и развязывания узлов — указаны аналогии в Забайкалье, в Понеманье и на Оке, а уздечным султанам — в Смоленске, в Поволжье. на Ишиме и на Дону [Рис.93]. Конечно, натянутость и расплывчатость датировок по такой системе аналогов очевидна и самому автору. И.Л.Кызласов даже допускает, что некоторые из этих аналогий появились в результате угона монголами кыргызов из Минусинской котловины или как трофеи. Однако наиболее существенно, что Часовенная гора, Урбюн, Быстрая — это совершенно особые памятники, уклоняющиеся от общего стандарта и по способу погребения, и по устройству могил, и по составу и морфологии сопроводительного инвентаря. В этих памятниках найдены вещи, нехарактерные для аскизской традиции, а многих типовых находок нет. Именно эти обстоятельства побудили Д.Г.Савинова специально обратиться к анализу перечисленных памятников; им посвящена особая статья (1990), имеющая для рассматриваемых здесь вопросов принципиальное значение. Сравнивая часовенногорский, быстрианский и урбюнский комплексы, а также погребения группы “Берег Енисея” и могильника Сарыг-хая III [Рис.94-97] с “каменскими”, Д.Г.Савинов заключает, что, хотя первые и “выглядят инородными”, присутствие кыргызских вещей позволяет считать эти погребения кыргызскими. “В целом они образуют определённый культурный комплекс, для которого характерно сочетание элементов позднего (по И.Л.Кызласову — “каменского”) этапа культуры енисейских кыргызов с типами вещей, имеющими более широкий кург аналогий”, пишет автор. Он считает, что сочетание воинских погребений с женскими и детскими в составе разбросанных по всему региону “семейных” могильников отражает “отрыв от родовых традиций и выделение подвижных военизированных групп, охвативших при своём расселении достаточно обширную

территорию”. По мнению Д.Г.Савинова, эти памятники представляют “завершающий этап культуры енисейских кыргызов, который по наиболее известному памятнику может быть назван часовенногорским”. Частично повторив аргументацию дат, составленную И.Л.Кызласовым, автор датирует “часовенногорский этап” по сообщениям письменных источников: “каменный этап” условно ограничивается 1260 годом, а “часовенногорский” в целом синхронизируется со временем существования в Китае монгольской династии Юань (1260-1368). Автор предполагает, что в рассмотренных им памятниках погребены переселенцы, оказавшиеся в Южной Сибири по решению Хубилая, или же “другие группы кочевых племён, продвинувшихся под давлением монголов в районы Саяно-Алтайского нагорья. В таком случае археологические материалы указывают (по месту обнаружения предметных аналогий в Нюкском кладе и в мог.122 Ильмовой пади, — П.А.) на Забайкалье как возможный исходный центр расселения этих племён” (Савинов 1990: 121-124). К аналогиям, указанным Д.Г.Савиновым, нужно добавить и стрелы-свистунки со щелевыми прорезями — прежде у кыргызов бытовали свистунки с круглыми отверстиями [Рис.98]. Нельзя не обратить внимания на два обстоятельства. Во-первых, Д.Г.Савинов не только признаёт, что рассмотренные им памятники “выглядят инородными”, но и весьма убедительно доказывает их инородность. Убедителен и тезис о связи этих погребений с деятельностью монгольских завоевателей, хотя золотоордынская линия сопоставлений была бы ничуть не хуже юаньской, даже наоборот — лучше. Вся аргументация противоречит предложенному выводу: нет никаких оснований считать эти погребения частью кыргызской культуры — просто некоторые из них содержали отдельные кыргызские вещи, и только. Многие обстоятельства указывают на зажиточность погребённых в рассматриваемых могилах — это и серебряные кубки, и богатый декор, и дорогие каменные наременные гарнитуры. Логичнее и резоннее предположить, что появление данных захоронений связано с процессами осуществления власти и управления на завоеванных монголами землях. Это могли быть люди любой этнической принадлежности — административный аппарат империи национальностей не разбирал, отсюда и разнообразие деталей погребального обряда. А появление некоторых кыргызских вещей в обиходе нойонов или баскаков, живших среди кыргызов и надзиравших за ними, вполне естественно. Во-вторых, очень важно, что Д.Г.Савинов изъясил для выделения “часовенногорского этапа” как раз те памятники, которые использовались И.Л.Кызласовым для датирования “каменского этапа”. Само выделение “каменского этапа” Д.Г.Савинов, естественно, не оспаривает; он просто вновь (как и в случаях с таштыкскими склепами и чаатасами) “надстраивает” чужую периодизацию дополнительным поздним этапом, не обращая внимания на то, что при этом разрушается аргументация, положенная в обоснование исходной периодизации её разработчиком. Но так или иначе, здесь важно то, что во многом верная статья Д.Г.Савинова лишает концепцию И.Л.Кызласова значительной части её хронологической основы. Сказанное позволяет заключить, что определяющие инновации “каменского” и “часовенногорского” этапов — вовсе не одно и то же: их следует различать, отдельно рассматривая “каменскую” и “часовенногорскую” проблемы в истории минусинских племён. Не вызывает сомнения, что инновации “каменной” волны в целом предшествовали “часовенногорским”, что и определяет порядок рассмотрения.

Говоря о каменной волне инноваций, следует обратить внимание прежде всего на тот известный факт, что соответствующие типы совершенно не представлены на территории Тувы. В этой связи нужно напомнить выводы Г.В.Длужневской, специально разрабатывавшей вопросы хронологии тувинских памятников кыргызов: “на территории Тувы практически нет памятников XIII в., связанных с именем енисейских кыргызов” (Длужневская 1990: 78). Следовательно, сначала кыргызы покинули Туву (до XIII века), а лишь затем появились каменные инновации — распространились новые типы и видоизменились старые. И уже поверх сформировавшегося каменского культурного комплекса легли инновации “часовенногорской” волны, связанные, как уже сказано, с монгольским завоеванием и проявляющиеся прежде всего в инокультурных памятниках.

Уход кыргызов из завоеванных ими ещё в IX веке Тувы мог быть вызван, всего вероятнее, военным поражением: они ушли не сами, их из Тувы выбили. Известно, что незадолго до монгольского завоевания кыргызов разгромили найманы, и следует выяснить соотносимость этого поражения кыргызов с их уходом из Тувы.

Найманы — народ почти не изученный. Л.Н.Гумилёв (1970) считал, что до середины XII века этот народ и вовсе не существовал как особая этническая группа. О войне найманов с кыргызами Рашид-ад-Дин пишет следующее: “Ранее эпохи Чингиз-хана государями найманов были Наркыш-Таян и Эниат-каан. Когда они разбили племя киргизов, Эниат-каан не предстал перед своим старшим братом, Наркыш-Таяном, и не принёс ему подарков”. У Эниат-каана были сыновья Буюрук и Таян, которые “были братьями, а согласия между собой не имели”. В начале XIII века Буюрук и Таян были убиты монголами. Таким образом, кыргызы потерпели поражение от найманов при отце ханов, погибших взрослыми в 1204 году. Отсчитывая от этой даты назад два условных поколения, заключаем, что война найманов с кыргызами имела место где-то в третьей четверти XII века. По данным Рашид-ад-Дина, найманы в это время контролировали обширную территорию: “Большой Алтай, Каракорум, ... горы: Элуй-Сирас и Кок-Ирдыш (Синий Иртыш), ... Ирдыш-мурэн, который есть река Иртыш, горы, лежащие между той рекой и областью киргизов и соприкасающиеся с пределами той страны, до местностей земель Могулистана, ... до области киргизов и до границ пустынь, соприкасающихся со страной уйгуров” (Рашид-ад-Дин 1952, т. I, кн. I: 135-137). Совершенно очевидно, что территории кыргызов и найманов соприкасались именно в Туве, и найманы просто расширили свои владения за счёт соседей. В целом я считаю возможным уверенно говорить о том, что уход кыргызов из Тувы был прямым следствием их поражения в войне с найманами примерно в третьей четверти XII века. Это, в свою очередь, означает, что “каменная” волна инноваций датируется последующими десятилетиями, то есть последней третью или четвертью XII столетия. Сверху она ограничена соотносимостью следующей волны инноваций с монгольским завоеванием. Справедливости ради заметим, что осторожная попытка связать кыргызо-найманские отношения с проблемой ареала кыргызской культуры сделана Д.Г.Савиновым — правда, без далеко идущих выводов (Грач, Савинов, Длужневская 1998: 76). Как уже было сказано, миграционные потоки, приведшие на Средний Енисей носителей “каменных” инноваций, берут начало в Восточной Европе и в Приуралье. Обстановка в западной части степей и лесостепей в предшествующие десятилетия характеризовалась неустойчивым равновесием сил. После походов Владимира Мономаха и его наследников в Диком поле существовали только разрозненные, не представлявшие особой силы орды, в целом миро соседствовавшие со столь же разрозненными русскими волостями. Взаимные мелкие набеги сочетались с торговлей и брачными союзами. По степным меркам время было мирное. Однако в 1160-х — начале 1170-х гг. в степи по неизвестным причинам выстраивается мощный половецкий союз под властью Кончака, знаменитого благодаря “Слову о полку игореве”. С 1172 года этот союз уже упоминается в летописях. История степняков однозначно свидетельствует, что подобные образования складывались со смутами и кровопролитиями. Отдельные вольнолюбивые племена отказывались смириться с возвышением других, сами претендовали на гегемонию. И хотя по невнимательности русских летописцев сведения о межплеменных распрях до нас не дошли, можно уверенно говорить о том, что наряду со сплочением одних племён и родов под властью Кончака — другие оставались в оппозиции новой гегемонии и неизбежно рассеивались. Археологические данные о восточноевропейском происхождении “каменных” инноваций и приведённые выше хронологические сопоставления позволяют довольно уверенно предполагать, что с образованием в восточноевропейских степях половецкого союза племён под властью Кончака какая-то часть кочевников вновь ушла на восток и принесла в Южную Сибирь инновации “каменного этапа”. Произошло это где-то в 1170-х гг., осторожнее говоря — в последней трети или четверти XII века.

Касаясь вопроса о происхождении инноваций часовенногорской волны, необходимо иметь в виду весьма интересный комплекс, который не был известен при выработке периодизаций И.Л.Кызласова и Д.Г.Савинова. Речь идёт о кургане Кула-Айгыр, исследованном в 1987 году в Казахстане неподалёку от Караганды (Боталов 1992). К сожалению, как это часто бывает, первые раскопки произвели непрофессионалы; впрочем, при доследовании памятника археологами удалось в целом реконструировать первоначальный облик этого интереснейшего комплекса.

Погребение по обряду труположения совершено в яме под небольшим каменным курганом. Оставшиеся непотревоженными кости свидетельствовали о северо-восточной

ориентации погребённой (С.Г.Боталов пишет, что в этой могиле была похоронена женщина). В головах лежал серебряный кубок с оторванным поддоном, в ногах — стремяна. У левого колена найдены две серебряные нашивные пластины. При обследовании всей площадки, занятой курганом, нашлись и перетащенные грызунами наременные пластины — железные с серебряной аппликацией, серебряная и серебряная с позолотой. К тому же комплексу относится превосходное китайское бронзовое зеркало на длинной ручке, со сценой чаепития, изображённой на обороте диска.[Рис.99-100]. Основываясь на работах И.Л.Кызласова, С.Г.Боталов определяет комплекс как аскизский каменского этапа, свидетельствующий, по заключению автора, о существовании “своеобразного коридора западных этнополитических миграций населения древнехакасского государства” в XIII веке (Боталов 1992: 238). При очевидной ошибочности предложенной автором интерпретации, сам материал, безусловно, в высшей степени замечателен.

Несомненно, курган Кула-Айгыр принадлежит к той же культурной традиции, что и погребения с “часовенногорскими” типами. Совпадают ориентация, сходны изделия, совпадает даже такая ритуальная норма, как отчленение поддона у серебряного кубка — всё указывает на только на типологическую близость комплексов, но и на несомненное палеоэтнографическое единство людей, оставивших эти памятники. Тем более важно рассмотреть различия, на фоне которых и черты сходства могут “заиграть” по-новому. По логике, заимствованной челябинским археологом у своих московских коллег, кула-айгырские находки по сравнению с енисейскими должны быть вторичны. Так ли это?

Обряд погребения в кула-айгырском кургане как бы объединяет признаки, известные по часовенногорскому и урбюнскому комплексам: ингумация в яме, северо-восточная ориентация, как на Часовенной горе, повреждение кубка, как на Урбюне. Кстати, таким же образом испорчены кубки и в некоторых кладах (Кызласов И. 1983: 64); выше уже упоминался приамурский обычай пробивать донце у помещаемых в могилы сосудов — это направление согласуется и с другими забайкальскими аналогиями часовенногорским типам. Состав инвентаря отличается тем, что в кула-айгырском кургане из всего набора вещей, обязательных для синхронных южносибирских погребений, найдены только стремяна и накладки с вогнутыми сторонами, а также кубок. В аскизских же погребениях не бывает ни чеканных нашивок из драгоценных металлов, ни китайских зеркал.

Интересны и морфологические отличия сопоставимых изделий. У наременных накладок из Кула-Айгыра несколько иные пропорции, чем у минусинских — “носок” оттянут очень сильно, а сама бляха короче. Сходно выглядят лишь урбюнские находки, а в прочих случаях бляха длиннее “носка”. Стороны у кула-айгырских пластин вогнуты очень сильно (в чём опять же проявляется сходство с урбюнскими), тогда как минусинские скорее спрямлены, а вогнутость лишь намечается благодаря выступающим “мысам” с заклёпками [Рис.100]. Кула-айгырские стремяна имеют на подножках нервюры с негативным желобком на обороте подножки; на аскизских же стремянах редко встречаются даже типовые нервюры (Кызласов И. 1983: 60). В отличие от минусинских стремян, кула-айгырские позолочены.

Кубок из Кула-Айгыра несёт три схематичных изображения (лошадь, олень, корова), тогда как аскизская традиция не знает анималистического декора. Пояски под венчиком и на поддоне украшены мелкими кружочками (прямо ассоциирующимися с “жемчужником”), тогда как минусинские кубки либо вообще не имеют декора, либо украшены поясками растительного орнамента; кружковый декор на аскизских вещах не встречается [Рис.100]. Нашивные пластины (обшлага?) окантованы “жемчужником”, по верхнему краю пущен орнамент “бегущая лоза”, а центральное поле окантовано таким образом, что оно принимает специфические “пламевидные” очертания, совпадающие с контуром окончания наконечника из колл. Островских (Кызласов И. 1983: 126 - Табл. XXVIII,22); из той же коллекции происходит уникальная для Минусинской котловины подвеска с двойным шарниром (там же, 22). Наконечник из колл. Островских имеет два симметричных отверстия, окантованные фигурной “галочкой”; эта, казалось бы, мелкая деталь выводит сопоставление на новый уровень, так как является узнаваемым элементом традиции геральдических поясов, доживающий до столь позднего времени лишь на западе степей и лесостепей [Рис.101]. Ту же фестончато-пламевидную форму имеет медальон из детской могилы 3 кург. 3 мог-ка Кирбинский лог (Савинов, Павлов, Паульс 1988: 98, 95 — Рис.12: 6); от ушка медальона спущена странная

двойная петля, совершенно загадочная вне предлагаемых здесь сопоставлений, но на их фоне вполне объяснимая: это — редкое искажение стандартной геральдической композиции [Рис.101]. Как уже говорилось, впускные погребения Кирбинского лога связаны с восточноказахстанской традицией. Всё это позволяет говорить о том, что в Центральном — Восточном Казахстане с конца I тыс.н.э. (а быть может, и ранее) существовал центр, где складывались весьма оригинальные, композитные формы, тем или иным путём в разное время попадавшие в соседние области и культуры.

Следует отметить, что часть линейно-зигзаговых орнаментов, представленных на изделиях из могил “часовенногорской группы”, является как бы “сплющенной” версией классической для Саяно-Алтая плетёнки; для аскизских вещей такой декор нехарактерен, зато он представлен на кула-айгырских находках [Рис.101].

Таким образом, случайно попавший в поле зрения археологов курган Кула-Айгыр предоставляет счастливую возможность лучше понять и подробнее прокомментировать памятники “часовенногорской” группы. Несомненно, они в целом инокультурны, но можно говорить и о восприятии кыргызами некоторых традиций этого круга. Так, погребённый в Урбюне по происхождению был, вероятно, кыргызом, усвоившим на службе у новой власти новейшие культурные веяния. Расположение этого погребения в Туве, откуда кыргызов давно выбили найманы, косвенно указывает на принадлежность комплекса к тому времени, когда территориальные притязания отдельных племён уже не имели значения. Выше говорилось о том, что погребения “часовенногорской” группы могут быть связаны с монгольской имперской администрацией. Казахстанское происхождение некоторых традиций согласуется с приводимыми И.Л.Кызласовым данными о том, что приенисейские степи для монголов завоёвывали кыпчаки (Кызласов И. 1980). Вместе с тем несомненные дальневосточные элементы свидетельствуют о мощном культурном влиянии этноса-гегемона. Монгольская администрация могла появиться на Енисее лишь после повторного завоевания в 1218 году, а в 1273 году начались кыргызские восстания против монголов (перипетии см. ниже, в разделе VI. 7.). Поэтому резонно относить енисейские памятники “часовенногорской” группы к интервалу 1218-1273 гг., а время появления соответствующих инноваций следует определять как вторая четверть XIII века (хотя теоретически их появление было возможно уже после 1208 года). При самом осторожном подходе время “часовенногорских” типов на Енисее нужно обозначить как первая половина XIII века.

Таким образом, представляется возможным заключить следующее.

1. “Каменная” и “часовенногорская” волны инноваций должны быть разделены: первая предшествовала второй.
2. “Каменные” инновации появились после ухода кыргызов из Тувы. Кыргызы покинули Туву после того, как в третьей четверти XII века они были разбиты найманами.
3. “Каменные” инновации принесены на Средний Енисей мигрантами из Восточной Европы, “выдавленными” со своей родины половецким союзом хана Кончака; усвоение инноваций этой группы относится к последней трети — четверти XII века.
4. “Часовенногорские” инновации — следствие включения Южной Сибири в сферу влияния монголов. Эти инновации не принадлежат к кыргызской культуре; соответствующие памятники, всего вероятнее, оставлены между 1218 и 1273 годами представителями монгольской администрации (в том числе и кыргызами по происхождению). Собственно кыргызские памятники с отдельными “часовенногорскими” вещами единичны. Выводы настоящего раздела позволяют подойти к анализу проблем общей хронологии и периодизации аскизской культуры с принципиально новых позиций, чему и посвящён следующий раздел.

VI. 5. Общие вопросы хронологии и периодизации аскизской культуры.

Изложенные в предыдущих разделах соображения как бы размечают шкалу хронологии аскизской культуры, расставляют базовые, реперные точки. Следует рассмотреть два связанных вопроса: 1) возможно ли более подробное датирование памятников, и 2) каковы должны быть принципы внутреннего членения истории аскизской культуры. Нижняя дата культуры общо определяется как начало X века. С 925 года кыргызы оказываются в сфере влияния киданей

Восточной Ляо; это привело к тому, что на Среднем и Верхнем Енисее, как и в целом по Центральной Азии, распространились ляоские (киданьские) традиции оформления престижных изделий. Примерно в то же время в состав кыргызского общества вливаются переселенцы с запада, носители традиций, происходящих из хазаро-болгарской культурной среды. На протяжении всего X века ляоские традиции сосуществуют с западными, прежде всего на территории Тувы (наиболее ярко это совмещение проявилось в материалах могильника Эйлиг-хем III), тогда как в минусинских памятниках влияние западных традиций минимально. Примерно в третьей четверти X в. происходят события, в результате которых часть кыргызов, придерживавшихся ляоских традиций, была вытеснена из Тувы на север, в Минусинскую котловину, где появляются знаменитые погребения Копёнского чаатаса. К концу X века тувинские кыргызы берут под свой контроль и минусинскую “метрополию”, откуда небольшая группа старой кыргызской аристократии бежала на Иртыш к кимакам. Ляоские традиции вытесняются; отдельные случаи обнаружения изделий ляоского стиля в аскизских погребениях с так называемым “женским” набором вещей позволяют предположить, что некоторые прежние традиции какое-то время ещё бытовали в рамках женской субкультуры.

Очевидно, что охарактеризованный период истории кыргызов следует рассматривать как единое целое. Как и в других случаях, культурная трансформация была стимулирована внешними воздействиями, причём в данном случае две совершенно различные волны влияний — дальневосточная и западная — столкнулись и промаркировали внутреннее противостояние в кыргызском обществе. Вопросы хронологии тувинских памятников этого периода наиболее подробно рассмотрены в работах Г.В.Длужневской. Сводная таблица с указанием вероятных дат, предложенных этим автором, воспроизводится [Рис.102]. Практикуемые автором прямые синхронизации схожих кыргызских и ляоских типов несколько условны; учитывая направление влияний, следует иметь в виду вероятность некоторого “запаздывания” кыргызских вещей по сравнению с киданьскими прототипами. Намного сложнее обстоит дело с периодом от захвата тувинскими кыргызами минусинских котловин в третьей-четвёртой четверти X в. и до поражения кыргызов в войне с найманами, приведшему к потере Тувы в третьей четверти XII века. На протяжении этого полуторавекового интервала аскизская культура, по-видимому, не испытывала явных внешних воздействий и развивалась замедленно и эволюционно. Возможно ли проследить эту эволюцию? Стержнем относительной хронологии аскизской культуры является легко прослеживаемое развитие узды [Рис.87]. Если те или иные типы устойчиво сочетаются только с ранними или, наоборот, только с поздними формами удил и псалиев, то их также можно считать соответственно ранними или поздними. Но беда в том, что таким образом проследить развитие прочих аскизских типов не удаётся. Даже столь варибельная форма, как султанчики, не дают оснований строить эволюции: ранние — на коротких пластинах, поздние — на длинных, вот и всё развитие [Рис.62].

Весьма варибельны ременные наконечники и составные шарнирные бляхи. В Своде И.Л.Кызласов посвятил разбору этих категорий инвентаря немало места (1983: 34-35, 46-47, 59-61), однако предложенные им схемы эволюции, как выясняется при ближайшем рассмотрении, фиксируют только изменения, вызванные инновациями “каменского круга”.

Приходится сделать вывод о том, что на протяжении полутора веков (от рубежа X/XI до третьей четверти XII века) аскизские типы практически не изменялись — исключение составляет узда, изменения которой были во многом продиктованы технологическими новациями предшествующего времени. Это был период стабильного существования общества и крайнего консерватизма мастеров и заказчиков. Сегодня нет реальной возможности уточнить даты внутри указанного промежутка времени. В кург. Оглахты III, 5 найдена монета 1008-1016 гг. вместе с вещами, напоминающими одновременно ляоские и более поздние чжурчжэньские типы, а собственно аскизских вещей в этом погребении не оказалось, так что даже счастливая находка датирующей монеты не помогает делу.

Материал позднеаскизских памятников, в отличие от предшествовавших форм, богат вариациями и более перспективен для хронологических построений — во-первых, потому, что теперь аскизские памятники сосредоточены на Среднем Енисее, и нет необходимости учитывать вероятность локальных различий; во-вторых, инновации “каменского” круга, легко вычленимые при общем сопоставлении находок, указывают исходные позиции для целой серии типов. Вместе с тем рассматриваемый период от появления “каменных” инноваций до

следующей, “часовенногорской” волны — составляет не более трёх четвертей века, это три-четыре условных поколения; примерно столько же должно быть и этапов типологического развития.

Рассматривая погребения “черновского периода” и “каменского этапа” (как было сказано, первый из них является не самостоятельным этапом, а частью второго), нельзя не заметить, что иные типы делаются редкими, а то и просто пропадают; другие категории вещей, наоборот, получают широкое распространение. Есть и стабильно бытующие типы, как стойкие, так и восприимчивые к инновациям. Выделение групп соответствующих типов и категорий закладывает основу внутренней хронологии данного периода.

1. Ранние аскизские типы, редкие или исчезающие в “каменско-черновское” время. В быту эти вещи по-прежнему использовались, но в состав сопроводительного инвентаря попадали всё реже. Сюда входят: упоровые удила, вертикальные псалии, шарнирные наконечники, шарнирные, Т-образные и округлые распределители ремней, длиннощитковые пряжки, крюки и петли на пластинах, пряжки-крюки, пинцеты, серьги, бусы, булавки, рукояти плетей, кресала, бляхи с кольцами, напильники-мусаты [Рис.103]. Среди могил “каменского” времени комплексы с этими типами — сравнительно ранние. Нужно заметить, что приведённый список может быть сокращён по мере накопления материала, так как вывод о сравнительной редкости типа связан с представительностью имеющегося материала.

2. Новые типы, ранее в аскизских памятниках не встречавшиеся. Это накладки на деревянные стремена, имитирующие оформление свода корпуса металлических стремян, вилки, крупные седельные бляхи, крюковые удила с круглыми трензелями [Рис.104]. Нужно признать, что первые две формы вообще редки, а вот седельные бляхи — серийная находка. Можно указать две разновидности этих блях: округлые многолепестковые и подчетырёхугольные (четырёхлепестковые). Первые — безусловно датирующие, по ним можно уверенно относить комплексы к “каменскому” времени даже при отсутствии других находок. И.Л.Кызласов пишет, что “местное происхождение их подтверждают экземпляры с характерным для конца малиновского этапа ячеистым узором” (Кызласов И. 1983: 61), но здесь налицо флюктуация инородного типа, воспроизведённого и оформленного местным мастером в привычной для себя технике. Округлых многолепестковых пластин для пробоев в раннеаскизских памятниках нет, так что “выводить” седельные бляхи данного типа просто не из чего; зато на западе у них есть хорошие прототипы [Рис.105]. Другое дело — четырёхлепестковые бляхи. Изделия такого облика могут быть указаны ещё в копёвских материалах, а в раннеаскизских комплексах есть седельные пробой с пластинами четырёхлепестковой формы [Рис.105].

3. Третью группу образуют изделия, представленные в комплексах всех этапов развития аскизской культуры, причём в “каменское” время их изменения практически незаметны. Таковы подтреугольные пряжки-петли, Т-образные застёжки на пластинах, мелкие седельные пробой, стремена, наконечники стрел, сабли/палаши, железные крюки-кочедыки, крайне редкая керамика [Рис.106]. Не исключено, что относительно поздними признаками служат рифление и расширение переднего края пряжек-петель, но для уверенных оценок нужны дополнительные серийные комплексные материалы.

4. Четвёртая группа — традиционные аскизские типы, “впитавшие” инновационные признаки и заметно изменившиеся. Это уздечные султаны, у которых трансформируются пластинчатые основы [Рис.107], рамчатые пряжки с “рогами”-выступами на переднем крае рамки и соответственно оформленные тренчики [Рис.107], ременные бляхи и наконечники, седельные оковки [Рис.107]. Изменения затронули прежде всего декор, наружные контуры пластинчатых деталей, тогда как функциональная сторона осталась прежней. Важным признаком, как верно отмечает и И.Л.Кызласов, является изменение приёма крепления наконечников — парными заклёпками вместо одиночных, что провоцирует и изменение контура: мастера пытаются вписать новый элемент в систему декора, и начинается быстрое накопление изменений [Рис.108]. Соотнося предметный комплекс аскизских погребений с приведённой здесь группировкой, можно указать предпочтительные относительные даты для некоторых памятников “каменско-черновского” времени (в скобках приведены диагностирующие типы; общая принадлежность к рассматриваемому времени специально не обосновывается).

К числу ранних памятников “каменско-черновского” времени могут быть отнесены: Чернова, 12 (упоровые удила, пластинчатые псалии, Т-образные тройники); Хара-хая II, 9 (скоба от стержневого псалия, длиннощитковая пряжка, бляха с подвижным кольцом); Хара-хая II, 13 (шарнирные подвески с определённой морфологией); Тепсей III, 8 (шарнирные подвеска и тройник-распределитель); Каменка V, 3 (упоровые удила, пластинчатые псалии, крюк на пластине, шарнирная подвеска); Оглахты III, (“рогатая” пряжка, прямая реплика западных типов); могильник Терен-хол, практически весь (раннеаскизские типы); Ортызы-оба, 7 (“постгеральдические” бляшки); Тербен-хол, 1-3 (бляхи с подвесными кольцами).

Пластинчатые изделия из курганов этой группы отличаются большей, чем ранее, вычурностью, они удлинены; характерный признак — удвоение стандартных элементов и эксперименты по сочетанию инокультурных признаков с традиционными местными технологиями. Заметно стремление согласовать контуры окончаний пластин с новым приёмом двухзаклёпочного крепления. Например, “фертовые” завершения (термин И.Л.Кызласова) — это попытка переоформить контур, “сломаный” мысами для заклёпок, вынесенными на край пластинки: сначала появляются “фертовые” двухзаклёпочные завершения, а потом, после освоения нового контура, появляются такие же пластинки и с однозаклёпочным креплением [Рис.109]. Формально позднейшим комплексом можно считать Самохвал II,1 с его дисковыми трензелями. От былой вычурности контуров пластин не осталось ничего, кроме нелепых зубчиков на спрямлённых сторонах наконечников нащёчных ремней. Заклёпки вынесены на периметр геометризованного контура, но размещены не на самой пластине, а на особых мысах, как если бы завершение пластин было “вычурным”: две традиции смешаны, стиль разрушен, признаки смешиваются механически [Рис.109]. Поздними нужно также считать большинство курганов Самохвала (кроме указанных как ранние), курганы групп Быстрая I, (1938), Абакан (1946), Берег Енисея, Оглахты III, 6. Для этих памятников обычны характерные седельные оковки, украшенные “жемчужником”. Остаточные ранние признаки перемешаны безо всякого смысла, утрачено понимание как древних местных, так и инокультурных, привнесённых традиций [Рис.109].

Таким образом, выделяются две хронологические группы. Вряд ли можно достоверно провести между ними границу, ведь речь идёт о постепенных изменениях. Можно лишь уточнить, что “часовенногорские” элементы, как и дисковые трензеля, указывают на очень позднюю дату комплекса. Условно и ориентировочно можно отнести раннюю группу к завершающей трети XII, а позднюю — к первой трети XIII вв., не настаивая на проведении границы именно по рубежу веков. В обе группы вошли как “черновские”, так и “каменские” курганы по периодизации И.Л.Кызласова, что лишний раз подтверждает тезис о несостоятельности переименовывания групп в этапы.

Всё сказанное требует вернуться к вопросу о принципах периодизации истории позднекыргызской аскизской культуры. Предлагаемая ниже периодизация использует формально-типологическую группировку как исходный материал, но не является простым переименованием групп в периоды. Она построена с учётом достоверно выявляемых типогенетических процессов, с учётом исторически обусловленных инновационных воздействий и, наконец, с учётом динамики изменения ареала культуры. На первом этапе аскизская культура существует лишь в Туве. На втором — в Туве и в Минусинской котловине. На третьем — уже только в Минусинской котловине. Обретение или утрата целых регионов, как и появление более или менее многочисленных переселенцев из других областей — безусловно этапные события в истории любого народа. Предлагаемая периодизация не навязывает той или иной трактовки событий — она лишь суммирует и систематизирует культурные процессы, спровоцированные перипетиями истории как самих кыргызов, так и других народов. Следует помнить, что верхняя дата каждого этапа весьма условна, ибо начало нового этапа не останавливает развитие традиций предшествующего времени.

Начальный этап развития аскизской культуры можно с полным правом именовать шанчигско-эйлигхемским. Это время формирования нового культурного комплекса в Туве, когда на Среднем Енисее ещё продолжали строить чаатасы, время сосуществования совершенно разнородных традиций — копёно-тюхтятских, явившихся следствием восприятия кыргызами ляоских влияний после 920-х гг., и западных, принесённых на Енисей переселенцами. Учитывая отсутствие опорных дат для протоаскизских западных инноваций

(нельзя исключить, что они появились в Туве ещё до киданей), приходится датировать шанчигско-эйлигхемский этап в целом — X веком.

Как уже говорилось, нет возможности расставить в хронологическом порядке памятники XI — третьей четверти XII вв. И.Л.Кызласов пытался выделить “оглахтинский период малиновского этапа”, но этот подход не оправдан. Вместе с тем и Оглахты, и Малиновка — весьма представительные, показательные памятники, и соответствующий период развития аскизской культуры было бы вполне естественно называть оглахтинско-малиновским, как бы подчёркивая этнокультурное единство двух областей, представленных названными памятниками.

Памятники последней трети XII — первой трети XIII веков фиксируют сокращение ареала культуры и совмещение различных по происхождению традиций в новом, весьма композитном культурном комплексе. И.Л.Кызласов предложил разделять “черновской период малиновского этапа” и “каменный этап”, но эти группы явно не образуют последовательности, просто первая образована памятниками с преобладанием местных традиций, а во вторую вошли памятники с вещами преимущественно инородных, привнесённых типов. Подчёркивая два пути культурной интеграции, определяющей своеобразие данного этапа, его можно именовать каменно-черновским. Предлагаемая периодизация использует те же названия, что и периодизация, разработанная И.Л.Кызласовым. Это сделано потому, что группировка памятников, положенная этим автором в основу своей периодизации, в целом верна, и реорганизуя периодизацию, вряд ли стоит переименовывать группы. Остаётся условным выделение т.н. “завершающего”, “часовенногорского” этапа, предложенное Д.Г.Савиновым. С одной стороны, памятники, указанные этим автором, отличаются не только морфологией и набором предметов сопроводительного инвентаря погребений, но и погребальным обрядом — от способа погребения до устройства наземных сооружений. Как уже сказано, новые традиции не имеют отношения к кыргызской культуре и отражают вхождение кыргызских земель в состав империи монголов; сами же памятники “часовенногорской” группы могут быть интерпретированы как захоронения представителей монгольской администрации. С другой стороны, по некоторым признакам эти памятники могут быть поставлены в один ряд и с некоторыми аскизскими погребениями. Должны быть найдены достоверно кыргызские памятники не только начала, но и середины, и второй половины XIII века, которые однозначно засвидетельствуют усвоение кыргызами “часовенногорских” типов. Тогда можно будет говорить о выделении особого часовенногорского этапа от начала монгольского правления (1208 год) до окончательного разгрома кыргызов (1293 год). Пока же этот этап выделяется, как уже сказано, условно.

ОСНОВЫ ХРОНОЛОГИИ АСКИЗСКОЙ КУЛЬТУРЫ

I этап, шанчигско-эйлигхемский. X — начало XI вв. Тува. Бытуют традиционные стержневые вставные псалии с 8-образными или петельчатыми удилами. Вставные псалии иногда напускаются. Появляются напускные псалии, имитирующие общую форму вставных стержневых. Соседствуют собственно аскизский и ляоский стили оформления изделий, причём ляоские типы постепенно вытесняются [Рис.110].

II этап, оглахтинско-малиновский. XI — XII вв. Тува и Минусинская котловина. Преобладают напускные псалии, используемые с прямоугольно-петельчатыми удилами с “горизонтальным” упором. Последний — естественное утолщение на переходе от плющеного окончания к стержневому грызлу, часто оформленное в виде полочки. С выходом из употребления изделий ляоского (копёно-тюхятского) стиля изделия аскизских типов абсолютно господствуют [Рис.111].

III этап, каменно-черновской. Последняя треть XII в. — первая треть XIII в. Минусинская котловина. Появляются инновации западного происхождения, радикально трансформирующие облик культуры. Тенденция к унификации стиля оформления фурнитуры приводит к тому, что окончания псалиев начинают оформлять сходно с окончаниями наконечников ремней. Это окончательно превращает стержневые (толстые) псалии в пластинчатые. Комбинация “псалий+наконечник” приобретает сходство с шарнирными пластинчатыми тройниками — распределителями ремней. Закрепляется появившаяся ещё на

предыдущем этапе форма удил с “вертикальным упором”, то есть с шипами у оснований внешних петель [Рис.112].

IV этап, часоленогорский, по сути — инокультурный и выделяемый условно. XIII — возможно, частично XIV вв. Вместе с монголами появляются трензеля (т.н. кольчатые псалии) и крюковые удила. В течение XIII века прежняя кыргызская традиция, по-видимому, сосуществует с этим новшеством, которое, однако, подавляет местную традицию восприятия уздечного декора как семантически важного культурного элемента. Собственно аскизские памятники, достоверно относящиеся к этому времени, указать нельзя. Некоторые признаки указывают на деградацию культуры. Памятники XIV века достоверно не выявляются [Рис.113].

I-II этапы объединяют “эйлигхемский” и “оглахтинский” периоды “малиновского” этапа по периодизации И.Л.Кызласова. III этап объединяет памятники “черновского периода” “малиновского этапа” и “каменского” этапа. Условный IV этап включает ряд памятников “каменского” этапа, те же, какие Д.Г.Савинов считает позднекыргызскими. Таким образом, если общая относительная хронология и базовая группировка памятников установлены И.Л.Кызласовым верно, то ни периодизация, ни внутренние абсолютные даты приняты быть не могут.

Приведём таблицу, суммирующую наблюдения о динамике соотношения разнородных компонентов аскизской культуры.

ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ В ПОЗДНЕКЫРГЫЗСКОЙ АСКИЗСКОЙ КУЛЬТУРЕ

I этап	ЗАПАДНЫЕ 1 (ЭЙЛИГХЕМСКИЕ)[+]	ЛЯОСКИЕ (ШАНЧИГСКИЕ)[-]
II этап	АСКИЗСКИЕ (ОГЛАХТИНСКО-МАЛИНОВСКИЕ)[=]	
III этап	ЗАПАДНЫЕ 2 (КАМЕНСКИЕ)[+]	АСКИЗСКИЕ (ЧЕРНОВСКИЕ)[-]
IV этап	ОРДЫНСКИЕ (“ЧАСОВЕННОГОРСКИЕ”) [+]	[АСКИЗСКИЕ] - п-ки не выявлены

(обозначения: [+]: доминирующие; [-]: ослабевающие; [=]: стабильные)

VI. 6. Кыргызские комплексы вне кыргызского ареала.

В предыдущих разделах было показано, что в большинстве случаев памятники, расположенные вне приенисейских котловин и именуемые в литературе кыргызскими, на самом деле оказываются памятниками других народов. Ошибки происходили оттого, что многие типы вещей неправомерно считались специально кыргызскими. Впервые встреченные на Среднем Енисее, эти типы считались специально кыргызскими, однако достаточно было выяснить подлинное происхождение соответствующих ремесленных традиций, как выяснилось, что эти вещи использовали наравне с енисейскими кыргызами другие народы и, таким образом, о кыргызской принадлежности какого-либо памятника эти типы свидетельствовать никак не могут. Следует заметить, что в эпоху раннего средневековья (да и прежде) не было ни одного характерного типа, который сформировался бы на Среднем Енисее и затем распространился бы на обширных территориях. И древние, и раннесредневековые минусинские племена были весьма чутки к веяниям иноземной “моды”, а изделия с местным типогенезом “на экспорт”, судя по всему, не шли. Хроники не говорят о вывозе местных товаров, за исключением природных и сельскохозяйственных, разве что в качестве экспонатов или сувениров от посланников. Единственное упоминание — в “Таншу”: “делают железо, крайне острое, постоянно вывозят к тукюэ”; однако непонятно, что именно вывозили — слитки или готовые изделия. Даже если считать всаднические погребения Саяно-Алтая в известном смысле тюркскими — ничто не указывает на минусинское происхождение находимых в этих могилах железных изделий. Другим критерием, заставляющим исследователей вспоминать о кыргызах, является обычай трупосожжения с погребением пепла на древней дневной

поверхности и с размещением инвентаря отдельной кучкой (в “тайнике”). Как уже говорилось, у кыргызов обычай наземного погребения появился в те же годы, что и у алтайских племён; те и другие памятники, всего вероятнее, говорят о миграциях из Западной Сибири, где можно отыскать примеры более древнего бытования этих обрядов. Уникальные памятники, исследованные в зоне затопления Шульбинской ГЭС, при внимательном изучении оказываются наследием немногочисленной группы старой кыргызской аристократии, бежавшей в конце X века от новых кыргызских иналов к кимакам в Прииртышье. Никакого влияния на местную культуру эта горстка беженцев, естественно, не оказала, зато быстро забыла и собственные традиции.

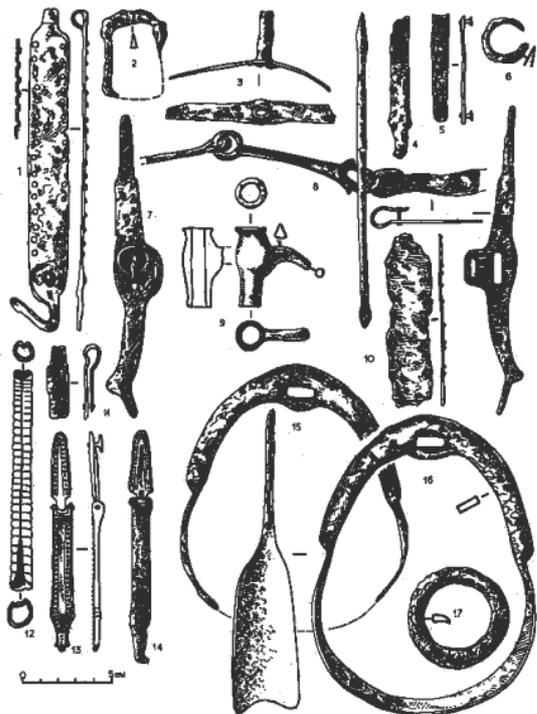


Рис.114. Комплекс Ак-Полак (Степняк). По И.Л.Кызласову.

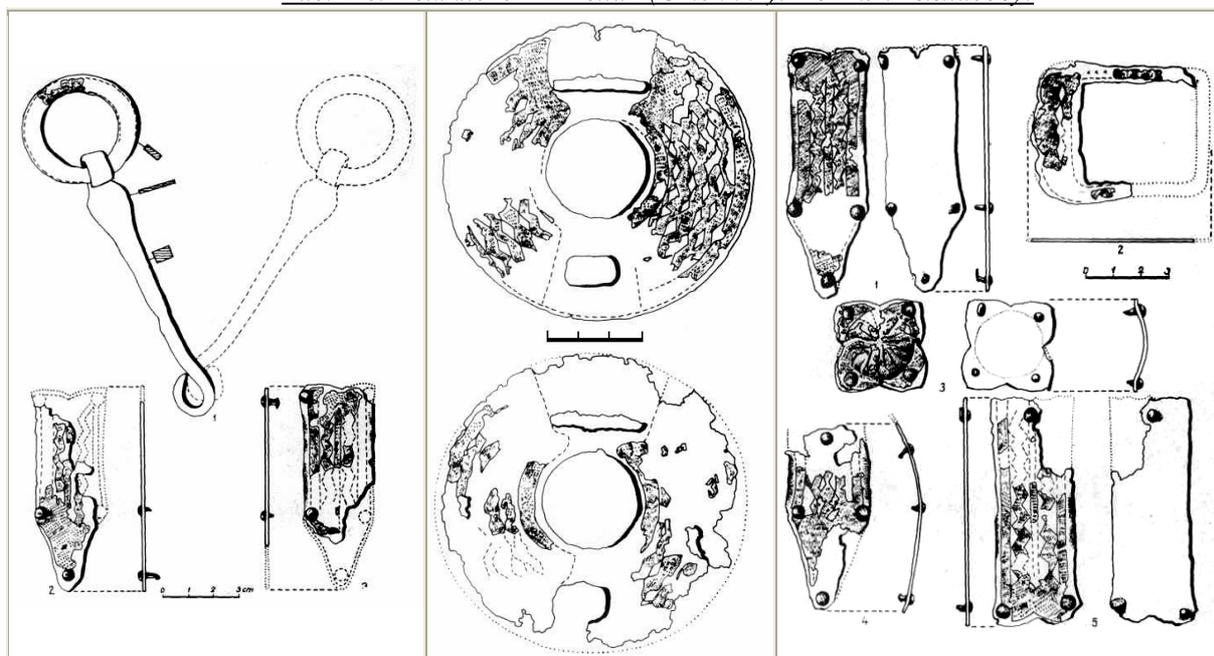


Рис.116. Комплекс находок из-под села Ракамаз в Венгрии (по К. Мейстерхази).

На таком фоне особый интерес вызывают редчайшие комплексы, содержавшие вещи безусловно кыргызского облика, но обнаруженные далеко за пределами кыргызского ареала. Таких комплексов мало — курган Ак-Полак в северо-западном Казахстане, комплекс у села Петровское на Дону, предметный комплекс, найденный у селения Ракамаз в Венгрии. Первые два комплекса опубликованы И.Л.Кызласовым, третий — венгерским исследователем К.Мештерхази. Материалы кургана Ак-Полак/Степняк ([Рис.114]; Кызласов И. 1983: 123 — Табл. XXXV) демонстрируют весьма необычное сочетание признаков. Крюк на пластине, окантованный “жемчужником”, имеет единственный аналог в Минусинской котловине, причём бронзовый. На Енисее в пору распространения “жемчужника” крюки в могилы уже не попадали. Уникальна по декору и украшенная тем же “жемчужником” шарнирная бляха. Гофрированная пронизка в аскизских памятниках аналогов не имеет. Шипоупоровые удила необычны слишком заглублённым отверстием — стандарт типа подразумевает отверстие не глубже линии шипов. Псалии, относящиеся к IV этапу развития узды, сделаны крайне грубо и неумело. Стремена с гладкогребневым сводом корпуса — совершенно не аскизские. В целом комплекс кургана Ак-Полак образован вещами, либо вовсе не аскизскими, либо сделанными в аскизских “до-каменных” традициях, но с “каменскими” элементами, причём этот синтез происходит не так, как на Енисее. Такое ощущение, будто заказчик чуть ли не “на пальцах” объяснял мастеру, что именно от него требуется, и мастер был вынужден воспроизводить неизвестный ему стиль оформления “на слух”. Можно предположить, что в кургане погребён кыргыз, живший среди первоначальных носителей “прото-каменных” традиций и пытавшийся сохранить своё этнокультурное своеобразие. Сходным образом интерпретируется и комплекс у села Петровское на Дону, где вместе найдены аскизские и половецкие вещи. У селения Ракамаз в Венгрии найдены предметы, несомненно связанные с традициями “часовенногорского” круга: накладки с деградировавшей имитацией плетёнки и точно так же декорированные дисковые трензеля [Рис.116]. К.Мештерхази, опубликовавший данный комплекс, полагает, что ракамазские вещи попали в Венгрию не позднее 1285 года, так как именно тогда произошёл последний татарский набег в Венгрию (Мештерхази 1984: 61). Публикатор не рискует связывать эти вещи именно с погребением, и хотя комплексность в данном случае подтверждается единством декора, корректно соотносить отложение конкретного сбруйного комплекта с тем или иным историческим событием практически невозможно. Енисейские дисковые трензеля “каменных” памятников имеют либо растительный, либо рассыпной декор, что соответствует традиции украшения поздних пластинчатых псалиев. Ракамазские же находки типологически позже, так как они украшены “часовенногорским” вариантом плетёнки, о котором уже говорилось выше. Первоначально эти вещи, несомненно, принадлежали какому-то кыргызу, однако уточнить их историю нельзя. Памятуя о выводах, сделанных выше насчёт комплексов “часовенногорского” круга, можно предположить, что этот воин состоял на монгольской службе и занимал некий пост, или же это действительно просто экзотические трофеи — но и только.

Кыргызские памятники, обнаруженные за пределами кыргызского ареала, не позволяют говорить о каком-либо расселении; это в лучшем случае свидетельства верности своим традициям отдельных кыргызов, при неизвестных обстоятельствах в разное время оказавшихся далеко на чужбине.

VI. 7. Конец истории кыргызского государства.

История енисейских кыргызов как самостоятельного народа со своим государством завершается в монгольскую эпоху. Весь XIII век на Енисее — это время долгой агонии, обусловленной столкновением с принципиально новой системой гегемонии. Енисейские кыргызы оказались перед монгольской угрозой в самом начале столетия.

“В году толай, являющемся годом зайца, соответствующем месяцам 603 г. (8 августа 1206 — 27 июня 1207 г.), Чингиз-хан послал гонцами к этим двум государям Алтана и Букра и призвал их к подчинению. Те послали назад вместе с ними трёх своих эмиров, коих звали:

Урут-Утуджу, Элик-Тимур и Аткирак, с белым соколом, как выражение почтения от младшего к старшему, и подчинились. //

Спустя двенадцать лет, в год барса, когда восстало одно (из) племён тумат, сидевшее в Баргуждин-Токуме и Байлуке, для его покорения, из-за того, что оно было поблизости от киргизов, потребовали от киргизов войско; те не дали и восстали. Чингиз-хан послал к ним своего сына Джочи с войском. Курлун (был) их (киргизов) предводитель; (монгольский эмир) по имени Нока отправился в передовом отряде; он обратил в бегство киргизов и вернулся назад от восьмой реки. Когда подоспел Джочи, лёд сковал реку Кэм-Кэмджиут. Он (Джочи) прошёл по льду и, подчинив киргизов, вернулся назад" (Рашид-ад-Дин 1952, т. I, кн. I: 150-151).

Древние кыргызы: к периодизации истории культуры.

1. Существующие в научной литературе концепции истории культуры енисейских кыргызов основаны на взглядах, сложившихся ещё в 30-50-х гг., когда методика полевых исследований была несовершенна, а даты определялись по неточным и случайным аналогиям. Неясность типогенеза кыргызской культуры, нечёткость в определении направления и характера связей - всё это привело к несоответствию современных данных бытующим воззрениям. Необходима новая система взглядов, внутренне непротиворечивая и согласованная с информацией по другим регионам и культурам.

2. Ранние известия о кыргазах никак не связаны с Южной Сибирью: *гэгунь* жили к северу от Ордоса, *гяньгунь* - в Джунгарии. Слова "Тан Шу" о том, что "Хягас есть древнее государство Гяньгунь" □ следствие борьбы китайцев за влияние на кыргызов через мифическое родство династий. Первое достоверное упоминание о кыргазах, живущих на Енисее □ в китайском изложении тюркских преданий, где сказано о владении Цигу (Кыргыз) на реках Афу и Гянь (соответственно Абакан и Енисей). Принципиально важны выводы С.Г.Кляшторного о том, что расселение раннетюркских племён произошло после 460 г., и Д.Г.Савинова - о соотносимости Цигу о племенами, оставившими склепы таштыкской культуры. Эти заключения полностью согласуются с результатами типогенетических построений. В развитие выводов С.А.Теплоухова, М.П.Грязнова и Э.Б.Вадецкой следует обособить "таштыкские" грунтовые могилы в особую археологическую культуру первой пол. I тыс. н.э., которую по самому известному памятнику можно называть *оглахтинской*. Эта культура развивала многие традиции предшествующего тесинского этапа; в рамках же таштыкской культуры остаются прежде всего склепы, которые и нужно считать раннекыргызскими памятниками.

3. Частично подтверждаются выводы А.К.Амброза о датах ряда сибирских культур. Систематизация датированных аналогий и типогенетический анализ таштыкских находок показали, что исходной средой, откуда могли произойти таштыкские пряжки, были позднесарматская и черняховская культуры. Рудименты деталей, типичных для вещей гуннов, уточняют: комплекс признаков, образующих таштыкские пряжки, сформировался к концу IV-V вв. на западе степей в смешанной среде, возникшей с разгромом державы Германариха. Таштыкские типы сложились уже в Азии, куда группы западных кочевников проникли в связи с согдийской колонизацией Туркестана (в качестве охраны согдийских караванов?). Западные компоненты раннетюркской общности отразились в кокзельских, фоминских, одинцовских, кокпашских, балактыюльских и таштыкских материалах наряду с местными и позднехуннскими традициями. Пряжки □ почти обязательная находка в таштыкских склепах, и эти памятники датируются не ниже V в., точнее - после 460 г.

4. Новые открытия на чаатасах ведут к ряду выводов о времени и обстоятельствах смены доминирующих традиций у кыргызов. Обычные для чаатасов ограды со стелами - исходно поминальные объекты, следствие влияния всаднических культур. Вазы и баночные сосуды, наряду с оградами определяющие специфику классической кыргызской культуры - результат влияния культуры могильников Чааты (Тува); декор круговых ваз развивает местные традиции. Перемены связаны с зависимостью кыргызов от сиров (кит. сйеяньто) в 630-646 гг., когда на Среднем Енисее существовало сирское эльтеберство; тогда же кыргызы усвоили и черты тюркской государственности.

5. С появлением оград склепы не исчезли, хотя связанные с ними обычаи трансформировались. Строительство склепов прекратилось лишь после уйгурских набегов второй пол. VIII в. - уйгурские источники прямо говорят о массовом истреблении кыргызов. Эти нечёткие данные - пока единственный ориентир в поиске даты финала таштыкской

погребальной традиции. С IX в. таштыкские вещи единичны и не образуют комплексов. Потери были восполнены за счёт притока населения с запада: появились инокультурные могилы, вещи кимакского происхождения. Хроники говорят о связях кыргызов с западными соседями. Показательны имитации изваяний семиреченской традиции, выполненные петроглифистами с нарушением типовой композиции стандартных элементов (эти стелы часто неверно называют таштыкскими). В конце VIII - начале IX вв. у кыргызов, как и в целом по Азии, распространяются хазаро-болгарские инновации □ вероятно, следствие ухода на восток противников кагана-реформатора Обадии.

6. Обычная трактовка событий 840 г. как большой победы кыргызов над уйгурами и возникновения мощного кыргызского государства в центре Азии - не соответствует указаниям источников. В 839 г. одна из уйгурских партий совершила переворот с помощью тюрок-шато, а через год побеждённые попробовали взять реванш с помощью кыргызов; те, однако, вышли из подчинения и разорили столицу, но полностью одолеть уйгуров не смогли и захватили только лишь Туву. Хроника отмечает быструю утрату китайцами интереса к кыргызам - значит, большого кыргызского государства не возникло, а введённый В.В.Бартольд термин «кыргызское великодержавие», как указывал и С.М.Абрамзон - сильное преувеличение.

7. Неверно и мнение о продвижении кыргызов после 840 г. на запад. Ни один из называемых при этом памятников не может считаться достоверно кыргызским. Обряд сожжения не может служить определяющим критерием кыргызской принадлежности памятника — он бытовал в Западной Сибири и прежде; захоронение на поверхности - тоже западный обычай, ранее кыргызам не известный. Наоборот, он усвоен кыргызами в IX в. вместе с предметными типами западного происхождения. Не исключены миграции западносибирских племён на Средний Енисей.

8. Строительство чаатасов продолжалось до конца X в., но уже в первой трети этого века кыргызская культура приняла две новые волны инноваций - с востока (кидани Восточной Ляо, см. работы Г.В.Длужневской) и с запада (позднехазарские, вызванные миграциями, спровоцированными, в свою очередь, вторжением печенегов в Европу - не путать с волной раннехазарских влияний конца VIII - начала IX вв.). Первоначально доминировавшие ляоские черты были поглощены конгломератом местных и западных элементов культуры. К концу X в. на основе западных инноваций в Туве сложилась новая культура (часто именуемая аскизской); её экспансия в Минусинскую котловину (возможно, военная) привела к прекращению строительства чаатасов и бегству части населения на Иртыш, под власть кимаков (шульбинские памятники типа чаатасов). Полтора века позднекыргызская аскизская культура развивалась без заметных потрясений, как в Туве, так и в Минусинской котловине.

9. В третьей четверти XII в. найманы выбили кыргызов из Тувы. Затем на Среднем Енисее распространились инновации "каменского этапа". Прототипы "каменных" вещей есть в Поволжье и в Приуралье; в Туве изделий этого круга практически нет. Возможно, новый отток западных племён в Сибирь был вызван созданием половецкого союза под властью Кончака. "Каменные" типы конца XII в. не следует путать с "часовенногорскими" первой половины XIII в., маркирующими сферу золотоордынского контроля и представленными обычно в инокультурных могилах. Развитие кыргызской культуры было пресечено в 1293 г. монголами. Выделить более поздние аскизские памятники пока не удаётся.

10. Предлагаемая периодизация:

□ конец V □ сер. VII вв.: **раннекыргызская таштыкская культура**, склепы, традиции живут до конца VIII в.;

□ сер. VII □ конец X вв.: **классическая кыргызская культура**, чаатасы и склепы (до конца VIII в.), чаатасы и курганные группы (с начала IX в.);

□ начало X □ конец XIII вв.: **позднекыргызская аскизская культура**, могильники в Туве и чаатасы на Среднем Енисее (до конца X в.), могильники типа сууктэр (с рубежа X/XI вв.); тувинские памятники выделяемой рядом авторов "тюхтятской культуры" рассматриваются как памятники первого (эйлигхемского) этапа аскизской культуры.

11. В 1948 г. Л.А.Евтюхова отмечала, что история кыргызов должна рассматриваться не изолированно, а в связи с историей народов Центральной Азии. Новые изыскания показывают, что не менее прочно кыргызская история связана с судьбами западносибирских и восточноевропейских народов. Недостаточный учёт западных связей и чрезмерное желание

отдельных исследователей видеть изучаемый ими народ великим и могучим □ это и привело к появлению лакун, заполнить которые удаётся лишь через полвека после выхода основополагающего труда.

Персональный Сайт <http://kronk.narod.ru/>, Павел Азбелев. Всякие различия и разные всякости.

<http://www.altaiinter.org/project/culture/Cronology/Eurasia/Tasht%20Dress/tash01.htm>

Тетерин Ю. В. Центральноеазиатские элементы таштыкского костюма (по материалам грунтовых могил) // Евразия: культурное наследие древних цивилизаций. Вып. 2. Горизонты Евразии: Сб. науч. ст. / Ред. и сост. О. А. Митько.- Новосибирск, 1999.- С. 7-10.

ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ТАШТЫКСКОГО КОСТЮМА (по материалам грунтовых могил).

Костюм, являясь неотъемлемым элементом материальной культуры любого народа, служит важнейшим источником для изучения его происхождения и истории. Исследование костюма древних народов Южной Сибири и Центральной Азии связано, прежде всего, с анализом археологических материалов. Не является исключением в этом отношении и костюм населения таштыкской культуры, существовавшей в степях Среднего Енисея в первой половине I тыс. н. э. Среди других культур гунно-сарматского времени она выделяется разнообразием памятников и форм погребальной обрядности.

Многие исследователи неоднократно отмечали центрально- и восточно-азиатские параллели отдельным элементам этой культуры. В их числе, как правило, упоминаются форма и устройство склепов, отдельные типы керамики и ее орнаментация, погребальные статуэтки и церемониальные зонты, шелковые ткани и др. [Киселев, 1951, с. 432, 442, 465; Кызласов, 1960, с. 27, 49, 64; Савинов, 1984, с. 26, 42]. Важное значение для выяснения роли центрально-азиатского вклада в формирование и эволюцию таштыкской культуры имеют и археологические данные, характеризующие костюм.

В этнографической и историко-археологической литературе в настоящее время прочно утвердился подход, при котором костюм изучается как целостное культурно-историческое явление. Костюм рассматривается в единстве всех своих составных частей. К ним относятся головные уборы и прически, верхняя и нижняя одежда, обувь и аксессуары: украшения, металлические и иные детали, пояс со всеми его элементами - пряжками, наконечниками ремней, накладками, подвесками.

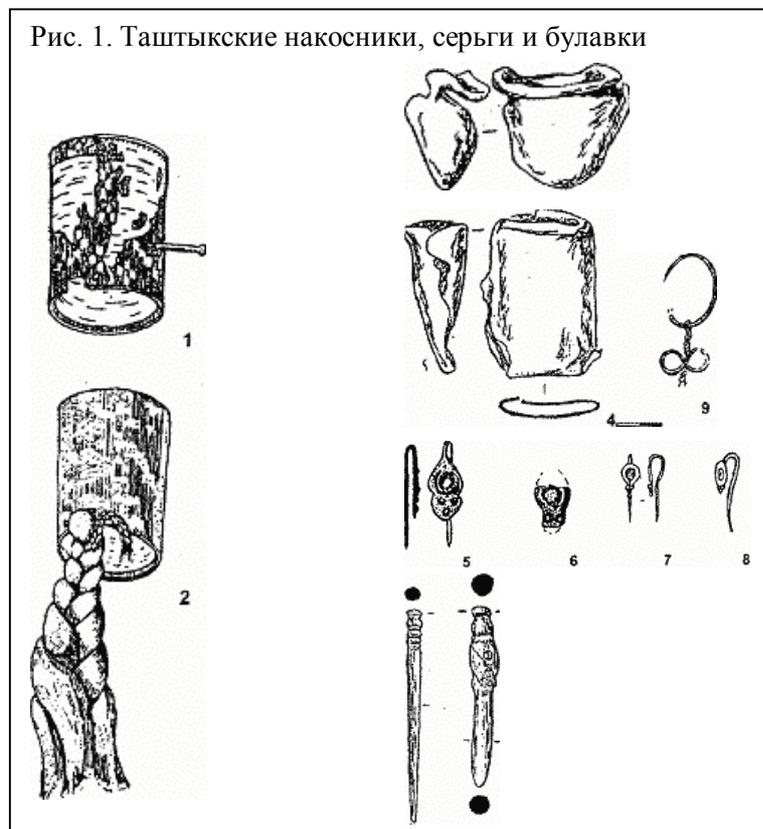
Изучение таштыкского костюма во всей полноте и единстве всех структурных компонентов, к сожалению, затруднено рядом объективных обстоятельств. Первое из них заключается в том, что в силу сохранности археологических источников мы имеем сравнительно немного сведений о форме и покрое одежды, головных уборах и обуви. В основном эти сведения восходят к материалам не потревоженных огластинских грунтовых могил, и в меньшей степени к памятникам изобразительного искусства: деревянным резным планкам, деревянной скульптуре, наскальным изображениям. Эти материалы неоднократно анализировались в научной литературе [Сосновский, 1933, с. 36-37; Киселев, 1951, с. 403; Грязнов, 1971, с. 99-101; Кызласов, 1992б, с. 66-67; Вадецкая, 1992, с. 239-240, Вадецкая, 1999, с. 49-56; Худяков, 1986а, с. 104-108]. Поэтому по результатам археологических раскопок и музейным экспонатам наиболее реальной задачей представляется изучение не всего костюма, а отдельных его элементов, прежде всего поясных наборов, украшений, металлических и костяных деталей головных уборов и одежды.

Второе обстоятельство вытекает из первого. По материалам археологических раскопок нам известен в первую очередь погребальный костюм и его отдельные элементы. Как свидетельствуют этнографические наблюдения, он может значительно отличаться от повседневного и парадного. Не является исключением в данном отношении и таштыкский погребальный костюм. В чем же его специфика?

По находкам огластинского могильника установлено, что умерших погребали в повседневной бытовой одежде: в куртках, шубах, штанах. Вероятно, так же хоронили и в

склепах. Но аксессуары костюма, т.е. украшения, амулеты, поясные детали, как в грунтовых могилах, так и в склепах, за редким исключением, изготавливались специально для погребения (глиняные и деревянные бляшки, парные головки коней, миниатюрные пряжки и т.д.). Данная черта обряда хорошо вписывается в общий контекст таштыкского погребального ритуала, для которого характерен символизм. Выражался он, в частности, и в практически полном отсутствии в могилах утилитарных, полноразмерных вещей, которые заменялись копиями, моделями, символами реальных предметов (деревянные модели оружия, железные, миниатюрные удила, астргалы и пяточные кости животных и т.д.). [Подольский, 1981, с. 94-95; Подольский, 1998, с. 204]. Необходимо отметить также, что многие предметы из состава погребального инвентаря, которые традиционно рассматриваются как украшения и детали одежды, имели самостоятельную сакральную, знаковую или иную нагрузку (например, парные головки коней, подвески, типично таштыкские пряжки).

При изучении костюма следует учитывать также и другие особенности погребального обряда таштыкской культуры. В грунтовых могилах и склепах очень редко хоронили трупы, как это было принято в синхронных памятниках на сопредельных территориях (в кокэльской культуре Тувы, в берельских и кок-пашских памятниках Горного Алтая). Практиковалось несколько способов погребения. Погребались сожженные на стороне человеческие кости и пепел в куклах-манекенах, кожаных мешочках, берестяных коробах, глиняных сосудах; мумии или мумифицированные останки; компактно сложенные кости целого скелета или отдельных его частей. В последнем случае одежда и ее элементы практически отсутствовали. Что касается кукол-манекенов и мумий, то их, как показывают огластинские находки, хоронили так же, как и трупы - в повседневной или парадной одежде, но со специально изготовленным для погребения инвентарем, украшениями и аксессуарами. Анализируя конкретные археологические материалы, необходимо придерживаться хронологического принципа. Отметим в этой связи, что вопросы хронологии и периодизации таштыкской культуры в настоящее время являются предметом оживленных дискуссий. Не вдаваясь в подробности разногласий, укажем, что в данной работе хронологические рамки таштыкской культуры определяются I-VI вв. н. э., и она делится на два культурно-хронологических этапа: ранний (или батеневский) - I-III вв. н. э. и поздний (или тепсейский) - IV-VI вв. н. э., что соответствует в общих чертах периодизации М. П. Грязнова [Грязнов, 1979б, с. 4]. Укажем также, что при всем многообразии различных точек зрения, все исследователи признают, что грунтовые таштыкские могилы существуют только на раннем этапе (не позже IV в. н. э.).



Большинство отмеченных выше центрально и восточно-азиатских параллелей и новаций характерны в первую очередь для таштыкских склепов и относятся к позднему, тепсейскому этапу существования культуры. Центрально-азиатские связи эпохи грунтовых могил выявлены и изучены в меньшей степени. В контексте культурных связей и заимствований важное значение имеют и материалы,

характеризующие костюм.

Как уже указывалось, в силу специфики погребальной обрядности, материалы, относящиеся к костюму, представлены в грунтовых могилах в очень незначительном количестве. Особенно редки находки металлических украшений и деталей поясов, что объясняется тем, что подобные предметы могли изготавливаться из дерева или иных органических материалов специально для погребения также как деревянные имитации оружия, орудий труда и конской упряжи.

1-4 - берестяные и кожаные наконечники (по Э. Б. Вадецкой) (Оглахты I); 5-9 - серьги (5, 6 - Комаркова-Песчаная, 7 - Копи, 8 - Горькое оз., 9 - Знаменский клад, 5, 6 - серебро, 7-9 - золото); 10-30 - костяные булавки (70 - Тепсей III, 11 - Новая Черная IV, 12-14, 16-18 - Комаркова-Песчаная, 15, 20 - Барсучиха II, 19 - Абаканская управа, 21-30 - Минусинский музей, случайные находки).

К числу украшений и предметов одежды, найденных в грунтовых могилах, относятся наконечники, костяные булавки, серьги, амулеты, гривны, браслеты, бусы, бляшки, пряжки и кольца. К этому же периоду можно отнести и ряд типологически близких предметов из числа случайных находок. Иногда в эту категорию предметов включают и бронзовые зеркала, которые рассматриваются либо как украшения, либо как предметы туалета. На наш взгляд, зеркала и их фрагменты имели в первую очередь сакральную, охранительную функцию. В могилах они могли помещаться как отдельно в деревянных шкатулках, берестяных туесках или коробочках, так и на одежде или поясе в кожаных чехлах или мешочках. Учитывая последнее обстоятельство, их можно рассматривать и как деталь костюма.

Часть украшений из грунтовых могил и сборов, относящихся к этому времени, известна в единичных экземплярах или представлена небольшими сериями предметов. В их числе две бронзовые гривны (одна из числа случайных находок), три браслета (два бронзовых, один кожанно-деревянный), небольшое количество деревянных бляшек и пуговиц (некоторые с обкладками из тонкого листового золота), бронзовая плоская бляшка в виде изображения горного козла, небольшая серия плоских изогнутых бронзовых пластин-амулетов, шесть бронзовых зеркал.

Некоторые из этих предметов (гладкие, круглые в сечении гривны с отверстиями на концах, однорядные гладкие и рифленые браслеты) имеют широкий круг аналогий и не могут служить надежными индикаторами этнокультурных связей. Другие - это, прежде всего, деревянные полусферические, конусовидные, умбовидные бляшки; бронзовые изогнутые пластины-амулеты; дисковидные зеркала с петелькой на обороте - имеют прототипы в культуре местного тагарского населения. С точки зрения инноваций наибольший интерес представляют наконечники, булавки, серьги, зеркала и пряжки.

Таштыкские прически и связанные с ними наконечники и булавки подробно рассмотрены и реконструированы в работах Э. Б. Вадецкой [Вадецкая, 1985, с. 35-37; Вадецкая, 1987, с. 40-52; Вадецкая, 1999, с. 49-52]. По ее мнению, таштыкские женщины любили высокие прически из своих и накладных волос, которые заплетали в косы, укладывали на затылке и закрывали берестяными, обшитыми шелком колпачками-наконечниками. Наконечники закреплялись деревянными и костяными шпильками (рис. 1, 1, 2). Существовали и более сложные прически из вплетенных кос, уложенных на каркасе, закрепленных большим количеством булавок и украшенных низками бус и бисера. Мужчины также заплетали свои волосы в косицу, которую укладывали на темени или собирали на затылке в пучок и прятали в кожаные или шелковые мешочки. Последние завязывали узлом, иногда закрепляя костяной или деревянной булавкой. Остальные волосы вокруг косицы сбрасывали (рис. 1, 3, 4).

Наконечники и булавки не имеют прототипов в тагарской культуре. Деревянные булавки, берестяные и кожаные наконечники сохраняются в могилах очень редко. Наиболее частой находкой являются костяные булавки. Впервые они появляются на территории Минусинской котловины в памятниках тесинского переходного этапа (II в. до н. э. - I в. н. э.). Характерны булавки в первую очередь для грунтовых тесинских могильников, оставленных, по мнению большинства исследователей, инокультурным населением, пришедшим в Минусинскую котловину с юга из-за Саян.

Формально-типологический анализ коллекции среднеенисейских костяных булавок, насчитывающей более 200 экземпляров, позволил разделить их на 23 типа [Тетерин, 1997, с. 40-

41]. Сравнение тесинских и таштыкских булавок дало возможность сделать следующие выводы. К числу массовых, широко распространенных типов тесинских булавок относятся простые, гладкие, костяные стержни без специально оформленных головок и наверший с отверстиями и без отверстий в верхней части. Реже встречаются булавки с дисковидной головкой, иногда со специально оформленной шейкой. Небольшими сериями представлены булавки с гвоздевидной и грибовидной головкой, единичными экземплярами - короткие гладкие и витые стержни с утолщением и отверстием в верхней части.

Таштыкская серия булавок типологически более разнообразна. Наиболее характерными становятся булавки со специально оформленной головкой: шаровидной, дисковидной и гвоздевидной, грибовидной (рис. 1, 12-17). К более редким типам относятся булавки с молоточковидной, лопаточковидной, прямоугольной, зооморфной головкой (рис. 1, 10, 11, 18-21). Судя по размерам и пропорциям, к таштыкской культуре следует относить и единичные типы булавок, известные прежде всего из числа случайных находок: с треугольной, пламевидной, крестообразной головкой, с кольцевидным, черешковым навершием, с валиковым и фигурным оформлением верхней части стержня (рис. 1, 21-30). Полностью исчезают в таштыкское время булавки, наиболее характерные для тесинских памятников, в виде стержня без специально оформленной головки с отверстиями и без отверстий в верхней части стержня. Отметим также, что тесинские булавки в целом крупнее таштыкских. Размеры первых, как правило, достигают 10-15 см, реже встречаются экземпляры длиной 7-10 см. Длина вторых составляет в среднем 4-8 см, редко встречаются экземпляры длиной более 10 см. Отличие в размерах отчасти объясняется разным назначением тесинских и таштыкских булавок. Почти все известные таштыкские булавки, найденные в могилах, можно связать с прическами и головными уборами, т.е. они служили в первую очередь шпильками. Лишь длинные булавки, украшенные зооморфными навершиями, найденные в детских могилах, использовались иначе, вероятно, как заколки для одежды или погребального савана. Назначение тесинских костяных булавок было более разнообразным. Часть из них, найденная у черепов женских скелетов, также использовалась в качестве шпилек. Другие могли употребляться в качестве проколов, шильев, заколок для одежды, что подтверждается их размерами и деталями оформления (отверстия в верхнем конце) и положением в могилах (у пояса, в ногах, в различных частях могилы в сочетании с другими

предметами). Таким образом, анализ среднеенисейской коллекции костяных булавок указывает, с одной стороны, на несомненную генетическую связь отдельных типов таштыкских и тесинских булавок. Булавки с дисковидной, гвоздевидной и грибовидной головкой в единичных экземплярах появляются на тесинском этапе и широко распространяются в раннеташтыкское время. С другой стороны, генезис всей серии таштыкских булавок не сводится только к тесинским прототипам. Отдельные типы булавок характерны только для таштыкской культуры (булавки с шаровидной, пламевидной, молоточковидной головкой и др.). Вероятно, эта часть булавок имеет иное происхождение и связана с другой группой населения, появившейся на Среднем Енисее не раньше I в. н. э. Как уже указывалось, костяные булавки не были известны в тагарской культуре. Не найдены они и в культурах скифского времени Алтая и Тувы, хотя для них были характерны металлические и деревянные булавки с зооморфными навершиями. Пока мы не знаем ни одной археологической культуры позднескифского и раннехуннского времени Сибири и Центральной Азии, где были бы найдены аналогичные тесинским и таштыкским костяные булавки. По мнению Э.



Рис. 2. Таштыкские зеркала, пряжки и кольца.

Б. Вадецкой, их происхождение связано с культурой хунну [Вадецкая, 1984, с. 84]. Однако, на наш взгляд, это предположение не подтверждается конкретными материалами. Для погребений

хунну булавки не характерны. Известны отдельные костяные стержни из Иволгинского городища, напоминающие тесинские костяные булавки [Давыдова, 1995, табл. 180, рис. 3250]. Но эти предметы, скорее всего, использовались в качестве орудий труда (шильев, проколоч и т.д.). Нет никаких данных о том, что они использовались в качестве шпилек.

С другой стороны, обычай ношения высоких женских причесок со своими и накладными волосами, а также сбривания волос и ношения кос мужчинами, был характерен для многих народов Центральной и Восточной Азии: хунну, ухуань, сяньби, жуань-жуаней, турфанцев, тибетцев и др. И поэтому корни тесинского и таштыкского обычая употребления высоких причесок и отрезных кос, а также связанных с ними наконечников и булавок, надо искать именно на этих территориях. Поскольку и тесинские и таштыкские булавки появились на Среднем Енисее уже в сложившемся виде, то их, вероятно, необходимо связывать с какими-то народами, находившимися под властью хунну и переселявшимися на эту территорию во II в. до н. э. - I в. н. э.

В числе других украшений, не имеющих местных корней, можно отметить таштыкские серьги и некоторые типы зеркал. Серьги, найденные в грунтовых могилах, представлены двумя близкими типами. Оба они имеют форму знака вопроса со щитком. У первого типа щиток имеет миндалевидную или овальную форму и заканчивается гроздьё зерни. На щитке гнездо для вставок из цветного стекла или полудрагоценных камней (рис. 1, 7, 8). У серег второго типа щиток имеет фигурную форму и его лицевая сторона оформлена выпуклостями, имитирующими гнезда для вставок. Нижняя часть щитка украшена тремя миниатюрными выпуклостями (рис. 1, 5, 6).

Две серьги первого типа найдены в тесинском склепе (Большой Уйбатский курган), что дало основание Л. Р. Кызласову и другим исследователям относить их появление к тагаро-таштыкскому (тесинскому) переходному этапу. Отметим в этой связи, что находка подобной серьги в Уйбатском кургане остается пока единственной. Более того, по мнению Н. Ю. Кузьмина, проанализировавшего материалы всех тесинских склепов, Большой Уйбатский курган является позднейшим из тесинских склепов и может датироваться временем не ранее I в. н. э. [Кузьмин, 1995, с. 156].

Серьги со щитками и цветными вставками с рубежа тысячелетий распространяются очень широко от сарматского мира на западе до хуннской державы на востоке. У нас нет оснований связывать происхождение данного типа серег с какой-то конкретной центральноазиатской территорией. Но, вероятно, они попали в Минусинскую котловину вместе с остальным комплексом инноваций, имеющим центральноазиатское происхождение. Этот вывод подтверждают и аналогии серьгам второго типа. Наиболее характерны подобные серьги для кокэльской культуры Тувы, которая в настоящее время большинством исследователей датируется первой половиной I тыс. н. э. [Савинов, 1992, с. 108-109]. В свою очередь, и кокэльские и таштыкские экземпляры обнаруживают типологическое сходство с серьгами из могильника Лаохэшэнь, исследованного в северо-восточном Китае, на берегу р. Сунгари. Этот памятник китайские и некоторые наши исследователи относят к культуре сяньби и датируют первыми веками нашей эры. [Excavation at Laoheshen, 1987, p. 61, pic. 54, 8, 9; Комиссаров, 1996, с. 24-28].

В связи с сяньбийскими материалами следует упомянуть и находку золотой серьги в виде крючка с подвеской из перекрученной проволоки из Знаменского клада (рис. 1, 9). Наиболее вероятная датировка клада - I в. н. э. [Тетерин, 1988, с. 32]. Серьги из перекрученной проволоки с различными подвесками (бусами, золотыми листочками) в первые века нашей эры имели широкое распространение на территории северо-восточного Китая и Кореи. Ближайшие аналогии знаменской серьге также имеются в могильнике Ляохэшэнь [Excavation at Laoheshen, 1987, p. 59, pic. 3, 5, 7, p. 61, pic. 54, 7-4]. На этой же территории серьги подобного типа найдены и в могиле у населенного пункта Синьлуншань, которую китайские исследователи датируют концом периода Восточная Хань и также относят к культуре сяньби [Чжан Чжуншу, Чэнь Сянвэй, 1982, рис. 1, 2, 3, 5]. 1-3 - бронзовые зеркала (1 - Есинская МТС, 2 - Староозначенская Переправа I, 3 - Комаркова-Песчаная); 4-16 - пряжки и кольца (4, 5, 7, 8, 10, 12, 16 - Староозначенская Переправа I, 6 - Минусинский музей, случайная находка, 9, 14 - Абакано-Перевоз, 11 - Салбык, 13 - Комаркова-Песчаная, 15 - Абаканская Управа, 4-10, 12-14 - железо, 11, 15, 16 - бронза). Ярким свидетельством тесных связей таштыкской культуры с

Центральной Азии и Китаем являются находки на Среднем Енисее китайских зеркал и их копий. По данным Лубо-Лесниченко, таштыкской эпохой (I в. до н. э.-V в. н. э.) датируется 5 целых и 7 фрагментов подлинных китайских зеркал: 4 экз. - II в. до н. э.- I в. н. э.; 3 экз. - I-III вв. н. э.; 4 экз. - III-V вв. н. э. [Лубо-Лесниченко, 1975, с. 11-13]. Из них собственно к эпохе Хань (в том числе Западной и Восточной Хань), т.е. к тесинскому и раннеташтыкскому периоду, относится 7 экземпляров. Китайские зеркала и их фрагменты высоко ценились местным населением, хранились и употреблялись длительное время. Поэтому зеркала ханьского времени встречаются и в более поздних памятниках. Примером может служить фрагмент зеркала типа TLV I в. н. э., найденный в склепе № 1 Изыхского чаатаса [Кызласов, 1960, рис. 30, 1]. Таштыкские склепы в свете современных данных датируются, вероятно, временем не ранее IV в. н. э. О широкой популярности привозных зеркал в раннеташтыкское время свидетельствует и обычай изготовления местных копий с китайских подлинников. Одно такое зеркало было найдено А. Н. Липским в грунтовой могиле у Есинской МТС (рис. 2, 1). Первоначально этот экземпляр Е. И. Лубо-Лесниченко принял за случайную находку и определил как копию зеркала II в. до н. э., сделанную в XII-XIV вв. [Лубо-Лесниченко, 1975, с. 118, рис. 108]. В настоящее время дата его изготовления определяется I в. до н. э., а время сооружения могилы, в которой данное зеркало было найдено, - I в. н. э. [Вадецкая, 1999, с. 69]. Еще одна копия найдена в таштыкской грунтовой могиле на правом берегу Енисея, в пункте Староозначенская Переправа I (рис. 2, 2). Зеркало хорошей сохранности, изготовлено из желтой бронзы, покрыто незначительными пятнами зеленой окиси. Диаметр 5 см. Лицевая сторона гладкая, на оборотной стороне по краю узкий (3-4 мм) приподнятый бортик, далее орнаментальное поле и в центре - круглая шишка-петля. Внутренний и внешний край орнаментального поля окаймлены лентами из параллельных полосок. Между ними орнамент в виде чередующихся четырех кружков с точкой в центре и четырех стилизованных иероглифов. На орнаментальном поле видны дефекты отливки, орнамент размыт, некоторые детали плохо различимы. Грунтовая могила, в которой было найдено зеркало, датируется I-II вв. н. э.

Е. И. Лубо-Лесниченко, в свое время изучивший все привозные зеркала Минусинской котловины, оставил вопрос о местных таштыкских отливках открытым, мотивируя тем, что такие зеркала не были найдены в закрытых комплексах. К таштыкской культуре он отнес только один экземпляр с лентовидным орнаментом из числа случайных находок [Лубо-Лесниченко, 1975, с. 12], Зато большая серия копий ханьских зеркал (73 экз.), также происходящих из сборов, была отнесена им к IX-XVI вв. [Лубо-Лесниченко, 1975, с. 7]. Есинское и староозначенское зеркала позволяют, на наш взгляд, пересмотреть данную точку зрения и отнести хотя бы часть экземпляров из указанной серии к таштыкскому времени. По крайней мере те признаки, по которым зеркала были отнесены к IX-XVI вв. (небольшие размеры и вес, желтый металл и стертый, местами едва различимый орнамент) характерны и для экземпляров, происходящих непосредственно из грунтовых могил.

Под влиянием китайских и центрально-азиатских образцов в Минусинской котловине появились и неорнаментированные дисковидные зеркала с характерным приподнятым бортиком и шишкой-петлей на оборотной стороне. Такое зеркало найдено в грунтовой таштыкской могильнике Комаркова-Песчаная (рис. 2, 3). По мнению Лубо-Лесниченко, подобная гибридная сибирско-китайская форма зеркал сложилась на рубеже нашей эры в Сибири и, начиная с I в., "быстро распространилась на громадной территории сарматского мира, вплоть до Германии и Франции" [Лубо-Лесниченко, 1975, с. 11]. Для выявления культурных влияний и связей важное значение имеют детали поясов. Они представлены в грунтовых могилах немногочисленными железными и бронзовыми пряжками и кольцами. Кольца изготовлены в основном из бронзы (5 экз.), реже из железа (2 экз.), в сечении имеют полукруглую или округлую форму (рис. 2, 15). Известны разомкнутые круглые кольца и прямоугольные рамки (рис. 2, 16). Большинство пряжек, найденных в могилах, железные, но встречаются и единичные бронзовые экземпляры. Последние, как правило, индивидуальных форм [Вадецкая, 1999, рис. 15, 1, 5, 13]. Пряжки разделяются на две группы: с неподвижным шпеньком и подвижным язычком. Первая группа включает в себя овальные и округлые пряжки (рис. 2, 4), а также пряжки с выступающим язычком или без него и рамкой, передняя часть которой имеет округлую, а задняя прямоугольную форму (рис. 2, 5-7). К этой же группе относятся кольца и пряжки трапецевидной и прямоугольной формы со щитком (рис. 2, 8, 12). Пряжки с подвижным,

вращающимся язычком дублируют формы первой группы. Известны прямоугольные, округлые, овальные и фигурные экземпляры (рис. 2, 9, 10, 13, 14). В могильнике Новая Черная IV найдены фрагменты ажурной бронзовой пластины, характерной для хуннских памятников [Вадецкая, 1992, табл. 97, рис. 33]. Круглые, овальные, прямоугольные пряжки с неподвижным шпеньком и вращающимся язычком появились впервые на Среднем Енисее в памятниках тесинского этапа. Пряжки данных типов, как и остальной комплекс новаций тесинского времени, большинство исследователей, изучавших тесинские памятники, связывает с пришлым населением, хоронившим своих умерших на грунтовых тесинских кладбищах [Савинов, 1987, с. 13-17; Пшеницына, 1992, с. 232-234; Кузьмин, 1995, с. 161-162; Вадецкая, 1999, с. 161-170]. Это новое население было этнически неоднородным, в его материальной культуре прослеживается сильное хуннское влияние. Вероятно, племена, оставившие грунтовые тесинские могильники, имели центрально-азиатское происхождение и находились под властью хуннов. Их появление на Среднем Енисее явилось результатом хуннской политики переселения завоеванных народов. В раннеташтыкское время появляются новые типы пряжек. Широко распространяются пряжки округло-прямоугольной формы. Иногда прямоугольная часть рамки снабжена перекладной. Встречаются экземпляры с вращающимся язычком, неподвижным выступающим крючком и вообще без шпенька (рис. 2, 5-7, 9). Впервые в Минусинской котловине в таштыкских грунтовых могилах появляются пряжки и кольца со щитками (рис. 2, 8, 12). Данные типы пряжек определяют нижнюю хронологическую границу таштыкской культуры. В памятниках Южной Сибири подобные типы пряжек раньше I в. н. э. не встречаются. Их появление на Среднем Енисее необходимо связывать с новым культурным импульсом, относящимся к началу I тыс. н. э. и не связанным с предшествующим тесинским населением. С точки зрения направления культурных связей показательна находка в Салбыкском грунтовом могильнике бронзовой прямоугольной пластины, с выступом внутри рамки и рельефным орнаментом (рис. 2, 11). Подобная пластина найдена в могильнике Аймырлыг, группа XXXI в Туве, который датируется авторами раскопок рубежом тысячелетий [Стамбульник, 1983, с. 38; Мандельштам, Стамбульник, 1992, табл. 81, рис. 58]. Судя по находкам фрагментов бронзовых китайских зеркал и прямоугольных позолоченных поясных пластин с рельефным орнаментом, этот памятник необходимо датировать временем не ранее I в. н. э. Идентичные пластины найдены и в могильнике Ляохэшэнь, который, как уже указывалось, относится к первым векам нашей эры и интерпретируется как памятник сяньби [Excavation at Laoheshen, 1987, p. 67, fig. 4]. Таким образом, представленные материалы свидетельствуют о том, что в формировании раннеташтыкского костюма несомненно прослеживается центрально-азиатский компонент. Происхождение его имеет двойную природу. Часть новых элементов костюма связана с предшествующим тесинским населением. Костяные булавки и связанные с ними высокие прически из своих и накладных волос, серьги со щитком и гнездом для вставок, круглые, овальные, прямоугольные пряжки и кольца с неподвижным шпеньком и вращающимся язычком появились в Минусинской котловине во II в. до н. э. - I в. н. э., в памятниках тесинского переходного этапа. В свою очередь их происхождение связано с новым инокультурным населением, пришедшим на берега Среднего Енисея с юга из каких-то районов Центральной Азии. Другие элементы костюма: берестяные и кожаные наконечники, разнообразные костяные булавки-шпильки, серьги со щитком, украшенным рельефным орнаментом, бронзовые китайские зеркала и их фрагменты, шелковые ткани, пряжки со щитками появились здесь не раньше I в. н. э. и связаны уже с собственно раннеташтыкскими памятниками. Эти новации четко коррелируются с появлением на Среднем Енисее нового погребального обряда, связанного с сожжением покойников, изготовлением погребальных кукол-манекенов и гипсовых масок. Все это дает основания говорить о том, что в I в. н. э. на территории Минусинской котловины появилась новая волна пришельцев, принесших с собой новые похоронные обряды и традиции. Это новое население несомненно имеет центрально-азиатское происхождение, хотя точная локализация места их первоначального обитания и соотнесение с какой-либо археологической культурой в настоящее время вряд ли возможны. Выделенные центрально-азиатские элементы таштыкского костюма безусловно связаны с этой новой группой населения, принявшего активное участие в формировании таштыкской культуры.

Работа выполнена по гранту РГНФ № 98-01-00338.

В краеведческом музее дышит хакасская мумия!

Сенсация! В Египетском зале выставлен уникальный экспонат: таштыкский воин, умерший 2 тысячи лет назад

Совместная археологическая экспедиция Красноярского краеведческого музея и Брюссельского энциклопедического общества увенчалась успехом: в ходе археологических работ в районе Южного Енисея обнаружен ряд древних захоронений, предположительно относящихся к началу I века нашей эры. Ученые нашли одно общее (супружеское) захоронение и одно отдельное. Во второй погребальной камере археологи обнаружили тело молодого мужчины, по всей видимости, относящегося к родовой знати. Судя по находкам на месте последнего захоронения – наконечники стрел, копье, – погребенный принадлежал к военному сословию древних таштыков. находка уже получила прозвище «таштыкский воин». Уникальность погребения в том,



что все тела мумифицированы, причем искусство создания мумий у древних хакасов превосходило древнеегипетское. По словам участников экспедиции, сохранилась ткань, пропитанная составом для бальзамирования, мышечные ткани, волосы и глиняная погребальная маска воина. Грудная клетка погребенного набита составом, под воздействием влаги изменяющим объем. Кандидат исторических наук Николай Макаров, участник экспедиции, считает, что это играло какую-то роль в погребальном обряде: - Древние «патологоанатомы» сделали все, чтобы тело дышало уже после смерти. Иллюзия жизни в древних обрядах – вещь пока малоизученная. Однако не все ученые придерживаются оптимистического взгляда на находки. Вячеслав Иващенко, доктор исторических наук (Санкт-Петербург), настроен скептически: - Не думаю, что очередная находка бельгийцев настолько уникальна. Сам я ее не видел, но, судя по фотографиям, тело не было забальзамировано. За сохранность в этом случае отвечала природа. Вообще, народ в России падок на сенсации, не удивлюсь, если это окажутся простые кости, завернутые в тряпки. Что ж, каждый может составить свое мнение об археологической сенсации - после долгих уговоров администрации музея удалось всего на один день вырвать из цепких рук археологов ценнейший экспонат. Сегодня, с 16 до 18 часов мумию смогут увидеть все красноярцы. Демонстрироваться «таштыкский воин» будет в Египетском зале музея, с кратковременными перерывами на санобработку помещения (чтоб «воин» не испортился.) Наряду с мумифицированным таштыком широкой публике будут продемонстрированы и другие археологические находки.

что все тела мумифицированы, причем искусство создания мумий у древних хакасов превосходило древнеегипетское. По словам участников экспедиции, сохранилась ткань, пропитанная составом для бальзамирования, мышечные ткани, волосы и глиняная погребальная маска воина. Грудная клетка погребенного набита составом, под воздействием влаги изменяющим объем. Кандидат исторических наук Николай Макаров, участник экспедиции, считает, что это играло какую-то роль в погребальном обряде: - Древние «патологоанатомы» сделали все, чтобы тело дышало уже после смерти. Иллюзия жизни в древних обрядах – вещь пока малоизученная. Однако не все ученые придерживаются оптимистического взгляда на находки. Вячеслав Иващенко, доктор исторических наук (Санкт-Петербург), настроен скептически: - Не думаю, что очередная находка бельгийцев настолько уникальна. Сам я ее не видел, но, судя по фотографиям, тело не было забальзамировано. За сохранность в этом случае отвечала природа. Вообще, народ в России падок на сенсации, не удивлюсь, если это окажутся простые кости, завернутые в тряпки. Что ж, каждый может составить свое мнение об археологической сенсации - после долгих уговоров администрации музея удалось всего на один день вырвать из цепких рук археологов ценнейший экспонат. Сегодня, с 16 до 18 часов мумию смогут увидеть все красноярцы. Демонстрироваться «таштыкский воин» будет в Египетском зале музея, с кратковременными перерывами на санобработку помещения (чтоб «воин» не испортился.) Наряду с мумифицированным таштыком широкой публике будут продемонстрированы и другие археологические находки.

Справка «КП»

Таштыкская культура - археологическая культура железного века Южной Сибири (1 в. до н. э. — 5 в. н. э.). Распространена в бассейне среднего Енисея — в Минусинской котловине, районе Красноярска и восточной части Кемеровской области. Названа по раскопкам могильника на реке Таштык, близ села Батени на Енисее. Представлена главным образом склепами и грунтовыми могильниками, преимущественно трупосожжениями. Племена Таштыкской культуры — потомки населения эпохи (динлины), смешавшиеся с пришлым населением тагарской культуры (вышедшими из Центральной Азии во 2—1 вв. до н. э. тюркоязычными гяньгунями). Общество находилось на последней стадии распада первобытнообщинных отношений.

Пашков Валерий

1 апреля 2004

П.П. Азбелев.

Ингумации в минусинских чаатасах (к реконструкции социальных отношений по археологическим данным)

// Актуальные проблемы методики западносибирской археологии. Новосибирск: 1989. С. 154-156.

1. Принято полагать, что господствующим обрядом погребения на минусинских чаатасах — некрополях енисейских кыргызов — было трупосожжение. Это представление основано на соотношении археологических фактов находок кремированных останков в центральных ямах чаатасов с сообщением «Таншу» о том, что кыргызы сжигали своих покойников. Однако ряд обстоятельств показывает, что положение об обязательности трупосожжения для взрослых у енисейских кыргызов нуждается в проверке.

(154/155)

2. Ко времени выхода книги Л.А. Евтюховой «Археологические памятники енисейских кыргызов (хакасов)» (1984) имелись достоверные сведения о 35 основных погребениях на чаатасах. По опубликованным Л.А. Евтюховой данным, 15 могил из 35 содержали несожжённые скелеты людей или разбросанные грабителями кости: на Джесосском чаатасе — кург. № 9 (1 из 7 раскопанных), на Ташебинском — кург. №№ 1, 3 (2 из 6), на Уйбатском — кург. №№ 1, 2, 3, 5 (4 из 12), на Копённом — кург. №№ 1-6, 9, 10 (8 из 10). Имеются основания полагать, что ряд погребений Копённого чаатаса был совершён по обряду ингумации в сопровождении жертвенного коня или его шкуры (сведения об устройстве могил, полученные в XVIII в. от грабившего их бугровщика Селенги; находки костей лошади во всех могильных ямах чаатаса, притом что в непо потревоженных комплексах кости лошади как остатки жертвенной пищи ни разу не встречены; зафиксированная опубликованным разрезом подбойная форма центральной могилы кург. № 5, специфическая для одного из видов раннесредневековых погребений с конём в Южной Сибири).

3. Исследования, проводившиеся после 1948 г., дали новые находки ингумаций в чаатасах: Сырском, кург. № 2 (Кызласов, 1950), Абаканском, кург. №№ 2, 12 (Кызласов, 1974; 1984), Обалых-биль, кург. № 8 (Худяков, 1977; 1978), Чалбах, кург. № 9 (Нестеров, 1980), Перевозинском, кург. №№ 21, 79, 80, 94 и др. (Зяблин, 1967; 1968). В 4 случаях погребения сопровождались тушами жертвенных коней; отмеченная для ряда перевозинских могил обкладка костяка камнем соответствует описанию копённых могил Селенгой, что повышает степень достоверности его сообщений. Таким образом, минусинские чаатасы следует рассматривать как биритуальные памятники с количественным преобладанием погребений, совершенных по обряду кремации.

4. Соотношение групп населения, хоронивших по разным обрядам, наглядно демонстрируют комплексы, где под одним и тем же сооружением обнаружены погребения как сожжённых, так и несожжённых останков (некоторые курганы Копённого и Уйбатского чаатасов; кург. № 2 Сырского чаатаса). Проведённое в 1965 г. А.А. Гавриловой сопоставление сообщений Селенги с материалами раннесредневековых курганов Алтая, близких по времени Копёнскому чаатасу (Курайских, Туэктинских, Яконурских), позволило предположить, что размещение погребения в центральной или второстепенной могиле указывает на социальный статус погребённых: центральные погребения (ингумации (155/156) в сопровождении жертвенных коней) были интерпретированы как могилы вождей, впускные (кремации) — как могилы иноэтничных дружинников. Биритуальность комплекса интерпретировалась как свидетельство полиэтничности знати. Безусловная биритуальность минусинских чаатасов усиливает копённо-алтайские аналогии. Показательно, что среди впускных могил больших чаатасов нет ям, содержащих несожжённые останки. Учитывая позднюю (не ранее середины IX в.) дату Копённого и Уйбатского чаатасов, можно полагать, что к IX в. знать кыргызского каганата была этнически гетерогенной, причём носители традиции погребения по обряду ингумации с конём преобладали политически, а те, кого хоронили по обряду кремации — количественно.

5. Однако летопись говорит о трупосожжении как о единственном погребальном обряде кыргызов. Как известно, «Таншу» составлена в IX в., когда енисейские кыргызы, разгромив Уйгурский каганат, захватили Туву, а их отдельные военные формирования совершали дальние рейды в Центральную Азию. Тогда же в Туве и других регионах распространяются подкурганые погребения по обряду кремации. Одна из летописей в разделе о кыргызах сообщает, что кремированные останки погребаются под курганом (Кюнер, 1961). Это позволяет соотнести летописные сведения о кыргызском погребальном обряде именно с тувинскими комплексами IX-XI вв., а не с чаатасами, наземные сооружения которых первоначально имели вид окружённой стелами ограды, как было выяснено Л.П. Зяблиным после применения к чаатасам методики изучения погребальной архитектуры, разработанной М.П. Грязновым (Зяблин, 1965). Поэтому не исключено, что завоевательные походы кыргызов были совершены в основном той группой, которая представлена «дружинными» погребениями больших чаатасов. Отсутствие в летописях сведений о кыргызских ингумациях позволяет предполагать, что информаторы хрониста были знакомы с погребальным обрядом лишь тувинской группы кыргызов, но не имели аналогичных данных об их минусинской метрополии.

П.П. Азбелев.

Опыт археологической реконструкции социальной структуры населения Кыргызского каганата (VII-X вв.)

// Проблемы исторической интерпретации археологических и этнографических источников Западной Сибири. Томск: 1990. С. 74-76.

Предлагавшиеся ранее археологические реконструкции социальной структуры населения Кыргызского каганата основаны на противопоставлении больших погребальных сооружений малым и богатым захоронениям — бедным (Евтюхова, 1948; Киселев, 1951). Новейшие материалы позволяют привлечь к исследованию кыргызского общества сведения о конструкции наземных сооружений, о размещении погребений в пределах одного комплекса и о соотношении разных способов погребения. Основой для предлагаемой реконструкции является выяснение относительной хронологии памятников, отражающей развитие погребальных ритуалов и социальной структуры населения каганата.

Чаатасы распадаются на две группы: малые ограды с четырьмя-восемью стелами, возведенные над погребениями по обряду кремации в сопровождении грубых лепных горшков, кыргызских ваз, расчленённых бараньих туш и иногда украшений, и большие ограды, окружённые десятком и более стел, построенные над погребениями по обряду ингумации с конем (или шкурой коня) или кремации, в сопровождении всаднического набора вещей, исполненных в золоте или позолоченных. Размещение погребений в пределах биритуальных комплексов на больших чаатасах показывает социальное превосходство сравнительно немногочисленной группы носителей всаднического ритуала. Большие чаатасы датируются не ранее чем IX-X вв., но в целом традиция чаатасов появилась гораздо раньше. Поэтому можно полагать, что малые чаатасы с погребениями по обряду кремации большей частью относятся ко времени до IX в. В VII-VIII вв. эта традиция сосуществовала с традицией погребения по обряду ингумации в сопровождении жертвенного коня или его шкуры под округлыми каменными курганами или подквадратными каменными платформами.

Относительная хронология минусинских погребений периода существования Кыргызского каганата такова: на протяжении VII-VIII вв. сосуществуют традиции сооружения малых чаатасов с кремациями и всадническая традиция ингумаций под округлыми курганами и подквадратными платформами. В IX в. на смену этому симбиозу приходит принципиально новая традиция больших чаатасов с преимущественно биритуальными погребениями: нарушается жесткая ранее корреляция способа погребения с набором сопровождения и наземным сооружением, социальное превосходство всаднической группы помимо расположения погребений на больших чаатасах подтверждается появлением подкурганых кремаций со всадническим инвентарем (Капчалы I), отражающих восприятие автохтонным населением чуждых ему ранее традиций наземного сооружения и набора сопровождения. Сосуществование больших чаатасов, сочетающих наиболее яркие черты обеих традиций предшествующего времени, с рядовыми подкургаными кремациями и ингумациями

(Капчалы I-II) позволяет констатировать факт глубоких изменений, произошедших в кыргызском обществе в IX в., и ставить вопрос об их сущности.

Существование двух основных традиций (ограды и курганы) отмечается как для VII-VIII, так и для IX-X вв., но во втором периоде увеличивается число стел, площадь и высота оград, появляются золотые и серебряные вещи. Эти изменения касаются прежде всего чаатасов. Можно полагать, что во втором периоде социальный статус погребенных под оградками был гораздо выше статуса погребенных под курганами; для первого периода такая поляризация не фиксируется. Следовательно, в IX в. была выработана иерархия наземных сооружений, соответствующая социальной иерархии. Территориальное разделение рядовых погребений по признаку обряда (Капчалы I-II) показывает, что рядовое население не столь пренебрегало этническими различиями в пользу общности социального статуса, сколь высшая знать, но сам факт биритуальности больших чаатасов говорит о том, что даже аристократия в процессе консолидации не утратила осознания разности происхождения. Распространение же всаднического набора вещей на погребения со обрядом кремации может быть объяснено унификацией военной организации, что было обязательным для государства, посягнувшего на уйгурское господство в Центральной Азии.

Социальная структура населения Кыргызского каганата в IX-X вв., отраженная в системе погребальных ритуалов, представляется следующей: высший уровень иерархии занимала группа, членов которой хоронили в центральных ямах больших чаатасов по обряду ингумации с сопровождением жертвенного коня или его шкуры и всаднического набора престижных изделий; второй уровень — дружинники, похороненные в пределах тех же оград и в сопровождении аналогичных вещевых комплексов, но без коней и во второстепенных ямах, по обряду кремации; третий уровень — рядовые всадники, погребавшиеся по обряду ингумации с конем или кремации на обособленных по признаку обряда могильниках, но равно под круглыми курганами и в сопровождении схожих всаднических наборов. Памятники старше IX в. не позволяют распространить эти выводы на более раннее время, и приходится связывать сложение очерченной здесь социальной иерархии с возрожде-(75/76)нием около 820 г. Кыргызского каганата.

Преобразования в области погребального обряда были бы невозможны без наличия соответствующих предпосылок. В основе дихотомии реформированного ритуала лежит противопоставление квадратных оград над погребениями знати округлым курганам над рядовыми могилами. Такая же система имела место и в VII-VIII вв.: подкурганная ингумация с конем сосуществовала с аналогичными погребениями под квадратными платформами, причем сопровождение последних позволяет назвать их богатыми. Таким образом, система, ставшая в IX в. общегосударственной, до этого была свойственна только всадническим ингумациям. Малые чаатасы VII-VIII вв. не дают подобных примеров; округлые и шестиугольные ограды чаатасов в Гришкином логу и у д. Абакано-Перевоз типологически близки позднейшим "сууктэрам" аскизской культуры и, вероятно, представляют вариант "пореформенной" трансформации сооружений, возводившихся над кремациями ранее.

Поэтому возможно предположить, что инородное население, практиковавшее ингумации покойных, политически преобладало над аборигенами не только в IX-X, но и в VII-VIII вв., хотя характер этого преобладания в разные периоды был различным. Если на первом этапе наблюдается совпадение этнических и социальных отличий, то в IX в. социальный статус по крайней мере для знати был существеннее происхождения. Таким образом, развитие отношений местного и пришлого населения Минусинской котловины шло не по линии прямого перерождения господствующего этноса в господствующий класс, но по пути социальной консолидации этносов на сопоставимых уровнях социальной иерархии, начиная с высшего, при сохранении этнического своеобразия.

П. П. Азбелев

К исследованию культуры могильников Чааты I-II

// Проблемы хронологии и периодизации в археологии. Л.: 1991. С. 61-68.

Уникальный для Тувы комплекс подкурганых катакомбных ингумаций, исследованных С.А. Теплоуховым (1927) и Л.Р. Кызласовым (1958-1960), стал предметом дискуссий по

вопросам датировки и этнокультурной интерпретации памятника. С.А. Теплоухов, основываясь, видимо, на находках гончарных ваз, отнёс его к «культуре чаатас», но такая трактовка, как отметил Л.Р. Кызласов, неприемлема. [1]

Решая вопрос об этих могильниках, Л.Р. Кызласов выделил ряд архаических признаков, восходящих к культуре хунну, отметил соседство курганов с Шагонарскими городищами, связываемыми с уйгурами, сходство керамики из могил с находками фрагментов сосудов на этих городищах и в Орду-Балыке, находки фрагментов лощеных гончарных ваз в тех регионах, где, по данным летописей, в то или иное время присутствовали уйгуры; анализируя предметный комплекс, автор указал ряд дальних западных аналогий VII-X вв. наборам накладок на лук, серию аналогий наконечникам стрел с территориями от Иртыша до Дальнего Востока из памятников VIII-IX вв., на этих основаниях датировал комплекс уйгурским временем и связал его непосредственно с уйгурами. Автором отмечено согдийское влияние и указаны этнографические аналоги в погребальном обряде синьцзянских уйгуров. [2]

Не анализируя могильники Чааты, А.А. Гаврилова предложила считать уйгурскими традиции комплексов сросткинского типа; основанием послужили заведомо уйгурские турфанские аналоги. Касаясь вопроса о могильниках Чааты, А.А. Гаврилова отметила недостаточность оснований для их точной датировки и предположила, что это кладбища не кочевого, а осёдлого населения. [3]

Не оспаривая предложенной Л.Р. Кызласовым даты, другие авторы выразили сомнение в правильности этнической интерпретации, считая, что памятник нужно связывать не с уйгурами, а с зависимыми от них группами. [4] Д.Г. Савинов на основании серии аналогий предположил, что катакомбы могли быть оставлены сохранившимися до уйгурского времени носителями кокзельской культуры, которую автор датировал первой половиной тысячелетия, оговорив особо лишь нижнюю дату. [5]

О.Б. Варламов, указав несколько южносибирских аналогов чаатинским материалам (из недостоверно датированных комплексов) и опираясь на сарматские катакомбы, аналогичные чаатинским по форме, датировал Чааты I-II I-V вв., не решая вопроса о его этнокультурной интерпретации. [6]
(61/62)

Ю.С. Худяков отметил, что «в инвентаре катакомбных погребений нет вещей, которые позволили бы датировать их VIII-IX вв.»; без развёрнутой аргументации автор отметил, что аналогии некоторым чаатинским материалам имеются в кенкольской, кок-пашской и верхнеобской культурах, и на этом основании датировал памятник предтюрокским временем «до образования Первого каганата и широкого распространения... древнетюркского предметного комплекса». Касаясь вопроса о соотношении кокзельского и чаатинского комплексов, автор предположил, что первый из них предшествует второму. [7]

В основе сомнений по поводу датировки и интерпретации тувинских катакомб лежит отсутствие прямо датирующих находок и несоответствие представленного памятником погребального обряда китайскому описанию уйгурских обычаев. Авторы опираются на синхронизацию чаатинских находок с аналогами из других регионов, не анализируя вопроса о времени и обстоятельствах появления в Туве могил, не имеющих прототипов среди надёжно датированных местных ранних памятников. Последнее же показывает, что носители традиции катакомбных погребений появились в Туве из тех регионов, где эта традиция бытовала в течение долгого времени, то есть из Средней Азии или Восточного Туркестана. Уникальность чаатинского комплекса позволяет считать миграцию единовременной, а пребывание мигрантов в центре Азии — кратковременным. Поэтому прямо датировать памятник по южносибирским аналогиям невозможно: его культура сформировалась задолго до миграции в иной регион, и дата могильников Чааты должна запаздывать по сравнению с хронологией представленной ими культуры в исходной точке миграции.

Тезис о среднеазиатском или восточнотуркестанском происхождении культуры могильников Чааты дополняется следующими обстоятельствами.

Могильные сооружения. Нехарактерная для Южной Сибири традиция погребения в катакомбах до VI в. была распространена в Восточном Туркестане, в Средней Азии и у сарматов. Наиболее важна устойчивая деталь — помещение керамики в особую подбойную нишу, устроенную в стене катакомбы со стороны дромоса близ головы погребённого, —

типичная для могильников Чааты. Аналогии имеются в кенкольской культуре [8] и в гаочанских могильниках Астана и Караходжа, где прослежен путь от особой «микрокатакомбы» до ниши, прямо аналогичной чаатинским, со второй половины III до начала VI вв. [9] Гаочанские ниши по отношению к кенкольским, как можно полагать, прототипичны.

Физический облик погребённых в ряде случаев отличается кольцевой деформацией черепа, что нехарактерно для Южной Сибири и типично для среднеазиатских народов. [10] (62/63)

Комплекс вооружения, представленный в чаатинских катакомбах, во многом аналогичен кенкольскому. Это определяется по форме наконечников стрел, [11] по форме и набору накладок на лук, [12] по форме ножей. [13]

Керамический комплекс могильников Чааты связывается со среднеазиатскими традициями применением гончарного круга, находкой ангобированного сосуда (Чааты II, кург. 74), [14] приёмом украшения тулова налепными шишечками (Чааты I, кург. 25). [15] Изготовленные на круге вазы в целом (но не более) сопоставимы с хуннскими, [16] к чему практически и сводится архаический элемент культуры могильников Чааты.

Территориальный разброс наиболее близких аналогий чаатинским материалам позволяет полагать, что миграция осуществлена с территории, находящейся не западнее Семиречья и не восточнее Турфана, то есть из Джунгарии либо прилегающих территорий. Хронология астанских погребений с нишами, детально разработанная по находкам датированных документов, позволяет отнести миграцию ко времени не ранее конца первого периода формирования гаочанских комплексов, то есть не ранее VI в. Могильник Чааты I более однороден, чем Чааты II и, возможно, предшествовал ему.

Следует рассмотреть южносибирские аналоги чаатинским материалам. Обстоятельства появления рассматриваемых комплексов указывают на то, что эти аналоги, если их местный генезис исключён или недоказуем, говорят о влиянии мигрантов на местное население.

Могильные сооружения. Кокзельские подбойные ниши для сосудов аналогичны чаатинским лишь функционально; по форме и расположению этих ниш можно заключить, что они независимо от чаатинских восходят к центральноазиатским и более древним дунбэйским отсекам могил, гробов и каменных ящиков. Более интересна полностью аналогичная чаатинским ниша за тыном могилы ограды № 6 Койбальского чаатаса, содержащая часть керамического набора. [17] Полное отсутствие минусинских прототипов позволяет считать эту нишу последствием влияния тувинских «катакомбников».

Комплекс вооружения. Сходство чаатинских и кокзельских наборов накладок на лук ограничивается полнотой набора и общей формой срединных накладок. Кокзельские концевые накладки — спрямлённые с резко загнутым концом — мало сопоставимы с чаатинскими. [18] Последние же аналогичны плавно изогнутым накладкам из полных наборов Михайловского могильника. [19] Чаатинские ножи со скошенным черенком с уступом на переходе от обушка к черенку имеют кокзельские и киргизские аналоги, [20] причём в позднем Уйбатском чаатасе найден коленчатый кинжал, представляющий собой нож того же типа, но усовершенствованный добавлением напускного железного перекрестья. [21] Типологически он позже чаатин-(63/64)ских ножей и аналогичен кинжалам, изображавшимся на изваяниях с реалиями VII-IX вв. [22]

Керамический комплекс. Чаатинские сосуды с налёпами на венчике не могут быть сопоставлены с кокзельскими сосудами, имеющими на венчиках угловидные выступы (имитирующие, как можно полагать, более ранние южносибирские многогранные сосуды), однако аналогичны, как уже отметил Л.Р. Кызласов, [23] некоторым киргизским сосудам. Приём украшения тулова налепными шишечками имеет аналоги в кокзельских и таштыкских комплексах. [24] Чаатинские вазы по ряду признаков сопоставимы с киргизскими, михайловскими и двумя монгольскими вазами, [25] но отличаются наличием признаков хуннского происхождения; отсутствие южносибирских прототипов гончарных ваз позволяет считать тувинские вазы наиболее ранними (не считая хуннских), всего вероятнее, прототипичными для всех прочих групп.

Наиболее ранние свидетельства влияния культуры могильников Чааты на южносибирские культуры, имеющие надёжные даты (коленчатые кинжалы и инновации в киргизской культуре) относятся к VII в. [26] Находка фрагментов ваз чаатинского типа в жертвенных ямах

в храме на мемориале в честь Кюль-тегина [27] показывает, что мигранты, несмотря на кратковременность пребывания в центре Азии, не только оказали заметное влияние на местные культуры, но и внесли какой-то вклад в сложение культуры Второго каганата. По совокупности фактов присутствие мигрантов в Туве относится к VII в.

Историческая ситуация, реконструируемая по материалам могильников Чааты I-II, такова: миграция из Джунгарии в Центральную Азию — кратковременное там пребывание с ощутимым влиянием на местные культуры — исчезновение мигрантов как самостоятельной активной группы и некоторый вклад в сложение новой тюркской культуры. События происходили в VII в.

Единственная в центральноазиатской истории ситуация, сопоставимая с предложенной реконструкцией, имела место в первой половине VII в. С начала века шёл постепенный отток телеских племён из Джунгарии в Центральную Азию, вызванный предельным обострением их отношений с западными тюрками. Во второй половине 620-х гг. миграция приняла массовый характер, а во главе её встали сиры (кит. сеяньто), создавшие в 630 г. собственный каганат, сменивший тюркскую державу, разгромленную при активном участии сиров. Сирский каганат просуществовал до 646 г., успев установить контроль над енисейскими кыргызами и, вероятно, другими народами Саяно-Алтая. После разгрома 646 г. часть сиров вместе с тюрками боролась за создание новой тюркской державы и впоследствии вошла в её состав на правах привилегированной этнической группы. [28] (64/65)

Полное соответствие археологической реконструкции и исторической ситуации позволяет уверенно датировать могильники Чааты сирским периодом (второй четвертью VII в.), однако соотнести их не с сирами, но с какой-то осёдлой группой, втянутой в массовое переселение и использовавшейся сирами для охраны северных границ каганата — свою степную конницу сиры, вероятно, берегли для решающих боёв на юге, где решалась судьба каганата.

Предположительная этническая идентификация могильников Чааты возможна благодаря наличию в их культуре хуннского компонента. Единственная группа, обитавшая в Восточном Туркестане в I-VI вв, и безусловно хранившая отдельные хуннские традиции — это народ юэбань. Он стал известен китайским хронистам в конце I в. н.э., когда разгромленные северные хунну перешли через Тарбагатай и ушли «на запад в Кангюй», а подвластная им ранее группа местного, как можно полагать, происхождения осталась, сохранив в своей культуре ряд черт хуннской культуры (например, титул «шаньюй»). Источники описывают юэбань как осёдлую группу. [29] Последний раз летопись упоминает юэбань в VI в., причём этот народ действует в союзе с гаогюйскими (телескими) племенами, [30] сильнейшими из которых были сиры. Поэтому не исключено, что народ юэбань был втянут в миграцию своих союзников на восток; следует, однако, признать, что прямых известий о союзе юэбань именно с сирами нет, но предполагать это вполне возможно.

Таким образом, юэбань является единственной группой, удовлетворяющей всем условиям для идентификации с населением, оставившим могильники Чааты I-II. Правильность такой интерпретации зависит лишь от степени достоверности и полноты летописных сообщений.

[1] Кызласов Л.Р. Древняя Тува (от палеолита до IX в.). М., 1979. С. 158.

[2] Он же. История Тувы в средние века. М., 1969. С. 74-77.

[3] Гаврилова А.А. Сверкающая чаша с Енисея (к вопросу о памятниках уйгуров в Саяно-Алтае). // Бронзовый и железный век Сибири. Новосибирск, 1974. С. 180. Следует добавить, что в чаатинских могилах нет предметов конской упряжи и поясного набора, обязательных для кочевнических погребений.

[4] Худяков Ю.С., Цэвендорж Д. Керамика Орду-Балыка. // Археология Северной Азии. Новосибирск, 1982. С. 93; Савинов Д.Г. Народы Южной Сибири в древнетюркскую эпоху. Л., 1984. С. 87-88.

[5] Савинов Д.Г. Формирование и развитие раннесредневековых археологических культур Южной Сибири. Автореф. дис. ... д-ра истор. наук: 07.00.06. Новосибирск, 1987. С. 28-29, 12.

[6] Варламов О.Б. О датировке «уйгурских» погребений Тувы // Проблемы археологии степной Евразии / Тез. докладов. Ч. II. Кемерово, 1987. С. 181-183. (65/66)

[7] Худяков Ю.С. К истории гончарной керамики в Южной Сибири и Центральной Азии. // Керамика как исторический источник. Новосибирск, 1989. С. 142.

[8] Бернштам А.Н. Кенкольский могильник. (Археологические экспедиции Государственного Эрмитажа. Вып. II). Л., 1940. С. 41. Табл. IX; Кожомбердиев И. Катакомбные памятники Таласской долины // Археологические памятники Таласской долины. Фрунзе, 1963. С. 47. (Кург. 19). С. 50 (кург. 28). С. 50 (кург. 29).

[9] Лубо-Лесниченко Е.И. Могильник Астана // Восточный Туркестан и Средняя Азия. История. Культура. Связи. М., 1984. С. 109-110, 219. Рис. 19.

[10] Трофимова Т.А. Изображения эфталитских правителей на монетах и обычай искусственной деформации черепа у населения Средней Азии в древности // История, археология и этнография Средней Азии. М., 1968.

[11] Трёхлопастные черешковые наконечники с треугольным сечением усиленного бойка. Ср.: Кызласов Л.Р. История Тувы... С. 76. Рис. 25, 2; Кожомбердиев И.К., Худяков Ю.С. Комплекс вооружения кенкольского воина // Военное дело древнего населения Северной Азии. Новосибирск, 1987. С. 85. Рис. 5; Брыкина Г.А. Юго-Западная Фергана в первой половине I тыс. н. э. М., 1982. С. 187-188. Табл. 34-35.

[12] Полный набор, включающий концевые (плавно изогнутые), срединные боковые (срезанные наискось концы) и фронтальные (с плавным расширением на концах) накладки. Ср.: Кызласов Л.Р. История Тувы... С. 72. Рис. 21, 1-8. С. 74. Рис. 24; Кожомбердиев И.К., Худяков Ю.С. Комплекс вооружения... С. 79. Рис. 1. С. 80. Рис. 2, 1-8; См.: также Бернштам А.Н. Кенкольский могильник... Табл. XXVII, XXVIII.

[13] Ножи со скошенным черенком и плавным либо резким уступом на переходе от обушка к черенку. — Ср.: Кызласов Л.Р., 1) История Тувы... С. 73. Рис. 22, 12; 2) Древняя Тува... С. 161. Рис. 118, 2, 4. С. 168. Рис. 123, 4-6; Кожомбердиев И.К. Катакомбные памятники... С. 38. Рис. 3, 4; Брыкина Г.А. Юго-Западная Фергана... С. 190. Табл. 37, 1-7.

[14] Кызласов Л.Р. Древняя Тува... С. 179. Рис. 135, 2.
[15] См.: например, Бернштам А.Н. Кенкольский могильник... С. 7; Брыкина Г.А. Юго-Западная Фергана... С. 184. Табл. 31, 1, 2.

[16] Давыдова А.В. Иволгинский комплекс (городище и могильник) — памятник хунну в Забайкалье. Л., 1985. С. 96. Рис. VI, 14, 22, 24.

[17] См.: Кызласов Л.Р. Отчёт о работе Хакасской археологической экспедиции МГУ в 1970 г. Архив ИА АН СССР. Р-1, № 4242.

[18] Ср.: Худяков Ю.С. Вооружение средневековых кочевников Южной Сибири и Центральной Азии. Новосибирск, 1986. С. 65. Рис. 21; Кызласов Л.Р. История Тувы... С. 72. Рис. 21, 1-2. С. 74. Рис. 24, 3, 7-9. Вопрос, однако, представляется более сложным. Кокзельские луки, по-видимому, первоначально не предусматривали применения концевых накладок, ибо концы кибити орнаментировались. Появление спрямлённых концевых накладок было результатом усиления лука исходной формы совершенно специфическими концевыми накладками, получившими свою форму от прямых окончаний кибити. Сходство чаатинских и кокзельских срединных накладок позволяет предположить, что образцом послужили луки чаатинско-кенкольского типа; если это так, то Чааты для кокзельских могил, содержавших накладки, являются датированным памятником. Исходная кокзельская форма — лук без накладок, заменяемых уплощениями кибити, придающими её середине и окончаниям необходимую жёсткость, а плечам, наоборот, гибкость, — воспроизводит лук так называемого «сасанидского» типа, распространенный на западе Средней Азии начиная с первых веков н.э. (Литвинский Б.А. Сложносоставной лук в древней Средней Азии (к проблеме эволюции лука на Востоке). // СА, 1966. № 4. С. 53. Рис. 1, 4. С. 54. Рис. 2, 14, 17, 18. С. 61, 69). Такие луки часто изображались на сасанидских блюдах (см.: (66/67) например, Тревер К.В., Луконин В.Г. Сасанидское серебро. Собрание Гос. Эрмитажа. Художественная культура Ирана III-VIII вв. М., 1987. С. 107. Рис. 3. С. 112, Рис. 17. Особенно чёткое изображение: С. 109. Рис. 10. Иллюстрации. № 21.) Вопрос о времени и обстоятельствах появления луков «сасанидского» типа в Центральной Азии составляет особую тему, связанную с проблемой западного компонента в кокзельской и таштыкской культурах; ясно лишь, что хронология этого компонента укладывается в период до времени появления чаатинского комплекса. Если конструкция «сасанидского» лука базируется на оригинальном техническом решении, то чаатинско-кенкольская традиция ориентирована прежде всего на применение накладок. Таким образом, позднекокзельский лук со спрямлёнными концевыми накладками сочетает элементы двух совершенно разных традиций — центрально-азиатской и иранской.

[19] Мартынова Г.С. Таштыкские племена на Кие. Красноярск, 1985. С. 93. Рис. 112, 2.

[20] Вайнштейн С.И., Дьяконова В.П. Памятники в могильнике Кокзель конца I тыс. до н.э. — первых веков н.э. // ТТКАЭЭ. Т. II; Материалы по этнографии и археологии районов бассейна р. Хемчика. М.-Л., 1966. С. 285. Табл. VIII; Худяков Ю.С., Нестеров С.П. Средневековые памятники в зоне есинской оросительной системы. // Археологические исследования в районах новостроек Сибири. Новосибирск, 1985. С. 213. Рис. 18, 1.

[21] Евтюхова Л.А. Археологические памятники енисейских кыргызов (хакасов). Абакан, 1948. С. 24. Рис. 30.

[22] Евтюхова Л.А. Каменные изваяния Южной Сибири и Монголии. // Материалы и исследования по археологии Сибири. Т. 1. М., 1952. С. 79. Рис. 12. С. 112. Рис. 68; Кызласов Л.Р. История Тувы... С. 27. Рис. 2, 2; Кубарев В.Д. Древнетюркские изваяния Алтая. Новосибирск, 1984. С. 41. Рис. 8; См.: также Шер А.Я. Каменные изваяния Семиречья, М., Л., 1966. С. 79. Табл. 111, 16. С. 83. Табл. V, 21. С. 89. Табл. VIII. 37.

[23] Кызласов Л.Р. История Тувы... С. 75.

[24] Вайнштейн С.И. Раскопки могильника Кокзель в 1962 г. (погребения казылганской и сын-чюрекской культур) // ТТКАЭЭ. Т. III; Материалы по археологии и антропологии могильника Кокзель. Л., 1970. С. 61. Рис. 95; Дьяконова В.П. Большие курганы-кладбища на могильнике Кокзель (по результатам раскопок за 1963, 1965 гг.). // ТТКАЭЭ. Т. III. С. 200. Табл. V, 2, 3, 5, 8, 12, 17. С. 201. Табл. VI, 9, 10, 17, 19, 20; Грязнов М.П. Таштыкская культура. // Комплекс археологических памятников у горы Тепсей на Енисее. Новосибирск, 1979. С. 95. Рис. 556, 1. С. 125. Рис. 72, 18. Следует отметить, что сосуд из мог. 40, Тепсей III (последний из названных) наиболее сопоставим с упоминавшимся сосудом из Кайрагача (см. прим. 15).

[25] Мартынова Г.С. Таштыкские племена... С. 90. Рис. 108, 13. С. 92. Рис. 110. С. 94. Рис. 114; Боровка Г.И. Археологическое обследование среднего течения р. Толы // Северная Монголия. Т. II. Предварительные отчёты

лингвистической и археологической экспедиций о работах, произведенных в 1925 году. Л., 1927. Табл. 11, 5. Табл. II, 11. Вторая ваза привлекается к сопоставлению впервые; прямые аналогии см.: Кызласов Л.Р. История Тувы... С. 69. Рис. 18, 2; Он же. Древняя Тува... С. 169. Рис. 124, 5.

[26] Таштыкские и кокзельские аналогии не могут быть признаны датирующими по причине неразработанности вопросов хронологии этих культур. Датировку ранних чаатасов VII в. см.: Азбелев П.П. Конструкции оград минусинских чаатасов как источник по истории енисейских кыргызов. // Памятники кыргызской культуры в Северной и Центральной Азии. Новосибирск, 1990. Изваяния с изображением кинжалов «уйбатского» типа датируются не ниже VII в. по изображениям вещей катандинского комплекса (прямоугольные и полуовальные поясные бляхи с прорезью). (67/68)

[27] Войтов В.Е. Хроника археологического изучения памятников Хушо-Цайдам в Монголии (1889-1958). // Древние культуры Монголии. Новосибирск, 1985. С. 128.

[28] Кляшторный С. Г. Кипчаки в рунических памятниках. // *Turcologica*, 1986. (К восьмидесятилетию академика А. Н. Кононова). Л., 1986; См.: также: Бичурин Н.Я. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. Т. 1. М.-Л., 1950. С. 339-343, 354; Кюннер Н.В. Китайские известия о народах Южной Сибири, Центральной Азии и Дальнего Востока. М., 1961. С. 41-48.

[29] Бичурин Н.Я. Собрание сведений... Т. II. М.-Л., 1950. С. 258-260. «Юебаньцы не были не только хуннами, но и кочевниками» и локализуются «на южных и северных склонах Тарбагатай и в бассейне Иртыша» (Грумм-Гржимайло Г.Е. Западная Монголия и Урянхайский край. Исторический очерк этих стран в связи с историей Средней Азии. Т. II. Л., 1926. С. 134, 137-138. Оба тезиса подробно и убедительно обоснованы. Вызывает удивление позиция А.Г. Малявкина, полагающего, что юэбань — это «разрозненные тюркские племена (тюрки туцзое и теле)» и здесь же отмечающего, что «в IV-V вв. разрозненные тюркские племена находились в самом начале пути» (Малявкин А.Г. Танские хроники о государствах Центральной Азии. Тексты и исследования. Новосибирск, 1989. С. 218-219. Прим. 431). В конце I в. н.э., когда народ юэбань появился на исторической арене, ни тюрков, ни теле еще не было.

[30] Бичурин Н.Я. Собрание сведений... Т. III. М.-Л., 1953. С. 30, 79; На китайской карте периода династии Северная Вэй (386-534 гг.) владения народа юэбань помещены в Семиречье, на берегах Или (там же. Вклейка, карта 5, правая половина).

П.П. Азбелев

Хронология нетипичных памятников Саяно-Алтая эпохи раннего средневековья.

// Проблемы хронологии и периодизации археологических памятников Южной Сибири. Барнаул: 1991. С. 160-162.

1. Второй тюркский каганат, как и другие степные державы, оказывал большое влияние на южносибирские народы. Материальные следы этого влияния могут служить датирующими признаками, что особенно важно при исследовании нетипичных памятников.

2. Погребально-поминальный комплекс в Хачы-Хову (Овюрский р-н, Тува) исследован и опубликован А.Д. Грачом (1968). Основываясь на том, что трупосожжение свойственно лишь тюркам и кыргызам, а памятники последних несхожи с овюрским комплексом, автор счёл его раннетюркским и датировал VI — первой половиной VII вв. Отказываясь от кыргызской атрибуции комплекса, (160/161) автор опирался на поздние материалы IX-X вв., не учитывая разнообразия кыргызских погребений. Д.Г. Савинов (1984) отметил архаичность стиля изображения горного козла на одной из стел овюрского комплекса и снизил его дату до V-VI вв. Следует отметить, что архаичность стиля изображения не служит датирующим признаком: сходное изображение найдено на стеле комплекса в Ак-Кообы, датируемого IX-X вв. (Кубарев, 1979; 1984). Авторы отмечают неполное соответствие овюрского комплекса китайскому описанию тюркских погребальных обычаев.

3. Представленный овюрским комплексом способ погребения (помещение сожженных останков в ямку-«ячейку» под выкладкой) имеет серию аналогий на Сырском, Копёном, Уйбатском и других чаатасах; по А.А. Гавриловой (1965), так хоронили дружинников. Других аналогий нет, и комплекс в Хачы-Хову однозначно интерпретируется как погребение кыргызских дружинников.

4. А.Д. Грач и Д.Г. Савинов отметили, что композиция овюрской стелы с изображением горного козла и руническим текстом сравнима с композицией классических орхонских стел. Редкость такой композиции позволяет считать овюрскую стелу не прототипом, но подражанием; поэтому дата памятника в честь Кюль-тегина служит нижней границей для комплекса в Хачы-Хову, интерпретируемого как погребение кыргызских дружинников, состоявших на службе во Втором тюркском каганате. Не исключено, что и другие оградки уландрыкского типа, к которому относятся поминальные сооружения овюрского комплекса, имеют сходный генезис.

5. В 1936 г. на могильнике Уйбат II С.В. Киселёвым раскопаны два кургана с белым камнем на вершине и типовым кыргызским набором прочих признаков. Установлено, что кыргызы рассматривали наземные сооружения погребений как поминальные; следовательно, сопоставление этих сооружений с мемориалами иных типов правомерно. «Курганы» с белым камнем на вершине аналогичны редкому варианту поминальных оград уландрыкского типа — с белым валуном вместо стелы в центре ограды. На одной из стел оград уландрыкского типа (Тюргун, правобережье Аргута; Кубарев, 1984) выбито изображение лица, что позволяет считать эти стелы и заменяющие их валуны символическим изваянием умершего. Отбор монолитов для изваяния по признаку цвета нехарактерен; предпосылки к использованию именно белого камня появились после того, как на мемориале в честь Кюль-тегина появились мраморные статуи героя и его жены. Использование необычного материала могло быть инициативой китайских мастеров, присланных помочь при сооружении памятника. Поэтому и ограды, и курганы с белым камнем следует считать резуль-(161/162)татом восприятия традиции, начатой мраморными статуями орхонского мемориала, и датировать их не ниже 731 года.

6. Эпизодичность проявления следов влияния орхонских мемориалов может быть связана со скорым падением Второго тюркского каганата и установлением уйгурской гегемонии в Центральной Азии. Поэтому рассмотренные выше памятники датируются не выше середины VIII века, когда развитие традиций Второго каганата стало невозможным. Следует отметить, что наиболее сильное влияние этих традиций испытала культура енисейских кыргызов; именно на кыргызов уйгуры натравили основной удар после разгрома Второго тюркского каганата. По-видимому, уйгурские правители рассматривали кыргызов как своеобразных наследников тюрков Второго каганата; как было показано выше, основания к тому имелись. Развитие традиций Второго тюркского каганата в кыргызской культуре может составить тему отдельного, весьма перспективного исследования.

П.П. Азбелев

К вопросу о миграциях кочевников предтюркского времени в Средней и Центральной Азии

// Краткое содержание докладов Лавровских (Среднеазиатско-Кавказских) чтений. 1990-1991. СПб: 1992. С. 29-31.

Сходство раннесредневековых материалов из Средней и Центральной Азии отмечалось неоднократно. Добавив к известным аналогиям новые и систематизировав их, можно проследить незафиксированные летописями миграции.

Погребальный обряд. Трупосожжение с помещением останков в особое вместилище, часто антропоморфное, несущее черты портретного сходства с погребенным, практиковалось в Хорезме до первых веков нашей эры, в Южной Сибири — в таштыкское время. Оссуарий в виде сидящей фигуры (Кой-Крылган-Кала) похож на ряд(29/30)южносибирских изваяний, связываемых с таштыкской культурой и с тюрками; при многих отличиях налицо близость изобразительного канона и стремления сохранить облик умершего для его символического участия в ритуалах. Поздние таштыкские памятники связывают с раннетюркским владением Цигу. Китайское описание тюркских похорон по набору элементов обряда сопоставимо с описанием той же церемонии у хионитов (Аммиан Марцеллин). Важное отличие — сожжение тюрками туши жертвенного коня — видимо, сяньбийско-ухуаньская традиция. Ритуальные комплексы на холме Чаш-Тепе (Хорезм, первая половина I-го тысячелетия н.э.) по некоторым признакам напоминают раннетюркские мемориалы в Монголии (вторая половина VI в.).

Предметный комплекс V-VI вв. образует в Южной Сибири культурную общность, охватывающую весь Саяно-Алтай. Её основные элементы — предметы вооружения и снаряжения всадника и коня, украшения. Этот комплекс определяет специфику государственной культуры I Тюркского каганата, но типологически восходит к западноазиатским, сармато-кушанским традициям, включая отдельные корейские типы.

Изобразительная традиция. Скульптура Халчаяна, миниатюры Орлатского могильника (Согд), раннесогдийские монеты с лучником, некоторые боспорские памятники изображают специфический доспех со стоячим воротом. Аналогии — лишь на таштыкских миниатюрах (Тепсей) и на отдельных южносибирских петроглифах. Западные изображения демонстрируют развитие этого доспеха от рубежа эр до IV-V вв., в Сибири же представлены лишь поздние формы. Колчаны и налучья специфической формы сходно показаны на орлатских и тепсейских миниатюрах, а также на Кудыргинском валуне и ряде других южносибирских петроглифов древнетюркской эпохи. Орлатское изображение схватки верблюдов идентично той же сцене на Сулекской писанице.

Названные южносибирские материалы типологически и хронологически позже своих западноазиатских аналогов. Параллели обнаруживаются в разных пластах культуры (искусство, ритуалы, вооружение, упряжь, планировка мемориалов и др.); это позволяет полагать, что около IV в. имели место миграции кочевников Согда и Хорезма в Центральную Азию. (30/31)

Таким образом, систематизация аналогичных материалов из Западной и Центральной Азии при учете палеоэтнографических данных позволяет проследить не отмеченные летописями миграции. Эти миграции по времени и направлению совпадают с большой волной согдийской колонизации; возможно, освоение согдийцами трасс Шёлкового пути и миграция их соседей-кочевников на восток — связанные явления. Несомненно участие мигрантов в сложении прототюркского субстрата, поэтому предложенный вывод нужно рассматривать в связи с иранскими элементами древнетюркского языка, согдийским генезисом тюркской руники, согдоязычностью Бугутского памятника и фактами тюрко-согдийского сотрудничества, о которых сообщает китайская летопись. Подробное исследование вопроса о миграциях азиатских кочевников древнетюркской эпохи представляется весьма перспективным.

П.П. Азбелев

Сибирские элементы восточноевропейского геральдического стиля.

// Петербургский археологический вестник. Вып. 3. СПб, 1993, с. 89-93.

Вопросы изучения раннесредневекового геральдического стиля поясных и сбруйных наборов затронуты во многих исследованиях, но не все возможности, предоставляемые имеющимся материалом, использованы в полной мере. Восполнению одного из пробелов посвящена предлагаемая статья.

Ареал распространения геральдического стиля — от Венгрии до Забайкалья; уже только этим определяется неоднородность, многовариантность стиля, но специального исследования локальных различий пока нет. Анализируя материалы могильника Кудыргэ, включающие серию вещей, оформленных в геральдическом стиле, А.А. Гаврилова датировала могилы кудыргинского типа по монете VI в. и соотнесла их с культурой тюрков или зависимых племен Первого каганата (Гаврилова 1965: 105). Вопрос о происхождении геральдического стиля А.А. Гавриловой не решался; для автора были важны датированные аналогии кудыргинским вещам. Позднее вышли статьи А.К. Амброза, изучавшего восточноевропейские древности и предложившего хронологическую шкалу геральдического стиля, основанную на независимых датировках памятников. По этой шкале ранние образцы геральдического стиля — на византийской периферии, а кудыргинские вещи отнесены к поздним этапам (Амброз 1971: 118; 1971а: 121,126; 1973: 291-298; 1989: 53-55). Обе концепции имеют сторонников, но следует подчеркнуть, что проблема соотношения южносибирского и восточноевропейского вариантов геральдического стиля темой специального исследования не становилась.

Цель — выяснить типологическое и хронологическое соотношение двух основных вариантов стиля — определяет методику: сравнение по общим для обоих вариантов признакам. Таковы: а) ажурный декор пряжек и бляшек; б) бляшки в виде рыбьего хвоста, часто в сочетании с другими формами; в) Т-образные бляшки в виде щитка с перекладиной на ножке; г) приостренные щитки, напоминающие гербовые щиты, давшие название стилю; д) В-образные рамки пряжек, гнутые из гранёного прутка или пластины. Этим списком ограничен набор специфических признаков геральдического стиля, общих для Южной Сибири и Восточной Европы. Ниже варианты стиля сравниваются согласно этому списку.

Ажурный декор геральдических поясов представляет собой систему круглых и скобчатых прорезей; они часто складываются в «изображение» лица, что, возможно, обыгрывалось мастерами (Рис.1: 6-9). Генезис этой системы на европейских материалах не выясняется, но пряжки из таштыкских склепов Среднего Енисея наглядно его иллюстрируют. В основе этого декора — функционально-декоративный элемент пряжек с неподвижным язычком — пара симметричных волют, заполняющая излишнее пространство рамки. Гипертрофирование этого элемента приводит к образованию системы округлых и скобчатых прорезей (Рис.1: 2-4). Таштыкские пряжки этого типа восходят к более ранним западным (Рис.1: 1), которые не могут быть прямыми прототипами западно-геральдических типов по ряду причин: 1) разрыв в 4-5 веков; 2) накладки типа Суук-Су, мог. 54 прямо имитируют таштыкские пряжки и, строго говоря, являются псевдопряжками; 3) последнее подтверждает важная деталь — короткий шпенек, обычный для западных геральдических типов и ни разу не встреченный на южносибирских вещах, — имитация функциональных таштыкских шпеньков, типологический рудимент (Рис.1: 6, 7, 24, 33, 42). Рамки с волютами есть лишь в таштыкской культуре; в Кудыргэ есть щитки сходных очертаний с растительным орнаментом (Рис.1: 5). (89/90)

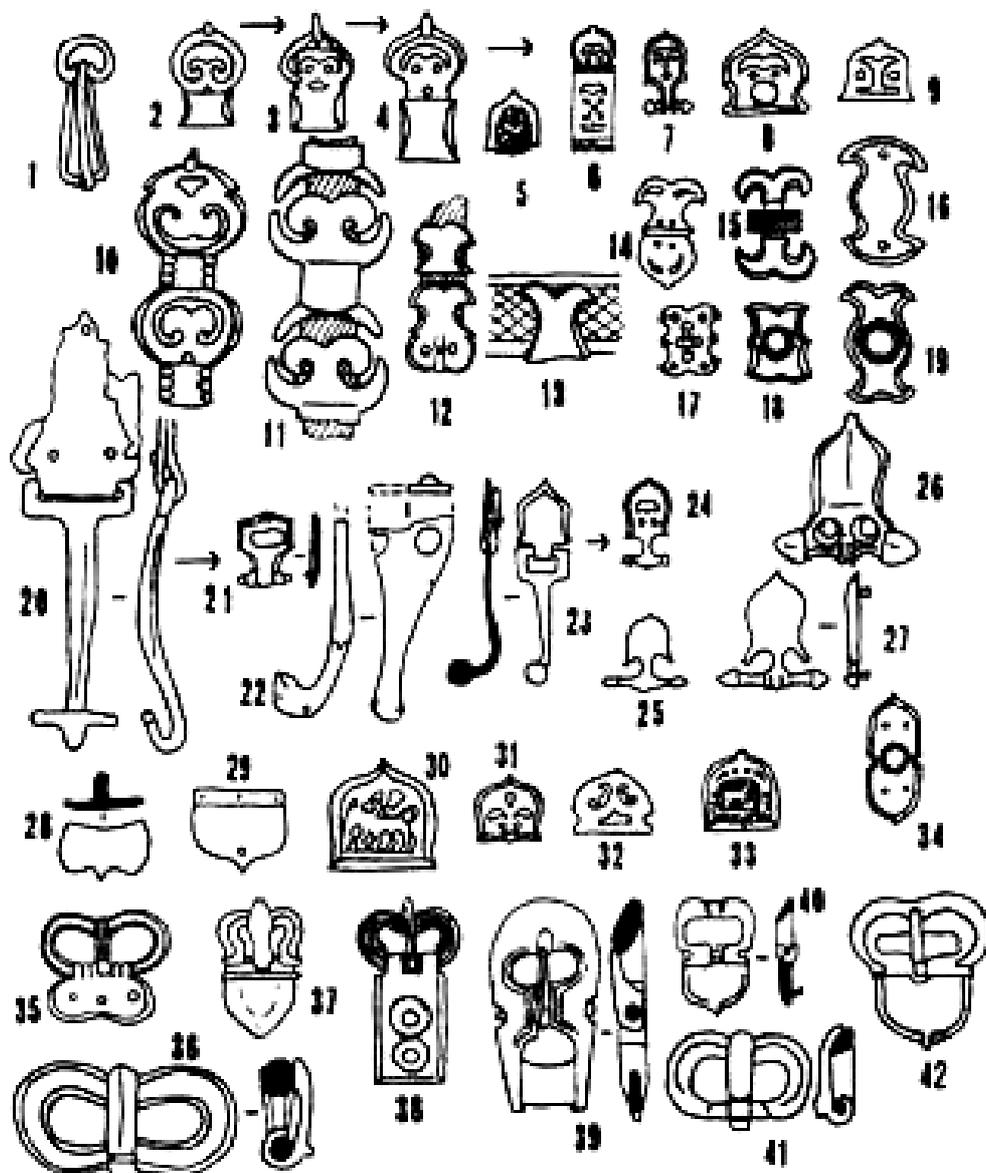


Рис. 1. 1 — Нижний Джулат. 2, 4 — Тенсей. 3, 10, 11, 37, 38 — Изых. 5, 12, 21-23, 30, 40 — Кудыргэ. 6, 31 — Суук-Су. 7, 15 — Чми. 8 — Арцыбашево. 9, 25, 32 — Неволينو. 13 — Таш-

Тюбе. 14 — Чир-Юрт. 16, 41 — Бирск. 17-19 — Мокрая Балка. 20 — Балыктыюль. 24 — Садовско-Кале. 26 — Аверино. 27 — Маняк. 28 — Бабашов. 29 — Орлат. 33 — Тызыл. 34 — Преградная. 35 — Шагвар. 36 — Тураево. 42 — Гижгид. Масштаб различен. 5, 30, 33 — декор показан схематично; 29 — декор не показан. 11 — реконструкция положения блях на ремне.

В целом можно заключить, что восточноевропейский ажурный декор геральдических блях восходит к сибирским прототипам с утратой понимания образующих его элементов и их связи с конкретными вещами. Таштыкские пряжки, представляющие разные этапы эволюции мотива парных волют, встречаются в одних и тех же склепах и, следовательно, не определяют последовательности памятников: эволюция мотива шла за пределами таштыкского ареала.

В Восточной Европе этот заимствованный мотив быстро деградировал, первоначально устойчивая композиция прорезей вскоре развалилась (Рис.1: 7-9, 14, 31-33).

Бляшки в виде рыбьего хвоста. А.К. Амброз называл их «двурогими» и возводил к фигурным концам накладок типа садовской (Амброз 1973: 293, 289; Рис.1: 13-26), не указывая аргументов в пользу именно такой последовательности, кроме независимо полученных абсолютных дат комплексов. Но если этот тип имеет внеевропейское происхождение, то указанный А.К. Амброзом ряд — чисто хронологический, а не типогенетический. Представляется возможным и здесь привлечь таштыкские материалы. В склепах Изыхского, Тепсейского и др. чаатасов найдены своеобразные пряжки и накладки, образующие в наборе ряд чередующихся обойм и овальных рамок со вписанными парными волютами; А.К. Амброз справедливо указал корейские аналоги V-VI вв. (Амброз 1971а: 120; Воробьев 1961: рис. XXXV: 1). Таштыкским поясам аналогичен не сам пояс из Пубучхона, а его подвески, но здесь важно восточное происхождение традиции. Тот же композиционный принцип — чередование прямоугольных и округлых элементов — представлен золотым поясом из погр. 4 Гилля-тепе (Сарианиди 1989: 85 рис. 30; стр. 88 рис. 32; стр. 91-93). В скл. 2 Изыхского чаатаса найдены «рогатые» бляшки с парой симметричных волют; судя по способу крепления, стыковка таких бляшек давала «гибкий» вариант двучастных накладок и пряжек (Рис.1: 10, 11). «Рогатые» бляшки — наиболее вероятный прототип бляшек в виде рыбьего хвоста; утрата «рогов» — элементов обрамляющего волюты составного кольца — нормальное явление, при воспроизведении малознакомой вещи или при перекомпоновке набора. Показательно, что кудыргинские бляшки в виде рыбьего хвоста расположены осью вдоль сбруйного ремня — в соответствии с системой крепления накладок на таштыкских поясах (Рис.1: 11, 12). В Таш-Тюбе оси аналогичных блях уже перпендикулярны ремню (Рис.1: 13), — понимание вещи утрачено. В Европе есть подобные бляшки с ажурным декором (Рис.1: 14), появляются симметрично сдвоенные бляшки, быстро деградирующие (Рис.1: 15-19), что свойственно инородным типам.

Таким образом, наиболее ранний вариант рассмотренного типа — в таштыкской культуре, следующий — в Кудыргэ (что не означает прямой преемственности); европейские бляшки — пример заимствования без точного понимания прототипа.

Т-образные бляшки. А.К. Амброз отметил нефункциональность Т-образной бляшки из кудыргинской мог. 9 и счел это поздним признаком (Амброз 1973: 298). Он справедливо указал, что кудыргинские наборы — не поясные, а сбруйные, но нужно уточнить, что сбруйные наборы из Кудыргэ имитируют поясные гарнитуры, причем не европейские. Необычный рамчатый щиток упомянутой кудыргинской бляшки идентичен одному из типов таштыкских рамок (Кызласов 1960: табл. IV: 91). В целом же эта бляшка воспроизводит обычный для памятников древнетюркской эпохи и предтюркского времени поясной крюк с перекладиной на загнутом конце и прямоугольной рамкой на противоположном (Рис.1: 20, 21), так что имитация восточноевропейских бляшек исключается. В мог. 11 Кудыргэ найден крюк иной конструкции: на загнутом конце — шляпка, а к рамке прикреплен геральдический щиток (Рис.1: 23), что можно считать вариантом распространенного типа крюков с пластиной (Рис.1: 22). Восточноевропейские Т-образные бляшки имитируют конструкцию, отсутствующую в Кудыргэ, но состоящую из представленных здесь элементов, включая стерженьковую фигурную застёжку (Гаврилова 1965: табл. XIX: 7), прототипичную для перекладин Т-образных бляшек. Несмотря на отсутствие точного прототипа, можно полагать, что

кудыргинские вещи отражают более ранний этап моделирования поясных крюков, чем восточноевропейские. Последние часто имеют ажурный декор (см. выше) и быстро деградируют (Рис.1: 24-27).

Приострѣнные геральдические щитки. Ранние вещи этого типа — в огр. XVI, 36 Бабашовского могильника и в кург. 2 Орлатского могильника (Мандельштам 1975: 178; табл. XXXIX: 8-10; Пугаченкова 1989: 128 рис. 56; 148 рис. 70). Орлатские пластины, правда, не бронзовые, а костяные, но имеют изображения, что сближает их позднейшими геральдическими бляшками из металла. Бабашовские невелики, имеют вычурный край, но также узнаваемы. Сравнение этих и более поздних щитков показывает безусловную преемственность (Рис.1: 28-34). Связь южносибирских культур середины I тыс. с более ранними культурами запада Средней Азии устанавливается по серии признаков (Азбелев 1992; 1992а). Появление вырезов по бокам щитков, вероятно, вызвано использованием их с В-образными рамками, имеющими отогнутые окончания (вероятный ряд: рис.1: 37, 40, 32). Вторичность европейских щитков определяется по ажурному декору, рудиментарным шпенькам, по быстрой трансформации с превращением в сложные сдвоенные формы (Рис.1: 34). Последнее, с учетом прослеженного выше развития бляшек в виде рыбьего хвоста, (91/92) показывает, что удвоение исходной формы вообще свойственно геральдическому стилю — ср. удвоенную ажурную композицию на ранних (для Восточной Европы) накладках из Садовско-Кале и Суук-Су, мог. 54 (Рис. 1: 6).

В-образные пряжки. Ранние вещи этого типа — в Средней и Восточной Европе (Рис. 1: 35, 36), даты — IV-V вв. (Амброз 1980: 11; Генинг 1976: 104-107). Ближайшие по времени европейские В-образные пряжки уже связаны с геральдическими поясами, причем рамки теперь выгнуты не из прутка, а из пластины, и либо полые — местная общая для всех форм деталь (Амброз 1989: 52), либо со скошенным передним краем — происхождение этого варианта не выяснялось. Пряжки со скошенным передним краем рамки есть в таштыкских и кудыргинских погребениях, причем в Кудыргэ вместе с бронзовыми поясными пряжками костяные подпружные, также со скошенным передним краем и с вырезами по бокам (Рис.1: 39, 40). В отличие от металлических пряжек, костяные имеют скошенный передний край по технической причине: скос снижает давление подпружного ремня на относительно хрупкую кость. На костяных пряжках функциональные и боковые вырезы, скрывающие металлическую ось язычка, которая могла бы поранить коня.

Особого внимания требуют таштыкские В-образные пряжки (Рис. 1: 37, 38). Они имеют гранёные рамки и внутренний контур, повторяющий очертания внешнего — признаки, характерные для ранних европейских. Вместе с тем их рамки разомкнуты, одна из изысканных пряжек — с геральдическим щитком (Рис. 1: 37). Представляется возможным считать таштыкские и кудыргинские пряжки промежуточным звеном, связующим ранние и поздние европейские варианты в единый эволюционный ряд (Рис.1: 35-38, 40-42).

Предпринятое здесь краткое сопоставление общих элементов южносибирского и восточноевропейского вариантов геральдического стиля показывает, что сибирские комплексы зафиксировали уровень развития, непосредственно предшествующий европейскому варианту. В основе сибирского варианта — сложный конгломерат ранних европейских, среднеазиатских и дальневосточных традиций; таштыкский и кудыргинский комплексы зафиксировали два последовательных периода его развития (что не определяет прямой преемственности). По своей уникальности для Южной Сибири таштыкские, кудыргинские и близкие им поясные сбруйные гарнитурные элементы должны быть признаны инородными для Саяно-Алтая. Ныне накоплено немало данных, позволяющих датировать таштыкские склепы не ниже V в. (Амброз 1971а: 120; Вадецкая 1986: 145; Азбелев 1992; 1992а). Кудыргинский комплекс фиксирует состояние геральдического стиля накануне его восприятия восточноевропейскими народами — не позднее начала (первых десятилетий?) VII в.

Таштыкский и кудыргинский комплексы сближаются и этнокультурными интерпретациями. Д.Г. Савинов обосновал соотношение позднеаташтыкских памятников с культурой раннетюркского владения Цигу (=Кыргыз), известного по генеалогическим легендам тюрков и по упоминаниям в хрониках (Савинов 1984: 40-47; 1988). Могилы кудыргинского типа, по упоминавшемуся мнению А.А. Гавриловой, связаны с влиянием культуры Первого Тюркского каганата. Ареал распространения геральдических поясных и сбруйных наборов не

противоречит предположению о том, что этот стиль оформления престижных изделий — элемент государственной культуры Первого каганата. Определённая А.К. Амброзом дата появления геральдического стиля в Восточной Европе близка времени появления здесь если не собственно тюрков, то союзных им или находившихся под их влиянием кочевников. Заимствование геральдического стиля народами, живущими далеко от центра его сложения, отвечает общему правилу распространения государственных культур среди второстепенных групп населения степных «империй» (Азбелев 1988).

Таким образом, имеются основания полагать, что сибирские элементы восточноевропейского геральдического стиля — следствие тюркской экспансии; кудыргинский же вариант, соответственно, следует считать элементом государственной культуры Первого каганата. Типологически более ранние таштыкские комплексы могут быть названы «протогеральдическими», законсервировавшими состояние тюркской культуры на одном из самых ранних этапов её сложения.

В заключение следует отметить, что предложенное построение не вносит поправок в абсолютно-хронологическую шкалу восточноевропейских древностей, разработанную А.К. Амброзом, а наоборот, подтверждает её, уточняя лишь характеристику типогенетических процессов.

Литература

Азбелев П.П. 1988. К интерпретации заимствования ремесленных традиций в среде центральноазиатских кочевников (I тыс.н.э.) // Древнее производство, ремесло и торговля по археологическим данным. ТДК. М. 75-76.

Азбелев П.П. 1992. Культурные связи степных народов предтюркского времени (по материалам тепсейских и орлатских миниатюр) // Северная Евразия от древности до средневековья. ТДК к 90-летию со дня рождения М.П. Грязнова. СПб. 211-214.

Азбелев П.П. 1992а. Типогенез характерных таштыкских пряжек. // Проблемы археологии, истории, краеведения и этнографии Приенисейского края. Т.П. ТДК к 100-летию со дня рождения Н.К.Ауэрбаха. Красноярск. 48-52. (92/93)

Амброс А.К. 1971. Проблемы раннесредневековой хронологии Восточной Европы. Часть I // СА—2. 98-123.

Амброс А.К. 1971а. Проблемы раннесредневековой хронологии Восточной Европы. Часть II // СА—3. 106-134.

Амброс А.К. 1973а : Рец. на кн.: Erdélyi I., Ojtozi E., Gening W. Das Gräberfeld von Newolino. // СА—2.

Амброс А.К. 1980. Бирский могильник и проблемы хронологии Приуралья в IV-VII вв. // Средневековые древности евразийских степей. М. С. 3-56.

Амброс А.К. 1989. Хронология древностей Северного Кавказа. М.

Вадецкая Э.Б. 1986. Археологические памятники в степях Среднего Енисея. Л.

Воробьев М.В. 1961. Древняя Корея. Историко-археологический очерк. М.

Гаврилова А.А. 1965. Могильник Кудыргэ как источник по истории алтайских племён. М.-Л.

Генинг В.Ф. 1976. Тураевский могильник V в.н.э. (Захоронения военачальников) // Из археологии Волго-Камья. Казань. 55-108.

Кызласов Л.Р. 1960. Таштыкская эпоха в истории Хакасско-Минусинской котловины. М.

Мандельштам А.М. 1975. Памятники кушанского времени в Северной Бактрии // Тр.ТАЭ—VII. Л.

Пугаченкова Г.А. 1989. Древности Мианкаля. Из работ Узбекстанской искусствоведческой экспедиции. Ташкент.

Савинов Д.Г. 1984. Народы Южной Сибири в древнетюркскую эпоху. Л.

Савинов Д.Г. 1988. Владение Цигу древнетюркских генеалогических преданий и таштыкская культура. // Историко-культурные связи народов Южной Сибири. Абакан. 64-74.

Сарианиди В.И. 1989. Храм и некрополь Тиллятепе. М.

П.П. Азбелев

О верхней дате традиции таштыкских склепов

// Алтае-Саянская горная страна и история освоения её кочевниками. Барнаул: 2007. С. 33-36. Прим.: в печатном тексте название изменено редактором: «... традиции сооружения...».

Споры о таштыкской хронологии идут давно. Начальная дата склепов — V в. — установлена благодаря исследованиям А.К. Амброза (Амброз А.К., 1971, с. 120-121; Вадецкая Э.Б., 1999, с. 119-129) и в целом подтверждена уточняющим эти выводы анализом типогенеза таштыкских пряжек (Азбелев П.П., 1992а). Это (33/34) согласуется с гипотезой Д.Г. Савинова о соотносимости культурного комплекса большинства таштыкских склепов с раннекыргызским «владением Цигу», известным по древнетюркским генеалогическим преданиям (Савинов Д.Г., 1984, с. 40-47) и с выводами С.Г. Кляшторного о ранней истории [племени — ред. вставка.] ашина, переселившихся в Южную Сибирь после 460 г. (Кляшторный С.Г., 1965). Можно считать установленным, что таштыкские склепы строились со 2-ой половины V в., и правомерно считать эти памятники раннекыргызскими. Однако исследованиями таштыкской культуры пока что не затронут вопрос о длительности бытования склепной традиции с учётом исправленной нижней даты.

«Чаатасовские» традиции, определяющие специфику кыргызской культуры, хоть и наследуют в отдельных элементах таштыкским, но в целом, как реализованный на местном материале комплекс идей, — привнесены, всего вероятнее, в пору существования сирского эльтеберства на Енисее (630-640-е гг.). Таштыкские склепы в течение некоего времени сосуществовали с кыргызскими оградами в рамках единой культуры, судя по всему, как памятники рядового населения (в отличие от аристократических погребений под оградами со стелами и воинских всаднических могил). Кыргызское общество этой поры выступает как сложная этносоциальная иерархическая структура, в политическом устройстве ориентированная на центральноазиатскую традицию «степных империй», но демографически и во многом культурно основанная на местном таштыкском субстрате.

Прямых археологических данных для решения вопроса о длительности существования этой структуры (и, значит, о том, как долго строились таштыкские склепы) очень мало. Внутренняя хронология оград на чаатасах, определяемая посредством корреляции эволюционных рядов, построенных независимо для конструкций оград и орнаментов ваз, показывает, что на III этапе развития этих элементов кыргызской культуры в устройстве могил происходят изменения: стандартом становятся деревянные внутримогильные конструкции, прежде свойственные только склепам, а теперь рудиментарно воспроизводящие подобие склепа в сооружениях иного рода (на чаатасах в Гришкином логу, Абаканском, Перевозинском, Сырском и др.; в могилах ранних чаатасов деревянные конструкции либо незначительны, либо отсутствуют). Эта интеграция разнородных традиций позволяет говорить о глубоких культурных, социальных и демографических трансформациях на Среднем Енисее. Археологически определяется лишь самая общая дата этих перемен: VIII — первая половина IX в. К тому же периоду относятся и другие культурные изменения в минусинских котловинах: здесь появляются свидетельства как западных влияний, так и непосредственного присутствия мигрантов с Западного Алтая и Восточного Казахстана. На чаатасах и других среднеенисейских могильниках есть целая серия впускных инокультурных могил; яркий и опубликованный пример — впускные погребения на могильниках Сабинка I и Кирбинский лог (Савинов Д.Г., Павлов П.Г., Паульс Е.Д., 1988). Того же происхождения и редкие находки на Среднем Енисее изваяний, похожих на древнетюркские. Их считали таштыкскими, но С.В. Панкова убедительно обосновала некорректность такого определения и, опираясь на разбор системы образов и реалий, заключила, что эти изваяния «современны (34/35) ряду тюркских памятников», причём их следует считать «периферийными по отношению к большинству памятников» древнетюркской скульптуры (Панкова С.В., 2000), то есть, проще говоря, вторичными. Уточняя и конкретизируя этот вывод, следует подчеркнуть: минусинские изваяния выполнены не скульпторами, а петроглифистами, стремившимися в привычной им технике воспроизвести виденные ими (или известные им по словесным описаниям) образцы древнетюркской круглой скульптуры, и являются дополнительными вещественными свидетельствами известных по

различным источникам контактов кыргызов с карлуками, кимаками и, возможно, другими [, общо говоря, — вырезано редактором] западными соседями.

Следует указать и курганные могильники со всадническими погребениями; традиция погребений с конём для Минусинской котловины — несомненно чужая, и появление таких могил на кыргызской территории с VIII в. (до того это единичные комплексы со спорными датами) указывает на приток нового населения. Сравнительно частые находки в этих могилах гончарных кыргызских ваз или их лепных имитаций, а также размещение части этих могил на чаатасах под сооружениями, выполненными в рамках чаатасовской традиции, говорит о том, что мигранты с запада не были завоевателями: они интегрировались в местную этнокультурную среду, становясь постепенно её органической частью (Азбелев П.П., 1992) и вместе с тем понемногу обновляя, трансформируя кыргызскую культуру.

К общей (можно сказать, стадиальной) одновременности указанных процессов (появление таштыкских склепных элементов в устройстве ям под оградами чаатасов, следы западных влияний в культуре и приток нового населения опять же с запада) следует добавить и известное противостояние кыргызов с уйгурами. После уйгурских набегов конца VIII в., по признанию уйгурского же источника, в кыргызской земле «не стало живых людей»; даже если это, как считал Л.Н. Гумилёв (Гумилёв Л.Н., 1967, с. 415), хвастовство в назидание прочим строптивцам, оно указывает, в каком стиле действовали уйгуры: они расправлялись с мятежными соседями, не стесняясь массового истребления жителей. В конце VIII в. внутренние дела в Уйгурском каганате шли плохо, Кутлуг только что возглавил государство и стремился его укрепить, а потому мятежи на окраинах должен был подавлять со всей решительностью, что во все времена означало прежде всего кровавую бойню, так что источнику, скорее всего, следует верить: карательный поход Кутлуга в 795 году был для кыргызов страшным.

Таким образом, склепы прекратили строить в целом примерно в то самое время, когда кыргызы безуспешно восставали против уйгуров, а те отвечали им расправами, от которых минусинское население несло огромный урон; вероятно, можно говорить о демографической катастрофе в кыргызском обществе, когда сложились объективные условия для того, чтобы развитие одной из погребальных традиций пресеклось из-за критического сокращения числа людей, способных адекватно воспроизвести все требуемые ритуалы. При всей условности таких соотнесений (по совокупности данных и за отсутствием других вариантов) причиной угасания традиции склепов таштыкского типа небезосновательно признать карательные набеги уйгуров в конце VIII века, и условной верхней датой периода существования традиции погребения в склепах можно считать рубеж VIII-IX вв.; после этого таштыкские типы появляются в составе инвентаря лишь эпизодически и уже не образуют комплексов. (35/36)

В конце VIII и на рубеже IX в. складываются условия и для фиксируемого археологически притока нового населения: кыргызским владельцам требовались воины, способные противостоять уйгурам, а местное население, судя по всему, было в глубоком демографическом кризисе. Письменные и археологические данные указывают, откуда енисейские кыргызы черпали силы для продолжения борьбы: это были кочевые общества востока Средней Азии и Алтая. На Среднем Енисее складывается новая система ритуалов, новая иерархия типов памятников, анализировать которую нужно уже с иных позиций.

Литература

Азбелев П.П. К реконструкции социальной структуры кыргызского общества. // Исторические чтения памяти Михаила Петровича Грязнова. Часть первая. Омск: Издательство ОмГУ, 1992. С. 88-90.

Азбелев П.П. Типогенез характерных таштыкских пряжек. // Проблемы археологии, истории, краеведения и этнографии Приенисейского края. Т. II. Красноярск: Издательство КГУ, 1992а, с.48-52.

Амброз А.К. Проблемы раннесредневековой хронологии Восточной Европы. Ч. II. // Советская археология. 1971. № 3. С. 106-134.

Вадецкая Э.Б. Таштыкская эпоха в древней истории Сибири. СПб: «Петербургское востоковедение», 1999. 440 с.

Гумилёв Л.Н. Древние тюрки. М.: «Наука», 1967. 504 с.

Кляшторный С.Г. Проблемы ранней истории племени Түрк (Ашина). // Новое в советской археологии. М.: «Наука», 1965. С. 171-178.

Панкова С.В. К вопросу об изваяниях, называемых таштыкскими. // Мировоззрение. Археология. Ритуал. Культура. Сборник статей к 60-летию М.Л. Подольского. СПб.: «Мир книги», 2000. С. 86-103.

Савинов Д.Г. Народы Южной Сибири в древнетюркскую эпоху. Л.: Издательство ЛГУ, 1984. 174 с.
 Савинов Д.Г., Павлов П.Г., Паульс Е.Д. Раннесредневековые впускные погребения на юге Хакасии. // Памятники археологии в зонах мелиорации Южной Сибири. По материалам раскопок 1980-1984 гг. Л.: «Наука», 1988. С. 83-103.

П.П. Азбелев

Об инновациях IX в. в южносибирских культурах.

// Изучение историко-культурного наследия народов Южной Сибири. Вып. 6. Горно-Алтайск: 2007. С. 106-115.

1. Проблема.

Считается, что южносибирские погребения рубежа I-II тысячелетий с сожжениями, совершёнными вместе с инвентарём на стороне и размещёнными под тем или иным сооружением на древней поверхности, оставлены енисейскими кыргызами в т.н. «эпоху великодержавия». Эталонами служат безусловно кыргызские памятники второй половины IX-X вв. в Туве. Предметный комплекс таких погребений считается кыргызским и, «наряду с обрядом трупосожжения, является опорным при определении памятников енисейских кыргызов и в других районах их расселения в IX-X вв.» (Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г., 2005, с. 268). Фактически это значит, что датирование сибирских материалов рубежа тысячелетий за пределами заведомо кыргызского ареала (Минусинская котловина и с середины IX в. Тува) проводится с опорой на кыргызские аналогии и данные летописей о разгроме кыргызами уйгурской столицы Орду-Балыка. Для большой серии памятников летописная дата 840 г. оказывается необсуждаемым *terminus post quem*.

Этот подход имеет право на существование лишь при том условии, что именно и только кыргызская культура могла быть источником датирующих инноваций. Чтобы считать тот или иной признак (или комплекс признаков) специфически кыргызским, нужно проследить его происхождение внутри кыргызской культуры; этот вопрос, однако, никем специально не исследовался; в результате хронология и интерпретация сотен памятников (106/107)ков оказались в зависимости от трактовки одной письменной даты и отношения к концепции «кыргызского великодержавия», под которую, в сущности, и подгоняются археологические построения. Верно ли это? Единственно ли возможно привычное понимание летописных сообщений? Не предоставляют ли имеющиеся вещественные материалы возможностей для иной интерпретации?

Связанные темы «кыргызского великодержавия» и инноваций IX в. в южносибирских культурах рассматриваются здесь обзорно, на уровне постановки вопроса.

2. Исторические обстоятельства.

2.1. Концепция «великодержавия».

«Эпоха кыргызского великодержавия» — исходно публицистический образ; впервые он появился в научно-популярной брошюре акад. В. В. Бартольда о киргизах (1927; Бартольд В.В., 1963) и на несколько десятилетий предопределил тот угол зрения, под которым многие историки и археологи рассматривали южносибирские и центральноазиатские археологические памятники IX-X вв. Тезис о «кыргызском великодержавии» прижился в отечественной научной литературе настолько, что не обсуждается ни его историческая правомерность, ни рамки, задаваемые им для интерпретации археологических материалов. Положение, в котором кыргызы оказались в 840 году, создаёт все предпосылки для появления завышенных оценок кыргызского вклада в историю Центральной Азии на рубеже I-II тыс. Чётче всего такой взгляд на историческую ситуацию IX-X вв. выражен Ю. С. Худяковым: «Это был звёздный час кыргызской истории, период, справедливо названный В. В. Бартольдом “киргызским великодержавием”, время, когда кыргызы смогли подчинить обширные просторы степной Азии, оставить о себе память у многих народов и привлечь благодаря этому внимание позднейших историков. ... События IX-X вв. в Центральной Азии, активными участниками которых были кыргызы, изменили традиционную линию этнической истории в этом регионе, рассеяли уйгуров от Восточного Казахстана до Хангая, способствовали консолидации кимако-кыпчакского объединения, открыли путь кыргызам на Тянь-Шань, стали прелюдией для

выхода на арену мировой истории монголоязычных кочевников. Всё перечисленное убеждает нас в необходимости вернуть изучаемому периоду прежнее название “эпоха (кыргызского) великодержавия”, сохранив его хронологию в пределах IX-X вв.» (Худяков Ю.С., 1982, с. 62-63). Лучшей иллюстрацией к словам Ю.С. Худякова служат карты, опубликованные Л. Р. Кызласовым (Степи Евразии..., 1981, с. 143, рис. 32) и в труде С. Г. Кляшторного и Д. Г. Савинова (Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г., 2005, цветная вклейка между с. 144 и 145, карта «Кыргызский каганат в IX в.»).

Однако следует иметь в виду обстоятельства, не вписывающиеся в логику концепции «кыргызского великодержавия».

2.2. События и их освещение в источниках.

Подробное повествование китайского хрониста о кыргызско-уйгурских коллизиях середины IX в. завершается на сообщении о том, что в 847 г. кыргызский правитель Ажо умер; летописец коротко упоминает несколько посольств, сожалеет о том, что кыргызы так и не смогли окончательно добить уйгуров, и добавляет, что о дальнейших событиях, связанных с кыргызами, «историки не вели записок». Возникает противоречие: с одной стороны — «великодержавие», с другой — «историки не вели записок». Достаточно вспомнить о том, как тщательно китайские хронисты фиксировали сведения о «северных варварах», представлявших собой ощутимую силу в Центральной Азии — о тюрках и сирах, об уйгурах и о тех же кыргызах (до определённого момента), чтобы понять: уж если китайские хронисты прекратили «вести записки» о енисейских кыргызах, то лишь потому, что к этому моменту никакой кыргызской «великой державы» не было, а роль этого народа была вовсе не такой значительной, как это представляется иным современным исследователям.

То же касается и самой «победы кыргызов над уйгурами». Интересно сравнить, как «Таншу» излагает эти события в повествованиях об уйгурах и о кыргызах.

Повествование об уйгурах гласит, что в 832 г. уйгурский «хан убит от своих подчинённых»; через семь лет, в 839 году, «министр Гюйлофу (Кюлюг-бег) (по А. Г. Малявкину — Курабир) восстал против хана (кагана Ху из племени эдизов), и напал на него с шатоски-(107/108)ми войсками. Хан сам себя предал смерти... В тот год был голод, а вслед за ним открылась моровая язва и выпали глубокие снега, от чего много пало овец и лошадей». «Синь Таншу» сообщает, что в тот год было много болезней, голод и падёж скота; ср. в энциклопедии «Тан хуэйяо» под 839 годом: «ряд лет подряд был голод и эпидемии, павшие бараны покрывали землю. Выпадал большой снег». Кюлюг-бег и его сторонники поставили ханом «малолетнего Кэси Дэле» (Кэси-тегина). В следующем, роковом для Уйгурского каганата 840 году «старейшина Гюйлу Мохэ (Кюлюг-бага-тархан из телеского племени эдизов), соединившись с хагасами (кыргызами), со 100 000 конницы напал на хойхуский (уйгурский) город (Орду-балык), убил хана, казнил Гюйлофу (Кюлюг-бега, Курабира) и сожёл его стойбища. Хойху поколения рассеялись». (Бичурин Н.Я., 1950, т. I: с. 334; Малявкин А.Г. 1983, с. 22).

Таким образом, Уйгурский каганат к концу 830-х гг. был крайне ослаблен, для развала каганата оказалось довольно одного набега на столицу, но роль кыргызов при этом сводилась к погрому в столице и к погоням за рассеявшимися в суматохе по степи уйгурскими отрядами. До того — двадцатилетние пограничные столкновения не привели к реальным успехам, а в 840 году уйгурские вельможи из племени эдизов просто использовали кыргызов во внутриуйгурской усобице — точно так же, как за год до того токуз-огузы использовали тюрков-шато. В погоню за Уге кыргызы отправились по настоятельной просьбе китайцев, о чём свидетельствует переписка китайского чиновника Ли Дэюя (Супруненко Г.П., 1963; 1974), где прямо говорится о том, что кыргызов нужно использовать для полного разгрома уйгуров; но вот о кыргызах как о самостоятельном факторе военно-политических игр источники не говорят вовсе.

Если в разделе об уйгурах летописец характеризует роль кыргызов как весьма скромную, то в повествовании о самих кыргызах акценты заметно смещены. Объявив себя ханом, Ажо отразил первый карательный рейд уйгуров, после чего, «надмеваясь победами» (кстати, непонятно какими; о каких-либо предшествующих военных успехах кыргызов в источниках

нет ни слова), послал уйгурскому кагану хвастливый ультиматум: «Твоя судьба кончилась. Я скоро возьму Золотую твою орду, поставлю перед нею моего коня, водружу моё знамя. Если можешь состязаться со мною — приходи; если не можешь, то скорее уходи» (Бичурин Н.Я., 1950, т. I, с. 355-356). Через двадцать лет «хойхуский хан не мог продолжать войны. Наконец его же полководец Гюйлу Мохэ привёл Ажо в хойхускую орду. Хан был убит в сражении, и его Дэле рассеялись». В 847 году Ажо умер, что в период с 860 по 873 год кыргызы «три раза приезжали ко Двору. Но Хягас не мог совершенно покорить хойху. Впоследствии были ли посольства и были ли даваны и жалованные грамоты, историки не вели записок». Иными словами, как только выяснилось, что добить уйгуров кыргызы не в состоянии, интерес к ним пропал.

Бросается в глаза несоответствие двух повествований об одних и тех же событиях: в рассказе об уйгурах кыргызский набег — всего лишь эпизод многолетней внутренней уйгурской усобицы, дошедшей до привлечения обеими сторонами иноплеменников, которые вышли из-под контроля и разграбили столицу, а в повествовании о кыргызах их удача 840 года выставлена победным итогом двадцатилетней войны. На вторую версию и предпочитают опираться нынешние исследователи, игнорируя при этом её очевидные несоответствия (так, поставленный ханом в 839 году «малолетний Кэси Дэле» вряд ли уже через год мог быть убит в бою). Версия повествования об уйгурах, по которой и Кюлюг-бег, и его малолетний ставленник были убиты Кюлюг-бага-тарканом, выглядит более правдоподобной благодаря упоминанию конкретных имён и общей согласованности со всем ходом событий. Рассказ кыргызской версии как бы «подправлен» в пользу кыргызов — в тот момент союзников танского Китая; повествование же об уйгурах в целом более последовательно и логично, чем запутанные данные о кыргызах. Из сопоставления версий следует, что если кыргызы считали уйгуров злейшими врагами, то для уйгуров (да и для китайцев) кыргызы были не более чем одним из периферийных племён, которое считали возможным при необходимости использовать как инструмент.

После разгрома Орду-Балыка кыргызская активность в Центральной Азии на практике свелась к нескольким рейдам и грабительским набегам; базировались кыргызы, судя по всему, в Монголии, но данных об их закреплении ещё где-либо, о назначении наместни-

(108/109)

ков и т.п. нет, то есть эти походы не сопровождались ни захватами территорий, ни их административно-хозяйственным освоением, — а без государственного строительства о «великодержавии» говорить не приходится. Неясно, как долго кыргызы оставались в Монголии, но очевидно главное: кыргызы мелькнули в Центральной Азии, разрушили и разграбили всё, до чего могли дотянуться — и исчезли, ограничившись единственным приобретением — верхнеенисейскими котловинами, где их присутствие в последующие века зафиксировано как археологическими, так и письменными источниками.

Хроника сообщает: «Хягас было сильное государство; по пространству равнялось тукюеским владениям. Тукюеский Дом выдавал своих дочерей за их старейшин. На восток простиралось до Гулигани, на юг до Тибета, на юго-запад до Гэлолу» (Бичурин Н.Я., 1950, с. 354). Династические браки с тюрками имели место в период Второго каганата, и упоминание о них здесь — лишь экскурс в историю. Пространственные сопоставления летописей несущественны, а вот куда кыргызское государство «простиралось» — это важно.

Гулигань — прибайкальские курыканы, от заведомо кыргызских земель их отделял Восточный Саян. В тех краях кыргызы оказались лишь однажды — около 847-848 гг., когда ходили в шивэйские земли в погоню за одним из уйгурских отрядов. Тибет даже в годы наибольшего могущества занимал земли не севернее Тяньшаня — но даже сторонники теории «кыргызского великодержавия» не включают в область кыргызского господства ещё и Притяньшанье. Гэлолу (карлуки) кочевали в Джунгарии и Семиречье, в Восточном Казахстане и, возможно, на Монгольском Алтае; но в IX-X вв. их отделяли от кыргызов владения кимаков и кыпчаков. Очевидно, что речь не может идти о границе в современном понимании. Фрагмент становится осмысленным лишь при том условии, что слово «простиралось» будет понято как указание на посольские связи или наиболее дальние набег. Действительно, кыргызы имели контакты с карлуками и с Тибетом, есть и упоминания о столкновениях с курыканами. Таким образом, приведённый фрагмент говорит о том, что прежде кыргызы имели династические

связи с тюрками, а теперь так или иначе контактируют с карлуками, Тибетом и курыканами. Не более того.

2.3. Другой взгляд на проблему.

В 1995 году Ю. А. Заднепровский в частной беседе со мной предположил, что термин «кыргызское великодержавие» нужно рассматривать как факт не столько истории IX в., сколько советской истории 20-х гг. прошлого столетия. Акад. Бартольд писал свою брошюру в пору становления национальной киргизской государственности в рамках СССР, в какой-то мере выполняя социальный заказ на поиск героических страниц в прошлом киргизского народа. События середины IX в. формально подходили на роль такой страницы; примечательно, что сам автор термина «кыргызское великодержавие» не связывал пресловутую «победу над уйгурами» с дальнейшими событиями в истории киргизского народа, не пытался строить на ней теорий о «переселении енисейских кыргызов на Тяньшань» — словом, не более чем предложил красивую, но ни к чему не обязывающую публицистическую формулу, уместную лишь в популярной брошюре. Вряд ли он мог предвидеть, что впоследствии её поднимут на щит в академических построениях.

Далеко не все исследователи приняли концепцию «кыргызского великодержавия» и сам этот термин как нечто само собой разумеющееся. Так, Л. Н. Гумилёв, справедливо считая развал Уйгурского каганата важным событием в истории региона, не использовал это словосочетание, отводя кыргызам лишь роль разрушителей, которые после выпавшей им в 840 г. удачи «не претендовали на степь», а «ушли обратно в благодатную Минусинскую котловину, где могли жить осёдло, заниматься земледелием, а не кочевать» (Гумилёв Л.Н., 1970, с. 66; справедливости ради замечу, что Туву кыргызы всё-таки захватили и освоили, причём о кыргызском земледелии в Туве никаких серьёзных данных нет). Постоянный оппонент Л. Н. Гумилёва, синолог А. Г. Малявкин, автор важнейших работ по уйгурской истории, подчёркивал, что кыргызы ограничились разгромом единого уйгурского государства и не пытались ни добить уйгуров, ни расширить экспансию (Малявкин А.Г., 1983, с. 24). Авторитетнейший специалист по истории и этнографии тяньшаньских киргизов, С. М. Абрамзон в своём основном труде назвал «кыргызское великодержавие» — весьма преувеличенным (Абрамзон С.М., 1971, с. 21).(109/110)

Концепция «кыргызского великодержавия» основана на однобокой, в сущности — произвольной трактовке источников; она не является ни общепризнанной, ни доказанной, ни даже сколько-нибудь основательной, — из чего и следует исходить при её приложении к археологическим материалам. Следует помнить и о том, что в источниках нет указаний на связь между событиями 840 года и постулируемой рядом исследователей активностью енисейских кыргызов на Алтае. При этих условиях привязывать хронологию и этнокультурную идентификацию алтайских памятников к дате разрушения Орду-Балыка весьма рискованно; куда более весомы выводы, основанные на независимом от летописей сравнительно-типологическом изучении вещественного материала.

3. Археологический аспект.

В большинстве публикаций кыргызы предстают главной движущей силой историко-культурного развития в Южной Сибири IX-X вв. Новые типы, распространившиеся тогда в этом регионе, считают свидетельствами кыргызского влияния; погребения с сожжениями, датированные IX-X вв., обычно считают кыргызскими; именно с этого времени ряд авторов отсчитывает историю тяньшаньских киргизов, якобы поэтапно переселившихся в Среднюю Азию с Енисея.

Вместе с тем нужно обратить внимание на обстоятельство, игнорируемое большинством обратившихся к этой теме авторов: типы, указываемые как кыргызские, ни по отдельности, ни в комплексе не имеют прототипов в самой культуре енисейских кыргызов. В то же время безусловные специфические черты кыргызской культуры предшествующего периода — круговые кыргызские вазы с зигзагообразными и волотовыми узорами, чаатасовские каменные конструкции, какие-либо признаки таштыкского происхождения — за пределы заведомо

кыргызского ареала в IX в. как раз и не «выплёскиваются»; единственное достоверное исключение — шуйбинские каменные конструкции типа чаатасовских (Азбелев П.П., 1994), оставленные небольшой группой стремительно ассимилирующихся переселенцев (возможно, беженцев).

3.1. Особенности погребального обряда.

При определении этнокультурной принадлежности памятников за пределами заведомо кыргызского ареала специфически кыргызским обрядом считают: сожжение с вещами на стороне; погребение останков на древней дневной поверхности; «тайники», то есть отдельные кучки инвентаря за пределами собственно погребения. Эти признаки действительно представлены в погребальных памятниках заведомо кыргызского ареала, но за его пределами они не определяют кыргызской принадлежности памятника.

Кремация практиковалась многими народами на протяжении всего I тыс. В. А. Могильников справедливо отмечал: «погребения с кремациями северных предгорий Алтая, Верхнего Приобья и Прииртышья, содержавшие инвентарь, который не был на погребальном костре (Сростки, Уень, Боброво), не являются бесспорно кыргызскими. Такой ритуал, особенно, когда вещи расположены в могилах, как при ингумации, напоминает погребальный обряд самодийских погребений с трупосожжениями Среднего и Верхнего Приобья (некрополи Рёлка, Архиерейская Заимка) и, возможно, восходят к самодийскому этническому пласту» (Могильников В.А., 1989, с. 140). К этому следует добавить, что у самих кыргызов на минусинских чаатасах по меньшей мере треть погребений — по обряду трупоположения, причём корреляции между погребальным обрядом и социальным статусом погребённых нет (Азбелев П.П., 1989). Более того, и сожжение вместе с вещами — также не определяющий признак; вещи, побывавшие в огне, в кыргызских могилах на ранних чаатасах не встречаются. Обычно инвентарь кыргызских погребений сводится к керамике, а сопровождавшийся сравнительно обильным вещественным инвентарём редкие всаднические погребения старше IX в. содержат лишь несожжённые останки.

Наземные погребения и так называемые «тайники» до IX в. у енисейских кыргызов вообще неизвестны — это безусловные инновации в кыргызской культуре, по времени совпадающие с кыргызо-уйгурскими войнами, трансформацией структуры кыргызских похоронных ритуалов (появился устойчивый тип впускных подхоронений в южной половине комплекса, см. Азбелев П.П., 1992) и археологически фиксируемыми западными влияниями (110/111)ниями (о них ниже). Нет причин думать, что эти признаки сложились в рамках самой кыргызской культуры; наоборот, можно с высокой долей уверенности считать, что они проникли на Енисей вместе с населением, восполнившим демографический урон после уйгурских набегов конца VIII в. А значит, за пределами заведомо кыргызского ареала этими признаками (в том или ином наборе) могут обладать и памятники старше 840 г., не имеющие к енисейским кыргызам никакого отношения.

3.2. Вещественные материалы.

В основе датирования алтайских памятников по кыргызским аналогиям — применявшийся на практике ещё С. В. Киселёвым и наиболее чётко сформулированный Д. Г. Савиновым тезис о том, что предметный комплекс тувинских памятников енисейских кыргызов «...наряду с обрядом трупосожжения является опорным при определении памятников енисейских кыргызов и в других районах их расселения в IX-X вв.»; это, по Д. Г. Савинову, «предметы, характеризующие культуру собственно енисейских кыргызов IX-X вв.: стремена с петельчатой приплюснутой дужкой и прорезной подножкой, витые удила с «8»-образным окончанием звеньев с кольцами, расположенными в различных плоскостях, трёхпёрые наконечники стрел с пирамидально оформленной верхней частью и серповидными прорезями в лопастях, эсовидные псалии с зооморфными окончаниями в виде головок горных баранов или козлов, различных типов бронебойные наконечники стрел, круглые распределители ремней, гладкие лировидные подвески с сердцевидной прорезью, поясные и сбруйные наборы со сложной системой орнаментации (растительный, «цветочный»),

«пламевидный» орнаменты и др.)», причём автор отделяет от специфически кыргызских, по его мнению, изделий — вещи «общераспространённых форм (детали поясных наборов, пряжки с язычком на вертлюге, панцирные пластины, топоры-тёсла, двукольчатые удила, эсвидные псалии, трёхпёрые и плоские ромбические наконечники стрел)» (Савинов Д.Г., 1984, с. 91).

Часть предлагаемых «маркёров» кыргызского влияния (или присутствия), прежде всего из области декора предметов фурнитуры и торевики, относится к более позднему времени и должна рассматриваться как результат соприкосновения степняков с киданьской империей Ляо. Эта путаница неизбежна при механическом объединении памятников IX и X вв., свойственном работам сторонников концепции «великодержавия»; для их разделения удобно использовать в качестве ориентира хронологическую таблицу тувинских памятников, разработанную Г. В. Длужневской и содержащую лясские даты (1994, с. 38, рис. 16). Положение осложняется тем, что престижный предметный комплекс киданьской культуры формировался, вероятно, не без уйгурского участия — ведь кидани в течение какого-то времени по крайней мере формально подчинялись Уйгурскому каганату. В результате обсуждаемый «инновационный пакет», обычно приписываемый кыргызам, оказывается дважды — ориентировочно на рубеже VIII-IX вв. и в первой трети X в. — как бы «прошит» признаками, однотипными по морфологическим основам, но разными по декору и нюансам оформления. По привычке рассматривая его нерасчленённо, исследователи лишают себя возможности корректно выстроить хронологические шкалы для южносибирских культур соответствующего времени.

Проблема дифференцирования «кыргызских» признаков не сводится к учёту позднейших лясских влияний. Ряд обстоятельств указывает на то, что где-то в конце VIII — начале IX вв. как кыргызы, так и другие южносибирские (и шире — все центральноазиатские) народы испытали сильное воздействие с запада, не отражённое в письменных памятниках, но отпечатавшееся в археологическом материале. Мне уже приходилось писать о безусловно восточноевропейском происхождении пельтовидной лунницы из разрушенного уйгурского погребения под горой Увгунт в Монголии (Азбелев 2007а); западные связи центральноазиатских кочевников уйгурского времени прослеживаются и по другим категориям находок.

Так, например, стремена с прорезными подножками, считающиеся кыргызским типом, в среднеиудейских и в целом южносибирских памятниках древнее IX в. не найдены; более того — для центральноазиатских культур древнетюркского времени ажурный декор вообще нехарактерен (отдельные находки в погребениях кудыргинского этапа — слишком ранние; (111/112) кроме того, по крайней мере в одном случае речь должна идти не об ажурном декоре, а лишь о литейном браке). Зато стремена с прорезным декором подножек известны в поволжских раннеболгарских памятниках (см., например, Казаков Е.П., 1992, с. 55, рис. 14, 7). Это не массовые находки, но важно, что в восточноевропейских культурах этой эпохи прорезной декор — явление весьма распространённое, и его применение, среди прочего, ещё и к стременам закономерно, это не выглядит странным «чёртиком из шкатулки». Прорези европейских стремян имеют серийные параллели в ажурных узорах прочих изделий, а южносибирские — часто гипертрофированы и не имеют аналогов в традиционных местных системах декора. По контурам прорези подножек стремян сопоставимы с ажурными фигурами на изделиях восточноевропейского геральдического стиля (россыпи и сочетания округлых отверстий с прорезями — треугольными, серповидными, в виде «запяты»), и нет сомнений в том, что традиция украшать таким способом что бы то ни было сформировалась именно в типологическом контексте восточноевропейской «геральдики».

В том же ключе, возможно, следует рассматривать и прорези в лопастях наконечников стрел. По своим очертаниям они весьма схожи с некоторыми элементами ажурного декора восточноевропейских геральдических наборов, в ранних южносибирских материалах они неизвестны, и небезосновательно предположить, что они имеют то же происхождение, что и прорези стремённых подножий.

Всего вероятнее, западного происхождения и т.н. «коленчатые» кинжалы. Их не включают в число инноваций «кыргызского» происхождения, но они дополняют общую картину этнокультурных связей уйгурского периода. Наиболее ранние известные экземпляры — в хазарских комплексах VII-VIII в., (Борисово, погр. 138; Вознесенка; Глодосы; Директорская горка, погр. 3; Тополи, собраны в статье: Комар А.В., Сухобоков О.В., 2000); в

ряде случаев эти кинжалы имеют напускные перекрестья, вполне аналогичные более позднему уйбатскому. Появление этих кинжалов в хазарских комплексах иногда связывают с азиатским (тюркским) влиянием, но это маловероятно: в одновременных и более ранних памятниках древнетюркского мира этот тип не представлен (все известные кинжалы — прямые). В Центральной Азии «коленчатые» кинжалы появляются, судя по изображениям на изваяниях с датированными реалиями, не ранее VIII в., а может быть, и позднее, и по имеющимся данным считать их местным типом нельзя. Вместе с тем нужно подчеркнуть, что вопрос о происхождении соответствующего восточноевропейского типа остаётся пока открытым.

Там же, в салтовской и смежных с ней культурах, обнаруживаются и сравнительно ранние удила с 8-образными завершениями грызл. Как и в случае с «коленчатыми» кинжалами, происхождение данного восточноевропейского типа нельзя считать полностью выясненным, но хронологическое соотношение с сибирскими находками позволяет предварительно считать эту разновидность удил западной. А. А. Гаврилова называла появление 8-образных завершений технологической новацией: «Это усовершенствование было вызвано невозможностью соединять в одном кольце удила роговой псалий и железное кольцо для повода: кольцо разрушило бы псалий. Нужно было отделить псалий от кольца, и это было достигнуто изобретением двукольчатых удил. Теперь псалий помещался во внутреннее кольцо восьмерки, а кольцо для повода — в ее внешнее кольцо» (Гаврилова А.А., 1965, с. 81). Однако это объяснение касается в основном самого принципа двукольчатости окончаний грызл и равно относится как к удилам с дополнительными кольцами, так и к 8-образным; но «слияние» колец в «восьмёрку» имеет отношение не к использованию, а к изготовлению удил данного типа, и определяется уже нефункциональными обстоятельствами.

Наконец, то же направление связей прослеживается по серии случайных сибирских находок иных категорий: цельнолитые имитации составных хазарских «самоварчиков» (типа ГЭ ОАВЕС 5531/1923), округлые ажурные амулеты т.н. «аланского» типа (например, ГЭ ОАВЕС 5531/1932-1934), воспроизводившиеся потом в Сибири вплоть до этнографической современности, мелкие наконечники ремешков с «карикатурными» изображениями бородатого лица (ГЭ ОАВЕС 1126/428, 1133/152-153) и др. (всё бронза).

На Среднем Енисее западное влияние маркируется не только изделиями нового облика, но и заведомо инокультурными памятниками типа впускных всаднических погребений (112/113) на могильниках Сабинка I и Кирбинский лог (Савинов, Павлов, Паульс 1988), появившимися в рамках глубокой трансформации кыргызского общества и культуры после катастрофических уйгурских набегов конца VIII в. (Азбелев 2007б). Именно в этих могилах найдены наиболее ранние на Среднем Енисее гладкие лировидные подвески с сердцевидными прорезями, стремяна с приплюснутой петлёй для путлища и удила с 8-образными завершениями грызл, также наиболее ранние из хотя бы приближённо датированных находок соответствующего облика в минусинских степях. Ничего подобного в достоверно более ранних кыргызских памятниках нет, эти типы принесены сюда новым населением — а значит, находки подобных предметов в других регионах не могут датироваться по вторичным аналогиям из кыргызского ареала.

Того же происхождения и немногочисленные минусинские находки изваяний, похожих на древнетюркские. Многие авторы относили их к таштыкской традиции, но С. В. Панкова, опираясь на подробный разбор системы образов и реалий, заключила, что «нет оснований считать их таштыкскими»; эти изваяния «современны ряду тюркских памятников», причём их нужно признать «периферийными по отношению к большинству памятников» древнетюркской скульптуры, «их корректнее относить к “кыргызскому” времени» (Панкова С.В., 2000). Уточняя и конкретизируя этот вывод, следует подчеркнуть: минусинские изваяния вторичны, их создали не скульпторы, а петроглифисты; они пытались в привычной им технике воспроизвести виденные ими (или известные им по словесным описаниям) образцы древнетюркской круглой скульптуры, а заодно дополнили непонятную и потому «развалившуюся» композицию типовых элементов, свойственных изваяниям, знакомыми петроглифическими образами.

Каждый из пунктов приведённого обзора, безусловно, нуждается в особом тщательном изучении. Предстоит проверить как типогенетические связи по отдельным категориям инвентаря, так и событийную взаимоувязанность различных заимствований. Однако и общее

перечисление вероятных западных прототипов южносибирских инноваций IX в. уже позволяет сделать ряд предварительных выводов.

4. Выводы.

Если в эпоху Первого тюркского каганата произошёл мощный «выплеск» центральноазиатских типов на запад (типогенетический анализ см.: Азбелев П.П., 1993), то в уйгурское время наблюдается обратный процесс. Вряд ли можно вести речь о каких-то широкомасштабных переселениях или завоеваниях — может быть, имело место что-то вроде «цепной миграции» периферийных групп (населения Хазарского каганата?), спровоцированной теми или иными событиями на западе горно-степного пояса Евразии. Упомянутые инокультурные погребения на юге Минусинской котловины маркируют один из финальных этапов этого процесса.

По крайней мере часть считающихся кыргызскими признаков, распространившихся в южносибирских культурах в конце I тыс., имеет на самом деле не кыргызское, а восточноевропейское происхождение; кыргызы усвоили их наравне с другими южносибирскими народами, и не обязательно раньше других — а значит, служить вещественными индикаторами кыргызского влияния или присутствия эти типы не могут. Ни по отдельности, ни в комплексе эти признаки сами по себе не служат основанием для привязки даты того или иного комплекса к 840 г. За пределами Минусинской котловины и Тувы (и руин Орду-Балыка, разумеется) дата 840 г. статуса *terminus post quem* не имеет.

Применительно к вопросам этнокультурной истории это значит, что памятники, характеризующиеся соответствующими признаками, не могут считаться кыргызскими без дополнительного анализа, методология которого должна выстраиваться отдельно, на основе детального изучения кыргызской хронологии, а также глубокого анализа типогенетических связей всех южносибирских культур.

Применительно к вопросам общеисторического плана приведённые выше обстоятельства означают, что расхожий термин «кыргызское великодержавие» — не более чем историографический казус, в сущности — недоразумение, которое можно и должно устранить, предложив иное, более фундированное освещение известных исторических событий и археологических фактов. Материалы, позволяющие пересмотреть интерпретацию (113/114) центральноазиатской истории IX-X вв., появились в основном позже, чем концепция «великодержавия», и не могли быть учтены её создателями, однако в настоящее время несоответствие идеи о «кыргызском великодержавии» известным историческим и археологическим данным уже очевидно. Всесторонний анализ развития южносибирских культур в IX в., основанный на конкретном вещественном материале и свободный от историографических штампов, представляется важной и увлекательной задачей будущих изысканий.

Литература.

- Абрамзон С.М. Кыргызы и их этногенетические и историко-культурные связи. Л., 1971.
- Азбелев П.П. Ингумации в минусинских чаатасах (к реконструкции социальных отношений по археологическим данным). // Актуальные проблемы методики западносибирской археологии. Новосибирск, 1989. С. 154-156.
- Азбелев П.П. К реконструкции социальной структуры кыргызского общества. // [Вторые] Исторические чтения памяти Михаила Петровича Грязнова. Часть первая. Омск, 1992. С. 88-90.
- Азбелев П.П. Сибирские элементы восточноевропейского геральдического стиля. // Петербургский археологический вестник. Вып. 3. СПб, 1993. С. 89-93.
- Азбелев П.П. Погребальные памятники типа минусинских чаатасов на Иртыше. // Этнокультурные процессы в Южной Сибири и Центральной Азии в I-II тысячелетии н.э. Кемерово, 1994. С. 129-138.
- Азбелев П.П. Вещь, отражающая эпоху (об историко-культурном контексте увгунтского комплекса). // Этноистория и археология Северной Евразии: теория, методология и практика исследования. Иркутск, 2007а. С. 126-129.
- Азбелев П.П. О верхней дате традиции таштыкских склепов. // Алтай-Саянская горная страна и история освоения её кочевниками. Барнаул, 2007б. С. 33-36.

- Бартольд В.В. Киргизы. Исторический очерк. // Соч., Т. II. Ч. I. М., 1963.
- Бичурин Н.Я. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. // М.-Л.: 1950. Т. 1. 380 с.
- Гаврилова А.А. Могильник Кудыргэ как источник по истории алтайских племён. М.-Л., 1965. 145 с.
- Гумилёв Л.Н. Поиски вымышленного царства. Легенда о «Государстве пресвитера Иоанна». М., 1970. 431 с.
- Длужневская Г.В. Типология снаряжения всадника и коня степей Центральной Азии (IX-XII вв. н.э.). // Fasciculi Archaeologiae Historicae. Fasc. VI. Lodz, 1994. С. 21-43.
- Казakov Е.П. Культура ранней Волжской Болгарии (этапы этнокультурной истории). М., 1992. 335 с.
- Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г. Степные империи древней Евразии. Филол. ф-т СПбГУ, СПб, 2005. 346 с.
- Комар А.В., Сухобоков О.В. Вооружение и военное дело Хазарского каганата. // Восточноевропейский археологический журнал, № 2(3), март-апрель 2000 (интернет-издание; [ссылка](#)).
- Малявкин А.Г. Уйгурские государства в IX-XII вв. Новосибирск, 1983. 207 с.
- Могильников В.А. Новые памятники енисейских кыргызов на Алтае. // Проблемы изучения Сибири в научно-исследовательской работе музеев. Тезисы докладов научно-практической конференции. Красноярск, 1989. С. 138-140.
- Панкова С.В. К вопросу об изваяниях, называемых таштыкскими. // Мировоззрение. Археология. Ритуал. Культура. Сборник статей к 60-летию М.Л. Подольского. СПб., 2000. С. 86-103.
- Савинов Д.Г. Народы Южной Сибири в древнетюркскую эпоху. Л., ЛГУ, 1984. 174 с.
- Савинов Д.Г., Павлов П.Г., Паульс Е.Д. Раннесредневековые впускные погребения на юге Хакасии. // Памятники археологии в зонах мелиорации Южной Сибири. По материалам раскопок 1980-1984 гг. Л., 1988. С. 83-103.
- Степи Евразии в эпоху средневековья. Серия: Археология СССР. М., 1981. 304 с.
- Супруненко Г.П. Документы об отношениях Китая с енисейскими кыргызами в источнике IX века «Ли Вэй-гун хойчан ипинь цзи» («Собрание сочинений Ли Вэй-гуна периода правления Хойчан, 841-846 гг.»). // Изв. АН Кирг.ССР, серия обществ. наук, Т. V, Вып. 1, (История). Фрунзе, Изд-во АН Кирг.ССР, 1963. С. 67-81.
- Супруненко Г.П. Некоторые источники по истории древних кыргызов. // История и культура Китая (Сборник памяти академика В.П. Васильева). М., 1974. С. 236-248.
- Худяков Ю.С. Кыргызы на Табате. Новосибирск, 1982. 240 с.

П.П. Азбелев

Оглахтинская культура.

// Вестник СПбГУ, серия 6 (Философия, политология, социология ...), 2007. Вып. 4. С. 381-388.

Культурная история древних племён Среднего Енисея — сложное переплетение местных традиций и инновационных потоков различного происхождения. В этой череде периодов постепенного накопления изменений и быстрых коренных трансформаций, обусловленных всякий раз новыми обстоятельствами, особое место занимает т.н. «таштыкская эпоха» — время на рубеже поздней древности и раннего средневековья, хронологически частично совпадающее с Великим переселением народов. Сложность историко-культурных процессов этого периода требует порой возвращаться к вопросам хронологии и периодизации, пересматривая и уточняя ранее высказывавшиеся идеи и концепции. Одному из спорных вопросов периодизации посвящена эта статья.

В состав таштыкской культуры включают: 1) грунтовые могилы оглахтинского типа; 2) склепы, большие и малые; 3) поминки, примыкающие к могильникам. Кроме того, нужно упомянуть и другие типы памятников, которые пока можно рассматривать лишь в контексте анализа грунтовых могил и склепов. Поселения изучены плохо, [1] а теперь большинство из них и вовсе под водохранилищем. Петроглифы, хотя и многочисленны, пока не дают ничего сверх очевидного и иллюстративного. Для изучения вопросов датирования и периодизации они бесполезны, ибо сами датируются лишь через соотнесение с периодизациями, построенными по материалам погребений. [2] Часть исследователей считает таштыкской особую минусинскую группу изваяний, но их таштыкская принадлежность обоснованно оспорена; [3] учитывая внекомплексность этих стел, привлекать их к изучению общих вопросов нельзя, пока

они сами не будут независимо и достоверно атрибутированы. То же касается и крайне малочисленных сооружений с подквадратными выкладками над могилами и жертвенниками, на основе которых С.В. Киселёв и Л.Р. Кызласов ошибочно выделяли особый, поздний этап развития таштыкской культуры. [4]

Итак, с позиций изучения вопросов хронологии и периодизации «таштыкская культура» — это прежде всего грунтовые могилы и склепы. История вопроса об относительной хронологии этих типов погребений и о культурном единстве (т.е. о периодизации) «таштыкской эпохи» разобрана Э.Б. Вадецкой, [5] и мы ограничимся довольно краткой сводкой [ред. вариант; д.б.: и здесь довольно краткой сводки] (см. таблицу). Даты и периодизации «таштыкской культуры» предлагали С.А. Теплоухов, С.В. Киселёв, Л.Р. Кызласов и М.П. Грязнов. [6] Установлено, что если грунтовые могильники относятся ко времени примерно от рубежа эр и как минимум до IV в. н.э., [7] то таштыкские склепы не древнее V в. [8] Таким образом, разрыв во времени между появлением на Среднем Енисее основных типов погребений «таштыкской эпохи» составляет около полутысячи лет. Корректировки дат были в целом учтены Э.Б. Вадецкой, которая уточнила периодизацию С.А. Теплоухова.

(381/382)

Типы памятников Авторы	Грунтовые могилы	Склепы
С.А. Теплоухов, 1929	«Таштыкский переходный этап», I-II вв. н.э.	«Могилы с бюстовыми масками», III-V вв.
С.В. Киселёв, 1949	Могилы и склепы в целом синхронизированы, около I-V вв.	
Л.Р. Кызласов, 1960	I в. до н.э. — I в. н.э.	Вся «таштыкская эпоха»
М.П. Грязнов, 1971	Батенёвский этап, I-II вв. н.э.	Тепсейский этап, III-V вв.
Э.Б. Вадецкая, 1999	I-IV вв.	V-VII вв.

Привычное восприятие «таштыкской эпохи» — это противоречивый синтез идей теплоуховского «Опыта классификации...» и «синхронистической» теории Киселёва: таштыкская эпоха (культура) едина, но в своём развитии прошла два этапа, представленные соответственно двумя основными типами памятников. Для южносибирской археологии понятие «таштыкская эпоха» давно уже стало парадигматическим. Но если суммировать известные ныне факты и выводы, надёжно обоснованные разными исследователями, то складывается интересная и очевидная в своём значении картина.

1. Грунтовые могилы оглахтинского типа — особый тип памятников с отчётливым своеобразием похоронной обрядности: общая для них система ритуалов уникальна, хотя по ряду черт они близки одной из погребальных традиций тесинского этапа.

2. Грунтовые могилы образуют отдельные кладбища, лишь изредка приуроченные к более ранним памятникам и далеко не всегда служившие ориентиром для строителей таштыкских склепов.

3. Грунтовые могилы оглахтинского типа в целом, как тип памятников, древнее таштыкских склепов и моложе тесинских могильников.

4. Сопроводительный инвентарь имеет аналоги как в более ранних тесинских могилах, так и в более поздних таштыкских склепах, но в целом не повторяет ни один из известных культурных комплексов.

5. В период склепных погребений ритуалы, свойственные грунтовым могилам, представлены в т.н. «малых склепах», внешне имитирующих большие.

Что же объединяет грунтовые могилы и склепы в одну археологическую культуру, кроме историографической привычки?

Как не раз отмечалось в литературе, применение термина «археологическая культура» к раннесредневековым южносибирским памятникам условно. Ссылаясь на С.А. Теплоухова, Э.Б. Вадецкая пишет: «под культурой подразумевается определённая группа могильников и курганов. Значит, грунтовые могильники и могильники со склепами объединяются в единую

культуру тем более условно. Практически население этих этапов связано лишь двумя культурными традициями. Первая проявляется в керамике, ибо наряду с новыми формами сохраняются три ранние. Вторая традиция — в продолжающемся использовании в качестве урн для пепла человека мягких кожано-соломенных кукол, хотя чаще пепел клали в урны-бюсты». [9] Вместе с тем автор возвращается к понятию «таштыкская эпоха», вслед за Л.Р. Кызласовым вынося его в заглавие своего труда и не отвергая объединения грунтовых могил и склепов в рамках одной культуры.

Можно было бы избавиться от этой путаницы, отказавшись от слов «археологическая культура» и оперируя лишь типами памятников. Но такое упрощение вряд (382/383) ли плодотворно. Известная (и наиболее практичная) система понятий археологической науки, характеризуя [ред. правка; было — «определяя»] тип как устойчивое сочетание признаков, определяет археологическую культуру как устойчивое сочетание типов. [10] Это сохраняет смысл и тогда, когда речь идёт о типах памятников. Проблема заключается не в том, насколько условно понятие «археологическая культура», а в том, какую общность людей представляет данное устойчивое сочетание типов вещей и памятников, какова их иерархия, какие именно признаки и типы считать культуuroобразующими: часто одни и те же комплексы группируют по-разному даже при отсутствии споров по датам.

В минусинской археологии соотношение понятий тип погребальных памятников и археологическая культура для раннего средневековья отличается от их соотношения для ранних времён. Если в эпоху бронзы — раннего железа сменяющие друг друга типы памятников на Среднем Енисее, по сути, равнозначны археологическим культурам, то от хуннского и до монгольского времени типы погребений на Среднем Енисее уже сосуществуют. Для хуннского времени характерно одновременное бытование традиций погребения в подкурганых склепах и грунтовых могилах тесинского этапа; затем могилы «таштыкского переходного этапа» пересекаются во времени сперва с тесинскими склепами, [11] а позднее со склепами таштыкскими; в кыргызское время сначала сосуществуют традиции погребения в склепах таштыкского типа [12] и под оградами чаатасов, затем традиции оград и курганных могильников. При этих условиях упомянутого совпадения значений уже нет: «интерпретационная» периодизация по археологическим культурам отличается от «строгой» периодизации по типам погребений. Во многом повторяющиеся сочетания типов образуют в рамках каждой культуры новую иерархию, отражающую реалии иначе, нежели прежде, устроенного и по-другому развивавшегося общества, а поздние памятники ранней культуры неизбежно оказываются в составе поздней культуры. Для каждой культуры выделяются доминирующие, «культурообразующие» типы вещей и памятников, определяющие специфику периода, и ключ к корректной периодизации — в точном определении этих типов по следующему ряду обстоятельств.

Всякий погребальный комплекс в частности и система ритуалов в целом является в том числе и чётко структурированной знаковой системой, хранящей и транслирующей некоторые данные о погребённых. Выделяются три основных информационных блока, несущих сведения об этнической, общественной и политической принадлежности («подданстве») умерших. Признанные этнические индикаторы — обряд погребения (в самом узком смысле — что и как делали непосредственно с телом умершего) и бытовая часть сопроводительного инвентаря. Престижные, знаковые изделия: поясные и сбруйные наборы (своеобразный аналог нынешней военной форме, знаков различия и орденских планок), некоторые виды оружия, украшений и стили декора, — фиксируют уже статус погребённого (и культурно-политическую ориентацию общества в целом [13]); сходную информационную нагрузку несёт и надмогильное сооружение, памятник в обиходном смысле. Эти «внеэтнические» признаки, пронизывающие весьма различные комплексы, служат надёжными индикаторами общего социально-политического устройства, и, значит, единого общественного самосознания. Поэтому выделение археологических культур на материалах «эпохи сложения государств» [14] надёжнее всего основывать на признаках, фиксирующих надэтническую самоидентификацию древних; это прежде всего общее устройство погребальных памятников ведущего типа и «сквозной» престижный или просто обособленный вещевой комплекс.

Вещевой комплекс «таштыкской эпохи» определённо не един: ременные принадлежности и украшения из грунтовых могил и склепов принадлежат разным «временам», (383/384) хуннскому и раннетюркскому; керамика, по меткому замечанию Теплоухова, «реагирует на появление другого быта» в пору строительства склепов; наземные сооружения и внутреннее устройство погребений представляют не только разнящиеся традиции похоронной обрядности, но и разные типы общественного устройства и миропонимания; подкреплённая абсолютными привязками относительная хронология «разводит» грунтовые могилы и склепы во времени. Если на первом этапе «таштыкской эпохи» грунтовые могилы — господствующий и изначально инородный тип, на фоне которого угасают «курганские» традиции тесинского этапа, то на втором — имитация «малыми склепами» внешних признаков больших склепов указывает на изменение иерархии типов памятников, причём специфика склепов, нового доминирующего типа, во многом определяется привнесёнными извне признаками. Наконец, изобразительная традиция «склепного» времени совершенно нова для Среднего Енисея: «пакет» образов и стилистических приёмов, эталонно представленный тепсейскими и ташебинскими миниатюрами, появился здесь в V в. уже вполне сформированным и оказал преобразующее воздействие на местную петроглифику. [15]

Вопрос о единстве «таштыкской эпохи» — не просто терминологический: за терминами здесь, как и в других случаях, стоит понимание сущности развития. Грунтовые могилы оглахтинского типа отличаются от склепов не менее, чем от тагаро-тесинских памятников. Потому, понимая развитие материальной культуры как вещественное отражение истории самоидентифицирующихся социумов, следует повысить таксономический статус этапов «таштыкской эпохи». Грунтовые могилы нельзя рассматривать как ранний этап развития «склепной» традиции: они оставлены иным обществом с иной материальной культурой, с множеством черт палеоэтнографического своеобразия, с иной социальной организацией, с иными представлениями о загробном мире — ведь разница между родовым погребением в склепе и семейным захоронением в грунтовой могиле запечатлела глубокие различия не только в общественном строе, но и в идеологии. Тенденция к обособлению культуры минусинских грунтовых могил намечена ещё Теплоуховым, а сейчас её уже можно считать выдержавшей проверку временем и научными спорами. Не отрицая черт неизбежной преемственности, обусловленных общим этническим субстратом, «человеческим материалом» обоих этапов «таштыкской эпохи», следует выделить на материалах грунтовых могил и склепов две археологические культуры, оставленные народами, по-разному воспринимавшими себя, окружающий мир и своё место в нём.

Культуре таштыкских склепов, «могил с бюстовыми масками» по Теплоухову, следует посвятить особую работу, уже кыргызоведческой направленности; [16] мы же остановимся на грунтовых могилах.

Наиболее известный памятник культуры грунтовых могил, безусловно, — Оглахтинский могильник. На фоне прочих он выглядит не самым типичным, но его своеобразие — следствие ландшафтно-климатических условий, предопределивших редкую сохранность органики. Хотя этот памятник известен более по словесным описаниям, нежели по академическим публикациям, он остаётся эталонным, и вполне правомерно называть выделяемую теперь культуру грунтовых могил оглахтинской.

Хронологические рамки оглахтинской культуры определяются как первая половина I тыс. н.э. Нижняя дата оглахтинской культуры должна уточняться на основе подробного сопоставления оглахтинских могил с тесинскими; ориентиром пока остаётся рубеж эр. Верхняя дата оглахтинской культуры известна: инновации V в. не вытеснили оглахтинские традиции, но вызвали их трансформацию. Черты оглахтинской обрядности ещё видны в «малых склепах», но иерархия типов памятников уже иная. (384/385)

Недавно заложены основы относительной хронологии могильников: опираясь на различия в деталях погребального обряда, Э.Б. Вадецкая выделяет три хронологических группы грунтовых могил. [17] От уточнения этих выводов зависит решение проблем преемственности развития, и главное не в том, чтобы датировать (скажем, по C14) все могильники и расставить их в хронологическом порядке — важнее проследить археологическими средствами внутреннее развитие культуры. Наиболее перспективно сквозное комплексное изучение

керамики (тесинской, оглахтинской, «склепной» и чаатасовской) с учётом локальных её особенностей.

Памятники оглахтинской культуры пока не могут быть связаны с тем или иным этносом. Они не принадлежат ни кыргызам-гянюнь, ни динлинам, и вряд ли подтвердится экстравагантная гипотеза об их сяньбийской принадлежности. [18] Скорее всего, этот народ в летописях вовсе не упомянут, ибо китайцы просто не знали о его существовании, [19] а редкие китайские вещи в оглахтинских могилах не говорят о взаимных контактах: это односторонний и, видимо, эпизодический импорт, объём которого, по наблюдениям Э.Б. Вадецкой, постепенно сокращался.

Уместно дать краткое описание ведущего типа памятников оглахтинской культуры. [20]

Могильники насчитывают десятки, а то и сотни погребений и поминов. Надмогильные сооружения первоначально имели вид холмиков, порой обложенных плитками; остатки сложных конструкций на могилах не обнаружены. Могилы прямоугольные или квадратные, от мелких до глубоких, трёхметровых. Ямы обкладывали берестяными полотнищами, на дне собирали сруб или раму с перекрытием; дерево, как и в тагарское время, порой оборачивали берёстой.

Похоронный обряд. Обычно в могиле несколько захоронений (ориентация — в ЮЗ секторе). Практиковалось два способа погребения: частичное мумифицирование и кремация. Мумии часто находят с масками, вылепленными из гипса с примесями прямо на лице и оттого нереалистичными (резкое отличие от «склепной» традиции, отмеченное ещё Теплоуховым). По способу изготовления маски близки тесинским «глиняным головам». Иногда они починены; считают, что это указывает на интервал между изготовлением маски и погребением.

Если мумифицирование известно на Енисее ещё с сарагашенского времени, то трупосожжение — нечто новое для минусинских племён (единичные находки пепла в тесинских могилах ещё не фиксируют стойкой традиции). Пепел помещали в манекен — «куклу», сшитую из верхней одежды или просто из кожи или берёсты. Маски для «кукол» не типичны, т.е. в оглахтинское время обычай изготовления масок с кремацией не коррелирует (ещё одно отличие от традиций «склепного» времени); зато лица «кукол» раскрашены, причём сходно с росписью масок для мумий. Возможно, Л.Р. Кызласов верно угадывает мотивации оглахтинцев, когда пишет, что обычай прятать пепел в «куклы» («имитации» по его терминологии) «совмещает черты пришлого и местного обрядов, ибо содержит трупосожжение, сохраняя внешнее подобие трупоположения. Очевидно, что при похоронах люди пытались создать иллюзию единого обряда трупоположения, в ту эпоху преваляровавшего среди местного населения, хотя часть новопоселенцев предпочитала вершить исконный для них обряд трупосожжений». [21] Замечено, что куклы обычно лежат у северной стенки могилы, а мумии — у южной. Есть мнение, что могилы устроены как своеобразные «загробные дома» с женской и мужской половинами. [22] Возможны и другие объяснения биритуальности: скажем, она может быть отражением экзогамной организации семейно-брачных отношений. (385/386)

Находок мало. Прежде всего, это керамика, во многом сходная с тесинской и в меньшей степени — с сосудами из таштыкских склепов, деревянная и берестяная посуда. Часто встречаются булавки-«гвоздики» из кости и рога, иногда украшенные по-тесински. Есть находки железных крючков; сравнительно много бус, в том числе датирующих. Редки пряжки, в основном наследующие тесинским типам, обломки зеркал, модели кинжалов в ножнах, перекликающихся с пазырыкскими, китайские импорты.

Поселения и петроглифы оглахтинцев достоверно пока не выявлены. Недавно открыты татуировки оглахтинских мумий, привлекающие исследователя неблизкой ещё перспективой основательного изучения оглахтинской изобразительной традиции. [23]

Процесс становления оглахтинской культуры не вполне ясен. Уже отмечено сходство с оглахтинской традицией части тесинских могил; не следует ли считать их памятниками начального этапа оглахтинской культуры — времени смуты и смешения разнородных традиций? Далее, не раз указывались черты сходства в устройстве тесинских и таштыкских склепов, и вопрос о континуитете «склепной» традиции оказывается увязан с проблемой верхней даты тесинских склепов. Э.Б. Вадецкая датирует их осторожно: «самые ранние

тесинские курганы по бусам датируются с I в. до н.э., а позднейшие, соответственно, не ранее II в.»; [24] но датирующие обстоятельства не исключают, что эти курганы строились на протяжении всей истории оглахтинской культуры. Если так, то картина этнокультурного развития минусинских племён первой половины I тыс. предстает почти драматической — не только пора становления, но и весь период существования оглахтинской культуры сопровождался медленным упадком местных «курганых» традиций, дошедших до крайней точки своего развития и столкнувшихся с мощным воздействием нескольких волн мигрантов.

Выделение оглахтинской культуры из «таштыкской эпохи» упорядочивает хронологическую классификацию раннесредневековых минусинских памятников, но может и внести новую путаницу, если оставить без внимания ещё один титульный памятник — Таштыкский могильник, раскопанный С.А. Теплоуховым (1925) и Э.Б. Вадецкой (1969, 1981). [25] Это памятник оглахтинской традиции, и лишь особенности обряда и отсутствие некоторых почти обязательных находок (вроде булавок-«гвоздиков») указывают на позднюю дату. Вадецкая включает его в число позднейших «по археологическим признакам». Значит, вроде бы и нет формальных причин сохранять за культурой склепов — «могил с бюстовыми масками» — название таштыкской. Возможно, было бы логично, повышая таксономический статус этапов «таштыкской эпохи», предложить новые названия каждой из выделяемых при этом культур. Однако традиций в науке еще никто не отменял, а слова «таштыкская культура» ассоциируются прежде всего со склепами, так что проще раскопать на ручье Таштык хотя бы один склеп и тем самым оправдать знаменитое название, чем отказаться от него. Так что вернее, полагаю, пока всё же условно сохранить за культурой склепов привычное название таштыкской (или культуры таштыкских склепов), а грунтовые могильники обособить под новым (но хорошо знакомым и понятным всякому специалисту) названием оглахтинской культуры.

Принятые сокращения.

АСГЭ — Археологический сборник Государственного Эрмитажа
 МИА — Материалы и исследования по археологии СССР
 МЭ — Материалы по этнографии
 СА — Советская археология
 СГЭ — Сообщения Государственного Эрмитажа
 (386/387)

[1] См. обзор: Вадецкая Э.Б. Археологические памятники в степях Среднего Енисея. Л., 1986. С. 139-140.

[2] Малая информативность раннесредневековых минусинских петроглифов обусловлена, кроме прочего, методически неточным подходом к ним прежде всего как к памятникам искусства, тогда как изобразительная традиция варварских обществ искусством в современном смысле слова не является — это иной род деятельности человека, требующий особых аналитических приёмов; кроме того, есть болезненные проблемы качества копирования, учёта микропалимпсестов, трасологических данных и т.д.

[3] Историю вопроса см.: Панкова С.В. К вопросу об изваяниях, называемых таштыкскими. // Мировоззрение. Археология. Ритуал. Культура. СПб., 2000. С. 86-92.

[4] См. подробнее: Вадецкая Э.Б. Археологические памятники... С. 145; Панкова С.В. О памятниках «камешковского» этапа таштыкской культуры. // Курган: историко-культурные исследования и реконструкции. СПб., 1996. С. 41-43. Не исключено, что к этой же группе нужно отнести погребение на ул. Советской в Абакане (А.Н. Липский, 1946; № 65, Абакан XIII по списку Вадецкой, см.: Вадецкая Э.Б. Археологические памятники... С. 152) и похожий комплекс на Сосновом оз. в Бейском р-не Хакасии (раскопан в 1984).

[5] Вадецкая Э.Б. Археологические памятники... С. 129-131, 144-146; Она же. Таштыкская эпоха в древней истории Сибири. СПб., 1999. С. 7-10, 65-66.

[6] Теплоухов С.А. Опыт классификации древних металлических культур Минусинского края. // МЭ. 1929. Т. 4. Вып. 2. С. 51; Киселёв С.В. Древняя история Южной Сибири. // МИА. 1949. № 9. С. 264-267; Кызласов Л.Р. Таштыкская эпоха в истории Хакасско-Минусинской котловины. М., 1960. С. 75-116; Грязнов М.П. Миниатюры таштыкской культуры. // АСГЭ. 1971. Вып. 13. С. 94-106.

- [7] Сводку по хронологии см.: Вадецкая Э.Б. Таштыкская эпоха... С. 65-75.
- [8] Амброз А.К. Проблемы раннесредневековой хронологии Восточной Европы. Ч. II. // СА. 1971. № 3. С. 121-122; Вадецкая Э.Б. Археологические памятники... С. 144-146; Азбелев П.П. Типогенез характерных таштыкских пряжек. // Проблемы археологии, истории, краеведения и этнографии Приенисейского края: В 2 т. Т. II. Красноярск, 1992. Т. II. С. 48-52. Он же. Сибирские элементы восточноевропейского геральдического стиля. // Петербургский археологический вестник. 1993. Вып. 3. С. 89-93.
- [9] Вадецкая Э.Б. Таштыкская эпоха... С. 129. Ср.: С. 16 и 116-118 — о различиях между «коновязьями» при грунтовых могильниках и «поминами» при склепах.
- [10] Бочкарёв В.С. К вопросу о структуре археологического исследования. // Тезисы докладов сессии, посвященной итогам полевых археологических исследований 1972 года. Ташкент, 1973. С. 56-60. Он же. К вопросу о системе основных археологических понятий. // Предмет и объект археологии, и вопросы методики археологических исследований. Л., 1975. С. 34-42.
- [11] О соотношении типов тесинских памятников см.: Кузьмин Н.Ю., Варламов О.Б. Особенности погребального обряда племён Минусинской котловины на рубеже эры: опыт реконструкции // Методические проблемы археологии Сибири. Новосибирск, 1988; Вадецкая Э.Б. Таштыкская эпоха... С. 164. Даты тесинских склепов см.: С. 147-154.
- [12] Азбелев П.П. О верхней дате традиции таштыкских склепов. // Алтае-Саянская горная страна и история освоения её кочевниками. Барнаул, 2007. С. 33-36.
- [13] Азбелев П.П. К интерпретации заимствования ремесленных традиций в среде центральноазиатских кочевников (I тыс. н.э.). // Древнее производство, ремесло и торговля по археологическим данным. М., 1988. С.75-76.
- [14] Термин С.В. Киселёва (Киселёв С.В. Указ. соч. С. 273). Следует помнить, что «государствами», а то и «империями» варварского мира часто называют и потестарные образования. О термине «империи» см.: Кляшторный С.Г. Савинов Д.Г. Степные империи древней Евразии. СПб., 2005. С. 9-10.
- [15] Поиск истоков таштыкского стиля в южносибирских петроглифах «посттагарского (“тагаро-таштыкского”) пласта» (Панкова С.В. К проблеме истоков таштыкского стиля. // Изобразительные памятники: стиль, эпоха, композиции. СПб., 2004. С. 325-329) вряд ли оправдан: специфические черты таштыкского стиля имеют безусловно центральноазиатское, а главное — непетроглифическое происхождение, и его проявления
(387/388)
в сибирских наскальных рисунках заведомо вторичны (чем и определяется реальная хронология соответствующих изображений).
- [16] Таштыкские склепы соотносятся с раннекыргызским владением Цигу. См.: Савинов Д.Г. Владение Цигу древнетюркских генеалогических преданий и таштыкская культура. // Историко-культурные связи народов Южной Сибири. Абакан, 1988. С. 64-74.
- [17] Вадецкая Э.Б. Таштыкская эпоха... С. 66.
- [18] Бернштам А.Н. Очерк истории гуннов. Л., 1951. С. 46-47.
- [19] Поскольку огластинцы — исходно пришельцы на Енисее, их появление можно попытаться увязать с неким событием в Центральной Азии, обстоятельства которого способствовали уходу какого-то племени от хуннской угрозы в традиционном (и уже мифологизированном со времен шаньюя Модэ) северном направлении. Например, это могло быть одно из племён народа ухуань; хунну истребили его за разорение могил хуннских шаньюев, однако ничто не мешает допустить, что часть ухуаней бежала за Саяны. Конечно, такие соотнесения умозрительны, настаивать на них было бы неверно. Столь же отвлечённы и рассуждения о языковой принадлежности этих племён.
- [20] Подробные описания см.: Вадецкая Э.Б. Таштыкская эпоха... С. 13-47.
- [21] Кызласов Л.Р., Панкова С.В. Татуировки древней мумии из Хакасии. // СГЭ. LXII. СПб., 2004. С. 63.
- [22] Вадецкая Э.Б. Таштыкская эпоха... С. 48.
- [23] Панкова С.В. Новые образы таштыкского искусства и их параллели. // Археология Южной Сибири: идеи, методы, открытия. Красноярск, 2005. Это замечательное открытие выводит на первый план задачу скорейшего доследования Огластинской группы могильников: из-за климатических сдвигов последних лет сохранность татуировок на мумиях в нераскопанных ещё могилах оказывается под вопросом.
- [24] Вадецкая Э.Б. Таштыкская эпоха... С. 153.
- [25] Описание см.: Там же. С. 229-230.

П.П. Азбелев

Кыргызы и Китай: о пределах доверия к летописям

// Природные условия, история и культура Западной Монголии и сопредельных регионов (Материалы VIII международной конференции, г. Горно-Алтайск, 19-23 сентября 2007 года). Том I. Горно-Алтайск: 2007. С. 7-10.

1. Проблема.

Китайские хроники — один из основных источников для изучения истории древних кыргызов. Как установлено синологами, название кыргыз передавалось в китайских исторических текстах по-разному: гэгунь и гяньгунь (гянькунь, цзянькунь) в ханьскую эпоху; кигу (цигу), хэгу, гйегу в эпоху Троецарствия; хягас (хагас, сяцзясы) танского времени; киликисы (цзилицзисы) последующих веков — вот далеко не исчерпывающий перечень вариантов транскрипции. Лишь последний из них точно соответствует названиям кыркыз (в рунических памятниках) и хирхиз (в западных источниках). Более ранние транскрипции реконструируются иначе: кыркун, кыркут, кыркыр, гуркур и т.д. Следует отметить, что порой записи производились со слов иноязычных информаторов, по-своему искажавших этнонимы, топонимы и прочие чужие слова. Название же кыргыз, принятое в научной литературе — не больше чем условный объединяющий термин, предположительно нейтральный и заведомо неточный. Это требует осторожности при работе с источниками.

Исследователи не раз обращали внимание на присутствующие в повествованиях о древних кыргызах противоречия, касающиеся прежде всего идентификаций и локализаций. Имеются в виду три ключевых фрагмента.

Фрагмент I. «Хагас есть древнее государство Гяньгунь. Оно лежит от Хами на запад, от Харашара на север, подле Белых гор. Иные называют сие государство Гюйву и Гйегу. Жители перемешались с динлинами. Владение Хагас некогда составляло западные пределы хуннов. Хунны покорившегося им китайского полководца Ли Лин возвели в достоинство западного Чжуки-князя, а другого китайского же полководца Вэй Люй поставили государем у динлинов. Впоследствии Чжичжи шаньюй, покорив Гяньгунь, утвердил здесь своё пребывание, в 7000 ли от орды восточного Шаньюя на запад, в 5000 ли от Чешы на север; почему владельцы сей страны впоследствии ошибочно Хягас называли (7/8) Гйегу и Гйегйесы. Народонаселение простиралось до нескольких сот тысяч, строевого войска 80 000. Прямо на юго-восток до хойхуской орды считалось 3 000 ли; на юг простиралось до гор Таньмань».

Здесь объединены несовместимые локализации. «От Хами на запад, от Харашара на север, подле Белых гор», «в 7000 ли от орды восточного Шаньюя на запад, в 5000 ли от Чешы на север» — это запад и/или север Джунгарии, может быть, прилегающие к Тарбагатаю прииртышские степи; следует иметь в виду, что речь не идёт о построении сетки линейных координат: «на запад» или «на север» — значит «по западной (или северной) дороге». Белые горы, Байшань — чаще всего Тяньшань, но не исключено, что так могли именовать и другие заснеженные возвышенности. С гяньгунями, как следует из повествования о Чжичжи, непосредственно соседствовали усунь Притяньшанья; при этом привязка к уйгурской ставке и горам Таньмань (Танну-ола) указывает на Енисей.

Рассказ о кыргызах в «Таншу» запутан: структурно он отличается от прочих повествований о «северных варварах». Обычно локализации в летописях даются коротко и ясно, структура текста чаще всего стандартна: происхождение — локализация — этнография и география — предыстория — текущая хроника. Рассказ о енисейских кыргызах построен иначе, стандартная последовательность информационных блоков «взломана» вставками, касающимися локализаций и этнонимики. Исследователи отмечали, что в рассказ о «хягасах» попали зоологические и ботанические сведения, относящиеся не к Южной Сибири, а к Средней Азии. Очевидно, что наряду с енисейской существовала и туркестанская группа носителей названия кыргыз; последнее упоминание о ней — под 638 г., когда она попала под власть Иби Дулу-хана.

Фрагмент II. «От местопребывания Ажо до хойхуской орды считается 40 дней пути верблюжьего хода. Посланники шли из Тьхянь-дэ 200 ли до городка Си Шеу-сян чен; далее на север 300 ли до Гагарьего ключа; от ключа на северо-запад до хойхуской орды 1 500 ли.

Находятся две дороги: восточная и западная. Дорога от ключа на север называется восточною. В 600 ли от хойхуской орды на север протекает Селенга; от Селенги на северо-восток снежные горы. Сия страна изобилует водою и пастбищами. По восточную сторону Чёрных гор есть страна Гянь-хэ. Через неё переправляются на батах. Все реки текут на северо-восток, минуя Хягас, соединяются на севере и входят в море».

Здесь важны прямые указания на реку Гянь (Гянь-хэ) — Енисей, и Селенгу, то есть речь идёт о Южной Сибири. Не вполне ясно, идёт ли здесь речь о минусинских или тувинских котловинах, но это несущественно, ибо фрагмент относится ко времени, когда кыргызам принадлежали оба региона.

Фрагмент III. «Хягас было сильное государство; по пространству равнялось тукюеским владениям. Тукюеский Дом выдавал своих дочерей за их старейшин. На восток простиралось до Гулигани, на юг до Тибета, на юго-запад до Гэлолу».

Этот фрагмент цитируют, говоря о т.н. «эпохе великодержавия», когда кыргызы, как считает ряд исследователей, захватили огромные территории. Династические браки с тюрками имели место только в период Второго каганата, и упоминание о них здесь — просто экскурс в историю. Пространственные сопоставления летописей тоже особого значения не имеют, а вот докуда кыргызское государство «простиралось» — это важно.

Гулигань — прибайкальские курыканы, от кыргызских земель их отделял Восточный Саян. В тех краях кыргызы оказались лишь однажды — в 840-х гг., когда уже из Монголии ходили в шивэйские земли в погоню за одним из уйгурских отрядов. Тибет даже в годы наибольшего своего могущества занимал земли не севернее Тяньшаня — но даже сторонники теории «кыргызского великодержавия» не включают в область кыргызского господства ещё и Притяньшанье. Гэлолу (карлуки) кочевали в Джунгарии и Семиречье, в Восточном Казахстане и, возможно, на Монгольском Алтае; но в IX-X вв. их отделяли от кыргызов владения кимаков и кыпчаков. Очевидно, что речь не может идти о границе в современном понимании. Фрагмент становится осмысленным лишь при том условии, что слово «простиралось» будет понято как указание на посольские связи или наиболее дальние набеги. Действительно, кыргызы имели развитые контакты с карлуками и с Тибетом, есть и упоминания о столкновениях с курыканами. Таким образом, третий фрагмент говорит о том, что прежде кыргызы имели династические связи с тюрками, а теперь тем или иным образом контактируют с карлуками, Тибетом и курыканами, не более того. Локализация — в пределах Саяно-Алтая и, возможно, северо-западной Монголии.

Таким образом, летописные рассказы о кыргазах смешивают данные не менее чем о двух разных группах со сходно звучащими (или идентичными) названиями — о туркестанских и енисейских кыргазах. Упоминания о туркестанской группе встречаются с хуннского времени и до VII в., о енисейской — не ранее чем с V в. (владение Цигу древнетюркских генеалогических преданий) и далее вплоть до монгольской эпохи; хронист, однако, отождествляет эти группы и говорит о них как об одном народе. Почему? (8/9)

2. Дополнительные обстоятельства.

Следует обратить внимание на динамику и содержание кыргызско-китайских контактов. До падения Восточного Тюркского каганата енисейские кыргызы не имели контактов с Китаем; в 632 г. китайцы отправляют к ним первое посольство (во главе с Ван Ихуном); ответное посольство состоялось лишь в 643 г., затем в 648 г., когда кыргызский эльтебер Сыбокюй (Шибокюй) Ачжань изъявил желание «держать хубань», то есть просил покровительства, по сути — международного признания. Последнее посольство этого века зафиксировано в 675 году, затем контакты прервались до начала следующего столетия. В VIII в. посольства отмечены лишь в первой половине столетия; затем кыргызов разгромили уйгуры, и посольские обмены пресеклись, чтобы возобновиться в 840-870-х годах. Л.Р.Кызласов считает эти посольства «торговыми», поскольку во всех случаях посланцы везли с собой подарки. Однако следует обратить внимание на два обстоятельства.

Во-первых, посольские связи неритмичны: короткие периоды чрезвычайной активности сменяются десятилетиями забвения. Дипломатические сношения учащались как раз в те годы, когда в Центральной Азии складывались острые кризисные ситуации:

1) посольство 632 года имело место вскоре после образования Сирского каганата, к которому китайцы отнеслись весьма настороженно;

2) посольство 643 года — перед гибельным для сиров мятежом токуз-огузов; посольство 648 года — вскоре после падения Сирского каганата и в ходе образования Первого Уйгурского, причём кыргызский эльтебер просит подтвердить его независимость;

3) посольство 675 г. — накануне антиуйгурских походов тюрков, прежде интернированных в Китае и теперь собиравшихся воссоздать свой каганат;

4) посольства 707-711 гг. одновременны с походами тюрков Второго каганата против южносибирских народов, пытавшихся разрушить тюркскую гегемонию;

5) посольства 722-724 гг. — сразу после тюрко-китайской войны, фактически выигранной тюрками;

6) посольства 747 и 748 гг. — сразу после падения Второго Тюркского и создания Второго Уйгурского каганатов;

7) посольства 840-870-х гг. — сразу после падения Орду-Балыка и в период создания локальных уйгурских княжеств.

Это чуть ли не полный список смутных лет центральноазиатской истории VII-IX вв.; во времена относительного покоя кыргызы китайцев не занимали. Будь посольства «торговыми», с ними всякий раз стоило бы подождать до лучших времён: отправлять караваны с добром в годы войн и усобиц безрассудно. Несомненно, все эти посольские связи были не торговыми, а прежде всего политическими.

Во-вторых, во всех случаях, когда летописец пересказывает содержание бесед между императорами и посланниками, обязательно затрагивается одна и та же тема. Например, одно из посольств времени смуты начала VIII века: император Чжун-цзун «подозвал к себе посланника и сказал ему: ваш царствующий Дом происходит из одного со мною рода, и я отличаю его от прочих вассалов». Вскоре после падения Орду-Балыка в присутствии одного из кыргызских послов императором было «указано, чтоб Ажо, как происходящего из одного рода с царствующим в Китае Домом, внести в царскую родословную», а сами кыргызы даже получили кое-какое символическое подкрепление для борьбы с уйгурами. Тему родства царствующих Домов китайцы поднимали неукоснительно, заодно подталкивая кыргызов к тем или иным действиям против центральноазиатских каганатов.

Тезис о династическом родстве основывался на том, что родовым именем танских императоров было Ли: основоположника династии звали Ли Юань, сменивший его знаменитый Тайцзун первоначально носил имя Ли Шиминь и т.д. Того же рода был и китайский военачальник Ли Лин, перебежавший к хуннам и получивший во владение земли кыргызов-гяньгунь. Летописец подчёркивает, что потомки Ли Лина царствуют у кыргызов и поныне, приводятся даже якобы бытующие поверья, будто черноглазые особенно удачливы, ибо происходят прямо от Ли Лина. Последнее просто несуразно: откуда кыргызы, не имевшие летописной традиции, могли знать о малозначительном персонаже истории хуннской эпохи? Только от самих же китайцев.

Могли ли китайцы не понимать, что владение Гяньгунь, упоминаемое в ханьских хрониках, не имеет отношения к енисейским кыргызам, и «единство» кыргызов-хягас и кыргызов-гяньгунь сводится лишь к созвучию названий? Упомянувшееся выше сообщение хроники о том, что в 638 г. Иби Дулу-хан к западу от реки Или покорил несколько племён, и среди них кыргызов-гйегу, доказывает: китайцы были осведомлены о туркестанской группе кыргызов и Среднюю Азию с Южной Сибирью (9/10) при этом не путали. Сведения о туркестанских кыргызях относятся к тому самому времени, когда Тайцзун не раз беседовал с енисейско-кыргызскими посланцами о Ли Лине. Видимо, поэтому в летописи появилась не только ложная идентификация «хягасов» и «древнего государства Гяньгунь», но и вполне справедливое замечание о том, что путать Хягас и Гйегу «ошибочно» — причём сразу после туркестанской локализации и перед локализацией минусинской (фрагмент I). Значит, хронисты понимали, что Ли Лин правил не на Енисее, и что династического родства у енисейских

кыргызов с танским двором быть не могло. Соответственно, ложная идентификация, да ещё поддержанная «на высшем уровне», не могла быть следствием простой ошибки.

3. Гипотеза.

Китайцы, всегда следовавшие правилу «громить варваров руками варваров», стремились сдерживать кочевников, создавая им внутренние и внешние трудности. Енисейские кыргызы, соседствуя с центральноазиатскими каганатами на их северных границах, хорошо подходили для участия в решении этих задач в роли тыловой угрозы.

Как известно, Тайцзун был прекрасно образован, даже сам принимал участие в составлении хроник. При этом он был расчётливым политиком. Он знал историю — кыргызы её не знали. Он знал о туркестанских кыргызах-гйегу — кыргызские посланники с Енисея вряд ли имели о них представление. Тайцзун знал летописный рассказ о своём древнем однофамильце или предке, связанном с какими-то кыргызами в далёком Западном крае, и одновременно перед ним стояла задача привлечь каких-то совершенно других кыргызов к решению своих текущих политических задач. Решение императора, судя по всему, было цинично и эффективно: туркестанские кыргызы хуннского времени были объявлены предками енисейских кыргызов VII в., а император признал своё родство с вождями северного народа. Им это, безусловно, льстило, их это выделяло среди других варваров, а главное — это заставляло центральноазиатских каганов в их вечном противостоянии с Китаем то и дело оглядываться на север — не сговорились ли родственники? Сам ли Тайцзун придумал эту игру, или автор идеи — кто-то из его придворных, выяснить вряд ли удастся; но важно, что миф о династийном родстве был зафиксирован хроникой как официальная версия истории и заложил под южносибирские межплеменные отношения мину замедленного и неоднократного действия на много лет вперёд; ложью о Ли Лине китайцы пользовались и через двести лет после Тайцзуна. Показательно, что завершилась эта игра как раз тогда, когда кыргызы так и не смогли справиться с рассеянными по степи уйгурами. Зачем нужен союзник, от которого нет никакого проку?

Конечно, предлагаемая версия — лишь реконструкция, но её логика кажется мне имеющей право на существование, поскольку не противоречит установленным фактам и при этом объясняет, почему летописное повествование о кыргызах столь противоречиво и содержит взаимоисключающие сведения о кыргызах-гянгунь, гйегу и хягас.

Доверяя древним источникам, не следует забывать, что даже скрупулёзная китайская хроника отражала не более чем официальную версию истории, при необходимости легко превращавшуюся в инструмент политической игры.

П.П. Азбелев

О численности аристократии в государстве енисейских кыргызов.

// *Экология древних и традиционных обществ. Вып. 3.* Тюмень: 2007. С. 166-168.

Обычно в сибирской археологии, в масштабах целой культуры, а не отдельного могильника, о палеодемографии речь не идёт — слишком невелика доля изученных погребений, чтобы что-либо всерьёз подсчитывать и анализировать в демографическом аспекте. Однако в случае с кыргызскими памятниками это не совсем так: чаатасы хорошо заметны, их невозможно спутать с иными типами могильников и легко пересчитать; поддаются учёту и крупные сооружения на чаатасах (ограды со стелами и без стел, иногда курганы). Наконец, имеющаяся выборка раскопанных сооружений достаточно репрезентативна для того, чтобы приблизительно оценивать неисследованные сооружения. Всё это позволяет сделать ряд предварительных количественных оценок и сопоставить их с другими имеющимися данными.

В сводной статье Л.Р. Кызласов перечислил 52 чаатаса [Кызласов 1980]; учитывая данные разведок и раскопок, проведённых различными исследователями в последующие годы и исключая совпадения (некоторые чаатасы зафиксированы у разных авторов под разными названиями), можно говорить не более чем о 75 известных кыргызских могильниках этого типа. Если допустить, что сохранилась и учтена лишь половина этих некрополей, всего их было не больше ста пятидесяти. На каждом чаатасе — от трёх до пятидесяти оград и курганов;

считая по максимуму, общее число сооружений, составляющих кыргызскую часть чаатасов, следует определить как $150 \times 50 = 7500$. При этом фактически оказываются учтёнными и малые сооружения на чаатасах — небольшие оградки и курганчики, пристройки и т.п. В центральной могиле каждого сооружения размещалось не более трёх погребений; на периферии сооружения в ямках-«ячейках» бывает захоронено ещё не более пяти человек. Это верно для крупных оград, а обычно общее число погребённых в каждом сооружении — 3-5, в среднем — четыре (в курганах же обычно и вовсе по одному). Всего по чаатасам получаем: $7500 \times 4 = 30000$ погребённых, причём это — максимально возможное число. На самом деле их меньше.

Нижняя и верхняя границы периода строительства кыргызских оград на чаатасах устанавливаются разными исследователями по-разному. Однако вне зависимости от расхождений в абсолютных датировках все исследователи определяют продолжительность существования чаатасовской традиции примерно в 350 лет, или примерно 14-15 поколений (обычно в исследовательской практике на поколение как своеобразную «единицу измерения времени» отводят около четверти века). При всей условности подобных подсчётов следует заключить, что в каждом поколении общее число людей, которых полагалось после кончины захоронить в оградах чаатасов, не превышало двух тысяч человек ($30000/15$), причём при оценках использовались максимально возможные и даже заведомо завышенные числа.

Между тем, говоря о кыргызах, китайские хронисты пишут о воинствах в десятки (до ста) тысяч всадников — конечно, если выступают «все поколения». При всей условности летописных данных о численности варварских орд очевидна несо- (166/167)поставимость чисел. Такая разница означает, что на чаатасах погребена лишь малая часть населения Минусинской котловины кыргызского времени. Исследователи, глядя на монументальность многих оград, оценивая трудоёмкость их возведения и качество инвентаря (там, где находки поддаются такого рода оценкам), неоднократно называли чаатасы престижными, аристократическими некрополями. Это, как показывают приведённые здесь подсчёты, совершенно верно, но такое определение чаатасов ставит вопрос о памятниках рядового населения, связанный с проблемой развития этносоциальной структуры населения минусинских котловин.

На разных этапах развития кыргызской культуры мы обнаруживаем признаки существования совершенно разных этносоциальных структур. На раннем этапе определяющим становится вопрос о длительности бытования таштыкского обычая погребения в склепах. Провести верхнюю границу существования типа памятников и тем более отдельной традиции гораздо сложнее, чем нижнюю, и вопрос о верхней дате склепов таштыкского типа уже многие годы открыт; по мере поступления новых материалов появляются и свидетельства существования обычая склепных погребений не только в докыргызское время, но и в пору строительства оград со стелами. Таковы находки ваз в склепах Михайловского могильника и миниатюрной модели стремени с широкой плоской подножкой в склепе Арбанского чаатаса; также показательны и весьма перспективны наблюдения о сосуществовании таштыкской и кыргызской керамических традиций [Панкова 2000]. В то же время специфические признаки кыргызской культуры имеют неташтыкское, инокультурное происхождение. В целом ничто не препятствует предположению о том, что на раннем этапе развития культуры енисейских кыргызов именно поздние склепы таштыкского типа и служили коллективными усыпальницами рядового населения каганата. Таким образом, есть основания говорить о том, что социальная структура населения кыргызского государства на раннем этапе его истории отразилась в системе погребальных ритуалов как двухуровневая иерархия: высший ранг — погребения под оградами (ингумации под оградами без стел и кремации под оградами со стелами); второй ранг — склепы таштыкского типа.

Позднее, во времена кыргызо-уйгурских войн, археологически фиксируется усложнение социальной структуры населения. Судя по всему, именно с этого времени появляются курганные группы вне чаатасов, известные по могильникам Капчалы I-II, у станции Минусинск, Над Поляной и т.д.; также появляется другой, весьма специфический вид погребений представителей среднего социального ранга: впускные «дружинные» (по терминологии А.А. Гавриловой) погребения, причём не только на чаатасах, но и на памятниках предшествующих эпох (в тагарских курганах и таштыкских склепах), как правило — в южной, реже в центральной части основного сооружения. Эти впускные погребения могут быть совершены как по обряду трупосожжения в ямках-«ячейках», так и по обряду трупоположения

в могилах различной конструкции, с конём, заменяющим его бараном или просто набором «всаднического» инвентаря. Ю.С. Худяков предложил считать минусинские погребения по обряду ингумации «кыштымскими» [Худяков 1983]; для части ингумаций это, скорее всего, справедливо, но по крайней мере «впускную» часть этих захоронений, как и ингумации в центральных могилах под оградами чаатасов, следует считать «дружинными», ориентируясь не столько на условные «богатство» или «бедность» сопроводительного инвентаря, сколько на принадлежность комплексов к тому или иному устойчивому типу погребений в рамках единой культуры и, соответственно, к той или иной социальной группе [Азбелев 1992].

Различия в обряде и другие признаки палеоэтнографического характера указывают на усложнение в IX в. не только социальной структуры, но и этнического состава населения, а предметные и другие аналогии указывают на западное происхождение «свежей крови», что согласуется и со сведениями китайских хроник о контакт-(167/168)тах енисейских кыргызов со своими западными соседями. Д.Г. Савинов считает допустимым предположение, что «в обществе енисейских кыргызов периода господства Уйгурского каганата произошли существенные изменения (смена правящей династии?), в результате которых у власти оказалась пришлая группа» [Савинов 2005: 261]. Продолжалось ли в это время строительство склепов — пока нельзя сказать определённо; во всяком случае, судя по имеющимся данным, в IX в. таштыкские вещи встречаются лишь эпизодически, в могилах различных типов, и уже не образуют комплексов.

К сожалению, перечисленные изменения уже не поддаются даже приблизительным количественным оценкам, и велик ли был процент мигрантов в кыргызском обществе IX века — сказать пока затруднительно, однако ясно, что примерно на рубеже VIII и IX вв. в кыргызском обществе произошли глубокие социальные, этнические и демографические перемены, всестороннее исследование которых остаётся пока делом будущего.

Литература

Азбелев П.П. К реконструкции социальной структуры кыргызского общества. // Вторые исторические чтения памяти М.П. Грязнова. Часть I. Омск: ОмГУ, 1992. С. 88-90.

Кызласов Л.Р. Чаатасы Хакасии. // Вопросы археологии Хакасии. Абакан: 1980. С. 108-114.

Панкова С.В. О соотношении таштыкской и кыргызской керамических традиций. // Пятые исторические чтения памяти М.П. Грязнова. ТД Всероссийской научной конференции (Омск, 19-20 октября 2000 г.). Омск: ОмГУ, 2000. С. 96-97.

Савинов Д.Г. Древнетюркские племена в зеркале археологии. // Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г. Степные империи древней Евразии. СПб.: Филологический ф-т СПбГУ, 2005. С. 181-343.

Худяков Ю.С. Погребения по обряду трупоположения VI-XIV вв. в Минусинской котловине. // Историческая этнография: традиции и современность. (Проблемы археологии и этнографии, вып.2). Л.: ЛГУ, 1983. С. 141-148.

П.П. Азбелев

Стремена и склепы таштыкской культуры.

// Исследование археологических памятников эпохи средневековья. СПб: 2008. С. 56-68.

Вопросы хронологии стремян и таштыкских склепов увязаны благодаря необычным, редким вещам — миниатюрным моделям стремян, уже не раз становившимся предметом дискуссий. Ниже речь идёт о двух находках, в разное время сделанных в таштыкских склепах на Среднем Енисее: о миниатюрной модели стремени с Арбанского чаатаса (Рис. 2, 1) и о предмете, напоминающем подножие модели стремени, из склепа № 6 Уйбата I (Рис. 3, 1). Разбор связанных с этими находками хронологических проблем выходит за пределы минусинской и вообще сибирской археологии, позволяя уточнить некоторые обстоятельства развития раннесредневековых культур горно-степного пояса.

1. Арбанская модель.

С 1986 по 1991 гг. возглавляемая Д.Г. Савиновым Среднеенисейская экспедиция ЛО ИА АН СССР (ныне ИИМК РАН) полностью исследовала чаатас (о термине см.: Кызласов 1980) в

урочище Арбан на правом берегу реки Тёи, чуть выше известного Фёдорова улуса (Аскизский р-н Хакасии; полевой индекс чаатаса — Арбан II). В 1994 г. Д.Г. Савинов и я, руководивший работами на памятнике, [1] подготовили исчерпывающую публикацию материалов, но статья «Арбанский чаатас» отчего-то не была издана, хотя и упоминалась Д.Г. Савиновым как работа «в печати» (Савинов 1996: 17); учитывая значение этого памятника для целого ряда вопросов, приведу некоторые характеристики комплекса.

(56/57)

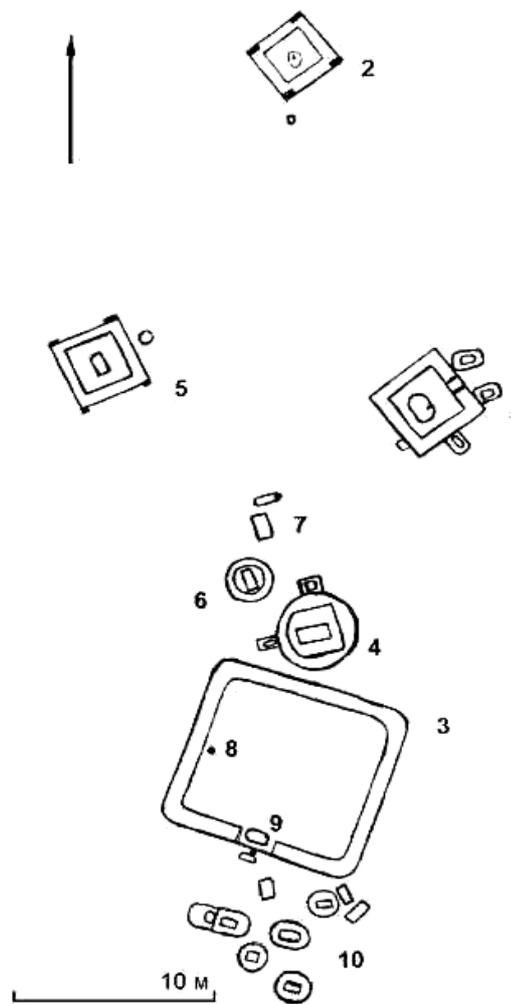
Рис. 1. [Рис. и подпись на с. 57.] Арбанский чаатас: схема пространственного соотношения объектов. 1-7 — основные объекты (номера на плане соответствуют номерам сооружений); 8 — место находки «стремечка»; 9 — впускная могила IX в.; 10 — детский могильник.

Арбанский чаатас — один из самых маленьких памятников этого типа (Рис. 1). Его основой был таштыкский склеп (соор. 3), к северу от которого располагались как бы по углам вытянутого ромба четыре небольшие ограды кыргызского времени, две со стелами (соор. 2 и 5) и две без стел (соор. 1 и 4), и несколько детских могил, две из них — с особыми наземными конструкциями (соор. 6 и 7). В южную часть склепа было впущено всадническое погребение IX в., повредившее конструкции входа и западную часть южной стены склепа, с юга к склепу

примы-
(57/58)
кал комплекс из десятка детских могил. «Минимальность», «элементарность» Арбанского чаатаса позволила чётко проследить его пространственную структуру и понять принцип взаиморасположения объектов: каждой погребальной ограде соответствовала поминальная ограда со столбом в центре, располагавшаяся к ССВ; погребению со стелами (с трупосожжением) соответствовал помин со стелами, могиле без стел (с трупоположением) — помин без стел. Учитывая арбанскую планиграфию, удалось многое прояснить в истории кыргызской похоронной обрядности (Азбелев 1990).

Важно отметить взаиморасположение соор. 3 и 4: склеп и ограда стояли рядом на расстоянии полуметра; сложенные из плит стенки были возведены с одного уровня и сохранились на высоту 0,4-0,5 м — несомненно, кыргызская и таштыкская кладки были очень близки по времени, фактически синхронны. Это значит, что арбанский склеп — поздний среди других памятников этого типа, а кыргызские ограды — наоборот, ранние.

Каждый таштыкский склеп своеобразен, но есть и ряд признаков, обязательных для всех сооружений такого рода; арбанский же склеп построен с отступлениями от общеташтыкских норм. Так, если обычно каменная конструкция склепа — это внешняя плитняковая обкладка, которая при сожжении бревенчатой клетки сильно обгорает, вплоть до подплавления камня (Баранов 1975; 1992), то здесь на камнях не было следов огня, а при расчистке обнаружилось, что каменная кладка рухнула на уже сгоревший и местами присыпанный землёй склеп. Таким образом, арбанский склеп имел не традиционную обкладку, а ограду высотой до семнадцати слоёв плитняка, возведённую после сожжения склепа.



Далее, некоторые погребения были «парциальны», заведомо неполны: из пепла выбраны всего пять-шесть крупных кальцинированных обломков костей, с ними положены фрагменты двух-трёх разных сосудов и обломок маски. Вдоль северной стены камеры склепа был обнаружен целый ряд таких скоплений, среди которых, прямо напротив входа, располагалось погребение с почти неразрушенной маской, уложенной на кучку пепла. [2]

Необычен инвентарь склепа. Керамический набор оказался беден формами и декором; преобладал нанесённый различными инструментами опоясывающий орнамент с доминантным элементом — одной парой «усов» или полуволют, расходящихся от разрыва в пояске (Азбелев 2007: 149, ил. 4). В склепе не найдено ни одной пряжки; «амулетов», или «коньков», в обычном для таштыкской культуры смыс- (58/59)ле этого понятия тоже не было, вместо них нашлись скверной сохранности бронзовые пластинки с дырочками и с неровными краями, часто аморфные. Не было и обычных витых цепочек, зато нашлось сразу несколько экземпляров вотивных железных удил.

Миниатюрная железная модель стремени найдена у западной стенки склепа (Рис. 1: 8), в кучке пепла, рядом с фрагментами маски и сосудом; скопление было придавлено сползшим бревном клетки; случайное попадание модели в склеп исключено. Вещь сломана, но все значимые признаки «читаются» ясно. Корпус выгнут из четырёхгранного прутка сечением (2-2,5)х(2-2,5) мм и завершается повреждённой 8-образной петлёй; подножие плоское, прямое, чуть оплавленное, без «нервюры»; длина подножия 35 мм, ширина 9-10 мм и толщина 2-3 мм; при сужении подножия к корпусу подработаны углы (Рис. 2: 1).

Значение данной находки велико; это пока единственная достоверная находка модели стремени в таштыкском памятнике. С одной стороны, ею завершаются споры о том, существовала ли в таштыкское время традиция моделирования стремян (и, следовательно, были ли таштыкцы знакомы со стремянами вообще); с другой стороны, эта модель открывает новые возможности для хронологических поисков.

Бытует мнение, по которому стремянам с 8-образной дужкой предшествовали ременные петли. Это допустимая (хотя и чисто умозрительная) логика — если ко времени появления стремян такие петли и впрямь бытовали в Южной Сибири и Центральной Азии, то они могли облегчить восприятие идеи металлических стремян; но это не имеет отношения к хронологии типов металлических стремян и их (59/60) моделей, порою воспроизводящих прототипы до мелочей. Если стремяна с 8-образными петлями и восходят к ременным петлям, то изготавливать их из металла стали никак не раньше, чем познакомились с металлическими стремянами как таковыми. Словом, датировка моделей не зависит от того, восходят ли железные петельчатые стремяна к ременным: металлические модели воспроизводят типы металлических же стремян, иначе они были бы исполнены в ином материале.

Принципиально важно датировать модели по воспроизводимым ими типам, а не наоборот, как это пытался делать Л.Р. Кызласов. Приведённые им вещи из эрмитажной коллекции (Кызласов 1960: 138, рис. 51, 9, 10), судя по их размерам, — не модели, а функциональные детские стремяна, представляющие датированный тип позднетюркского и предмонгольского времени (Амброс 1973: 87; Савинов 1984: 133-134; см. также: Савинов 2005). Арбанская же находка — именно модель, и она воспроизводит реально бытовавший тип стремян. Следует, однако, отметить, что до сих пор при обсуждении арбанской находки как раз типологические обстоятельства учитывались минимально.

Д.Г. Савинов, ссылаясь на «трансформированные, по отношению к традиционным, особенности конструкции сооружения, ornamentации керамики и оформления вотивных изделий» из арбанского склепа, заключил, что «арбанский комплекс и, соответственно, происходящее из него стремя, могут быть синхронны распространению древнетюркской культуры в начальный период истории Первого тюркского каганата» и датировал модель «условно V-VI вв.» (Савинов 1996: 18 и 20). Э.Б. Вадецкая, разрабатывая свою версию хронологии склепов, сперва определила время арбанского склепа как «VI-VII в.», указывая на «модель стремени не ранее VI в.» (со ссылкой на Д.Г. Савинова, который, однако, датировал шире — V-VI вв.) и включая арбанский склеп в группу, где «нет пряжек, но найдены поздние вещи, позволяющие их синхронизировать с периодом начала эпохи чаатас: Михайловка, ск. 1-2; Барсучиха IV, ск. 4; Арбан; Соколовский, ск. 1; Джесос, ск. 5. Видимо, это самые поздние памятники уже VII в.» (Вадецкая 1999: 128). Замечу, что основания датировки барсучихинского

склепа нечётки и противоречивы (обломок вазы или «черепок грубого сосуда», Вадецкая 1999: ср. 128 и 226), а джесоскую находку плоского асимметрично-ромбического наконечника стрелы — явно IX-X вв. — вряд ли можно считать достоверно относящейся к таштыкскому комплексу. Позже Э.Б. Вадецкая уточнила, что «арбанский склеп не может быть ранее VI в., но, вероятнее, чуть позже: конец VI — начало VII в.» (Вадецкая 2001: 144). В сводной таблице (Вадецкая 1999: 125, рис. 64) к VI-VII вв. отнесены, кроме указанных в цитате, склепы: изыхские, сырский, тепсейский № 2 и уйбатские №№ 1, 6, 8. Их датировка основана на пряжках и ниже будет прокомментирована особо.

С датой VI-VII в. для арбанского склепа фактически согласился и Д.Г. Савинов. Считая появление стремян у таштыкцев следствием распространения на север тюркской культуры в эпоху Первого каганата (то есть с 550-х гг.), он пишет: «в это время в Минусинской котловине появляются многие элементы древнетюркской культуры (погребения с конём; возможно, основы енисейской рунической письменности; каменные изваяния с “повествовательными сценами”; отдельные украшения в “геральдическом” стиле и др.), в ряду которых, очевидно, следует рассматривать и находку арбанского стремени» (Савинов 2005: 133). Этот перечень неоднороден. Действительно, раннегеральдические типы появились в Южной Сибири в связи с тюркской экспансией (Азбелев 1993), а металлические стремяна и всаднические могилы — не ранее V-VI вв. (Грач 1982); однако что имеется в виду под (60/61) «основами» тюркской руники в указанное время и в данном регионе — непонятно; не выдерживает проверки и тезис о принадлежности к «этому времени» изваяний «с повествовательными сценами» (по крайней мере минусинской группы; обстоятельный разбор вопроса см.: Панкова 2000, уточнения — Азбелев 2007а: 113); но главное — неясно, какое отношение всё это имеет к датировке конкретной находки.

Вопрос о том, когда таштыкцы познакомились со стремянами, не определяет даты арбанского стремячка — наоборот, он мог бы решаться на её основе. Если бы модели стремян, подобные арбанской, встречались часто (как, например, модели удила), если бы они воспроизводили заведомо ранние типы, то появление стремян у таштыкцев действительно можно было бы увязывать с активностью тюрков Первого каганата на севере Центральной Азии. Однако арбанский склеп среди прочих таштыкских — очевидно поздний, арбанское стремячко в таштыкской культуре уникально, [3] и его дата должна выясняться по конкретным свойствам изделия — в случае с арбанской находкой весьма выразительным — в контексте общей типологии и хронологии стремян.

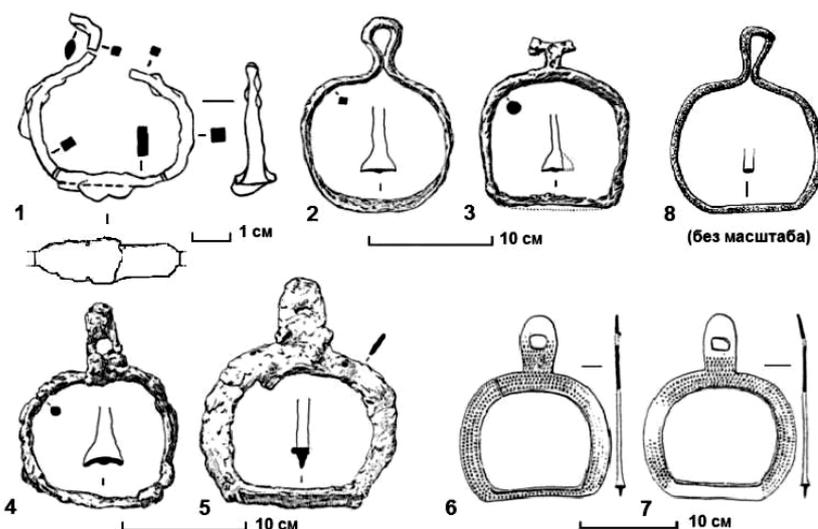


Рис. 2. [Рис. и подпись на с. 59.] Модель стремени из склепа Арбанского чаатаса и её место в эволюции стремян: 1 — Арбанский чаатас, склеп; 2-5 — Кудыргэ; 6, 7 — Улуг-Хорум; 8 — Кок-Паиш (по А.А. Гавриловой, В.А. Грачу, А.С. Васютину; 1 — рис. автора).

Все ранние стремяна, при всём их разнообразии, имеют ряд общих признаков, и среди них — узкие подножия: либо подквадратного сечения — у самых ранних экземпляров, либо —

у находок, относящихся к первому этапу развития стремян как серийно производимой категории вещей — Т-образного, коррелирующего с пластинчатыми корпусами; эти признаки объединяют все стремяна V-VI вв., а позднее уже почти не встречаются. Соответственно, связка признаков «узкое подножие — плоский корпус» может считаться датирующей (Рис. 2: 6, 7); позднейшие стремяна с Т-образным сечением узких подножий и плоским корпусом найдены в Кудыргэ (Рис. 2: 5) — памятнике, который по совокупности данных следует связывать с пребыванием на Алтае орды Чеби-хана (Азбелев 2000). Здесь представлены едва ли не все типы стремян древнетюркской эпохи — когда идея стремян как удобного подспорья для всадника была воспринята и усвоена, вместо механического воспроизведения заимствованного типа начался творческий поиск наилучших форм, следствием которого и стало такое разнообразие (Рис. 2: 2-5), включавшее уже и новый, типологически уже более развитый вариант стремян со стержневыми корпусами и широкими подножиями, наиболее удалённый от китайских и корейских прототипов (Рис. 2: 2-3).

Это касается и кок-пашских стремян (Васютин 2003: 226, рис. [1], 1-4, 16). Набор типов сходен с кудыргинским и должен быть примерно синхронизирован с ним, но в более широких рамках. До полной покомплексной публикации кок-пашские находки следует относить к первой половине VII в. с возможностью удревнения части могил по косвенным признакам (из-за отсутствия раннегеральдических типов, в случае их наличия подкреплявших бы синхронизацию с Кудыргэ). Нужно отдельно отметить кок-пашское «петельчатое» стремя со стержневыми и корпусом, и подножием (Рис. 2: 8), типологически самое раннее среди среди известных «петельчатых» и уже самой своей конструкцией подтверждающее вывод о времени перехода к широким подножиям.

Таким образом, связку признаков «широкое подножие — стержневой корпус» также следует считать датирующей и относить ко времени от кудыргинского и выше — чем и определяется хронология арбанской модели (а значит, и склепа). (61/62)

Стоит упомянуть и некоторые из новых находок в кудыргинских оградках — пряжка «таштыкского» типа и крестообразный распределитель (Васютин 2003: 226, рис. [1], 10, 13), имеющий практически точный аналог в минусинских сборах (ГЭ ОАБЕС 2130/7, то же: 5531/1385). К «арбанскому времени» вещи с подобными признаками на Енисее в склепы уже не попадали, и это ещё одно, уже косвенное подтверждение тому, что арбанская модель и склеп относятся ко времени не ранее могильника Кудыргэ.

Наконец, нужно добавить, что все остальные известные и правдоподобно датированные сибирские экземпляры с широким плоским подножием и стержневым корпусом относятся (по другим датирующим обстоятельствам) не ранее чем к VII в.

С учётом известных исторических обстоятельств сказанное убеждает в том, что:

а) арбанская модель стремени и склеп, где она найдена, относятся не ранее чем к VII в., а учитывая исторические обстоятельства — ко времени после появления на Алтае орды Чеби-хана и завоевания кыргызов сирами (кит. сйеяньто), то есть к 630-640-м гг.;

б) тюрки Первого каганата стремянами пользовались ещё мало (показательны изображения тюркских и согдийских всадников на рельефах погребального ложа в гробнице Анцзя в Чанъани, 571 г.: в сцене парадного характера — без стремян, в сценах конной охоты — то со стремянами, то без них, см. Anjia tomb 2003: 23, 28, 31, 35), а когда пользовались — это были стремяна инокультурных типов, китайские и, может быть, корейские, с высокой невыделенной пластиной и узким подножием; в могилах такие стремяна оказывались крайне редко — возможно, из-за очевидной современникам их чужеродности (впрочем, могил эпохи Первого каганата пока слишком мало для глубоких «статистических» наблюдений);

в) следовательно, стремяна с широким подножием и стержневым корпусом формировались как особый тип и разносились по степи уже не собственно тюрками, а прежде всего телескими племенами, «гаогюйскими поколениями», силами которых тюрки «геройствовали в пустынях севера» и которые затем создавали собственные ханства на руинах Первого и Восточного каганатов. Не исключено и даже весьма вероятно, что 630 г., дата падения Восточного каганата и начала телеского политогенеза, — *terminus post quem* для традиции массового изготовления и использования в Южной Сибири стремян с широким подножием и стержневым корпусом — в рамках становления культур катандинского этапа.

2. Уйбатская находка.

Обсуждая вопрос о дате арбанской модели, Д.Г. Савинов синхронизировал с ней странные находки из склепа № 6 Уйбатского чаатаса, которые прежде указывались в литературе как «два подножия от железных миниатюрных стремян» (Кызласов: 1960: 140, прим. 2; Вадецкая 1999: табл. 82; NB: подписи к табл. 81 и 82 перепутаны); по мне-(62/63)нию Савинова, «бесспорные условия находки арбанского стремени позволяют считать и эти находки достоверными, хотя судить о форме уйбатских стремян по фрагментам подножек, конечно, трудно. По времени Уйбатский склеп № 6 близок Арбанскому» (Савинов 2005: 133).

Если синхронизация арбанского и 6-го уйбатского склепов верна, и если на Уйбате действительно найдены фрагменты моделей стремян, то вывод Д.Г. Савинова неизбежно влияет как на хронологию собственно таштыкских памятников, так и на хронологию стремян. Столь примечательную связку необходимо рассмотреть подробнее.

Уйбатский склеп № 6, раскопанный В.П. Левашовой в 1936 г., по основным конструктивным признакам и набору вещей принципиально не отличался от основной массы памятников данного типа (описание см.: Вадецкая 1999: 246). Известных по арбанскому склепу поздних признаков здесь нет, можно лишь отметить сравнительную бедность керамического набора.

В датировке уйбатского склепа Д.Г. Савинов следует за Э.Б. Вадецкой, — она отнесла 6-й уйбатский склеп к VI-VII вв., основываясь, как видно из хронологической таблицы (Вадецкая 1999: 125, рис. 64), на находке округлого тройника, фрагмента витой цепочки и пряжках (Рис. 3).

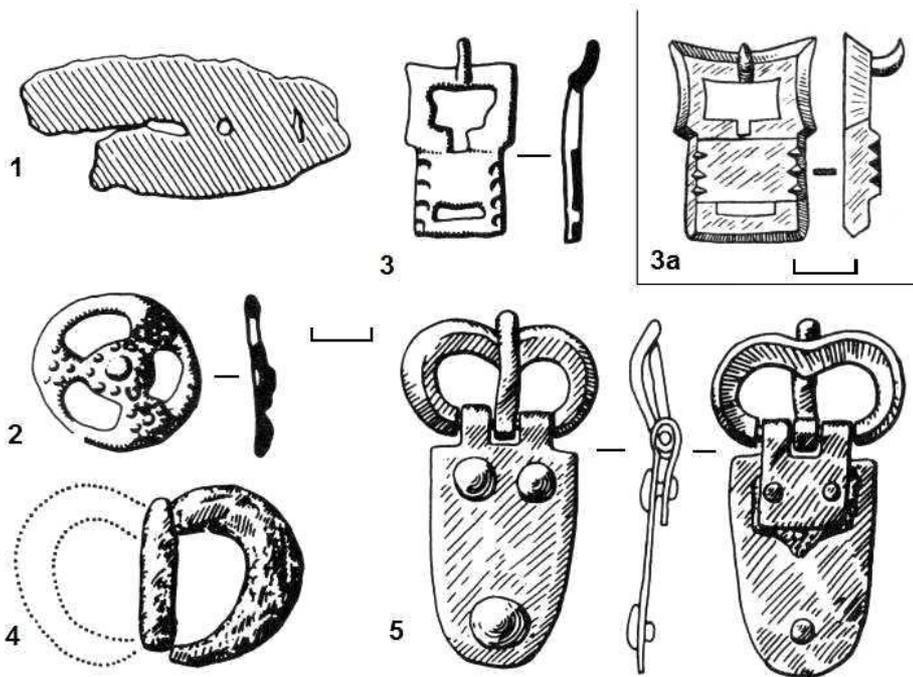


Рис. 3. [Рис. и подпись на с. 63.] 1-3, 4, 5 — Уйбатский чаатас, склеп № 6 (по Э.Б. Вадецкой); 3а — Сырский чаатас, склеп (по Л.Р. Кызласову). Масштабные линейки — по 1 см.

Независимая хронология круглых тройников-распределителей и тем более витых цепочек пока не разработана; подобные изделия найдены в склепах с самыми разными признаками; скорее всего, существовали они долго. Для опре-(63/64)деления даты 6-го уйбатского склепа определяющее значение имеют пряжки; хотя опубликованы они в виде довольно грубых рисунков, датирующие признаки «прочитываются» вполне определённо.

Во-первых, шпеньковая цельнолитая пряжка с плоской крепёжной скобой и трапециевидной рамкой с вогнутыми сторонами, аналогичная пряжке из сырского склепа (Рис.

3, ср. 3 и 3а). Это редкий тип, рудиментарно воспроизводящий схему крепления инокультурных прототипов: пряжки с плоскими скобами типогенетически предшествуют «стандартным» пряжкам со скобами перпендикулярными (Азбелев 1992). Наличие такой пряжки в склепе указывает на вероятность его сравнительно ранней даты.

Во-вторых, особое значение имеют столь же редкие пряжки с В-образными рамками. Именно на них прежде всего и основывался А.К. Амброз, предлагая свою версию хронологии таштыкских склепов (Амброз 1971б: 120-121). Прежде Л.Р. Кызласов искал им сарматские аналогии начала н.э. и соответственно датировал их (Кызласов 1960: 125). Однако уже на стадии классифицирования этот автор допустил ошибку, объединив округлые и В-образные рамки (тип 12), разнеся при этом В-образные рамки по разным типам (12 и 13), тогда как форма рамки является признанным типобразующим признаком; игнорировать форму можно, если опираться на сечения и другие мелкие признаки, но их Кызласов не акцентировал. Пряжки, указанные им в хронологической ссылке, имели округлые рамки и сравнивались с таштыкскими без учёта деталей.

Типообразующий признак не обязательно является датирующим — именно так обстоит дело и в случае с В-образными рамками. Они имеют свою длинную историю, которая прослеживается по находкам, имеющим независимые и порой проверяемые даты. В целом развитие В-образных пряжек шло: от замкнутых и сомкнутых (без выделенной оси) стержневых мелкогранёных округлых в сечении рамок — к разомкнутым (с выделенной осью) пластинчатым скошенным, и от подвижных пластинчатых щитков-обойм с крупными заклёпками с декоративными шляпками — к неподвижным щиткам на шпёнках с изнаночной стороны; в этом ряду и следует найти место для таштыкских экземпляров. А.К. Амброз как-то заметил, что восточноевропейские материалы не позволяют выстроить непрерывный эволюционный ряд от ранних В-образных рамок гуннского времени к поздним, «геральдическим». Эту лауну заполняют именно и только азиатские материалы, содержащие типологически промежуточные пряжки (с ранними и поздними признаками одновременно, — Рис. 4).

С ранними В-образными рамками (см., напр.: Кобылина 1951: 248, рис. 5, 1; Амброз 1971а: рис. 2, 9; Генинг 1976: рис. 30, 6) таштыкские сближаются по таким признакам, как мелкая огранка рамки, сетчатая гравировка оснований рамки, хоботковый профиль язычка; ранним признаком следует считать и пластинчатые щитки-обоймы с крупными заклёпками (Рис. 4: ср. 1-5 и 7-11). Вместе с тем таштыкские рамки уже несут ряд черт, более типичных для пряжек из геральдических наборов VII-VIII вв.: встречаются разомкнутые рамки с выделенной осью для язычка, «отогнутые» наружу основания рамок, крупная огранка, близкое к пластинчатому сечению (Рис. 4: ср. 6-11 и 12-15).

Речь, разумеется, не идёт о прямом участии таштыкских племён в развитии восточноевропейских культур: причины для такого вывода нет. Традиция пряжек с В-образными рамками не имеет ни минусинских, ни вообще азиат-(64/65)ских корней, она принесена в Азию из Восточной Европы до VI в. Находимые в таштыкских склепах изделия лишь зафиксировали варианты, сложившиеся за пределами таштыкского ареала непосредственно перед появлением здесь людей с такими пряжками, и почти не представленные пока находками на памятниках других культур. Ранние восточноевропейские пряжки, типологически предшествующие таштыкским, датируются не выше IV-V вв.; поздние пряжки геральдического стиля, типологически наследующие типам, представленным в таштыкских склепах, относятся к VII-VIII вв.; соответственно, таштыкские пряжки с В-образными рамками относятся к варианту, бытовавшему в V-VI вв., всего вероятнее — в раннетюркской культурной среде, известной пока главным образом «в отражениях», по тюркским влияниям на другие народы. Как распределить имеющиеся таштыкские образцы В-образных рамок в указанном интервале? А.К. Амброз (как и безоговорочно принимающая его выводы Вадецкая) «прижимал» по времени минусинские В-образные рамки к восточноевропейским геральдическим, игнорируя указанные выше ранние признаки. Следует, однако, иметь в виду распределение таштыкских пряжек по памятникам: все В-образные найдены в склепах на расположенных сравнительно недалеко один от другого Изыхском, Сырском и Уйбатском чаатасах. В тех же памятниках (плюс в одном из склепов Тагарского

острова) — и другие экземпляры пряжек с разомкнутыми рамками, уже округлыми, и выделенной осью для язычка.

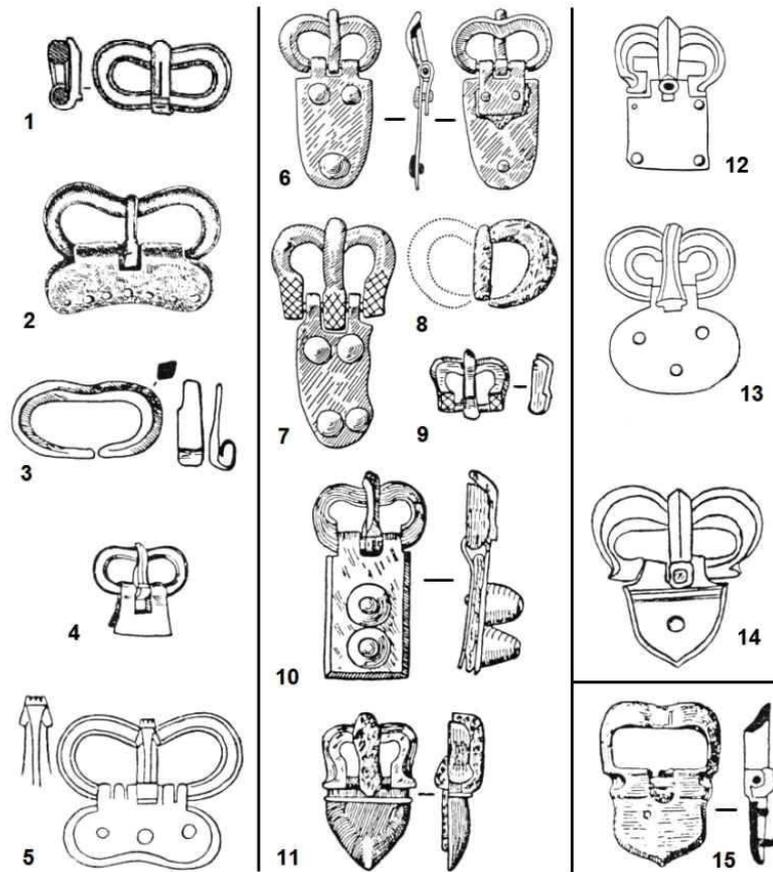


Рис. 4. [Рис. и подпись на с. 65.] Пряжки с V-образными рамками. Гуннское время: 1 — Тураево; 2 — Фанагория; 3 — Ровное; 4 — Фёдоровка; 5 — Шагвар. Таштыкская культура: 6-8 — Уйбатский чаатас; 9 — Сырский чаатас; 10, 11 — Изыхский чаатас. Тюркское время: 12 — Абхазия; 13 — Весёлое; 14 — Иловатка; 15 — Кудыргэ (по В. Ф. Генингу, М. П. Кобылиной, И. П. Засецкой, А.К. Амброзу, Э.Б. Вадецкой, Л.Р. Кызласову, А. А. Гавриловой). Масштаб разный.

Иными словами, в отличие от «стандартных» таштыкских цельнолитых пряжек с перпендикулярной скобой, шарнирные со сложными рамками распространены весьма ограниченно. Преимущественно в тех же комплексах сосредоточены пластинчатые щитки-обоймы с крупными заклёпками (имеющие серии ранних инокультурных аналогий) и упомянутые выше цельнолитые пряжки с плоской скобой, типогенетически ранние. Учитывая исходную инородность всех этих типов для минусинских культур и немногочисленность находок, правильнее считать эту ограниченность не только локальной, но и хронологической, а именно ранней: пряжки этих типов были единожды занесены на Средний Енисей, и бытовали они здесь недолго. Поэтому датировать сырский и уйбатские склепы №№ 1, 6, 8 VI-VII веками и омолаживать изыхский склеп № 1 до VII в., как это делает Вадецкая, оснований нет. Также как и включаемый ею в число поздних тепсейский склеп № 2, они по составу инвентаря, конструктивным признакам и обряду весьма далеки от заведомо позднего арбанского и должны быть отнесены к «классическим» склепам V-VI вв.

Таким образом, изыхские, сырский, уйбатские склепы относятся к раннему этапу, признаками которого следует считать наличие «шарнирных» пряжек с разомкнутыми V-образными и округлыми рамками (с которыми коррелируют профилированные язычки на выделенной оси или на задней части рамки), пластинчатые обоймы с крупными заклёпками и цельнолитые пряжки с плоской скобой.

Следовательно, уйбатский склеп № 6 не может быть синхронизирован с арбанским даже приблизительно. Первый относится к раннему этапу развития таштыкской культуры, второй — ко времени сосуществования «позднесклепных» и «раннечаатасовских» традиций.

Как же нужно понимать эллипсоидную пластинку из 6-го уйбатского склепа (Рис. 3, 1)? Если это подножие от модели стремени, то как это согласуется с хронологией стремян? — ведь в V-VI вв. подножия выглядели совершенно иначе. Если это не подножие, и стремяна тут ни при чём, — то что это за вещь?

Очертания подножий как отдельный признак в литературе пока не рассматривались. Чтобы предпринять соответствующее исследование, понадобилось бы заново просмотреть сотни экземпляров стремян — ведь как правило, в лучшем случае публикаторы приводят видобавок к фронтальному ещё и боковой вид или сечения, а виды подножий добавляют лишь при наличии декора. Предварительно можно говорить о том, что общей тенденцией их развития на протяжении (66/67)долгого времени было поэтапное расширение — от узких и прямых на раннем этапе к широким подпрямоугольным или овальным в древнетюркскую эпоху — и до правильно круглых послемонгольского времени (впрочем, эти позднейшие подножия со свисающим бортиком — особая тема, здесь не затрагиваемая); нюансы и ветви этой общей эволюции ещё предстоит проследить, учитывая различные детали — изгиб, оформление края, нервюры, прорезы и т.д. Абсолютное большинство стремян древнетюркского времени имеет подовальные подножия, с прямыми краями в центре и плавно закруглённые у корпуса. Уйбатская пластинка по контуру сближается лишь с приострэнными эллипсоидными подножиями, которые в Южной Сибири редки — таково, скажем, знаменитое благодаря своему прекрасному декору уйбатское стремя (верхний и нижний виды подножия см.: Кызласов, Король 1990: 70, рис. 24; повторено: Археология, 2006: 565). Подножия таких очертаний появляются довольно поздно, уже в уйгурское время, может быть, из Китая. При этих условиях считать эллипсоидную пластинку из раннего таштыкского склепа подножием модели стремени, конечно же, не приходится.

Тогда что же это за вещь? Вряд ли можно однозначно идентифицировать эту находку; очертаниями она напоминает ещё и лопасти моделей пропеллеровидных псалиев (ср.: Кызласов 1979: 115, рис. 81, 1 и 116, рис. 83, 1-2), но, в отличие от них, имеет отверстия, с помощью которых могла крепиться к какому-то предмету. Тем более не подлежат однозначной идентификации другие, ещё более фрагментированные пластинки из того же 6-го уйбатского склепа. Надо сказать, в таштыкских склепах немало таких трудноопределимых вещей; как и в других неочевидных случаях, опираться на умозрительное сходство уйбатской пластинки с чем бы то ни было нельзя. К стремянам она отношения не имеет, датирующим обстоятельством не является и хронологию стремян не «ломает», — однако разбор выдвигавшихся оценок позволяет сделать здесь вывод методического свойства: публикаторам стремян следует приводить не только фронтальные и боковые виды своих находок, но и контуры подножек — вне зависимости от того, декорированы они или нет.

[1] Раскопки осуществлялись группами, выделявшимися из состава Аскизского (головного) отряда Среднеазиатской экспедиции; в 1989-90 гг. на заключительных этапах работ в раскопках принимали участие школьники из археологических кружков Ленинградской городской станции юных туристов. Графическую фиксацию в разное время вели: И.В. Чекулаева, В.Г. Ефимов, С.В. Щербакова и др.; могилу соор. 5 рисовала Е.А. Миклашевич.

[2] Э.Б. Вадецкая в статье об арбанских масках предполагает, что «в северной половине камеры пепел мог быть помещён в куклы, исходя из свободного размещения кучек и отсутствия посуды» (Вадецкая 2001: 144), но это неверно: погребения у северной стены были перекрыты толстым бревном клетки, сползшим и прикрывшим их от жара; дно склепа здесь не прокалилось, так что неполнота погребений — не следствие их выгорания; будь там «куклы» (т.е. погребальные манекены с помещёнными внутрь креммированными останками), от них хоть что-то да сохранилось бы, но ничего подобного не наблюдалось; а вот «частичные» погребения располагались ровной, явно неслучайной цепочкой. Э.Б. Вадецкая, будучи несомненно лучшим знатоком таштыкских древностей, трактовала имевшиеся у неё неполные сведения об арбанском склепе с точки зрения «канона», тогда как на Арбане

как раз «канон»-то и нарушен; поэтому вывод Э.Б. Вадецкой — «трансформация культурных традиций не коснулась конструкции памятника и слабо отражена в ритуалах» — вряд ли может быть принят.

[3] Уже после сдачи этой статьи опубликована вторая комплексная находка модели стремени, воспроизводящей более ранний тип (Тетерин Ю.В. Таштыкские склепы могильника Маркелов Мыс I на севере Хакасско-Минусинского края. // Таштыкские памятники Хакасско-Минусинского края. Новосибирск: 2007. С. 84. Рис. 19, 9).

Литература

Азбелев П.П. 1990 — Конструкции оград минусинских чаатасов как источник по истории енисейских кыргызов. // Памятники кыргызской культуры в Северной и Центральной Азии. Новосибирск: 1990. С. 5-23.

Азбелев П.П. 1992 — Типогенез характерных таштыкских пряжек. // Проблемы археологии, истории, краеведения и этнографии Приенисейского края. Т. II. Красноярск: 1992, с.48-52.

Азбелев П.П. 1993 — Сибирские элементы восточноевропейского геральдического стиля. // Петербургский археологический вестник. Вып. 3. СПб: 1993. С. 89-93.

Азбелев П.П. 2000 — К исследованию культуры могильника Кудыргэ на Алтае. // Пятое историческое чтения памяти М. П. Грязнова. ТД Всеросс. науч. конф. (Омск: 19-20 октября 2000 г.). Омск: ОмГУ, 2000. С. 4-6.

Азбелев П.П. 2007 — Раннесредневековые центральноазиатские вазы: декор и контекст. // А.В. Сборник научных трудов в честь 60-летия А. В. Виноградова. СПб: Культ-Информ-Пресс, 2007. С. 145-157.

(67/68)

Азбелев П.П. 2007а — Об инновациях IX в. в южносибирских культурах. // Изучение историко-культурного наследия народов Южной Сибири. Вып. 6. Горно-Алтайск: 2007. С. 106-115.

Амброз А.К. 1971а — Проблемы раннесредневековой хронологии Восточной Европы. Ч. I. // СА 1971, № 2. С. 96-123.

Амброз А.К. 1971б — Проблемы раннесредневековой хронологии Восточной Европы. Ч. II. // СА 1971, № 3. С. 106-134.

Амброз А.К. 1973б — Стремена и седла раннего средневековья как хронологический показатель (IV-VIII вв.). // СА. 1973. № 4. С. 81-98.

Археология: Учебник. / Под редакцией академика РАН В. Л. Янина. М.: 2006. 608 с.

Баранов Л.Н. 1975 — Сооружение и сожжение таштыкского склепа. // Первобытная археология Сибири. Л.: 1975. С. 162-165.

Баранов Л.Н. 1992 — Таштыкские склепы у г. Тепсей. // Северная Евразия от древности до средневековья. ТК к 90-летию со дня рождения М. П. Грязнова. СПб: 1992, с.214-217.

Вадецкая Э.Б. 1999 — Таштыкская эпоха в древней истории Сибири. СПб: «Петербургское востоковедение». 1999. 440 с.

Вадецкая Э.Б. 2001 — Погребальные маски из таштыкского склепа Арбан II. // Евразия сквозь века. Сборник к 60-летию Д.Г.Савинова., СПб: 2001. С. 144-147.

Васютин А.С. 2003 — Ещё раз о Кудыргэ. // Степи Евразии в древности и средневековье. Материалы научно-практической конференции, посвящённой 100-летию со дня рождения М. П. Грязнова. СПб: 2003. Книга II. С. 224-227.

Генинг В.Ф. 1976 — Тураевский могильник V в. н.э. (Захоронения военачальников). // Из археологии Волго-Камья. Казань: 1976. С. 55-108.

Грач В.А. 1982 — Средневековые впускные погребения из кургана-храма Улуг-Хорум в Южной Туве. // Археология Северной Азии. Новосибирск: 1982. С. 156-168.

Кобылина М.М. 1951 — Раскопки «Восточного» некрополя Фанагории в 1948 г. // Материалы по археологии Северного Причерноморья в античную эпоху. / МИА № 19, М.: 1951. С. 241-249.

Кызласов Л.Р. 1960 — Таштыкская эпоха в истории Хакасско-Минусинской котловины (I в. до н.э. — V в. н.э.). М.: 1960. 198 с.

Кызласов Л.Р. 1979 — Древняя Тува (от палеолита до IX в.). М.: МГУ, 1979. 208 с.

Кызласов Л.Р. 1980 — Чаатасы Хакасии. // Вопросы археологии Хакасии. Абакан: 1980. С. 108-114.

Кызласов Л.Р., Король Г.Г. 1990 — Декоративное искусство средневековых хакасов как исторический источник. М.: 1990. 216 с.

Панкова С.В. 2000 — К вопросу об изваяниях, называемых таштыкскими. // Мировоззрение. Археология. Ритуал. Культура. Сборник статей к 60-летию М.Л. Подольского. СПб., 2000. С. 86-103.

- Савинов Д.Г. 1984 — Народы Южной Сибири в древнетюркскую эпоху. Л.: ЛГУ. 1984. 174 с.
 Савинов Д.Г. 1996 — К проблеме происхождения металлических стремян в Центральной Азии и Южной Сибири. // Актуальные проблемы сибирской археологии. Барнаул: 1996. С. 16-20.
 Савинов Д.Г. 2005 — Миниатюрные стремяна в культурной традиции Южной Сибири. // Снаряжение кочевников Евразии. Издательство Алтайского университета. Барнаул, 2005. С. 129-135.
 Anjia tomb 2003 — Anjia tomb of Northern Zhou at Xi'an (With an English Abstract). By Shaanxi Provincial Institute of Archaeology. Beijing: Cultural Relics Publishing House, 2003. 113 с. + альбом, на кит. яз.

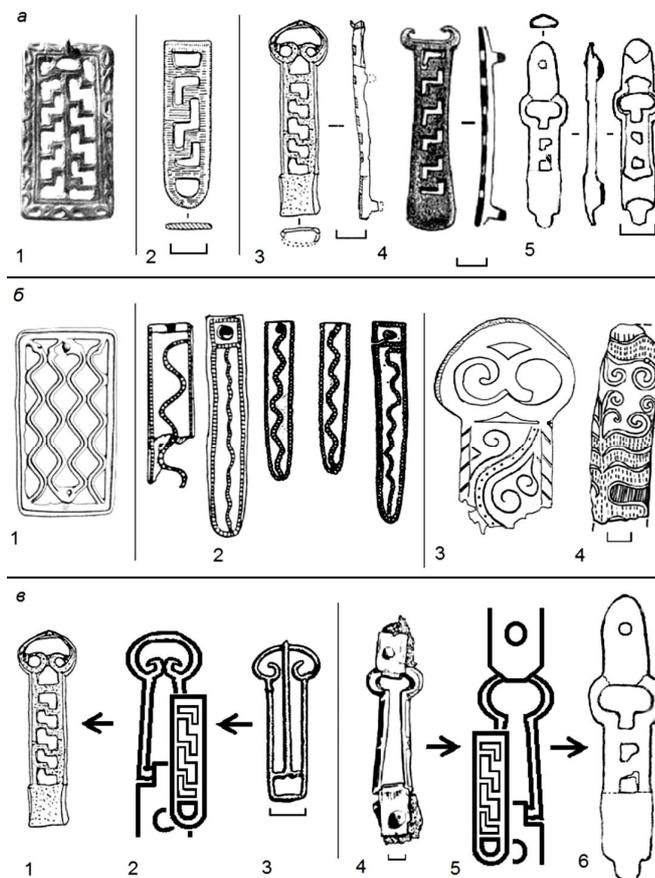
П.П. Азбелев

Хуннские элементы в таштыкском декоре.

// Изучение историко-культурного наследия народов Южной Сибири. Вып. 7. Горно-Алтайск: 2008. С. 66-75.

О хуннском наследии в культуре таштыкских склепов * говорилось не раз, но подробный разбор этих сходных черт на уровне признаков не предпринимался — а значит, не прослежены и пути развития того или иного сопоставляемого элемента от хуннских версий к таштыкским. Между тем без таких работ привычные ссылки на «хуннское наследие» остаются лишь общими словами. Ниже предлагается опыт предварительного анализа некоторых элементов хуннского происхождения в таштыкском декоре — точнее, в декоре цельнолитых пряжек: прежде всего это ажурные полосы псевдомеандра (иногда трактуемого как геометризированное изображение «мирового древа») и извивающиеся змеи. Конечно, этими вариантами не исчерпывается всё разнообразие путей эволюции хуннского декора — речь идёт лишь об одном из аспектов типогенеза таштыкских пряжек, и с участием лишь малой доли «хуннского наследия».

Хуннские традиции в таштыкских материалах представлены искажённо; способы искажения не случайны, они поддаются систематизации. Во всех известных случаях это редукция — либо продольная (сужение трансформируемого элемента), либо поперечная (укорачивание).



1. Продольная редукция: ажурный псевдомеандр. [Рис. 1 а] ^

Ажурные полосы псевдомеандра представлены на пряжках как из склепов, так и из случайных находок. Наиболее выразительная хранится в Эрмитаже — случайная находка из коллекции Вильгельма Радлова (ГЭ ОАВЕС 1123/257). У неё обычная рамка со шпеньком и парой ажурных волнот в просвете, но необычный цельнолитой щиток, состоящий из двух частей: сзади — короткой, гладкой, чуть более высокой, спереди — длинной, с ажурным псевдомеандровым узором. На обороте щитка — две типовые для таштыкских пряжек крепёжные скобы (повреждены) и общий для обеих частей невысокий бортик по продольным сторонам (Рис. 1а — 3).

Аналогов декору этой пряжки не было до публикации материалов могильника Быстрая II, где псевдомеандровый узор встречен на двух находках (Поселянин А.И., 2003, с. 276, рис. 1 — 10, 36). Первая — пряжка (Рис. 1а — 4); рамка повреждена, но тип её определяется: овальная без волнот и дополнительной прорези у основания. Щиток цельнолитой, с ажурным псевдомеандром и с гладкой площадкой позади него, напоминающей заднюю часть щитка эрмитажной пряжки.

Вторая находка — накладка, состоящая из овальной рамки с Т-образным просветом и двух цельнолитых противопоставленных щитков, один с имитацией заклёпки, другой — с ажурным псевдомеандром, оба с крепёжными скобами на обороте (Рис. 1а — 5; в публикации вещь названа «псевдопряжкой»; вряд ли это корректно; наметившаяся в последние годы тенденция называть часть таштыкских типов псевдопряжками ведёт к расширительному пониманию этого термина, обычно применяемого к специфичной категории вещей, и без нужды вносит путаницу в терминологию). Ажурная часть пластины и здесь завершается сплошной гладкой площадкой, отделённой от полосы псевдомеандра едва заметным уступом. В данном случае псевдомеандр распознать сложнее из-за литейного брака, сгладившего угловатый рисунок прорезей, отчего рисунок в публикации, к сожалению, неточен и не даёт полного представления об изделии (пользуюсь случаем, чтобы поблагодарить С.В. Панкову, предоставившую мне используемую здесь достоверную зарисовку быстрианской находки).

(66/67)

В дополнение укажу и найденную в обрывках (и соответственно опубликованную частями) золотую обкладку несохранившейся пряжки из органического материала (кожи или дерева) из скл. 2 Ташебинского чаатаса (раск. Е.Д. Паульса, 1990; опубл.: Вадецкая Э.Б., 1999, Табл. 69 — 2); в точности восстановить её первоначальную форму вряд ли возможно (неясно даже, одного изделия это фрагменты или двух однотипных), но рамка с «обратными» волнотами и часть щитка с псевдомеандровыми прорезями опознаются вполне уверенно (в том числе и благодаря сравнению с обсуждаемыми вещами и приводимой ниже находкой из койбальского склепа).

Таким образом, ажурный псевдомеандр эрмитажной пряжки — не единичный случай, можно говорить о существовании особого типа таштыкских щитков, применявшегося как минимум с тремя различными типами рамок: с овальным, Т-образным и ажурно-волнотным просветом. Несомненно, перед нами — редуцированный элемент хуннского происхождения, однако от кого, как и когда он был усвоен таштыкцами? Теоретически этот мотив декора мог проникнуть в культуру таштыкских склепов двумя путями:

а) через минусинские культуры предшествующего времени. Поясные пластины хуннских типов с ажурным псевдомеандром есть как среди случайных минусинских находок, так и в погребальных памятниках тесинского этапа (Комплекс... у горы Тепсей 1979, с. 79, Рис. 52 — 4-6); но в грунтовых могилах оглахтинской культуры, непосредственно предшествовавшей культуре таштыкских склепов, нет ни одной находки пластин с ажурным псевдомеандром. Не «стыкуются» с тесинскими бляхами рассматриваемые здесь вещи и типологически.

б) из некоего внешнего источника. Тенденция к сужению (продольной редуции) блях с псевдомеандром за пределами таштыкского ареала документируется находкой ремennого наконечника в огр. XXI Бабашовского могильника в Северной Бактрии (Мандельштам А.М. 1975, с. 181, табл. XXXIII — 7). В этом случае «нестыковка» тоже двойная — хронологическая и территориальная, зато благодаря этой находке выстраивается чёткая типогенетическая последовательность, микропериодизация эволюции хуннского псевдомеандра (Рис. 1а — 1-2-3

[здесь в публикацию по моему недосмотру вместо «1-2-3» попали бессмысленные в данном случае цифры «4-7». — П.А.]):

I этап: хуннская традиция, две асимметричные полосы псевдомеандра, иногда с зооморфными и другими фигуративными элементами — серия находок в различных областях распространения хуннской культуры;

II этап: одинарная полоса ажурного псевдомеандра — северобактрийский наконечник, спереди закруглённый, сзади прямо срезанный;

III этап: таштыкские цельнолитые щитки с ажурным псевдомеандром — три находки, четвёртая — ташебинская обкладка.

Развитие происходит по линии продольной редукции декора (из двух рядов прорезных фигур остался один); каждый этап отделяется от предыдущего не более чем одним «шагом» развития: от первого этапа ко второму композиция сужается, становится однорядной, от второго к третьему — однорядная композиция воспроизводится на таштыкской пряжке. При этом ни пропорции, ни ориентировка отдельных элементов декора не изменяются.

Чтобы выбрать предпочтительный вариант, нужно учесть историю и других мотивов.

2. Продольная редукция: изображения змей. [Рис. 1 б] ^

Та же тенденция развития декора (продольная редукция) прослеживается и для другого хуннского мотива — извивающихся змей, причём этапы типогенетического процесса накладываются на тот же географический «зигзаг», что и в случае с псевдомеандром:

I этап: ажурное изображение четырёх змей в хуннской традиции, серия находок, представляющих разную степень схематизации мотива (Рис. 1б — 1; см. также: Minyaev S.S., 2000, fig. 2).

II этап: одинарная змеистая рубчатая «нервюра» по оси наконечника ремня, европейские гунны (Werner J., 1956, Taf. 27 — 1, 2; Taf. 53 — 10; Taf. 64 — 7, 8, 12, 17 etc.; данный элемент не следует путать с зигзагом, это другой тип декора, образуемый взаимовписанными рядами треугольных зубцов; отличие — в чёткости углов, ср. там же: Taf. 29 — 1). Помимо общей редукции декора, здесь он ещё и реализован в иной технике (Рис. 1б — 2).

III этап: в таштыкской культуре — сходная одинарная змеистая линия, но уже на щитке пряжки — точнее, на золотой обкладке пряжки из склепа Койбальского чаатаса (Рис. 1б — 3; раск. Л.Р. Кызласова, 1970; материалы в ГМИНВ; см. также: Вадецкая Э.Б., 1999, с. 259-260); здесь вдобавок заметна имитация рубчатости «нервюры» и продольных сто-(67/68)рон щитка. Фон разделан асимметричными волютообразными фигурами; этот редкий орнаментальный мотив имеет (в отличие от композиции в целом) точные соответствия в местной традиции декора — например, на резном изделии из трубчатой кости (Рис. 1б — 4), отнесённом И.Л. Кызласовым к аскизской культуре, но, как показывает приведённая аналогия, скорее таштыкском (ГЭ ОАВЕС 1126/470; Кызласов И.Л., 1983, с. 43, Рис. 23 — 12); стилистически близкие одиночные тонкие завитки нередко встречаются и на других таштыкских изделиях. Функционально койбальская обкладка аналогична упомянутой выше фрагментированной ташебинской находке; она остаётся пока единственным примером сохранения хуннского мотива «змеистых линий» в таштыкском декоре, но её существованием документируется сам факт присутствия рудиментарного хуннского элемента.

Может быть, здесь нужно упомянуть ещё одну таштыкскую пряжку с продольной рубчатой нервюрой на щитке, но уже спрямлённой (Июс; раск. Н.А. Боковенко; публ.: Вадецкая Э.Б., 1999, Табл. 9. — 5, слева) — сходные элементы и в этом случае есть на европейских гуннских наконечниках (типа: Werner J., 1956, Taf. 52 — 1; Taf. 64 — 13), но из-за различия в технике исполнения и крайней простоты элемента аналогия тут слабее.

Если в случае с псевдомеандром исходная ажурность сохраняется до конца, то в случае со змеистой линией ажурность (как и фигуративность) утрачивается и более не восстанавливается, а элементы композиции развиваются далее уже под влиянием технологий новой культурной среды — происходит своего рода «накопление ошибки», свойственное вторичным типам; словом, в деталях типогенетическая связь выглядит сложнее. Но если не учитывать второстепенные технологические обстоятельства и рассматривать эволюцию лишь геометрической основы, доминанты мотива — «синусоидальной» линии — то видно, что каждый этап отделён от предыдущего теми же шагами развития, что и в случае с псевдомеандром; в обоих случаях композиции редуцированы до одного ряда и асимметричны

относительно продольной оси изделия — срабатывает одна и та же закономерность развития декора. Эта общность развития служит подтверждением самой сопоставимости разновременных и разнокультурных мотивов змеистой линии в декоре наременных принадлежностей.

Второй этап этого процесса, представленный западными находками и типологически промежуточный между хуннскими прототипами и таштыкскими пряжками, «сшивает» предложенные типогенетические ряды (микробиодизации), дополнительно синхронизирует их, но и вызывает вопросы. Показательны ли вещи, найденные вдали от Южной Сибири? На мой взгляд — безусловно: ведь даже уникальное изделие самим фактом своего существования удостоверяет наличие тенденции воприятия и искажения заимствуемого декоративного мотива, а в материалах «тёмных веков» значима каждая вещь. Вопрос не в том, показательны ли редкие находки, а в том, каково их типолого-хронологическое соотношение. В обоих случаях приводятся предметы, не имеющие на западе местных прототипов и объяснимые лишь с учётом азиатских, изначально хуннских влияний ранних этапов Великого переселения народов.

Продольное редуцирование могло быть спровоцировано функционально. Узкие мелкие наконечники, которыми представлен II этап развития декора, использовались не с поясными, а с обувными или сбруйными ремнями (Амброз А.К., 1989, с. 31-33), и не исключено, что соответствующая редукция декора была обусловлена в том числе и этим обстоятельством. Будучи вырван из своего «родного» культурного контекста, редуцированный хуннский декор далее развивался независимо от исходной среды.

Логика типогенеза подталкивает к выводу о том, что промежуточные изделия второго этапа, найденные на западе, указывают исходную точку «обратных» влияний или даже миграций, приведших к появлению постхуннских элементов декора в культуре таштыкских склепов. Так ли это? Может быть, однорядные продольно-редуцированные постхуннские элементы появились около рубежа н.э. ещё в Центральной Азии (где пока не представлены среди археологических материалов), а затем независимо попали как на запад, так и к будущим таштыкцам? Это, разумеется, не исключено. Тенденция к сокращению, симметризации, геометризации декора существовала уже в самой хуннской культуре: короткие ажурные ступенчатые бляхи (типа: Давыдова А.В., Миняев С.С., 1993, с. 65, Рис. 6 — 2, 4, 6 и т.п.; см. Рис. 2 — 3), парные симметричные S-образные элементы с головками птиц или (68/69)грифонов (Коновалов П.Б., 1976, Табл. XXI — 5; Давыдова А.В., 1985, с. 106, Рис. XIII — 17, 18), не говоря уже о стандартной симметричности блях со змеистыми узорами, с изображением бычьей головы и др. (о геометризации см. также: Миняев С.С., 1995; Minyaev S.S., 2000). Неточное восприятие хуннских типов должно было породить дериваты, упрощённо, с утратой понимания имитирующие хуннские композиции; так, на Среднем Енисее известна находка петлеобразной железной пряжки тесинского этапа с одинарной змеистой «нервурой» на пластине, закрывающей просвет рамки — Каменка III, мог. 346 (ГЭ ОАВЕС 2621/52). И хотя возвести таштыкские пряжки к тесинским типологически невозможно, такие находки всё же «размывают» чёткость географического распределения этапов редукции хуннского декора и удерживают от категорических окончательных выводов.

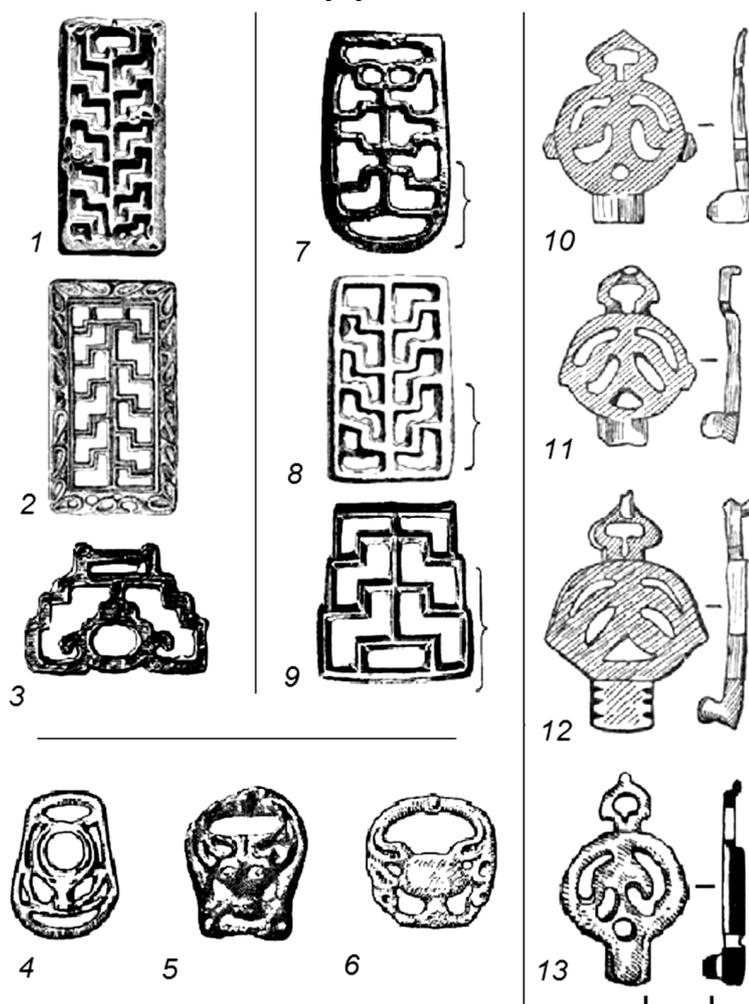
3. Типогенетический аспект. [Рис. 1 в]

Щитки цельнолитых таштыкских пряжек воспроизводят ременные наконечники, как бы «прилипшие» к удлинённым овально-трапециевидным рамкам, занесённым в Центральную Азию с запада где-то в III-IV вв. Этот тезис, выдвинутый мною ещё в 1992 году (Азбелев П.П., 1992, с. 49), теперь доказан одной из быстрианских находок, представляющей собой цельнолитую имитацию известной в Сибири по балыктыюльским (Рис. 1в — 4; по: Сорокин С.С., 1977, с. 63, Рис. 6 — 8) и менее выразительным кокэльским находкам «шарнирной» композиции из овально-трапециевидной рамки с пластинчатыми обоймами. Эта вещь доказывает и саму связь между рамчатыми и цельнолитыми пряжками, и направление этой связи (Рис. 1в, типогенетические ряды: 3-2-1, 4-5-6). Не исключено, что продольно-редуцированные постхуннские элементы декора, представленные западными наконечниками, были возвращены в Центральную Азию уже «в комплекте» с прототаштыкскими рамчатыми

пряжками. Такие рамки известны не только на Алтае и в Туве, но и среди случайных находок на Среднем Енисее (Тетерин Ю.В., 1999, Рис. 2 — 6).

Западные связи таштыкской культуры видны и по другим вещам, прежде всего по язычковым пряжкам с В-образными и округлыми рамками, имеющим прямые западные аналоги предтюркского (по азиатской шкале), или гуннского (по европейской шкале) времени, и по шпеньковым трапециевидным рамкам, имеющим на западе позднеримские прототипы. Неясно, проникали они в Центральную Азию «инфильтрационно», накапливаясь, или же, что вероятнее, были принесены единовременно — но в целом западные компоненты в культуре таштыкских склепов безусловны, и относить к их числу ещё и продольно-редуцированные «постхуннские» элементы декора небезосновательно.

В целом вариант с инокультурным промежуточным этапом предпочтительнее версии местного «прямого наследования». Но утверждать, что географический «зигзаг» эволюции хуннского декора соответствовал реальной исторической миграции с запада на восток, пока рано. Несомненно, что сами таштыкские типы сложились в Центральной Азии при взаимодействии местных и западных компонентов, но детализация состава этих компонентов и истории их взаимодействия — всё-таки дело будущего.



4. Поперечная редукция. [Рис. 2] ^

Хуннские элементы в декоре таштыкских щитков не сводятся к асимметричным продольно-редуцированным композициям. Немногочисленные сибирские находки пластин хуннского типа с двойным и уже симметричным, порой искажённым псевдомеандром (Рис. 2 — 7-9) демонстрируют не только продольную, но и поперечную редукцию — сокращение длины пластин и числа ажурных элементов при сохранении двухрядности декора. В отличие от продольной, поперечная редукция сопровождается симметризацией, искажением пропорций и

ориентировки отдельных элементов декора. В западных культурах этот вид искажения хуннских мотивов не замечен.

В таштыкской культуре поперечное редуцирование привело к появлению округлых ажурных щитков, свойственных одному из специфически таштыкских типов пряжек (Рис. 2 — 10-14). Л.Р. Кызласов решил, что эта ажурная композиция изображает птицу ласточку (Кызласов Л.Р., 1960, с. 36-37), но предлагаемая на Рис. 2 последовательность (1-2) — (7-9) — (10-13) показывает, что в основе декора лежит геометрический хуннский мотив. Впрочем, «птичья» линия сопоставлений здесь тоже работает; И.И. Таштандинов показывал (69/70) мне округлощитковую пряжку с выпуклым изображением распростёртого орла — то есть таштыкцы порой творчески обыгрывали случайное сходство редуцированного хуннского мотива с популярным тамгообразным знаком.

Поперечному редуцированию подвергались и другие типы хуннского декора. На Тепсее найдена бляха с изображением бычьей головы (Рис. 2 — 6, по: Комплекс... у горы Тепсей, 1979, с. 79, Рис. 52 — 2), искажённым настолько, что распознать голову быка можно лишь в сопоставлении этой бляхи с хуннскими прототипами (Рис. 2 — 4-5). Этот хуннский мотив в позднейшей таштыкской культуре не отразился (по крайней мере, щитков с чем-либо, напоминающим бычью голову, в склепах пока не находили), но показательное совпадение тенденций трансформации как элементов декора, так и общего контура изделий.

Вероятная микропериодизация данного типа эволюции декора в целом соотносима с ранее предложенными, хотя уже без «географического зигзага»:

I этап: асимметричная хуннская композиция;

II этап: симметризованная и укороченная композиция (дериваты вроде Рис. 2 — 7-9);

III этап: симметричная укороченная пластина накладывается на щиток (т.е. реализуется общий для таштыкской культуры типогенетический механизм), образуется тип таштыкских округлощитковых пряжек.

На II этапе иногда фиксируется зеркальное отражение отдельных элементов псевдомеандра — симметризация шла не только по основной продольной, но и по дополнительным поперечным осям (Рис. 2 — 7). Это явление формально соотносимо с вариативностью ориентировки бычьей головы на хуннских пластинах другого типа (Рис. 2 — 4, 5); точно так же варьируется и разворот головы дракона, ср. алтайский дериват с Яломана и «классическую» композицию (Рис. 3, ср. 1-2 и 3); как равно-, так и противоположно направлены бывают и изображения змей. Всё это ещё раз свидетельствует о том, что реализованные в «постхуннских» типах тенденции были заложены уже в самой культуре хунну. То же касается и ступенчатости контура одного из типов ажурных блях (ср. Рис. 2 — 3 и 9 — дериват объединяет признаки, в исходной культуре присутствующие, но не совмещаемые).

5. Заключение. ^

Таким образом, сопоставление даже малого числа редких находок позволяет заключить, что хуннские по происхождению элементы декора таштыкских пряжек нужно дифференцировать, разделяя местные сибирские — укороченные поперечно-редуцированные — и «возвращённые с запада» (или центральноазиатские) удлинённые продольно-редуцированные композиции, распадающиеся, в свою очередь, на две версии — ажурную псевдомеандровую и сплошную змеистую. Вместе с тем есть и общие закономерности развития декора: он упрощается, геометризируется, редуцируется, проходя в разных вариантах и на разных территориях одни и те же этапы, стадии трансформации:

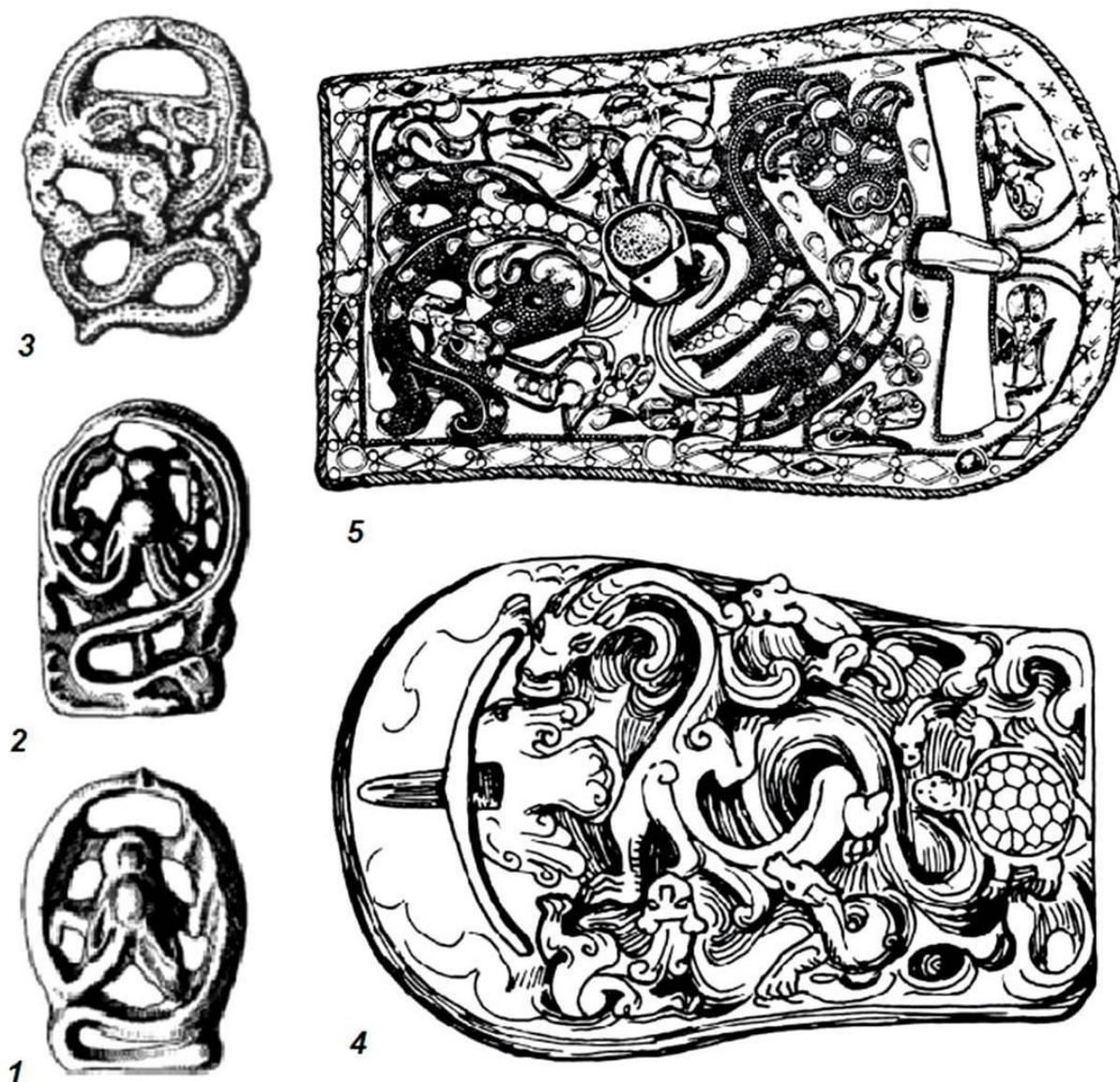
I этап — первичное распространение хуннских типов;

II этап — редукция декора на изделиях-дериватах, продольная или поперечная, ещё без совмещения с новыми типами;

III этап — совмещение редуцированных версий декора с местными типами пряжек.

В разных культурах на основе заимствованных хуннских традиций складывались вторичные «постхуннские» типы-дериваты, развивавшиеся и распространявшиеся затем уже вне всякой связи с хуннской историей.

Рассмотренные пути развития хуннского декора становятся понятнее в сравнении с его же отголосками в позднейших китайских находках [[Рис. 3](#)].



Цивилизация, в отличие от «северных варваров», развивала прежде всего фигуративные композиции. Например, показательно сопоставление хуннских пластин и их дериватов с изображением свернувшегося дракона (Рис. 3 — 1-3) (иногда их «читают» как изображения ящериц, но детализированные изображения не оставляют сомнений в том, что имеется в виду всё же именно дракон) и монопластинчатых китайских и корейских пряжек времён Шести династий (в Китае; в Корее это эпоха Трёх царств), уже язычковых и со скошенной передней стороной рамки (Рис. 3 — 4, 5), представленных каменными и металлическими экземплярами (см., напр.: китайские золотые — *Miho Museum*, 1998, pp. 60-61, no 22, и *Rawson J.*, 1995, fig. 2, со ссылкой на *Sun Ji*, 1994, figs 6 — 3; китайская нефритовая — *Rawson J.*, 1995,(70/71)fig. 3, со ссылкой на *Sun Ji*, 1994, figs 8 — 2; золотая корейская: *Воробьёв М.В.* 1961, [Рис. XXIII](#) — 2).

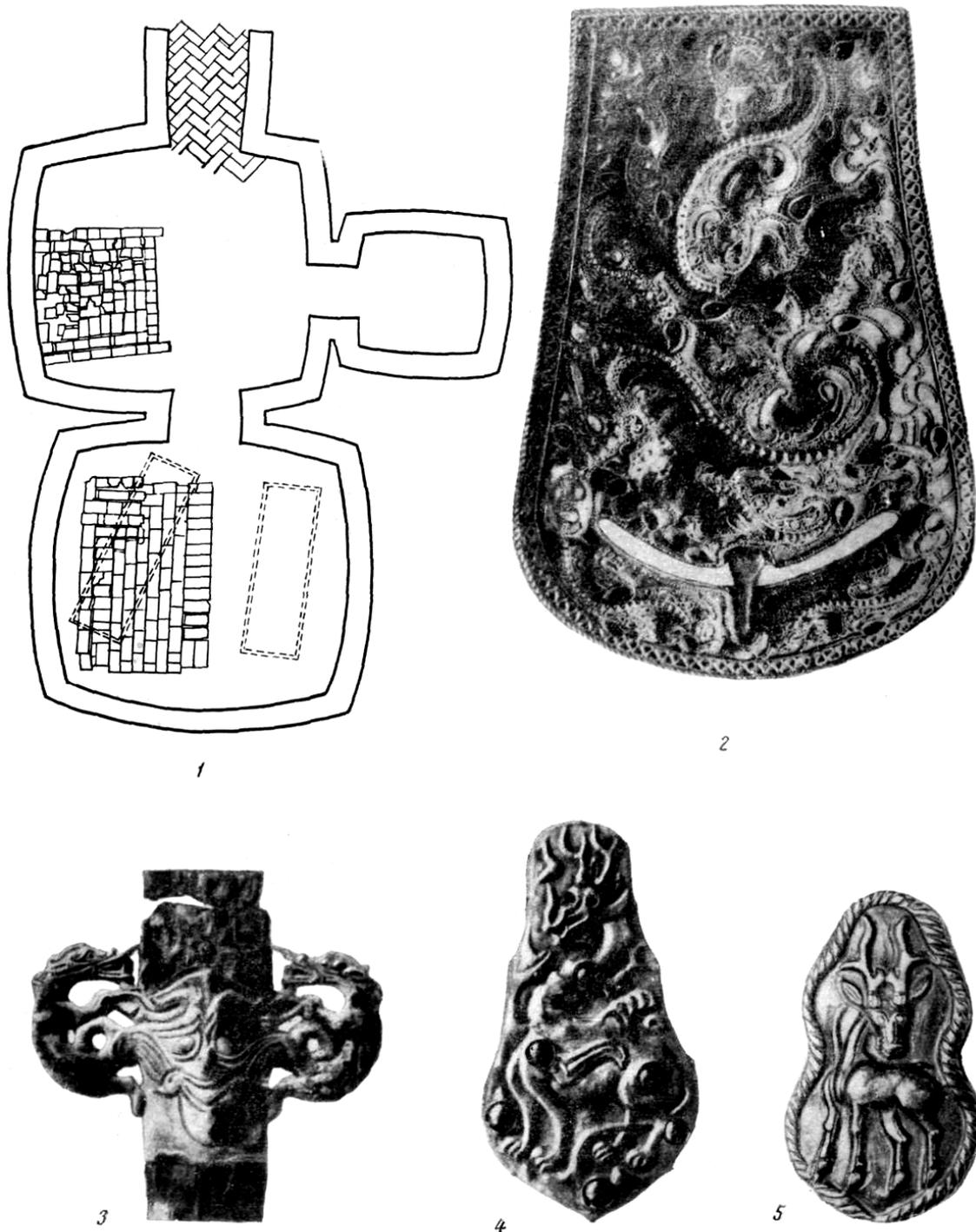


Рис. XXIII. Ранний железный век. План погребальных камер и изделия из благородных металлов Лолана:

1—план кирпичных камер в кургане № 3 у деревни Янтон; 2—золотая поясная пряжка с изображением дракона; 3—лакированный туалетный прибор из кургана Ван Сюя (№ 256) у деревни Согамни; 4—часть серебряного украшения с изображением оленя (курган № 119 у Пхеньяна); 5—то же (курган в Монголии)

При сохранении сюжетной основы изображения и общего петлеобразного (или, по терминологии С.С. Миняева, с прямоугольным выступом, with rectangular protrusion) контура пластины-пряжки изменяется её ориентация: судя по декору, хуннские пряжки с драконами предназначены для вертикального (м.б., портупейного?) ремня, китайские — для горизонтального, поясного; соответственно развёрнуто и изображение сказочной твари, причём оно не редуцируется, а наоборот, гипертрофируется, вписывается в новый контекст, дополняется изображениями вихревых облаков, мелких дракончиков, птичьих головок и др. Такие пряжки, несмотря на трудоёмкость их изготовления, серийны и удивительно схожи

между собой — отличия видны лишь во второстепенных деталях: по-разному оформлен кант внешнего края пластины и передний скос рамки, обыграно гнездо для язычка (напр., изображением распластанной птицы, головой и клювом которой оказывается язычок пряжки — см. рис. 3 — 4), у драконов чуть иначе развёрнуты головы, по-разному забит мелкими фигурками фон и т.п. Из двух вариантов разворота головы дракона на хуннских пряжках и их дериватах (к переднему или заднему краю рамки) в позднейших китайских материалах замечен лишь первый. Китайская линия развития хуннского декора отражает совершенно иные, чем у «северных варваров», закономерности переосмысления образа и трансформации облика вещи-носителя изображений.

Если в цивилизационных культурах хуннские образы обогащались и переосмысливались на основе местных традиций, то в варварских — наоборот, деградировали и редуцировались в рамках, предопределённых «типогенетическим потенциалом» самой же хуннской культуры. Сложно-фигуративные элементы декора хуннских поясных пластин, в отличие от простейших и геометризованных, не нашли продолжения ни в таштыкских материалах, ни в материалах других «варварских» культур.

История рассмотренных версий редуцированного «постхуннского» декора показывает, что типы, разнесённые на рубеже эр по степи в ходе хуннской экспансии и вызванной ею цепной миграции степных племён, трансформировались в разных регионах Евразии по-разному, чтобы затем (не позднее V в.) по прихоти судьбы вновь собраться воедино, образуя своеобразные и неповторимые таштыкские композиции декора фурнитуры.

Подчеркну два наиболее существенных вывода. Во-первых, редуцированные хуннские мотивы представлены лишь на изделиях, относящихся к раннекыргызской культуре таштыкских склепов, «могил с бюстовыми масками» по Теплоухову, но совершенно не встречаются в комплексах предшествующей оглахтинской культуры (грунтовых могилах) — ещё одно свидетельство разнокультурности этих типов памятников; а во-вторых, хуннское наследие в культуре таштыкских склепов опосредовано в прослеженных выше рядах теми или иными промежуточными звеньями, хронологически «параллельными» оглахтинской традиции, но известными лишь за пределами Южной Сибири.

Наконец, отдельного внимания заслуживает типологически предполагаемое возвращение части «постхуннских» типов II этапа с запада на восток, в Центральную Азию и Южную Сибирь; эта вероятность должна рассматриваться на фоне появления в предтюрокскую эпоху на востоке памятников с западными признаками — таковы Тугозвоново, Балыктыюль, погребение № 688 на могильнике Сопка II, тепсейские и вообще таштыкские гравированные изображения катафрактариюв с «орлатскими» чертами, и т.д. (подробнее об этом историко-культурном фоне и связанной с ним гипотезе об охране согдийских караванов см.: Азбелев П.П., 2008) Изучение историко-культурных процессов, стоящих за этими памятниками, откроет немало нового в истории «тёмных веков» — первой половины I тыс. н.э.

* Словами «таштыкская культура» («эпоха») привычно объединяют разнокультурные памятники — грунтовые могилы оглахтинского типа (образующие, с моей точки зрения, оглахтинскую археологическую культуру I-V вв.; см.: Азбелев П.П., 2007) и раннекыргызские склепы (V в. и позднее) — «могилы с бюстовыми масками» по С.А. Теплоухову. В этих заметках под «таштыкскими» подразумеваются лишь традиции культуры склепов.

Литература. ^

Азбелев П.П. Типогенез характерных таштыкских пряжек // Проблемы археологии, истории, краеведения и этнографии Приенисейского края. Т. II. Красноярск, 1992. С.48-52.

Азбелев П.П. Оглахтинская культура // Вестник СПбГУ, серия 6, 2007. Вып. 4. С.381-388.

Азбелев П.П. Первые кыргызы на Енисее // Вестник СПбГУ, серия 12, 2008. Вып. 4.

Амброз А.К. Хронология древностей Северного Кавказа V-VII вв. М., 1989. 134 с.

Вадецкая Э.Б. Таштыкская эпоха в древней истории Сибири. СПб, 1999. 440 с.

[Иллюстрации] ^

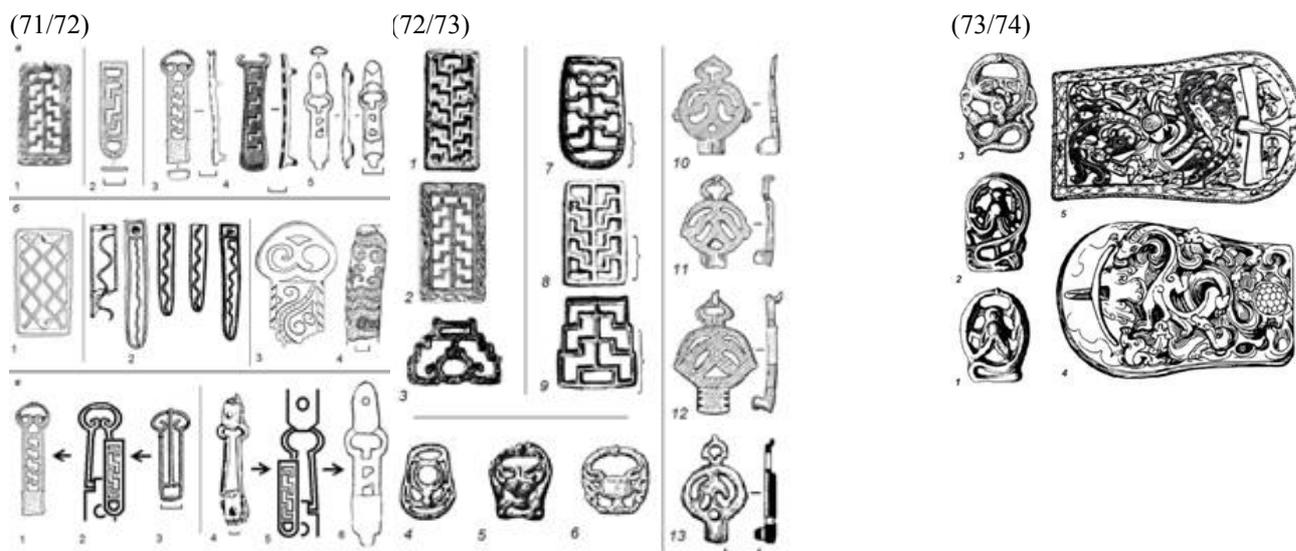


Рис. 1. Продольная редукция хуннского декора. Рис. 2. Поперечная редукция хуннского декора. Рис. 3. Пряжки с драконами.

1-5 — хуннские типы (I этап); 6-9 — дериваты Хуннское время: 1-3 (бронза) — а). псевдомеандр: сужение хуннских типов (II этап); 10-14 — таштыкская по С.С. Миняеву, А.А. Тишкину. асимметричного щитка (1, 2, 4 — по культуре (III этап). По А.В. Давыдовой, Эпоха Шести династий: 4 С.С. Миняеву, А.М. Мандельштаму, С.С. Миняеву, М.А. Дэвлет, М.Н. Пшеницыной, (золото), 5 (нефрит) — по А.И. Поселянину; 3 — ГЭ ОАВЕС Л.Р. Кызласову, Э.Б. Вадецкой. Всё бронза. J. Rawson. 1123/257, рис. автора; 5 — эскиз Масштаб разный.

С.В. Панковой; всё бронза). (б). змеи: сужение асимметричного щитка: 1-3 (бронза, золото) — по М.А. Дэвлет, И. Вернеру, И.П. Засецкой, И.И. Таштандинову; 4 (резная кость) — аналогия для двойных асимметричных завитков, рис. по И.Л. Кызласову.

в). Типогенетическая схема для пряжек с ажурным псевдомеандровым узором. Масштаб разный.

[Литература] ^

- Воробьев М.В. Древняя Корея (историко-археологический очерк). М., 1961. 194 с.
- Давыдова А.В. Иволгинский комплекс (городище и могильник) — памятник хунну в Забайкалье. Л., 1985. 111 с.
- Давыдова А.В., Миняев С.С. Новые находки наборных поясов в Дырестуйском могильнике // Археологические вести, вып. 2. СПб, 1993. С.55-65.
- Комплекс археологических памятников у горы Тепсей на Енисее. Новосибирск, 1979. 167 с.
- Коновалов П.Б. Хунну в Забайкалье (Погребальные памятники). Улан-Удэ, 1976. 248 с.
- Кызласов И.Л. Аскизская культура Южной Сибири. X-XIV вв. / САИ ЕЗ-18. М., 1983. 128 с.
- Кызласов Л.Р. Таштыкская эпоха в истории Хакасско-Минусинской котловины. М., 1960. 198 с.
- Мандельштам А.М. Памятники кушанского времени в Северной Бактрии. / Тр. ТАЭ, т. VII. Л., 1975.
- Миняев С.С. Новейшие находки художественной бронзы и проблема формирования «геометрического стиля» в искусстве сюнну // Археологические вести № 4. СПб, 1995. С.123-136.
- (74/75)
- Поселянин А.И. Таштыкский погребально-поминальный комплекс Быстрая II на Енисее // Степи Евразии в древности и средневековье. Материалы научно-практической конференции, посвященной 100-летию со дня рождения М.П. Грязнова. СПб, 2003. Книга II. С.274-278.

Сорокин С.С. Погребения эпохи великого переселения народов в районе Пазырыка // АСГЭ, вып. 18. Л., 1977. С.57-67.

Тетерин Ю.В. Центральноазиатские элементы таштыкского костюма (по материалам грунтовых могил). // Евразия: культурное наследие древних цивилизаций. Вып. 2. Горизонты Евразии. Новосибирск, 1999. С.7-10.

Miho Museum. The 1st Anniversary Exhibition. The Miho Museum, 1998.

Minyaev S. The origins of the «Geometric Style» in Hsiungnu art // BAR International series 890. London, 2000.

Rawson J. Chinese Jade from the Neolithic to the Qing, London, 1995.

Sun Ji. Xian Qin, Han, Jin yaodai yong jin yin daikou // Wenwu 1994. pp.50-64.

Werner J. Beiträge zur Archäologie des Attila-Reiches. München: 1956.

П.П. Азбелев

Первые кыргызы на Енисее.

// Вестник СПбГУ. Серия 12. 2008. Вып. 4. С. 461-469.

Изучение вопроса о том, когда на Енисее впервые появились носители наименования [ред. правка; д.б.: названия] «кыргыз», откуда они пришли, какие памятники оставили и какое общество создали, затруднено условностью самого имени древнего народа. Во-первых, используемое ныне название «кыргыз» применяется по сходству термина «кыргыз» тюркских рунических текстов с реконструкциями чтения древнекитайских иероглифов, из которого и восстанавливается исходное некитайское слово. В разные эпохи одни и те же названия записывались китайскими летописцами по-разному; по-разному читались и сами иероглифы, используемые для записи некитайских слов. Из этой лингвистической коллизии произошли многие дискуссии, разбор которых не входит в нашу задачу. Ниже принимается решение, предложенное крупнейшим специалистом по исторической фонетике китайского языка С.Е. Яхонтовым: «киргызы (кыркызы) впервые упоминаются в китайских исторических сочинениях под названием гэгунь, гяньгунь; позднее они называются гегу и хягясы. Все эти транскрипции отражают одну и ту же исходную форму и рассматриваются китайскими историками как равнозначные». [1]

Во-вторых, локализации носителей названия «кыргыз» в древнекитайских источниках разноречивы, а значит, их археологическая идентификация не всегда очевидна. Древнейшие кыргызы (гэгунь) жили к северу от Ордоса и в 201 г. до н.э. были в числе других племён разбиты хуннами под предводительством шаньюя Модэ. [2] Затем кыргызы ханьского времени под именем гяньгунь помещаются летописью куда-то [ред. правка; д.б.: где-то... и далее соотв. падежи] в Северное Притяньшанье или в Джунгарию в связи с повествованием о шаньюе Чжичжи. [3] Там же, где-то в нынешнем Синьцзяне, они обитали в эпохи Троецарствия и Шести династий, и упоминаются как хэгу в числе раннетелеских племён (гаогюйских поколений). [4] К сожалению, точная археологическая идентификация кыргызов на всех этих этапах истории данного названия пока невозможна.

Первые носители названия «кыргыз», обитающие на Среднем Енисее, упоминаются летописями в пересказе древнетюркских генеалогических преданий, согласно которым раннетюркское владение Цигу (Кыргыз) располагалось между реками Афу (Абакан) и Гянь (Енисей). [5] Д.Г. Савинов в ряде работ [6] обосновал соотносимость с «владением Цигу» памятников тепсейского этапа таштыкской культуры по периодизации М.П. Грязнова, [7] т.е. склепов — «могил с бюстовыми масками» (по терминологии С.А. Теплоухова). Сопоставление этого вывода с разработанной С.Г. Кляшторным [8] периодизацией ранней истории племени ашина, основателей Первого тюркского каганата, даёт наиболее вероятную дату образования енисейского владения кыргызов — около 460 г., опорную и для хронологии склепов таштыкской культуры, которые, таким образом, и следует считать раннекыргызскими памятниками. (461/462)

Тезис о появлении кыргызов на Среднем Енисее именно в рамках миграций алтайского периода истории раннетюркских племён должен быть проверен анализом имеющегося вещественного материала.

Соотношение населения, оставившего склепы таштыкского типа, с местными племенами наглядно отразилось в имитации внешнего вида «классических» склепов т.н. «малыми

склепами», по ряду черт внутреннего устройства и особенностям похоронного обряда продолжающими традиции предшествующей оглахтинской культуры грунтовых могил, [9] — новое население явно доминировало, хотя, несомненно, и смешивалось с аборигенами. Должна ли идти речь о завоевании, было ли это проникновение какого-то иного рода, не ясно; но сложность этносоциальной структуры таштыкского общества запечатлелась в устройстве погребальных памятников вполне однозначно.

Таштыкские склепы подробно охарактеризованы в литературе, [10] и здесь достаточно выделить ряд культурогенетических обстоятельств. В составе культуры склепов, кроме неизбежного местного субстрата, присутствуют компоненты как восточного (хуннского и китайского), так и западного происхождения; хуннской следует признать, например, общую конструкцию погребальных камер, а также ряд элементов декора цельнолитых шпеньковых пряжек; [11] к числу западных относятся, прежде всего, некоторые типы язычковых пряжек и, возможно, традиция своеобразнейших погребальных урн, «бюстовых масок» — антропоморфных вместилищ кремированного праха, в чём-то сопоставимых со статуарными оссуариями западных областей Средней Азии; во многом неясно происхождение таштыкской изобразительной традиции, представленной тонкими гравировками на различных материалах и мелкой пластикой. В таштыкских изображениях, как отмечалось в литературе, видны черты хуннского и китайского влияния, но ход сложения таштыкского стиля до сих пор ещё не прослежен с необходимой подробностью. Примечательно, что именно конкретные механизмы осуществления культурной преемственности и развития оказываются наименее изученными и в других случаях; объясняется это недостатком сравнительного материала из ключевых контактных областей — современных территорий Монголии и Северного Китая.

Особое место в специфике культуры таштыкских склепов занимают поясные гарнитуры, представленные большой серией бронзовых вотивных моделей из могил и сборов, а также единичными находками полнофункциональных вещей и их фрагментов. Пояс, будучи престижным, социально знаковым элементом костюма, в своих морфологических особенностях запечатлеывает культурные обстоятельства и связи, существенные в представлениях самих обладателей наборных «кушаков».

Культурный контекст таштыкских поясов раскрывается благодаря петроглифам, на которых различимы связанные с поясом датируемые реалии — это изображения персонажей в длиннополых одеждах на Ошкольской писанице и других памятниках, сосредоточенных в северной части таштыкского ареала. [12] Здесь в позиции поясных пряжек изображены парные валютообразные фигуры — предметы фурнитуры, очень похожие на специфически таштыкские двурамчатые пряжки и накладки (Рис. 1, 1-2), а также схематично изображенные подвески (вероятно, ремешки), с косой штриховкой или без неё. Положение подвесок позволяет предполагать, что у некоторых персонажей не по одному, а по два пояса — обычная практика у раннесредневековых народов горно-степных областей.

Подвески завершаются различными фигурами; в случаях со штриховкой это колечки — видимо, изображения изредка встречающихся пряжек и простых рамок с круглым просветом; [13] в случае с тонкими незаштрихованными «ремешками» одну из подвесок завершает чёткое изображение В-образной язычковой пряжки; это — датирующее (462/463) обстоятельство [14] для всех сюжетно и стилистически близких изображений данной группы, синхронизирующее её с «классическими» таштыкскими склепами второй половины V-VI вв., содержащими В-образные пряжки (Рис. 1, ср. 1а и 3-5). [15] Другая подвеска того же пояса заканчивается фигурой, напоминающей таштыкские пряжки с трапециевидно-вогнутыми рамками; «чтение» этого рисунка уже не столь однозначно, но если оно верно, то не меняет даты.

Петроглифы рассматриваемой группы иногда считают изображениями иноземцев — послов или проповедников. Однако эти гравировки найдены в пределах таштыкского ареала, выполнены в таштыкской технике и по реалиям датируются таштыкским временем, т.е. сами рисунки, безусловно, таштыкские; к той же культуре относятся и изображённые в ряде случаев пояса (на два десятка опубликованных фигур приходится не менее пяти с изображениями поясов, из них не менее трёх уверенно атрибутируются как таштыкские), а потому усматривать здесь иноземцев методически неверно. Скорее всего, перед нами — особая социальная группа таштыкского общества. Китайские (т.е. указанные С.В. Панковой в качестве аналогий головные

уборы тунтяньгуань) и турфанские иконографические параллели не отменяют приоритетной атрибуции по местным реалиям, а лишь дополняют проблематику компонентного анализа таштыкской культуры в целом и её изобразительной традиции в частности. Сюжетное своеобразие данных гравировок среди прочих таштыкских рисунков говорит не о том, что здесь изображены чужаки или тем более служители каких-то экзотических для Южной Сибири культов (без однозначно атрибутируемых индикаторов конфессиональной принадлежности рассуждения такого рода всегда умозрительны, а то и фантастичны), а лишь о том, что наши сведения о таштыкской палеоэтнографии, как и о структуре таштыкского общества, недостаточно подробны.

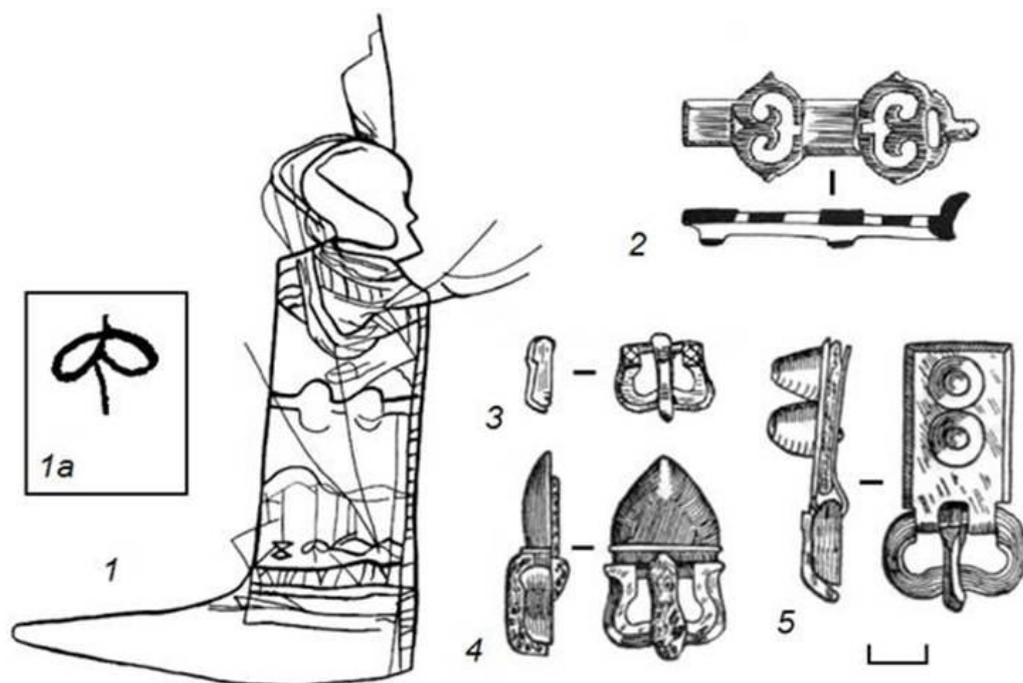


Рис. 1. 1, 1а — Ошкольская писаница, фрагмент; высота фигуры — 16 см (по С.В. Панковой). 2-5 — пряжки из таштыкских склепов: 2 — Ташебинский чаатас, скл. 2 (по Э.Б. Вадецкой); 3 — Сырский чаатас, скл. 1, 4-5 — Изыхский чаатас, скл. 1 (по Л.Р. Кызласову); масштабная линейка для 2-5 — 1 см.

В отличие от персонажей в длиннополых одеждах, изображаемые на гравировках и миниатюрах рядовые воины, всадники и охотники всегда предстают без наборных поясов — знаков высокого социального статуса и, возможно, власти; в свою очередь, ошкольские персонажи не участвуют в сценах охоты или битвы — у них, надо полагать, иной круг обязанностей, иная роль в культуре. Внешне их отличают подчёркивающие особый статус одеяния и пояса; первые, увы, не представлены вещественным материалом, а потому именно (463/464) традиция поясных наборов должна послужить ключом к пониманию происхождения раннекыргызского таштыкского общества, иерархизированного по той же схеме, что и другие варварские общества с «поясной» системой идентификации социальных стратов.

Специфика поясных наборов определяется, во-первых, составляющими их элементами; типологическое исследование подробностей исполнения вещи на этом уровне выводит к хронологии конкретного изделия, истории ремесла, происхождению того или иного предметного типа; во-вторых, образуемой ими композицией, и тогда пояс предстаёт как воплощённый цельный образ, материализация некоей идеи, «принципиальной схемы», в известной степени даже символа, который вовсе не обязательно принадлежит лишь одному народу, но может быть воплощён в разных культурных средах различными материальными средствами. Предметы, образующие поясной набор, как раз и служат этим средством воплощения; в случае с таштыкским поясом эти вещи в большинстве своём весьма

специфичны, тогда как для реализуемой с их помощью композиции, наоборот, могут быть предложены неожиданные, на первый взгляд, аналогии.

Со времен знаменитой статьи А.К. Амброза принято сравнивать таштыкские пояса с корейскими; Д.Г. Савинов попытался «достроить» систему корейско-таштыкских аналогий, а Э.Б. Вадецкая даже пришла к выводу, что таштыкские пояса воспроизводили корейские образцы, хотя вообразить механизм такого заимствования (тем более системного) в известных нам исторических обстоятельствах очень сложно. Это сопоставление представляется поверхностным и неточным; [16] оно основано лишь на отдельных признаках (сходство которых может объясняться и сколь угодно глубоким типогенетическим «родством») и совершенно не учитывает воспроизводимый при заимствовании зримый образ престижного элемента костюма.

Корейские (как и японские) пояса выглядели как ровные сверкающие ленты со сплошной «бахромой» из рамчатых или пластинчатых подвесок, [17] тогда как известный по полному уйбатскому комплексу таштыкский пояс смотрелся своеобразной плоской цепью, образуемой посаженными через равные интервалы округлыми бляхами с ещё более редкими подвесками. [18] Это совершенно разные композиции, и аналогичными их признать нельзя вне зависимости от типолого-хронологического соотношения отдельных элементов и признаков.

Традиция «ленточных» поясов специфична для дальневосточных культур; она сохранялась здесь ещё очень долго, и её композиционным принципом всегда оставалось сплошное заполнение поверхности ремня подквадратными ажурными накладками (ср. так называемые чжурчжэньские пояса предмонгольского времени [19]), возможно, финальная стадия развития данной композиции представлена наборами монгольской эпохи, состоявшими из квадратных резных каменных бляшек с вынесенными вниз скобами для подвесок; правда, такие бляшки находят обычно в малом количестве, недостаточном для образования сплошной «каменной ленты».

Таштыкскую же поясную композицию, составленную из округлых элементов, нужно сравнивать не с дальневосточными «ленточными», а с «кругобляшечными» наборами, представленными в материалах из разнообразных срединноазиатских памятников древнетюркского времени и даже первой половины I тыс. н.э. Наиболее ранние в эту эпоху её образцы — знаменитый тиллятепинский пояс из погребения 4, [20] а также поясной набор, изображенный на статуе бодисатвы из 2-го храма в Дальверзин-тепе (здесь аналогичные округлые бляшки украшают не только пояс, но и другие части костюма). [21] Серия поясных наборов данного типа представлена на фресках Афрасиаба в изображениях знатных тюрков. [22] Каменные и металлические пояса, полностью или частично составленные из округлых бляшек, (464/465) известны и в китайских погребениях середины — третьей четверти I тыс. н.э. В Южной Сибири «кругобляшечные» наборы встречены в погребениях могильников Кок-Паш и Кудыргэ, [23] а в Восточном Казахстане — доживают и до рубежа тысячелетий. [24]

Эта традиция (исходно, может быть, древнеиранская) существовала в двух близких вариантах, различающихся частотой расположения округлых блях на ремне. Их типолого-хронологическое соотношение, как и разнообразие конкретных способов исполнения и декорирования составляющих наборы округлых элементов, должно стать темой особого классификационно-типологического исследования, но очевидна общность воплощаемой этими поясами идеи, воспроизводимого различными средствами зрительного образа.

Здесь необходимо краткое, но чрезвычайно важное отступление. Западное, судя по ранним тиллятепинскому и дальверзинскому образцам, происхождение «кругобляшечных» наборов позволяет рассматривать их появление в Центральной Азии в более широком контексте эпизодического, но частого проникновения западных кочевнических групп на восток во второй четверти — середине I тыс. н.э. Именно в рамках этого процесса следует рассматривать появление в Южной Сибири единичных комплексов данной [ред. правка; д.б.: этой] поры с западными признаками — например, Тугозвново, Балыктыюль, погребение № 688 на могильнике Сопка II, [25] а также других следов западного происхождения — таковы, скажем, изображённые на тепсейских планках и некоторых минусинских петроглифах катафрактарыи «орлатского» облика, [26] таковы и вторичные по отношению к хорезмийским

(первых веков новой эры) тамги Цаган-гола, [27] а также, может быть, восходящая к памятникам типа Чаш-тепе (опять же в Хорезме) традиция орхонских мемориалов. [28]

Нельзя не предположить, что «мотором» этого продвижения была поэтапная согдийская колонизация Средней Азии и Восточного Туркестана; если такое предположение правомочно, то может быть реконструирован и конкретный механизм инфильтрации: это найм кочевнических отрядов в охрану согдийских караванов; упоминания о подобных конвоях встречаются в некоторых письменных источниках. [29] Такое предположение в некоторой мере созвучно и с древнетюркскими генеалогическими преданиями, возводящими ханский род ашина к некоему племени, обитавшему на берегах «Западного моря» (в пору составления излагающих предания хроник китайцы называли Западным морем — Си хай — уже Арал и Каспий, а не упоминаемые обычно в связи с тюркской легендой восточнотуркестанские озёра). Присутствующий в разных версиях легенды мотив женитьбы ранних ашина на турфанских женщинах согласуется с тем, что речь идёт о проникновении на восток именно воинских, т.е. преимущественно мужских контингентов. На этом фоне по-новому смотрятся и общеизвестные факты теснейшей связи тюркской элиты с согдийцами, вплоть до использования согдийского языка и письма в знаменитой Бугутской эпитафии Гаспар-кагана. [30] Словом, традиция тюрко-согдийских контактов может оказаться куда глубже, чем это представляется обычно. Все это скорее размышления в связи с возможным западным происхождением традиции «круглобляшечных» поясных наборов, чем цельная аргументированная концепция, но в качестве гипотезы об охране согдийских караванов предложенная система фактов и интерпретаций имеет право на существование и дальнейшую проверку.

«Круглобляшечные» поясные наборы, вне зависимости от обстоятельств их появления в Центральной Азии, были популярны на кудыргинском этапе развития кочевнических культур древнетюркского времени (эпоха Первого каганата) и, скорее всего, использовались в т.ч. и племенем ашина; на следующем, катандинском этапе (эпоха телеских ханств и Второго каганата) они были вытеснены поясами иного облика, с «геометрическими» — прямоугольными, порталными и полупортальными бляшками, хорошо известными не только (465/466) по предметным находкам, но и по множеству изображений на каменных изваяниях древнетюркской традиции.

Несомненно, ранние кыргызы не были первыми носителями традиции «круглобляшечных» поясов: они лишь реализовали ту же идею своими средствами, komponуя имитации таких наборов из привычных для себя элементов. Время и обстоятельства этого заимствования пока не могут быть установлены с должной точностью, но его общий историко-культурный контекст восстанавливается достаточно подробно и позволяет подытожить имеющиеся данные о проникновении на Енисей первых носителей названия «кыргыз».

Композитный, насыщенный разными по происхождению элементами культурный комплекс, привнесение которого на Средний Енисей привело к сложению раннекыргызской культуры таштыкских склепов, сформировался в рамках полиэтничной культурной общности предтюркского времени, охватывавшей в равной степени как раннетелеские гаогюйские поколения (и среди них — кыргызов-хэгу), так и ранних ашина, и повлиявшей, судя по дальнейшему распространению соответствующих типов, на государственную культуру Первого тюркского каганата. Устанавливаемая археологически принадлежность к этой общности инородных компонентов культуры таштыкских склепов служит хорошим подтверждением соотносимости «могил с бюстовыми масками» с раннетюркским енисейским владением Цигу (Кыргыз) и подкрепляет увязку археологической даты по аналогиям шарнирных таштыкских пряжек (V-VI вв.) с алтайским периодом истории раннетюркских племён (ориентировочно с 460 г.).

[1] Яхонтов С.Е. Древнейшие упоминания названия «киргиз» // Советская этнография. 1970. № 2. С. 120; Яхонтов С.Е. Слово «хакас» в исторической литературе // Этнографическое обозрение. 1992. № 2. С. 69-71 (см. там же дискуссию о соотношении терминов «кыргыз» и «хакас»).

[2] Подробный разбор комплекса связанных вопросов см.: Савинов Д.Г. Народы Южной Сибири в древнетюркскую эпоху. Л., 1984. С. 13-17.

[3] Боровкова Л.А. Запад Центральной Азии во II в. до н.э. — VII в. н.э. (историко-географический обзор по древнекитайским источникам). М., 1989. Предлагавшаяся ранее минусинская локализация кыргызов-гяньгунь основана лишь на экстраполяции позднейших сведений о пребывании кыргызов на Енисее.

[4] Супруненко Г.П. Некоторые источники по древней истории кыргызов // История и культура Китая (Сборник памяти академика В.П. Васильева). М., 1974. С. 236-239. По-видимому, именно с упоминаниями кыргызов-хэгу среди раннетелеских племён Восточного Туркестана следует связывать сообщение позднейшей хроники о том, что кыргызы-гяньгунь «смешались с динлинами» (частично это совпадает с высказанным в ряде публикаций мнением Ю.С. Худякова).

[5] Аристов Н.А. Заметки об этническом составе тюркских племен и народностей // Живая старина. 1897. Т. 6. Вып. 3-4. С. 6. Правильнее — гегу или кигу, но в литературе прижилась приведённая Н.А. Аристовым транскрипция цигу. Есть и другие варианты чтения тех же иероглифов, например, гйегу, принятое в труде Н.Я. Бичурина.

[6] Савинов Д.Г. Народы Южной Сибири в древнетюркскую эпоху. Л., 1984. С. 40-47; Савинов Д.Г. Владение Цигу древнетюркских генеалогических преданий и таштыкская культура // Историко-культурные связи народов Южной Сибири. Абакан, 1988. С. 64-74.

[7] М.П. Грязнов датировал тепсейский этап «где-то в пределах III-V вв. н.э.», но не обосновал такую хронологию (Грязнов М.П. Миниатюры таштыкской культуры. Из работ Красноярской экспедиции 1968 г. // Археологический сборник Государственного Эрмитажа. Л., 1971. Вып. 13. С. 99).

[8] Кляшторный С.Г. Проблемы ранней истории племени Түрк (Ашина) // Новое в советской археологии // Материалы и исследования по археологии СССР. 1965. № 130. С. 171-178.

[9] О соотношении грунтовых могил оглахтинского типа и таштыкских склепов см.: Азбелев П.П. Оглахтинская культура // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2007. Вып. 4. С. 381-388. Важный тезис о генетической связи оглахтинцев с традициями предшествующего тесинского этапа нашёл подтверждение в опубликованных одновременно с этой статьёй материалах раскопанного недавно могильника Черноозёрное II (Готлиб А.И. Ярусные захоронения таштыкского могильника Черноозёрное II в Хакасии // Таштыкские памятники Хакасско-Минусинского (466/467)

края. Новосибирск, 2007. С. 8-38): необычная для могил оглахтинского типа компоновка погребений этого памятника, по сути, воспроизводит композитную структуру тесинских «курганов-кладбищ», называемых ещё грунтовыми могильниками.

[10] Основные труды: Киселёв С.В. Древняя история Южной Сибири // Материалы и исследования по археологии СССР. 1949. № 9; Кызласов Л.Р. Таштыкская эпоха в истории Хакасско-Минусинской котловины. М., 1960; Вадецкая Э.Б. Археологические памятники в степях Среднего Енисея. Л., 1986. С. 129-156 (приведён обширный перечень памятников); Вадецкая Э.Б. Таштыкская эпоха в древней истории Сибири. СПб., 1999.

[11] Азбелев П.П. Хуннские элементы в таштыкском декоре // Изучение историко-культурного наследия народов Южной Сибири. 2008. Вып. 7. Горно-Алтайск. С. 66-74.

[12] Другие названия Ошкольской писаницы — Подкаменная, «на горе Арга» и Талкин ключ (консультация С.В. Панковой). Общую характеристику, анализ, публикацию прорисей и подробную историю вопроса см.: Панкова С.В. Наскальные изображения представителей неизвестного культа на севере Хакасии // Святителища: Археология ритуала и вопросы семантики. Материалы тематической научной конференции. СПб., 2000. С. 229-232; Панкова С.В. К интерпретации загадочных фигур из Хакасии // История и культура Востока Азии. Материалы международной научной конференции: В 2 т. Новосибирск, 2002. Т. 2. С. 135-140. Некоторые публикации подобных петроглифов, вышедшие в последние годы: Панкова С.В., Архипов В.Н. Новые памятники наскального искусства из Южной Сибири // Археологические экспедиции за 2003 г. СПб., 2004. С. 36-47 (три новых фигуры, одна из них перекрыта изображением животного в таштыкском стиле); Рыбаков Н.И. Носители ваджр: По следам открытий экспедиции И. Аспелина (1887-1889 гг.) // Этноистория и археология Северной Евразии: Теория, методология и практика исследования. Иркутск, 2007. С. 678-683; Рыбаков Н.И. Енисейские муже-девы в мантиях: Кто они? // Алтае-Саянская горная страна и история освоения её кочевниками. Барнаул, 2007. С. 137-141 (частично дублирует предыдущую публикацию); Рыбаков Н.И. Иконографические свидетельства манихейства в памятниках Июских степей // Изучение историко-культурного наследия народов Южной Сибири. 2007. Вып. 6. Горно-Алтайск. С. 101-106 (приведены те же фигуры, что в иркутском сборнике). Указывая работы Н.И. Рыбакова, нужно заметить, что в части интерпретаций они выходят за рамки академизма.

[13] Усть-Тесь, склеп № 1, пряжка (Вадецкая Э.Б. Таштыкская эпоха в древней истории Сибири. СПб., 1999. Табл. 115); ср. поясную бляшку для крепления подвески с простой кольчатой рамкой (без шпенька и дополнительной прорези в основании) из склепа могильника Быстрая II (Поселянин А.И. Таштыкский погребально-поминальный комплекс Быстрая II на Енисее // Степи Евразии в древности и

средневековье. Материалы научно-практической конференции, посвященной 100-летию со дня рождения М.П. Грязнова. СПб., 2003. Кн. II. С. 276. Рис. 1, 8). Есть и другая, по-видимому, равноправная и не влияющая на итоговую атрибуцию трактовка: С.В. Панкова осторожно сравнивает эти подвески «с железными витыми звеньями, встречающимися в материалах таштыкских склепов и комплексов раннетюркского времени Алтая и Приангарья» — из-за косой штриховки, и впрямь похожей на схематическое изображение витого стержня (Панкова С.В. К интерпретации загадочных фигур из Хакасии // История и культура Востока Азии. Материалы международной научной конференции: В 2 т. Новосибирск, 2002. Т. 2. С. 137).

[14] Для хронологии важно, что это именно В-образная пряжка, а не поздняя псевдопряжка той же формы: у псевдопряжек не бывает далеко выступающих язычков, а гравировка выполнена тщательно и на твёрдом камне, что исключает возможность случайного проскальзывания резца художника-гравировщика; несомненно, длинный функциональный язычок и В-образность рамки проработаны преднамеренно и тщательно. Благодарю С.В. Панкову за любезно предоставленную возможность сличить прорись с неопубликованной крупной фотографией этого изображения.

[15] О хронологии таштыкских В-образных пряжек см.: Азбелев П.П. Стремена и склепы таштыкской культуры // Исследование археологических памятников эпохи средневековья. СПб., 2008. С. 64-66.

[16] У этой неточности есть своя история, которую стоит проследить с цитатами. «Изыхский этап (таштыкской культуры по периодизации Л.Р. Кызласова. — П.А.) падает на V — первую половину VI в. Аналогии его наборным поясам с прорезными волютами — в Корее V-VI вв.» (Амброз А.К. Проблемы раннесредневековой хронологии Восточной Европы. Ч. II // Советская археология. 1971. № 3. С. 120). Ср. у Д.Г. Савинова: «Если не все, то, во всяком случае, многие, элементы развитой таштыкской культуры находят себе параллели в материалах культуры Силла... Отдельные аналогии можно привести и из памятников этого же времени поздней курганной эпохи в Японии... В целом, восточная линия ориентации таштыкского культурогенеза в настоящее время представляется наиболее вероятной и в этом отношении приведённые параллели между материалами двух культур — таштыкской и Силла — имеют право на существование» (Савинов Д.Г. Таштыкский склеп Степновка II на юге Хакасии // Археологические

(467/468)

вести. СПб., 1993. Вып. 2. С. 46-47; надо заметить, что предложенные автором примеры таштыкско-корейских параллелей очень приблизительны); далее, ср. у Э.Б. Вадецкой: «Аналогами пряжек с волютами служат серебряные ажурные псевдопряжки Кореи и Японии V-VI вв. ... Они же известны среди китайских древностей Северной Монголии... Вероятно, таштыкские пояса копировали дальневосточные» (Вадецкая Э.Б. Таштыкская эпоха в древней истории Сибири. СПб., 1999. С. 123). Неясно, как пряжки могут быть воспроизведением псевдопряжек: должно быть наоборот (впрочем, и само расширительное применение термина «псевдопряжки» к рамкам с волютами вряд ли корректно; псевдопряжки — чётко определенный тип поясных украшений, преимущественно европейских, единичные находки есть среди случайных находок и в тюркских памятниках Южной Сибири, но эти вещи не похожи ни на таштыкские, ни на дальневосточные рамки с волютами).

В позднейшей работе А.К. Амброз уточнил указанную им аналогию: «пояса с псевдопряжками... не были прямым развитием обычных геральдических поясов... Необычна сама идея делать шарнирные бляхи в виде поясных пряжек с неподвижно приделанным язычком... По внешнему виду такой пояс похож только на дальневосточные с ажурными шарнирными бляхами... Их делали в Корее, Китае и Японии в IV-VI вв., им подражали в “таштыке”» (Амброз А.К. Восточноевропейские и среднеазиатские степи V — первой половины VIII в. // Степи Евразии в эпоху средневековья. М., 1981. С. 17) — т.е. автор сравнивает не рамки с волютами, а шарнирный подвес корейских блях и европейских псевдопряжек, и считает, что таштыкские пояса воспроизводят широко распространённую традицию дальневосточного происхождения, а не собственно корейскую. Вне зависимости от отношения к этому выводу А.К. Амброза следует признать, что понят он был неверно — видимо, из-за предельной краткости первого изложения в статье 1971 г., что привело, как было показано, ещё и к терминологической путанице.

Поправки А.К. Амброза к хронологии склепов важны, прежде всего, в плане переопределения эпохи, к которой принадлежат эти памятники — с гунно-сарматской на древнетюркскую, но во многих значимых деталях по-прежнему нуждаются в уточнениях. Тезис же о сходстве таштыкских и дальневосточных рамок с волютами до сих пор так и не проверен специальным сравнительно-типологическим исследованием.

[17] Воробьёв М.В. Древняя Корея. М., 1961. Рис. XXXII, 5 (квадратная поясная накладная с подвесной рамкой), XXXV, 1 (поясной набор и подвески из Пубучхона), XXXVIII, 4 (реконструкция костюма), XXXIX, 8-11 (разные типы корейских и японских подвесок), 14-15 (японские аналогии

поясным бляшкам с подвесками); Воробьёв М.В. Древняя Япония. М., 1958. Рис. XXIX, 1-4 (те же японские бляшки и подвески).

[18] Киселёв С.В. Древняя история Южной Сибири // Материалы и исследования по археологии СССР. 1949. № 9. С. 237. Табл. XXXVII, 32 (поясной набор из склепа № 5 Уйбатского чаатаса); Вадецкая Э.Б. Таштыкская эпоха в древней истории Сибири. СПб., 1999. С. 121. Рис. 63 (сравнение реконструкций таштыкского и корейского поясов).

[19] Медведев В.Е. Опыт реконструкции поясов чжурчжэньского времени // Проблемы реконструкций в археологии. Новосибирск, 1985. С. 154-159.

[20] Сарианиди В.И. Храм и некрополь Тиллятепе. М., 1989. С. 85, рис. 30; С. 88, рис. 32; С. 91-93. См. также: Азбелев П.П. Сибирские элементы восточноевропейского геральдического стиля // Петербургский археологический вестник. СПб., 1993. Вып. 3. С. 91. Нужно указать и близкие тиллятепинским бляхи с орлами т.н. «парфянского пояса» из коллекции Дж.П. Моргана, хранящиеся в Британском музее и музее Метрополитэн.

[21] Пугаченкова Г.А. В поиске культурных ценностей прошлого // Античные и раннесредневековые древности Южного Узбекистана. В свете новых открытий Узбекстанской искусствоведческой экспедиции. Ташкент, 1989. С. 14 (фотография).

[22] Эти изображения систематизировали И.А. Аржанцева (Аржанцева И.А. Пояса на росписях Афрасиаба // История материальной культуры Узбекистана. Ташкент, 1987. Вып. 21. С. 106-122) и С.А. Яценко (Yatsenko S.A. The Costume of Foreign Embassies and Inhabitants of Samarkand on Wall Painting of the 7th c. in the Hall of Ambassadors from Afrasiab as a Historical Source // *Transoxiana*. № 8. Roma, 2004. Pl. 1, 20-23; 2, 17-19, 21-23; 3, 8 [текст в сети]); наряду с округлыми, в состав изображаемых наборов часто входят и квадрифолические бляшки.

[23] Реконструкции поясов: Васютин А.С., Елин В.Н. О хронологических границах Кок-Пашского археологического комплекса из Восточного Алтая // Проблемы археологических культур степей Евразии. Кемерово, 1987. С. 87. Рис. 1, 56; Степи Евразии в эпоху средневековья. М., 1981. С. 129. Рис. 23, 6, 7. О «запаздывающей» принадлежности могильника Кудыргэ к культуре Первого каганата см.: Азбелев П.П. К исследованию культуры могильника Кудыргэ на Алтае // Пятые исторические чтения памяти М.П. Грязнова. Омск, 2000. С. 4-6.

[24] Степи Евразии в эпоху средневековья. М., 1981. С. 132. Рис. 26, 22.

[25] Уманский А.П. Погребение эпохи «великого переселения народов» на Чарыше // Древние культуры Алтая и Западной Сибири. Новосибирск, 1978. С. 129-163; Сорокин С.С. Погребения эпохи великого переселения (468/469)

народов в районе Пазырыка // Археологический сборник Государственного Эрмитажа. Л., 1977. Вып. 18. С. 57-67; Молодин В.И., Чижишева Т.А. Погребение воина IV-V вв. в Барабе // Военное дело древнего и средневекового населения Северной и Центральной Азии. Новосибирск, 1990. С. 161-179.

[26] Азбелев П.П. Культурные связи степных народов предтюрокского времени (по материалам тепсейских и орлатских миниатюр) // Северная Евразия от древности до средневековья. Тезисы конференции к 90-летию со дня рождения М.П. Грязнова. СПб, 1992. С. 211-214.

[27] Вайнберг Б.И., Новгородова Э.А. Заметки о знаках и тамгах Монголии // История и культура народов Средней Азии (древность и средние века). М., 1976. С. 66-74 (текст), 176-179 (иллюстрации). Среди цагангольских тамг есть экземпляры, насыщенные дополнительными значками и «отростками» — производные от хорезмских первых веков н.э. (см.: Вайнберг Б.И., Новгородова Э.А. Заметки о знаках и тамгах Монголии // История и культура народов Средней Азии (древность и средние века). М., 1976. С. 178. Рис. 7. Табл. II, 44, 45, 50-53, 59), то же самое видно при сравнении монгольских тамг с причерноморскими (С. 179. Рис. 8. Табл. III). Поэтому относить тамговый комплекс Цаган-гола к пазырыкскому времени, как это делают некоторые авторы, неправильно.

[28] Раппопорт Ю.А., Трудновская С.А. Курганы на возвышенности Чаш-тепе // Кочевники на границах Хорезма // Труды Хорезмской археолого-этнографической экспедиции. М., 1979. Т. XI. С. 151-166; Войтов В.Е. Культово-поминальные сооружения VI-VIII вв. на территории Монголии: Автореф. канд. дис. М., 1989. С. 5. Речь идёт прежде всего о мемориалах эпохи Первого каганата — Бугутском, Идэрском, Гиндинбулакском.

[29] Такое взаимодействие торговцев и кочевников уже рассматривалось в литературе, см.: Гугуев В.К. Кобяковский курган (К вопросу о восточных влияниях на культуру сарматов I в. н.э. — начала II в. н.э.) // Вестник древней истории. 1992. № 4. С. 116-129.

[30] Кляшторный С.Г., Лившиц В.А. Согдийская надпись из Бугута // Страны и народы Востока. 1971. Т. X. С. 121-146.

П.П. Азбелев

Общество и государство енисейских кыргызов в VII-VIII вв.

// Вестник СПбГУ. 2009. Сер. 12 Вып. 4. С. 78-89.

Древние кыргызы пришли на Енисей во второй половине V в. из Центральной Азии в ходе расселения раннетюркских племён в алтайский период их истории, когда «между реками Афу и Гянь» (Абаканом и Енисеем) появилось «Владение Цигу», т.е. Кыргыз, археологически соотносимое с таштыкскими склепами [16, 50]. Кыргызы не сразу создали то государство, о котором с уважением говорят авторы древнетюркских орхонских рунических текстов и повествуют китайские летописи. В V-VI вв. источники почти ничего не сообщают о енисейских кыргызях. Во времена Первого тюркского каганата (вторая половина VI в.) они упоминаются лишь как второстепенный народ, но не как создатели самостоятельного государства. Нет данных и об учреждении на Среднем Енисее административных образований иных государств.

Из датированных известий о существовании на Енисее государственных структур самое раннее связано с историей Сирского каганата. Сиры — сеяньто китайских летописей [24, 36], господствовавшие в Центральной Азии с конца 620-х гг., держали у кыргызов эльтебера «для верховного надзора» [18, с.353], т.е. на Среднем Енисее было создано наместничество. По мнению Д.Г. Савинова, это «не сыграло существенной роли в истории енисейских кыргызов» [1] [37, с. 254]; но следует учесть, что именно (и лишь только) с появлением сирского эльтеберства кыргызы получили международное признание в Центральной Азии.

С 632 г. начался обмен посольствами между кыргызами и танским двором. На переговорах китайцы пропагандировали выдумку о древнем родстве правящих в Китае и на Среднем Енисее «царствующих домов», с очевидной целью обрести в северном тылу (78/79) степных каганатов необременительного союзника, самим фактом своего существования осложняющего положение правителей Центральной Азии. Договоры императоров и ханов «о мире и родстве» были обычным делом, есть примеры дарования отличившимся китайцам и варварским вождям права носить императорскую фамилию Ли [43, с. 172], но в случае с кыргызами китайцы пошли куда дальше, официально признав не заслуги (их кыргызы не имели), а древнее родство династий. [2] Возможно, именно эта генеалогическая игра вызвала жёсткую реакцию последних тюрков Восточного каганата: Чеби-хан, ушедший со своей ордой на Алтай после падения тюркской державы, в те же 630-е гг. предпринял поход против енисейских кыргызов. Следы этого набега, может быть, запечатлены находками таштыкских изделий в одной из поминальных оградок могильника Кудыргэ на Алтае. [3]

Строго говоря, не вполне ясно, китайский интерес к северянам побудил сиров к созданию енисейского наместничества, или же, что вероятнее, наоборот, однако связь этих событий очевидна, как и их значение для истории кыргызов. Сирский каганат просуществовал недолго, менее двадцати лет, но за это время на Енисее выросло поколение людей, привыкших к государственному управлению тюркского типа, вдохновившихся мифическим родством своих вождей с императорской династией танского Китая и оставшихся в конце 640-х гг. без «верховного надзора» сирских эльтеберов. С середины VII в. и следует отсчитывать историю самостоятельного кыргызского государства, выросшего из окраинного наместничества центральноазиатской державы.

Необычные обстоятельства возникновения государства енисейских кыргызов предопределили и своеобразие созданных им социальных структур. Ниже кратко подытожены палеосоциологические исследования в данной области, проводившиеся мною с 1980-х гг. Конечно, не все собранные здесь выводы могут быть обоснованы в равной степени подробно; но мне кажется важным свести их в систему, ясно представляющую как состояние вопроса, так и перспективы изысканий.

Всякое общество, а древнее в особенности, так или иначе воспроизводит своё внутреннее устройство в представлениях о загробном мире, воплощая эту проекцию как в системе похоронных ритуалов, так и в совокупности погребальных памятников. Даже в условиях развитой цивилизации смерть, вопреки обыденной философии, не уравнивает людей: существуют престижные и «простые» кладбища, дорогие и дешёвые погребальные одежды, гробы и памятники; в погребениях отпечатываются религиозные, этнические, даже профессиональные особенности и т.п. Для реконструкции социальной структуры населения

важно учитывать как свойства самих памятников (прежде всего их типологическое разнообразие и даты), так и соотношение древних погребений.

Эта сфера культуры очень консервативна; тем показательнее происходящие в ней перемены. В V-VI вв. в Минусинской котловине археологически фиксируется сосуществование носителей раннекыргызской традиции погребения в склепах таштыкского типа с ассимилируемым населением, ранее создавшим здесь оглахтинскую культуру грунтовых могил, [4] традиции которой сохранялись в пережиточном виде и после V в. С появлением государственности кыргызская погребальная практика претерпела существенные изменения.

Некрополи енисейских кыргызов, так называемые чаатасы, [5] состоят из разнородных памятников. Основных типов два: 1) исторически более ранние (с V в.) склепы таштыкского типа («могилы с бюстовыми масками», по С.А. Теплоухову), с десятками и даже сотнями погребений; 2) появившиеся в VII в. одновременно с государственностью каменные ограды, возведённые над могилами с погребениями одного-трёх, не(79/80)более пяти человек — так называемые ограды «типа чаатас», подквадратные, округлые и шестиугольные, со стелами по периметру или без них. [6]

Принципиально важен вопрос о хронологическом соотношении этих типов погребений. Считалось, что «чаатасы сооружены на старых кладбищах таштыкской эпохи» [40, с. 110], а между периодами сооружения склепов и оград со стелами был промежуточный «камешковский» этап [34, с. 262-264; 38, с. 152-156], т.е. один тип памятников эволюционным порядком пришёл на смену другому, и произошло это в VI в. Углублённый разбор вопроса о «переходных» памятниках продемонстрировал беспочвенность их хронологического обособления [19, с. 145; 46], а после раскопок Арбанского чаатаса выяснилось, что поздние таштыкские склепы и ранние ограды «типа чаатас» бывают синхронными [14, с. 58]. Систематизация данных о хронологии склепов [6, 7, 14, с. 66; 17, с. 121-122; 19, с. 144-146; 20, с. 119-129] показала, что часть этих памятников должна быть отнесена к VII в. С учётом известных исторических обстоятельств, уточнённых датировок памятников и сведений о дальнейшей истории некоторых таштыкских предметных типов, ныне следует ставить вопрос о ещё более долгом, в течение всего VIII в., бытовании традиции погребения в склепах. Всего вероятнее, склепы окончательно перестали строить из-за катастрофического уйгурского набега 795 г., после которого, по словам источника, на кыргызской земле «не стало живых людей», [7] и адекватное воспроизведение древней традиции было уже, по-видимому, невозможно [10]. Таким образом, общая хронология склепов — как минимум в пределах V-VII вв., но скорее — V-VIII вв.

Начало строительства оград «типа чаатас» раньше относили к VI в., но эта дата в литературе никогда не обосновывалась с должной подробностью. [8] Специальное изучение вопроса об оградах чаатасов отдельно по разным ключевым признакам кыргызской культуры (конструкциям оград и декору круговых ваз) позволило заключить, что этот тип погребений не старше второй трети VII в. [3, 9].

Уточнение хронологии приводит к выводу о том, что в VII-VIII вв. на Среднем Енисее существовала двухуровневая структура населения, отразившаяся в системе похоронных ритуалов. Прежде историю общества и государства енисейских кыргызов писали без учёта данного обстоятельства, и этот пробел следует восполнить, анализируя систему основных типов археологических памятников. Материалом служат: а) различия в устройстве, инвентаре и обряде погребений; б) соотношение трудозатрат на сооружение могил разных типов; в) палеодемографические данные. Общее соотношение основных социальных стратов выясняется вполне определённо: в оградах «типа чаатас» хоронили знать, варварскую аристократию, а в склепах — рядовых общинников.

Аристократия была сравнительно немногочисленна. Редкая для археологии возможность дать обоснованные палеодемографические оценки открывается благодаря специфике чаатасов, легко поддающихся учёту. В каждом поколении общее число людей, которых полагалось после кончины хоронить в оградах «типа чаатас», не превышало двух тыс., но практически следует говорить о меньших числах [12].

В ритуальной субкультуре, прежде всего во внешних, статусных её аспектах, кыргызская знать ориентировалась на центральноазиатские стандарты, усвоенные во времена сирского эльтеберства и закрепившиеся в ходе контактов с тюрками Второго каганата. Общая

культурно-политическая ориентация воплощалась в рамках местной специфики. Об этом говорят и погребально-поминальные ограды, конструктивно подражающие древнетюркским мемориальным сооружениям (юстыдского и уландрыкского типов по классификации В.Д. Кубарева), но технологически продолжающие древние минусинские традиции, и находимые в этих могилах круговые вазы — сосуды ино-(80/81)культурного типа, изготовленные по заимствованной технологии, но с декором, уходящим корнями в местную таштыкскую орнаментику (таштыкское происхождение имеют волотовые, зигзагообразные, видимо, лопастные узоры) и, может быть, использование древнетюркской рунической письменности с некоторыми специфически местными знаками. [9]

По сведениям рунических памятников и китайских хроник, кыргызская знать была очень богата — прежде всего, конечно, по сравнению с рядовым населением. Подтверждается это и археологически. В VII-VIII вв. кыргызский обычай ещё не предусматривал помещения в аристократическую могилу обильного инвентаря, но показательное соотношение трудозатрат на устройство могил: в среднем на одного погребённого в склепе приходилось в 5 раз меньше объёма каменной кладки, чем на одного захороненного под оградой «типа чаатас». Типичные для оград круговые «кыргызские вазы» были, по общему мнению исследователей, дорогими, престижными изделиями.

Кыргызская элита была этнически неоднородной, что отразилось в разнообразии ритуалов. Основные типы могил (без учёта склепов) были выделены ещё на раннем этапе изучения [29, 30, с. 10-67]. Под оградой «типа чаатас» находят могилы людей, по традиции кремлёванных, а также захороненных по обряду ингумации, простому или всадническому. Большинство погребений — кремации (1-3 захоронения в центральной яме), но до трети могил под оградой содержали несожжённые останки [1, 2]. Ю.С. Худяков счёл такие погребения «кыштымскими», ссылаясь на «сопроводительный характер захоронений, бедность или полное отсутствие сопроводительного инвентаря» [57]. Но вещей чаще всего нет и в могилах с кремациями, а тезис о «сопроводительном характере» основан на материалах могил, разорённых бугровщиками, и снимается находками достоверно центральных ингумаций в хорошо сохранившихся комплексах (Арбан II, Новая Чёрная и др.).

Кем были люди, погребённые по обряду ингумации, не вполне ясно; очевидно лишь их изначально неминусинское происхождение. Есть основания (анalogии в керамике, в обряде, в устройстве могил и др.) считать, что часть из них — потомки населения, оставившего в Туве могильники Чааты I-II. [10] Именно «чаатинцы» принесли на Енисей такой знаковый для кыргызской культуры предметный тип, как круговые вазы, ставшие почти непременной частью сопроводительного инвентаря аристократических могил, независимо от способа погребения.

Таким образом, для кыргызской элиты социальный статус был важнее этнических различий, и эта система приоритетов была столь существенна, что закрепились в погребальных ритуалах, сохранивших, однако, и черты своеобразия отдельных этносоциальных групп.

В склепах таштыкского типа, памятниках рядового аборигенного населения, такого разнообразия этнических признаков нет. В каждом склепе похоронены десятки, иногда более ста человек, среди которых, судя по вещам, были как бедные, так и зажиточные члены раннекыргызского общества, в котором ни имущественная дифференциация, ни социальные различия ещё не отразились в погребальных ритуалах. О том же говорят и встречающиеся в склепах очень крупные сосуды, слишком большие для индивидуального погребения и содержавшие, очевидно, общие для всех сопребённых приношения. [11]

В таштыкском обществе были и внутренние социальные группы. Это видно по многим признакам, но в каждом случае исследователь сталкивается с недостатком данных для углублённого анализа: 1) несомненные различия между отдельными погребениями внутри склепов — с «бюстовой маской», с элементами поясного набора, с вотивными предметами всаднического убранства, без вещей и т.п., но распределить инвентарь по(81/82)конкретным погребениям внутри склепа сложно, так как в конце похоронного цикла склеп сжигали, и при пожаре его содержимое смешивалось; по той же причине не поддаётся анализу и система размещения погребений в склепе; 2) были разные типы склепов, сопутствующих им поминов и жертвенников, но динамика сокращения этого разнообразия на поздних этапах пока не изучена: так, не выяснено, долго ли строились так называемые «малые склепы» с погребениями ещё древней оглахтинской традиции; 3) при сравнении иконографии персонажей, представленных

на таштыкских гравированных изображениях, выделяется группа с наборными поясами [15, с. 463], но в кыргызское время пояса таштыкского типа уже не употреблялись, и выяснить судьбу соответствующей социальной группы не представляется возможным. Не разработан и вопрос о локальных вариантах, нечётки признаки поздних склепов. Словом, подробные исследования здесь ещё впереди. Но ясно, что «внутриташтыкские» социальные группы не были обособлены в ритуале, а значит, склепы оставлены глубоко традиционалистским, позднеродовым обществом, ещё не имевшим объективной внутренней потребности в развитой властной иерархии.

Общих черт в субкультурах простонародья и знати, известных по материалам из склепов и оград, немного (некоторые признаки керамической посуды [47], традиционный обряд трупосожжения, отдельные предметные типы). Лишь на северной периферии кыргызского ареала в склепах встречены необычные для этих сооружений единичные погребения по обряду ингумации с оружием и вазами [44], а в целом нужно констатировать зафиксированное в материальной культуре и в системе похоронных обрядов чёткое разграничение между двумя основными социальными группами. [12] О том же говорят и предварительные данные по относительной хронологии: судя по всему, ограды, как и предполагал Л.Р. Кызласов, строили на старых погребальных площадках, как бы апеллируя к древности, а вот синхронные этим оградкам поздние склепы возводились уже в иных местах. Такая форма сочетания в едином социально-культурном комплексе разных по происхождению и мировоззренческому наполнению ритуальных норм — не частое явление в древних и раннесредневековых обществах. Хронологически выявляемое социокультурное единство позднеташтыкских склепов с ранними оградками «типа чаатас» — лучшее подтверждение тому, что государственность не сформировалась в ходе развития самого таштыкского общества, а была «трансплантирована» извне (при создании сирского эльтеберства).

Одновременно на Среднем Енисее обитали иноэтничные группы, оставившие так называемые «погребения с конём». Это традиционное и неточное название погребений по обряду ингумации (или кенотафов) с жертвенным конём, шкурой коня, замещающим коня бараном или сбруей. Правильнее было бы именовать эти могилы «всадническими», акцентируя не один из видов жертвенного сопровождения, а образ жизни и специфику культуры погребённых по этому обряду людей. [13] Типологически к ним примыкают и более поздние трупосожжения с оружием, сбруйными и поясными наборами. Обычно говорят в целом о «минусинской группе погребений с конём», имея в виду их принадлежность к обширному массиву кочевнических могил древнетюркской эпохи; но здесь они иногда содержат находки местных типов и порой включены в состав чаатасов, то есть существуют в рамках локальной кыргызской культуры. С другой стороны, эта группа внутренне неоднородна, а на чаатасах и за их пределами эти могилы оказываются в разном «ритуальном контексте», так что рассматривать их можно и как отдельные виды памятников.

Исследователи по-разному определяют детальную хронологию и этнокультурную принадлежность этих погребений. Есть мнение, по которому часть их оставлена тюрк-(82/83)скими гарнизонами Второго каганата, якобы размещёнными в Минусинской котловине после зимнего похода 710-711 гг. Эти гарнизоны — домысел. Источники ни о чём подобном не сообщают, наоборот: сказано, что тюрки, разбив кыргызов, вернули страну под власть местной знати, т.е. всего лишь силой сменили хана. Об учреждении наместничества (которому, будь оно создано, и могли бы понадобиться какие-то гарнизоны), не говорят ни древнетюркские надписи, ни китайские хроники; есть лишь исследовательские допущения, а не исторические факты. Когда наместничество действительно учреждалось, источники прямо сообщают об этом — как в случае с сирским наместничеством на Енисее. Чаще же практиковалось не оставление гарнизонов на чужой земле, а наоборот, вовлечение побеждённых в армию победителей. [14] Нет оснований усматривать в минусинских всаднических могилах и погребения уйгурских воинов. [15]

В целом очевидно, что большинство минусинских всаднических могил относится уже к IX в., к следующему этапу истории кыргызов, тогда как VII-VIII вв. могут быть датированы лишь отдельные комплексы и некоторые случайные находки. Они, безусловно, заслуживают специального изучения, а здесь достаточно подчеркнуть, что ранние всаднические могилы на Среднем Енисее оставлены крайне малочисленной частью населения, которая на первом этапе

истории Кыргызского государства ещё не была интегрирована в местное общество как стабильная социальная группа — иначе ей соответствовал бы устойчивый и серийный тип памятников. Показательно, что такой важный для кыргызской культуры тип, как вазы, если и представлен в этих комплексах, то чаще дешёвыми лепными имитациями.

Таким образом, социальная структура кыргызского общества VI-VIII вв., запечатлённая в погребальных памятниках, была достаточно сложной. Помимо «разграниченного сосуществования» двух основных общественных групп, в каждой из них имелось и внутреннее членение; логично предположить, что для аристократии критерием обособления подгрупп было этническое происхождение и, возможно, вера, а для рядового населения — различие социокультурных ролей и имущественный статус. Для более подробных рассуждений данных нет; систематизация материала позволяет лишь отметить некие различия, изучение которых представляется, наряду с дальнейшим уточнением хронологии (прежде всего поиском склепов VIII в.), одним из приоритетных направлений будущих изысканий.

Вместе с тем эта неизбежная ограниченность доказуемых выводов, требуя, с одной стороны, при анализе социальных структур оперировать лишь таксонами высших уровней, позволяет, с другой стороны, более чётко обозначить основную беду, даже трагедию кыргызского государства и его народа. Перенос государственной структуры власти на родовое общество и провокативное признание китайцами мифического династийного «родства» вовлекли енисейских кыргызов в чужие политические игры вокруг караванных трасс Великого Шёлкового пути. Этим были вызваны и завышенные амбиции кыргызских вождей, вынужденных поддерживать «подаренный» им китайцами державный статус — в условиях Южной Сибири, вдали от трансконтинентальных торговых маршрутов, вполне бессмысленный и даже вредный. Кыргызы оказались, в сущности, заложниками этого статуса. Центральноеазиатские каганы, тюркские и затем уйгурские, в традиционном противостоянии с Китаем считали своим долгом для обеспечения безопасности северных тылов совершать набеги на кыргызское ханство во главе с якобы родичами танских императоров, и в конце VIII в. на Среднем Енисее, по уже приведённому источнику, «не стало живых людей».

Енисейские кыргызы, однако, не исчезли. Отмирание традиции склепов таштыкского типа не означало прекращения строительства оград «типа чаатас», т.е. основной(83/84)уйгурский удар, как любая карательная акция, пришёлся по простонародью, а элиту кыргызского общества затронул куда меньше. Постепенно демографический урон был восполнен, но воссозданное в IX в. государство енисейских кыргызов строилось на новой этнокультурной основе, и социальная структура его населения была, соответственно, уже совершенно иной. Она запечатлелась в новой системе погребальных памятников, анализировать которую следует уже с иных методических позиций и в другой работе.

Примечания [^]

[1] Как «не сыгравшие существенной роли» также указаны: набег Чеби-хана (см. о нём в этой статье) и покорение кыргызов-гйегу в 638 г. западно-тюркским Иби Дулу-ханом [18, с. 286-287]. В последнем случае енисейские кыргызы ни при чём: Дулу-хан воевал на берегах р. Или (за полторы тыс. км от Енисея), так что речь здесь может идти лишь о другой группе носителей этого названия части кыргызов-хэгу из числа гаогнойских поколений [53, с. 239], оставшейся, как видно из этих сообщений, в Восточном Туркестане после ухода их соплеменников на Енисей во второй половине V в. Здесь есть одна сложность: в описании деяний Дулу-хана упомянуты бома, по летописи — северные соседи кыргызов (уже енисейских). В Цзю Тан шу: «[Земли] к западу от р. Или остаются во владении [кагана] Долю, а к востоку — [кагана] Делиши. Каган Долю учредил свою ставку к западу от гор Цзухэ, назвав её северной ставкой (бэйтин). Цзюююэши, Басими, Бома, Цзегу, Хосюнь, Чушуйкунь, (надо — Чумукунь) — все государства подчинились ему»; в Синь Тан шу: «[Земли] к западу от реки (Или. — П.А.) остались под управлением [кагана] Дулу, а [земли] к востоку находились во владении кагана Делиши. С этого времени западные туцзюе и разделились на два государства. Каган Дулу учредил ставку к западу от гор Цзухэ, именованную северной ставкой. Государства Бома, Цзегу и многие другие подчинились ему» (цит. по: 43, с. 323, комм. 950; иероглифы опущены; кыргызы-гйегу = цзегу в совр. чтении [60]; о локализации бома см.: 43, с. 323-324, комм. 954). Остальные упоминаемые страны и племена локализуются в Туркестане: племя чумукунь кочевало по р. Эмель у Алакуля [43, с. 163, комм. 232-233],

Хосюнь — это Хорезм, басими — басмылы (басмалы) — обитали в районе Бешбалыка и были союзниками токуз-огузов [43, с. 171-173, комм. 255-257]. Нужно заключить, что упоминание племени бома в столь выразительном историко-географическом контексте — либо ошибка, либо указание на неизвестную нам туркестанскую или восточно-казахстанскую страницу истории этого народа. Ещё сводку о бома и литературу см.: 33.

[2] Подробнее об этой дипломатической игре и о разных группах носителей названия «кыргызы» см.: 11.

[3] Вещи см.: 32, с. 169. Рис. V, 7. Об этих находках: 15. О датировке могильника Кудыргэ и его возможной связи с ордой Чеби-хана см.: 7, 8, 37, с. 204.

[4] Грунтовые могилы оглахтинского типа рассматривались: 1) как памятники «таштыкского переходного этапа» (54, с. 49-50), 2) как синхронная склепам группа памятников [34, с. 220-225], 3) как ранние памятники таштыкской культуры [38, с. 98 115; 27, с. 94-106; 20, с. 13-75], 4) как особая археологическая культура [13].

[5] О термине «чаатас» Л.Р. Кызласов пишет: «Чаатас означает “камень войны”. Так хакасы называют группы каменных курганов, густо обставленных высокими плитами... По народному объяснению, это камни, оторванные от скал и в беспорядке врезавшиеся в землю на местах поединков эпических древних богатырей-алыпов. Алыпы прибегали в борьбе друг с другом к такому необычному оружию потому, что, обладая сверхчеловеческой силой, они нередко руками, одетыми в волшебные рукавицы из бычьих шкур, крушили горы, легко отрывая от них целые скалы и плиты» [40, с. 108]. Это, конечно, сказка; реальная этимология вряд ли столь поэтична, но пока не выяснена. Без авторитетных заключений лингвистов можно лишь (84/85)

гадать, возводимо ли слово «чаатас» к хак. чаа, война, или же к чат-, лечь, или к чааЧах, лук [55, с. 304, 313-314], т.е. «упавший камень», «лук-камень», «кривой камень», что соответствует внешнему своеобразию чаатасов с установленными крайне небрежно и потому покосившимися, кривыми каменными стелами — в отличие от более древних могильников тагарской (минусинской курганной) культуры, где стелы врыты глубже и забутованы тщательнее, а потому и стоят до сих пор, как правило, вертикально.

[6] Об устройстве, приёмах раскопок и реконструкции оград см.: 3, 31. Методологическая основа этих работ — принципы, изложенные М.П. Грязновым [26].

[7] «Вначале (было) Гяньгуньское государство, считавшее 100 с лишком тысяч натягивающих луки (т.е. носящих оружие). Оно (восстало и проч.?). (но Кэхань был?) умный, мужественный, чудесно-воинственный; (ему стоило только) раз выстрелить, как и попало. Гяньгуньский Кэхань пал, в соответствие тетивы (под ударом его стрелы); коровы, лошади, хлеб и оружие были навалены горами; государственные дела (Гяньгуньского владения) прекратились; на земле не (стало) живых людей» [22, с. 25]. Вокруг этой цитаты в литературе есть некоторая путаница. Обычно её связывают с походом 795 г. кагана Кутлуга (правил в 795-805 гг.) [25, с. 346; 28, с. 415], но иногда — с войнами кагана Бао-и (правил в 808-821 гг.) [39, с. 93]. Во втором случае не различают вероятную дачу самой надписи и время описываемых в ней событий.

[8] История этой ошибки такова. Л.А. Евтюхова указала вещам с Копёнского чаатаса серию европейских аналогий VII-VIII вв. (по хронологии 1940-х гг.), но С.В. Киселёв, обширно цитируя книгу Евтюховой, без пояснений исправлял «VII-VIII вв.» на «VI-VIII вв.». Так нижней датой чаатасов и «оказался» VI в. Время «камешковских» памятников С.В. Киселёв определял некорректно — не по наличию датирующих обстоятельств, а лишь по отсутствию в этих комплексах материалов кудыргинскими аналогиями. Затем Л.Р. Кызласов в 1960 г. датировал «переходные камешковские» памятники с опорой на VI в. как якобы уже известную нижнюю дату чаатасов, а в 1981 г. — наоборот, привязал нижнюю дату чаатасов к хронологии «камешковского этапа», т.е. «закольцевал» датировки. Единственным независимым обоснованием хронологии «камешковского этапа» для Л.Р. Кызласова стал обломок трёхпёрого черешкового наконечника стрелы, по мнению этого автора, «эпохи переселения народов», но на деле относящийся к типу, не имеющему твёрдой верхней даты [30, 34, 38 (изображение упомянутого наконечника см. там в Табл. IV, 193), 41]. Других обоснований для отнесения ранних чаатасов к VI в. в литературе нет, но эту дату и соответствующие таштыкские датировки, не проверяя, тиражируют по сей день, — не исходя, как заметил Д.Г. Савинов, «из анализа археологического материала, а основываясь на общей оценке исторической ситуации, а именно — образования в середине VI в. Первого тюркского каганата, ознаменовавшего начало эпохи раннего средневековья. “Издержки” такого формационного подхода очевидны. Образование Первого тюркского каганата в Центральной Азии отнюдь не означало гибели таштыкской культуры на Енисее...» [52, с. 186].

[9] Особое значение этим специфическим знакам придавал С.В. Киселёв, усмотревший в них проявления «оригинальных черт, характерных для отважного и свободолюбивого народа енисейских долин» [34, с.347]. Впрочем, соотносимость среднеенисейской руники именно с населением,

хоронившим под оградами чаатасов VII-VIII вв., ещё не может быть установлена по археологическим фактам и, по сути, является допущением — есть лишь единичные и обособленные эпиграфические памятники VIII в. [35]. Вещи с руникой (прежде всего торевтика), достоверно связанные с конкретными погребениями, появляются на чаатасах позже.

[10] Подробно о чаатинско-чаатасовских параллелях см.: 9, с. 102-154. Нужно заметить, что «чаатинцы» и в Туве были пришлой группой, происходящей, видимо, из Восточного Туркестана и, может быть, генетически связанной с народом юзбань [4]. Д.Г. Савинов пишет, будто я в статье 1991 г. «повторил вывод» О.Б. Варламова о датировке чаатинских могильников I-V вв. [51, с. 45]. Здесь какое-то недоразумение: я датировал Чааты I-II второй четвертью VII в. на основании развёрнутой системы аргументов [4, с. 65], а О.Б. Варламов — первой половиной I тыс. н.э., и лишь по общему сходству чаатинских катакомб с позднесарматскими [21]. (85/86)

[11] Почти в каждом склепе есть два-три сосуда объёмом 20 л и более, при том что прочие сосуды, соотносимые с отдельными погребениями, обычно не более чем по 3-4 л [23, с. 248-256, особенно рис. 30 на с. 251]. В юго-восточном углу склепа Арбанского чаатаса особняком стояли сосуды, вмещавшие по 40-60 л и не соотносившиеся ни с одной кучкой пепла. Наличие таких «общих» сосудов не всегда очевидно, поскольку крупная керамика фрагментируется сильнее, чем мелкая. Соответствующие обломки, однако, легко опознать по большей толщине, по диаметру и обычно ещё по грубому глиняному тесту с крупной дресвой. Для сравнения: объём сосудов из поминов, устроенных при склепах и относящихся, судя по их количеству, не ко всем сопогребённым сразу, а к отдельным усопшим, не более 16 л, а в основном — до 10 л [48, с. 111. Табл. 2].

[12] В связи с вопросом о соотношении таштыкских и кыргызских типов нужно упомянуть ещё находки «амулетов» и маски под оградами Абаканского чаатаса [42]. Раскопщики сочли эти находки признаками преемственности между таштыкскими и кыргызскими типами погребений, а содержавшие их ограды ранними; но описанные в публикации ограды, судя по упоминанию пристроек, похоже, как раз поздние, и тогда вероятнее, что здесь перед нами не эволюция типов могил, а смешение ритуалов, относящиеся уже не ранее чем к концу VIII — началу IX вв.

[13] Первую аналитическую сводку сделал С.П. Нестеров [45]. Автор предложил их группировку (на основе формализованного описания конструкции могил и обряда погребений) и узкие даты групп (через соотнесения с известными историческими событиями) — но без учёта различий в инвентаре и соотношения с могилами иных типов. Ещё сводки и обзоры: 56; 49, с. 63-64; 58; 37, с. 231-234.

[14] Так, завоевания тюрков Первого каганата велись, по словам хрониста, силами племён теле. Есть косвенные данные, позволяющие предполагать, что и кыргызы в начале VIII в. иногда служили у тюрков — это необычные погребения по обряду кремации в ямках-«ячейках» в Хачы-Хову в Туве [5]. Моё определение этих могил как захоронений кыргызских дружинников, состоявших на службе во Втором каганате, отверг Д.Г. Савинов [37, с. 199]. По-видимому, следует в будущем вернуться к углублённой проработке и аргументации данного вопроса.

[15] «Вероятнее всего, это уйгуры, ... дважды в ходе войн 758 и 795 гг. нанёвшие жестокие поражения кыргызам в пределах Минусинской котловины» [59, с. 140]. Такое предположение противоречит известным фактам. После первого набега на кыргызов (758 г.) уйгуры ограничились снижением формального статуса кыргызских правителей, после другого (795 г.) — на Среднем Енисее «не стало живых людей», но вот о каких-либо «гарнизонах» или оставленных отрядах не говорится нигде. Если бы уйгурское присутствие в Минусинской котловине было реальностью, то о состоявшемся в IX в. возрождении кыргызского государства не было бы и речи.

Литература ^

Азбелев П.П. Значение архивных материалов для изучения культуры енисейских кыргызов // Проблемы изучения Сибири в научно-исследовательской работе музеев. Красноярск, 1989. С. 131-133.

Азбелев П.П. Ингумации в минусинских чаатасах: К реконструкции социальных отношений по археологическим данным // Актуальные проблемы методики западносибирской археологии. Новосибирск, 1989. С. 154-156.

Азбелев П.П. Конструкции оград минусинских чаатасов как источник по истории енисейских кыргызов // Памятники кыргызской культуры в Северной и Центральной Азии. Новосибирск, 1990. С. 5-23.

Азбелев П.П. К исследованию культуры могильников Чааты I-II // Проблемы хронологии и периодизации в археологии. Л., 1991. С. 61-68. (86/87)

- Азбелев П.П. Хронология нетипичных памятников Саяно-Алтая эпохи раннего средневековья // Проблемы хронологии и периодизации археологических памятников Южной Сибири. Барнаул, 1991. С. 160-162.
- Азбелев П.П. Типогенез характерных таштыкских пряжек // Проблемы археологии, истории, краеведения и этнографии Приенисейского края. В 2 т. Красноярск, 1992. Т. II. С. 48-52.
- Азбелев П.П. Сибирские элементы восточноевропейского геральдического стиля // Петербургский археологический вестник. Вып. 3. СПб., 1993. С. 89-93.
- Азбелев П.П. К исследованию культуры могильника Кудыргэ на Алтае // Пятые исторические чтения памяти М.П. Грязнова. Омск, 2000. С. 4-6.
- Азбелев П.П. Раннесредневековые центральноазиатские вазы: декор и контекст // Сборник научных трудов в честь 60-летия А.В. Виноградова. СПб., 2007. С. 145-157.
- Азбелев П.П. О верхней дате традиции таштыкских склепов // Алтае-Саянская горная страна и история освоения её кочевниками. Барнаул, 2007. С. 33-36.
- Азбелев П.П. Кыргызы и Китай: о пределах доверия к летописям // Природные условия, история и культура Западной Монголии и сопредельных регионов. В 2-х т. Горно-Алтайск, 2007. Т. I. С. 7-10.
- Азбелев П.П. О численности аристократии в государстве енисейских кыргызов // Экология древних и традиционных обществ. Вып. 3. Тюмень, 2007. С. 166-168.
- Азбелев П.П. Оглахтинская культура // Вестник СПбГУ. Сер. 6, 2007. Вып. 4. С. 381-388.
- Азбелев П.П. Стремна и склепы таштыкской культуры // Исследование археологических памятников эпохи средневековья. СПб., 2008. О. 56-68.
- Азбелев П.П. Таштыкские крестовидные распределители ремней // Случайные находки: хронология, атрибуция, историко-культурный контекст. СПб. 2008. С. 122-127.
- Азбелев П.П. Первые кыргызы на Енисее // Вестник СПбГУ. Сер. 12, 2008. Вып. 4. С. 461-469.
- Амброс А.К. Проблемы раннесредневековой хронологии Восточной Европы // СА. 1971. №3. Ч. II. С. 106-134.
- Бичурин Н.Я. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. М.;Л., 1950. Т. I.
- Вадецкая Э.Б. Археологические памятники в степях Среднего Енисея. Л., 1986. 180 с.
- Вадецкая Э.Б. Таштыкская эпоха в древней истории Сибири. СПб., 1999. 440 с.
- Варламов О.Б. О датировке «уйгурских» погребений Тувы // Проблемы археологии степной Евразии: тез. докладов. Кемерово: 1987. Ч. II. С. 181-183.
- Васильев В.П. Китайские надписи в орхонских памятниках в Кошоцайдаме и Карабалгасуне // Сб. трудов Орхонской Экспедиции. СПб.. 1897. Т. III. С. 1-36. Табл.3.
- Виноградов А.В. Этуд о таштыкской керамике // Клейн Л.С. Археологическая типология. Л., 1991. С. 248-256.
- Войтов В.Е. Каменные изваяния из Унгету // Центральная Азия: новые памятники письменности и искусства. М., 1987. С. 92-109.
- Грум-Гржимайло Г.Е. Западная Монголия и Урянхайский край: Исторический очерк этих стран в связи с историей Средней Азии. Л., 1926. Т. 2. 900 с.
- Грязнов М.П. Курган как архитектурный памятник // Тезисы докладов на заседаниях, посвящённых итогам полевых исследований в 1961 г. М., 1961.
- Грязнов М.П. Миниатюры таштыкской культуры: Из работ Красноярской экспедиции 1968 г. // Археолог. Сб. Государственного Эрмитажа. Л., 1971. Вып. 13. С. 94-106.
- Гумилёв Л.Н. Древние тюрки. М., 1967. 504 с.
- Евтюхова Л.А. К вопросу о каменных курганах на Среднем Енисее // Труды ГИМ. М., 1938. Вып. 11. С. 111-122.
- Евтюхова Л.А. Археологические памятники енисейских кыргызов (хакасов). Абакан, 1948. 109 с. (87/88)
- Зяблин Л.П. Архитектура курганов чаатаса Гришкин Лог // Новое в советской археологии: Материалы и исследования по археологии СССР. М., 1965. №130.
- Илюшин А.М. Могильник Кудыргэ и вопросы древнетюркской истории Саяно-Алтая // Памятники древнетюркской культуры в Саяно-Алтае и Центральной Азии. Новосибирск, 2000. С. 157-169.
- Илюшин А.М. Загадочная страна «Бома» раннего средневековья (по письменным и археологическим источникам) // Древности Алтая: Известия Лаборатории археологии [ГАГУ]. Горно-Алтайск, 2003. №11.
- Киселёв С.В. Древняя история Южной Сибири // Материалы и исследования по археологии СССР. М., 1949. №9. 364 с.
- Кляшторный С.Г. Стелы Золотого озера: к датировке енисейских рунических памятников // Türcologica: К семидесятилетию академика А.Н. Кононова. Л., 1976. С. 258-267.

- Кляшторный С.Г. Кипчаки в рунических памятниках // *Tüologica: К восьмидесятилетию акад. А.Н. Кононова*. Л., 1986. С. 153-164.
- Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г. Степные империи древней Евразии. СПб., 2005. 346 с.
- Кызласов Л.Р. Таштыкская эпоха в истории Хакасско-Минусинской котловины. М., 1960. 198 с.
- Кызласов Л.Р. История Тувы в средние века. М., 1969. 212 с.
- Кызласов Л.Р. Чаатасы Хакасии // *Вопр. археологии Хакасии*. Абакан, 1980. С. 108-114.
- Кызласов Л.Р. Древнехакасская культура чаатас VI-IX вв. // *Степи Евразии в эпоху средневековья*. Серия: «Археология СССР». М., 1981. С.46-52.
- Кызласов Л.Р., Кызласов И.Л. Новые материалы о происхождении культуры чаатас // *Археологические открытия 1983 г. М.*. 1985. С. 219-220.
- Малаякин А.Г. Танские хроники о государствах Центральной Азии: тексты и исследования. Новосибирск, 1989. 432 с.
- Мартынова Г.С. Погребения с «кыргызскими» вазами в курганах Михайловского могильника // *Известия Лаборатории археологических исследований*. Кемерово, 1976. Вып. 7. С. 68-80.
- Нестеров С.П. Таксономический анализ минусинской группы погребений с конём // *Проблемы реконструкций в археологии*. Новосибирск, 1985. С. 111-121.
- Панкова С.В. О памятниках «камешковского» этапа таштыкской культуры // *Курган: историко-культурные исследования и реконструкции*. СПб., 1996. С. 41-43.
- Панкова С.В. О соотношении таштыкской и кыргызской керамических традиций // *V исторические чтения памяти М.П. Грязнова*. Омск. 2000. С. 96-97.
- Поселянин А.И. Керамический комплекс таштыкского поминальника Белый Яр III на юге Хакасии // *Таштыкские памятники Хакасско-Минусинского края*. Новосибирск, 2007. С. 89-125.
- Савинов Д.Г. Народы Южной Сибири в древнетюркскую эпоху. Л., 1984. 174 с.
- Савинов Д.Г. Владение Цигу древнетюркских генеалогических преданий и таштыкская культура // *Историко-культурные связи народов Южной Сибири*. Абакан, 1988. С. 64-74.
- Савинов Д. Г. Потомки кокзельцев на страже уйгурских городищ // *Археология Южной Сибири*. Кемерово, 2006. Вып. 24. С. 44-50.
- Савинов Д.Г. Ранние тюрки на Енисее: археологический аспект // *Время и культура в археолого-этнографических исследованиях древних и современных обществ Западной Сибири и сопредельных территорий: Проблемы интерпретации и реконструкции*. Томск, 2008. С. 185-190.
- Супруненко Г.П. Некоторые источники по истории древних кыргызов // *История и культура Китая: сб. памяти акад. В.П. Васильева*. М., 1974. С. 236-248.
- Теплоухов С.А. Опыт классификации древних металлических культур Минусинского края (В кратком изложении) // *Материалы по этнографии*. Л., 1929. Т. IV, Вып. 2. С. 41-62.
- Хакасско-русский словарь / Под ред. Н.А. Баскакова. М., 1953. 358 с. (88/89)
- Худяков Ю.С. Кок-тюрки на Среднем Енисее // *Новое в археологии Сибири и Дальнего Востока*. Новосибирск, 1979. С. 194-206.
- Худяков Ю.С. Погребения по обряду труположения VI-XIV вв. в Минусинской котловине // *Историческая этнография: традиции и современность. Проблемы археологии и этнографии*. Л., 1983. Вып. II. С. 141-148.
- Худяков Ю.С. Древние тюрки на Енисее. Новосибирск, 2004. 152 с.
- Худяков Ю.С., Нестеров С.П. Группа погребений Ник-Хая // *Археология юга Сибири и Дальнего Востока*. Новосибирск, 1984. С. 131-142.
- Яхонтов С.Е. Древнейшие упоминания названия «киргиз» // *Советская этнография*. 1970. №2. С. 110-120.

П.П. Азбелев

Геральдическая триада.

// Древности Сибири и Центральной Азии. №4 (16). Горно-Алтайск: 2012. С. 94-108.

1. Проблема. ^

В одной из классических работ эрмитажного вещеведения Л.А. Мацулевич писал о явлении, за которым позднее закрепилось название «геральдического стиля» раннесредневековых наременных принадлежностей: «Эти небольшие изделия, обычно из серебра или бронзы, характеризуются сильной профилёвкой с косым обрезом краёв и прорезной геометрической орнаментацией, при своеобразных, неизменно повторяющихся формах. Круг распространения памятников этого стиля чрезвычайно широк. Начиная от Керчи

и Суук-Су и могильников Кавказа и Черноморского побережья, область распространения этого стиля охватывает юго-западную и центральную Россию, северо-восточный край, переваливает через Урал, достигает Иртыша, а последними раскопками 1925 г. С.И. Руденки и А.Н. Глухова доведена до Алтая. С другой стороны, тот же стиль в ином варианте охватывает на западе, ближайшим образом, Венгрию, приадриатическую Италию, Балканский полуостров, подходя по линии Чатаджинской позиции почти к самому Константинополю. Все эти крайне многочисленные предметы, несмотря на местные отклонения и различия, показывают исключительное единство стиля; с другой стороны, отдельные совершенно тождественные, неизменно повторяющиеся изделия встречаются в таких медвежьих углах тогдашнего культурного мира, что невольно приходит мысль о существовании единого крупного центра, рассадника этой культуры, каковым могла быть Византия» (Мацулевич Л.А., 1927, с.131-132).

Открытиями последовавших десятилетий в ареал геральдического стиля оказались включены Средняя и Передняя Азия, Ближний Восток и Восточный Туркестан, эпизодические находки есть и к востоку от Саяно-Алтая. Таким образом, несмотря на неравномерность распределения находок, можно с полным правом считать геральдический стиль глобальным (по меркам той эпохи) явлением. При этих условиях правдоподобность идеи о византийском происхождении уменьшается, да и высказана она была главным образом исходя из анализа богатого декора, отделяющего перещепинские находки от большинства прочих образчиков геральдического стиля; общие же признаки, объединяющие «геральдику» перечисленных областей, явно не византийские. Сходным образом и у А.К. Амброза именно второстепенные черты восточноевропейской «геральдики» легли в основу тезиса о её происхождении «от провинциально-византийских прототипов» (см., напр.: Амброз А.К., 1980, с.11) — тогда как если это и это верно, то лишь для декора, наслоившегося поверх уже сформировавшихся в иной среде морфологических основ, по которым как раз и опознаётся стиль. Между тем именно эти общие признаки и должны бы оказаться в центре внимания, если ставить себе задачей установить происхождение этого стиля, вернее — нащупать путь к решению этой проблемы.

В литературе о раннесредневековых поясных наборах Евразии нередко дискуссии об этнокультурной принадлежности и хронологии геральдических поясов, о правомерности дат, предлагаемых по соответствующим находкам для различных памятников и этапов развития материальной культуры. Далекое не все вещи, относимые к геральдическому стилю, в полной мере отвечают его первому описанию, когда-то данному Л.А. Мацулевичем; принадлежность вещей к стилю определяют интуитивно, по общему (94/95) впечатлению от них, а не по какому-либо списку признаков. В исследовательской практике «геральдическими» именуют весьма разнообразные вещи из различных мест и порой разного времени; даты при этом выясняют не обязательно по самим геральдическим находкам, но часто по сопутствующим предметам и прочим обстоятельствам, а единой системной хронологии, как и общепринятых идентификационных признаков, для раннесредневековой «геральдики» так и нет. Неопределённость понятия порождает путаницу и болезненное отношение к «геральдическим» датам; в какой-то мере это вызвано тем, что всякий знакомится с «геральдикой» на том материале, которым занимается сам, и собственно геральдическая традиция смешивается с посторонними признаками, взаимодействовавшими с «геральдикой» на разных этапах её развития в разных регионах; так размывается хронология и теряется логика развития геральдического стиля.

2. Вопросы методики. ^

В основе этих дискуссий, как представляется, лежит недопонимание сути историко-культурного феномена, условно именуемого «геральдическим стилем». Условно — ибо единого геральдического стиля, конечно, не существовало — слишком велики были пространства и разнообразны культуры, так или иначе охваченные этим явлением. Геральдический стиль, как и прочие древние транскультурные стили, существует прежде всего как способ восприятия материала современными исследователями; мы не знаем, осознавалось ли это единство в древности (в сходных обстоятельствах скифологи нередко предпочитают называть звериный стиль скорее художественным направлением, нежели стилем в прямом смысле слова). Но можно, обобщая исследовательскую практику, указать основные «сквозные»

признаки, по которым изделия относят к числу геральдических, т.е. признаки, интуитивно выделяемые нами из общей суммы свойств материала в качестве стилеобразующих. Этих признаков, при всём разнообразии их проявлений, всего три. Можно было бы насчитать и больше, но свести описание именно к «триаде», с моей точки зрения, методически важно — по следующим причинам.

«Триадный» способ определения разномасштабных культурных феноменов естествен. В отличие от формального классифицирования, основанного на иерархии дихотомических членений материала, — образ явления, впечатление от него чаще опирается, как следует из наблюдений над исследованиями, на некое триединство. В далёкой от теоретического совершенства повседневной практике повторяющийся набор именно из трёх элементов, вне зависимости от их однородности, оказывается для нас психологически комфортным минимумом комплексности, своего рода «квантом неслучайности», позволяющим рассматривать некое сходство как проявление общности разных культур, типов памятников, категорий материала. Так, в своё время парадигмой евразийской археологии раннего железного века стало понятие «скифской триады» [критическую историю этого термина см. в блестящей статье В.С. Ольховского (Ольховский В.С., 1997)]; меньше известно понятие «тюркской триады», предложенное Д.Г. Савиновым, включившим в неё «погребения с конём и соответствующим набором предметов сопроводительного инвентаря, поминальные сооружения и изваяния, схематические изображения горных козлов типа Чуруктуг-Кырлан» (Савинов Д.Г., 1984, с.51).

Скифская и древнетюркская триады характеризуют явления общекультурного, «эпохального» уровня; но та же логика свойственна и вещеведению. Не случайно типологическая характеристика изделий подразумевает их анализ на трёх уровнях: 1) морфологической основы, общей геометрии вещей, 2) оформления этой основы — «расцветчиванием» геометрически элементарного контура и соотношением разных элементов, и 3) декора. Тот же алгоритм применим, в свою очередь, и к самим морфологическим основам, и к их оформлению, и к декору, т.е. «триады» выстраиваются в сложные(95/96)иерархии; внешне они сходны с дихотомическими иерархиями классификаций, но отражают не столько свойства материала, сколько его восприятие.

Осознанно или интуитивно оперируя разноуровневыми «триадами», мы просто, однако надёжно структурируем пространство культур, акцентируем знаковые явления и процессы — точно так же в геометрии всего три точки, расставленные не в ряд, определяют плоскость. Устойчивые «триады», проявляющиеся в материалах разных культур, фиксируют связи соответствующих общностей с историко-культурными процессами, стоящими за условно выделенным триединством. В работе с географически и хронологически протяжёнными «пластами» удобно иметь ясный и неформальный инструмент диагностики транскультурных связей. Именно такой — во многом инструментальный смысл я и вкладываю в предлагаемое здесь понятие «геральдической триады».

«Триадное» определение декоративного стиля будет работать, если стилеобразующие элементы выбраны не случайно, а подчинены ясному алгоритму и последовательно отвечают на три вопроса (определяя три группы признаков стиля): 1) что изображено, т.е. какие элементы («персонажи») образуют декор, 2) как изображено, т.е. какие допускаются отступления от статистической нормы, «идеального элемента» (если речь о фигуративном декоре, — как искажается реальный прототип), и 3) в каком соотношении образующие декор элементы состоят между собой и с декорируемым предметом.

Этот алгоритм универсален, то есть равно действителен и для фигуративного, [1] и для орнаментального декора. Геральдический стиль орнаментален (ему свойственны и фигуративные элементы, но они сравнительно редки и не могут считаться стилеобразующими), и в роли «персонажей» оказываются простейшие формы. Поэлементная характеристика «геральдической триады», структурированная по вышеприведённому алгоритму, образует три группы признаков, вместе определяющие тот образ единства древних вещей, которой мы и зовём геральдическим стилем.

Предлагаемые заметки конспективны и предварительны: всесторонний анализ проблематики геральдического стиля должен бы составить предмет отдельного монографического исследования, изрядная часть которого должна быть посвящена

интереснейшей и поучительной, но здесь для краткости пропущенной истории вопроса. Нет пока, увы, и свода евразийской «геральдики», составление которого — важная задача будущих изысканий.

3. Триада и её элементы. $\hat{\quad}$

3.1. Морфологические основы. $\hat{\quad}$

Первый элемент триады — бляшки специфической формы, прежде всего в виде геральдического щита, приострѐнного или закруглѐнного; по ним этот стиль оформления (96/97) фурнитуры и получил своё название. Нередко они имеют вычурный край, часто их украшает зооморфный, растительный или нефигуративный декор. Скруглѐнные бляшки менее показательны, чем приострѐнные, поскольку их форма слишком проста и могла появляться в разных культурах независимо. История их прослеживается на несколько веков (рис. 1 — А). Ранние образцы приострѐнных форм фиксируются в первых веках н.э. на западе Средней Азии (Бабашовский и Орлатский [2] могильники); возможно, «протогеральдическими» нужно считать и некоторые более ранние находки из Восточного Туркестана (Цзяохэ), хотя у них несколько иные пропорции (Варѐнов А.В. и др., 2009, с.244, рис.2 — 19-21; благодарю С.В. Панкову, обратившую моё внимание на эти находки). Механизм переориентации «протогеральдических» бляшек на ремне выясняется благодаря находке пояса в сино-согдийской могиле сабао Аньцзя (570-е гг.), где сохранились формы, позволяющие понять историю как геральдических (рис. 1 — стрелки 1, 3), так и порталных (рис. 1 — стрелки 1, 2) блях (подробно: Азбелев П.П., 2010а).

В «геральдическое» время с этой формой часто связаны бляшки других характерных очертаний, часто «в виде рыбьего хвоста», или «рогатые» (рис. 1 — 8); ещё один тип — четырёхугольные щитки и бляшки с двумя прямыми и двумя дугообразно фацетированными краями — по отдельности почти не встречается и обычно входит в состав комбинированных изделий; подробнее об этих формах сказано ниже. Одна сторона большинства специфических бляшек геральдического стиля, как правило, спрямлена и представляет собой условное «основание»; остальные стороны — фигурные.

3.2. Оформление морфологических основ. $\hat{\quad}$

Второй элемент — специфический ажурный (прорезной) декор, образуемый в основном серповидными, округлыми и треугольными прорезями. Л.А. Мацулевич назвал эти прорези «геометрическими». Прорези иногда складываются в стилизованное «изображение» лица; когда-то В.Б. Ковалевская даже попыталась в серии работ формальными средствами показать, что именно лицо и было исходным мотивом (напр., Ковалевская В.Б., 1970), но доказала лишь то, что формально-процедурная метода возвращает исследователю интуитивную идею, заложенную в исходных данных, вне зависимости от её правдоподобия. На деле исходная форма — обычные для позднесарматских памятников рамки пряжек со вписанными симметричными полуволютами (рис. 1 — Б). При уплощающем гипертрофировании — технологически обусловленном типогенетическом процессе, охватившем в эпоху раннего средневековья многие культуры — эти полуволюты сливаются с собственно рамкой и образуют данную систему прорезей, на которую и переносится акцент декора (рис. 1 — стрелки 4, 5). Её случайное сходство со схемой лица, несомненно, порой обыгрывалось ремесленниками, всегда любящими поиграть с формой в рамках своих представлений о норме (именно так в эпоху жѐсткого традиционализма проявляется творческая сущность человека); но чаще всего эта прорезная композиция, первоначально очень стойкая, со временем разваливалась, и в типологически поздних версиях прорези бывают рассыпаны уже вполне хаотически (бывает, что это уже и не прорези, а воспроизводящие их контур иные элементы декора). Сохраняется, однако, типовой набор очертаний прорезей, применяемых уже не только на щитках и бляшках, но на иных предметах — подножиях стремян, а быть может, и лопастях черешковых наконечников стрел (97/98) (это спорно, поскольку прорезные стрелы делали и раньше; речь

идёт о возможном влиянии геральдического ажурного декора на старую традицию прорезных стрел).

С распространением вещей катандинского этапа из степи на её лесную периферию (не ранее середины — второй половины VII в.) ажурный геральдический декор порой переносится и на бляшки со смещённой щелевой прорезью (а на аналогичные, тоже катандинские по происхождению, но утратившие прорезь — и фигуративный: Голдина Р.Д., 1985, с.220, табл. XII — 13).

Типичные для геральдических наборов «рогатые» бляшки воспроизводят ту же композицию из парных волн, но искажают её иначе: акцент декора с волн на прорези не переносится, зато уплощённые симметричные волноты выступают как самостоятельный элемент, без окружающего их кольца рамки (рис. 1 — стрелки 4, 6). Типогенетическое единство прорезного декора и бляшек в виде «рыбьего хвоста» позволяет трактовать эту вторую часть триады шире — как элементы, имеющие в своей основе (в типологической ретроспективе) пару симметричных полуволн.

В этой же группе признаков — боковые вырезы удлинённых щитков (может быть, восходящие к сходным вырезам костяных и роговых пряжек, скрывающим окончания оси для язычка?) и вариативность самих «геральдических» щитков. Неизменны: общая симметричность изделия, наличие спрямлённого основания бляшки (иногда у бляшки два противопоставленных основания, и тогда она симметрична относительно двух перпендикулярных осей) и фигурность остальных сторон. В остальном бляшки разнятся: имеют скруглённый или приострённый «носик», более или менее вычурные края, остаются гладкими или «обрастают», как перещепинские и подобные им, разнообразной декоративной мишурой. Этот вторичный декор зависит от местных привычек и к истории собственно геральдического стиля прямого отношения не имеет.

3.3. Соотношение элементов. ^

Третья группа признаков — пространственное соотношение элементов декора — определяется прежде всего комpositностью изделий. Многие бляшки геральдического стиля имеют сложный контур, образуемый жёсткой состыковкой бляшек простых форм, в исходном (имитируемом) варианте сочетающихся на гибкой основе. Соответственно, кажущееся бесконечным многообразие составных геральдических форм нельзя систематизировать посредством их механического перебора, как это сделал, например, А.В. Богачёв в известной работе, выполненной на материалах Среднего Поволжья (Богачёв А.В., 1992, с.85-86, рис.10); нужно классифицировать не сами сложные формы, а способы их компоновки из простейших элементов (рис. 1 — В). Для «геральдики» стандартны и всеобща два вида состыковки: продольная и лучевая.

Продольно чаще всего стыкуются спрямлённые основания: бляшки как бы «вертикально» противопоставляются. В этой разновидности обычны сочетания щитовидных и «рогатых» бляшек в трёх основных вариантах: а) две щитовидные (одного или разного размера, т.е. воспроизводится композиция «наконечник подвешенного ремешка + бляшка для его крепления к поясу»), причём одна из них иногда несёт изображение стоящего животного или всадника на коне, б) щитовидная и «рогатая» (рис. 1 — 11б), в) две «рогатые» (в последнем случае образуются характерные Х- и Ж-образные контуры, весьма различающиеся по степени гипертрофирования завитков). Другие варианты сочетаний редки.

Сходным образом знаменитые псевдопряжки имитируют внешний вид как собственно пряжек, так и пряжек в сочетании с наконечниками или (изредка и не повсеместно) с обоймами-треничками, также представляя собой проявление принципа комpositности форм (пряжка подвешенного ремешка + бляшка-накладка на его креплении к поясному ремню). Частый элемент продольно-комpositных бляшек — имитация наконечника(98/99)с валиком (в ретроспективе это пластинчатая обойма с муфтообразным сгибом, характерный тип крепления ремня к рамке, широко распространившийся ещё в хуннскую эпоху; в «геральдике» воспроизводится, скорее всего, поздний восточноевропейский вариант, в котором функциональное расширение обоймы превратилось в декоративный поперечный валик наконечника).

Сюда же (по признаку композитности) следует отнести типовую жёсткую форму, состоящую из щитовидной (реже «рогатой») бляшки и Т-образной перекладины, окончания которой иногда сливаются с «оттянутыми» углами спрямлённого основания бляшки (рис. 1 — 11а). Происхождение Т-образной формы очевидно: эти бляшки воспроизводят гибкую композицию из традиционной для кочевников (с аржанского времени, если не глубже) застёжки-«костылька» с перехватом в середине, на который накинута ременная или матерчатая петелька, закрепляемая, в свою очередь, под прикрывающей основание петельки бляшкой. Возможно, эта жёсткая имитация составной композиции ассоциировалась и с колчанными крюками, иногда имеющими на конце перекладинку. Т-образные бляшки могли быть как чисто декоративны (и тогда порой окончания перекладинок сливались с уголками щитка), так и функциональны (на перекладинку можно, как на пуговицу, накинуть петельку). Позднее, в конце I тыс., на основе таких застёжек складывается (в сроткинской и синхронных ей культурах) специфический тип пряжек, состоящих из двух симметричных ажурных щитков, отливаемых один с металлической петелькой, другой — с входящим в эту петлю крючком; эта конструкция была популярна ещё в течение нескольких веков (см., например: Басандайка, табл. 33 — 15, 16). [3]

По той же схеме стыкуются с другими элементами и щитки с дугообразно фацетированными краями, восходящие, надо полагать, к аналогичным по очертаниям рамкам пряжек (об их истории см.: Азбелев П.П., 2009, с. 32); подобные «переключки» форм (щитки и рамки пряжек, щитки пряжек и наконечники поясов) — наследие традиции симметричных поясов эпохи древних кочевников (о симметричных и асимметричных поясах в контексте их общей типологии см.: Азбелев П.П., 2008а, с. 286-287). Окончательного решения вопрос о происхождении бляшек и щитков с дугообразным фацетированием пока не имеет.

Лучевая состыковка обычно применялась с щитовидными бляшками; учитывая связь композитности с имитациями, здесь можно усматривать имитацию ременных тройник-распределителей; часть таких изделий соответствующим образом, надо полагать, и использовалась. Известны накладки, воспроизводящие круглые тройники с тремя наконечниками подсоединённых к центральному кольцу ремней, или без них. Трактовать ли подобным образом бляшки из четырёх выпуклых округлых элементов (я условно именую их «квадрифолическими», см. Гаврилова А.А., 1965, табл. XIX — 2), пока неясно.

Стык элементов в композитных изделиях часто как-либо оформлялся, иногда и акцентировался — то выемками, то, наоборот, дополнительным выпуклым элементом, поперечным или округлым (при продольном соединении), иногда треугольным (при лучевом соединении). Разнообразие проявлений принципа композитности и имитационности почти бесконечно, но сам этот принцип остаётся сквозным и неизменным. (99/100)

Иногда лучевая и продольная состыковка сочетаются: в качестве одного из щитков выступает подтреугольная композиция, исходно, видимо, воспроизводящая округлый тройник-распределитель с бляшками пристёгнутых ремней; в качестве продольно пристыкованного щитка могут выступать пальметовидные элементы (явно ассоциирующиеся с бляшками в виде «рыбьего хвоста»), имитации наконечников с валиком (оба типа представлены в Кудыргэ: Гаврилова А.А., 1965, табл. X — 17 и табл. XVIII — 14, ср. табл. XV — 8) и т.п.

Встречается и поперечная состыковка; это, кажется, южносибирское локальное явление; в раннем варианте она представлена материалами культуры таштыкских склепов, в позднем — Т-образными тройниками (Азбелев П.П., 2008в; 2009, с. 37). Именно таштыкские поперечные состыковки позволяют наглядно проиллюстрировать данный типогенетический механизм (рис. 1 — 9, 10, стрелка 7 показывает имитацию подвижного сочетания цельнолитым изделием); приложение его к раннетюркской культуре (рис. 1 — стрелка 8) ярче всего запечатлел известный таштубинский пояс (рис. 1 — 11), где сформировавшиеся геральдические типы размещены на ремне в имитируемом сочетании, причём в тот же набор входят и округлые бляшки (рис. 1 — 11в).

4. Происхождение и распространение. $\hat{\Delta}$

Вышеописанная триада — 1) собственно «геральдические» бляшки, 2) характерный ажурный декор и другие вариации симметричных полуволют, 3) принцип композитности и имитационности — в той или иной мере проявлена во всех областях бытования «геральдического стиля», но её составляющие всюду воплощаются по-разному, в зависимости от местного культурного контекста и, вероятно, обстоятельств распространения триады. В разных культурах геральдические элементы играют различную роль: доминируют или «проходят фоном», воспроизводятся «в чистом виде» или смешиваются с местными формами, порождая порой столь жёсткие корреляции геральдических и негеральдических элементов, что их можно считать почти неотъемлемой частью набора основных форм стиля (таковы, например, В-образные рамки пряжек и имитации наконечников с поперечным валиком на конце); геральдическая традиция поглощает эти и другие формы, включает их в свой типогенетический «арсенал» и порождает многочисленные локальные варианты, отличающиеся этими вторичными типами.

Именно поэтому и не стоит говорить о едином геральдическом стиле как об осознававшемся в древности культурном феномене; речь можно вести лишь о распространении по локальным стилям декора базового набора геральдических признаков, в разных сочетаниях элементов, на разных типологических этапах и в разном предметном контексте (украшения как ременные — пояс, узда и сбруя, так и не-ременные — костюм, оружие) — а следовательно, всякий раз при особенных исторических обстоятельствах. Поэтому нельзя использовать наличие тех или иных геральдических изделий как непосредственно датирующий признак: сперва следует в каждом случае выяснять, как развивались элементы геральдической триады в этих местах, как они взаимодействовали с местными типами — и лишь потом определять конкретные узкие даты.

Происхождение геральдической триады должно выясняться поиском культур, в которых ещё в «догеральдические» времена (то есть до третьей четверти I тыс. н.э.) сосуществовали образующие триаду признаки, их явные прототипы и основные коррелирующие типы. Как уже сказано, ранние приотстрённые геральдические щитки найдены в разнокультурных памятниках Средней и Центральной Азии. Симметричные полуволюты в рамках — в позднесарматских и синхронных памятниках Юга России и Причерноморья, в меньшей степени на востоке. В целом очевидна постепенная инфильтрация традиции на восток, вплоть до Кореи; маркирующие этот процесс пряжки с удлинёнными-(100/101)ми овально-трапециевидными рамками (рис. 1 — 5; особенно показательны балыктыюльские пряжки, наверняка западного производства) сплошь выгнуты из прутка, т.е. распространение происходило в первой половине I тыс. н.э. ещё до массового перехода к уплощённым вещам.

Южносибирские проявления традиции вписанных в рамку симметричных ажурных волют — бронзовые цельнолитые шпеньковые пряжки, в миниатюре имитирующие облик овально-трапециевидных рамок с язычками — минусинские таштыкские (рис. 1 — 6) и тувинские кокзельские; отдельные находки есть на Алтае. Важно, что эти миниатюрные (очень редко полновесные) изделия, во-первых, отмечают соединение одного из протогеральдических типов с традициями имитаций и моделирований наременных украшений, а во-вторых, связаны, как и вся культура таштыкских склепов (V-VII/VIII вв.), с ранне- (или пред-) тюркской культурной средой. Примечательно, что овально-трапециевидная рамчатая пряжка (без волют, вместо которых на язычке имеется расширение) найдена в том же Орлатском могильнике, что и костяные «протогеральдические» пластины (Пугаченкова 1989: 125, Рис. 54 — вверху посередине); это подчёркивает культурную близость «прото-геральдических» типов и укрепляет вероятность их исходного сосуществования именно в этом регионе.

Наиболее развитая традиция «монолитизирующего» моделирования составных композиций известна в таштыкских материалах (продольная и поперечная состыковка) и в меньшей степени — в других саяно-алтайских культурах пред- и раннетюркского времени (продольная и лучевая состыковка). Местных корней эта традиция здесь не имеет; южносибирские культуры лишь усвоили типы, принесённые с юга, — насколько можно судить, на алтайском этапе развития раннетюркских племён, в последней трети V в., и сохранили их как минимум до второй трети VII в. (Азбелев П.П., 2008в). Коррелирующие типы — пряжки с В-образными рамками — представлены в Минусинской котловине как находками, так и рисунками на камнях (Панкова С.В., 2002, рис.1; Азбелев П.П., 2008б, с.462-464 и рис.1);

встречаются и щитки с дугообразно фацетированными продольными сторонами (рис. 1 — 6). Дальневосточные рамки с волютами (корейские и японские) представляют иную ветвь развития этой традиции, отделившуюся до «геральдического» времени и развивавшуюся независимо (см. обо всём этом подробно: Азбелев П.П., 2009).

Поэтому, несмотря на отсутствие прямых вещественных свидетельств, по совокупности данных можно с высокой долей уверенности считать, что «геральдическая триада» сложилась в среднеазиатских или восточнотуркестанских степях предтюркской поры, скорее всего, в полиэтничной и мультикультурной среде с доминированием кочевнических традиций, и уже отсюда распространялась по всей Евразии.

По имеющимся датам, появление геральдических типов в Восточной Европе относится не ранее чем к середине — третьей четверти VI в., то есть примерно совпадает по времени с экспансией тюрков Первого каганата — наследников всё той же этнокультурной среды, ранее «выплеснувшей» на Енисей первых кыргызов. Имитационность может косвенно указывать на принадлежность исходных носителей триады к числу «младших», второстепенных племён какого-либо кочевнического союза, воспроизводивших элементы престижного предметного комплекса гегемонов, носителей традиций-прототипов, по крайней мере частично западного (по отношению к Центральной Азии и Восточному Туркестану) происхождения (Азбелев П.П., 2010б [надо: 2010в], с.29, прим.30). География находок наиболее характерных, часто встречающихся (т.е. с высокой долей вероятности — ранних) версий геральдических типов показывает, что первичное распространение сложившейся триады шло, по-видимому, с востока на запад. О том же говорят и сибирские элементы, рудиментарно проявляющиеся в европейской «геральдике» (Азбелев П.П., 1993).

Вместе с тем есть и западный вклад в типогенез ранней «геральдики». Естественно предполагать, что чем шире распространён тот или иной коррелирующий с триадой при-(101/102)знак, тем скорее он окажется одного с ней происхождения. Таковы упоминавшиеся имитации восточноевропейских наконечников с поперечными валиками на конце, таковы и В-образные пряжки, заставляющие иметь в виду возможность участия каких-то восточноевропейских групп (или групп с восточноевропейскими корнями) в «геральдическом» типогенезе на самых ранних его этапах. Так в истории геральдических вещей запечатлелся «маятник миграций» по Великой степи; письменные источники отражают его лишь наполовину: западная историография знала только миграции с востока, а о переселениях в обратном направлении — в Центральную Азию и Южную Сибирь — написать было некому, и эти события отражены лишь в археологических памятниках.

Дополнительный хронологический ориентир можно получить, учитывая положение геральдических бляшек на ремне: если орлатские прототипы ориентировались на ремне (судя по гравировкам) «остриём» вниз, то собственно геральдические бляшки в проверяемых (опять же по изображениям — чаще всего стоящих животных) случаях ориентированы «остриём» вверх. Пояс сабао Аньцзя (570-е гг.) тоже включал геральдические бляшки (рис. 1 — 2), но их ориентация определяется уже по смещённым вниз щелевым прорезам, каких на геральдических вещах обычно не встретишь — этот пазырыкский по происхождению элемент обрёл новую жизнь в культурах катандинского этапа, ассоциирующихся с эпохой уже не Первого, а Второго каганата и телеских ханств. [4] Поэтому (и с учётом восточноевропейских дат) небезосновательно считать, что к середине — второй половине VI в. геральдические типы уже оформились и далее развивались независимо от традиции бляшек со щелевой прорезью. В пользу «раннетюркской» версии говорит и присутствие в геральдических наборах (или в одних с ними комплексах) округлых бляшек (рис. 1 — 11): поясные наборы ашина были, насколько можно судить сегодня, «круглобляшечными», а в реконструируемой по косвенным данным культуре этого племени тоже присутствовал сильный западный субстрат.

Итак, по всей видимости, к моменту создания Первого тюркского каганата геральдическая триада уже окончательно оформилась как своеобразный культурный феномен, непосредственно предшествующий сквозным типам и традиционным комплексам древнетюркской эпохи. Если и использовать «геральдику» для прямого датирования, то лишь понимая промежуток «середина — вторая половина VI в.» как протяжённый *terminus post quem* — что не исключает появления отдельных геральдических элементов на местах и в более раннее время. Вместе с тюркской экспансией «геральдика» разнеслась по континенту, и была

воспринята многими народами (преимущественно к западу от Центральной(102/103)Азии), развивавшими её далее каждый по-своему, в зависимости от местного типологического контекста. Там, где изучена технология изготовления вещей, выясняется, что на «геральдику» распространяется целый «комплекс ювелирных приёмов», характерный для изготовления типично местных престижных изделий (на боспорском примере: Шаблавина Е.А., 2007, с.18).

Вряд ли до появления свода геральдических находок можно подробно восстановить соответствующие типогенетические процессы и стоящие за ними исторические события; но ясно, что ремесленники многих осёдлых и кочевых народов по достоинству оценили эстетический потенциал, заложенный в исходном наборе форм, декоративных элементов и композиционных принципов геральдической триады. С одной стороны, триада оставляла мастеру свободу для творческого самовыражения при воспроизведении чужих типов, а с другой — чётко структурировала образуемые при этом вторичные композиции и формы, что и породило изящный, узнаваемый и бесконечно разнообразный в своих независимых локальных проявлениях «распределённый феномен» геральдического стиля.

Сказанное позволяет наметить и основные этапы в развитии геральдического стиля, исходя из выявляемой с помощью триадного определения логики развития.

«Нулевой» этап — время сложения стиля, о чём сказано в этом подразделе выше.

Первый этап распространения сложившегося стиля — время Первого тюркского каганата, в престижной субкультуре которого геральдические наборы, как можно думать, занимали вторую позицию после «круглобляшечных» поясов ранних ашина. Для этого этапа характерны сравнительно несложные композитные формы, ещё мало искажённые (или мало развитые, если угодно) местными наслоениями. Находок этого периода очень мало; нужно признать, что здесь, как и вообще с кочевой культурой эпохи Первого каганата, мы имеем дело больше с реконструкцией, основанной на «отражениях» культуры народа-завоевателя в периферийных памятниках, тогда как погребения самих завоевателей неизвестны.

Второй этап — время переосмысления этих форм, обогащения их местными элементами и совмещением в новообразующихся типах с чертами катандинской традиции, маркируемой прежде всего таким элементом поясных блях, как смещённая вниз щелевая прорезь для подвесных ремешков. Это совмещение началось ещё на предыдущем этапе (пояс Аньцзя 570-х гг.), но тогда оно трансформировало прежде всего катандинскую традицию, принадлежащую второстепенным ордам Первого каганата. В VII в., когда эти племена обрели самостоятельность после развала тюркской державы, катандинские элементы уже доминируют над геральдическими. К этому времени относится и появление такого специфического типа, как шарнирные псевдопряжки. [5] Важно, что большинство вещей этого этапа принадлежит не кочевым, а осёдлым культурам, то есть геральдиче-(103/104)ский стиль меняет (или как минимум расширяет) «среду обитания», попадая к людям с иным, нежели у кочевников, отношением к наременным гарнитурам.

Третий этап — остаточное бытование геральдических элементов, всюду, где они сохранились, воспринимавшихся уже как собственные традиционные и в этом качестве участвовавших в совершенно иных типогенетических процессах (в связи с которыми их и нужно рассматривать).

5. Южносибирские находки. ^

Выяснив общую картину, можно для примера применить её к сибирским находкам, оценивая их уже не общо (как часть нерасчленённого геральдического массива), а дифференцированно, с учётом этапности развития стиля. Не имея здесь места для исчерпывающего обзора, возьму лишь несколько наиболее известных и ярких групп вещей.

«Прото-геральдические» типы представлены в Сибири прежде всего периферийной культурой таштыкских склепов и родственными памятниками Алтая и Тувы (об этом см.: Азбелев 1993); эти вещи принадлежали «диаспоре» центральноазиатских племён предтюркского времени, расселение которых связывают с «этногеографическими» сведениями древнетюркских генеалогических преданий. Собственно геральдические типы представлены в Сибири ярче всего первыми этапами развития стиля.

Среди геральдических сибирских вещей в особом положении оказываются кудыргинские находки (Руденко С., Глухов А., 1927; Гаврилова А.А., 1965: 38-43): это не поясные, как обычно, а уздечные геральдические украшения (в других регионах сравнительно редкие), т.е. налицо частное уклонение от общего стандарта. Все они представляют вполне сформировавшийся стиль, не только далёкий от местных «протогеральдических» типов, но и напрямую с ними не связанный. Смещение кудыргинской «геральдики» на узду коррелирует с переходом на конскую упряжь и других элементов поясного декора (Азбелев П.П., 2010б). В Кудыргэ есть типологически поздние элементы — пальметки, подтреугольные композиции из круглых бляшек; рамчатая бляшка с Т-образной «ножкой» — и вовсе едва ли не уникальна. Всё это признаки чужеродности «геральдики» для кудыргинцев и о её принадлежности ко второму этапу из выделенных выше, а чёткая типологическая разделённость поясных и уздечных украшений заставляет отнести алтайские находки к сравнительно ранним (в рамках второго этапа).

Осинкинские геральдические находки (Савинов Д.Г., 2000) имели отношение к поясу, а не к узде. Эта разница имеет принципиальное значение и позволяет заключить, что прямой связи между кудыргинскими и осинкинскими находками не было: всё это вещи близкого времени, но на Алтай они попали, по-видимому, разными путями и при разных обстоятельствах: могильник Кудыргэ (как и, может быть, Жана-Аул, — Кочеев В.А., Худяков Ю.С., 2000) оставлен, всего вероятнее, ордой Чеби-хана после 630 года (Азбелев П.П., 2000), а Осинки, как и отметил Д.Г. Савинов в публикации памятника — тюркизирующимся местным населением ещё во времена Первого или Восточного каганатов — это та же волна влияний первого этапа, которая принесла геральдический пласт в рёлкинскую культуру.

На Среднем Енисее находки геральдических вещей — большая редкость; экземпляры из Минусинского музея (Савинов Д.Г., 2008, с.189, рис.1 — 2) представляют тип шарнирных псевдопряжек, положение которых в общем эволюционном ряду «геральдики» указывает на принадлежность этих находок в целом ко второму этапу. Как уже сказано, типологически шарнирные псевдопряжки позже цельных (в том числе кудыргинских, известных лишь по рисункам), и нужно допустить, что кроме двух указанных выше эпизодов проникновения «геральдики» в Южную Сибирь был и третий, относящийся ко времени становления государства енисейских кыргызов — второй половине VII — началу(104/105)VIII вв.; подробно восстановить исторический контекст пока затруднительно, можно лишь заметить, что «профилёвка» минусинских находок сближает их с восточноевропейскими, а какие историко-культурные коллизии стоят за этих сходством — покажут, хочется верить, новые поиски.

Заключение. ^

В заключение можно было бы подчеркнуть, что изучая сложные типогенетические процессы, следует прежде всего корректно систематизировать материал, чётко понимая, идёт ли речь о морфологических основах, об их оформлении или же о наслоившемся поверх него декоре, часто стороннем и с совершенно иной историей. Учёт этих различий позволяет даже на неполных выборках понять ряд закономерностей в развитии древней фурнитуры и внести чуть больше ясности в картину сложных процессов культурного развития. Но, конечно, это не снимает потребности в своде евразийской «геральдики». Такие работы велись в прошлом, но фундаментальная серия «Археология СССР / Археология», сама по себе замечательная, вытеснила, как известно, Своды археологических источников из числа приоритетных направлений издательской деятельности академических структур. Ныне речь идёт уже не столько об издании материалов законных раскопок, сколько о посильном учёте вещей, замеченных на торговых площадках или сфотографированных у грабителей — и среди этих «случайных находок» обнаруживается огромное число памятников геральдического стиля, вырванных из комплексов и обречённых кануть в бездне чёрного рынка древностей.

Поэтому мне хотелось бы завершить эти заметки — не по логике исследования, а по долгу археолога — напоминанием о незащитности культурного наследия: сегодня памятники, как никогда прежде, подвергаются массовому коммерческому разграблению, а то и просто уничтожаются игнорирующими закон застройщиками. Часто не хватает совсем несложных шагов для того, чтобы изменить современную судьбу древностей к лучшему. Например, если

из-за массовости распространения геофизической аппаратуры, доступность которой провоцирует появление всё новых расхитителей, нельзя вовсе пресечь продажу, скажем, металлодетекторов, то уже простое приравнивание их к числу спецсредств, подлежащих государственному учёту, создало бы дополнительные бюрократические предпосылки к укрощению грабителей. Полагаю, добиваться совершения этого и подобных шагов — наша общая обязанность.

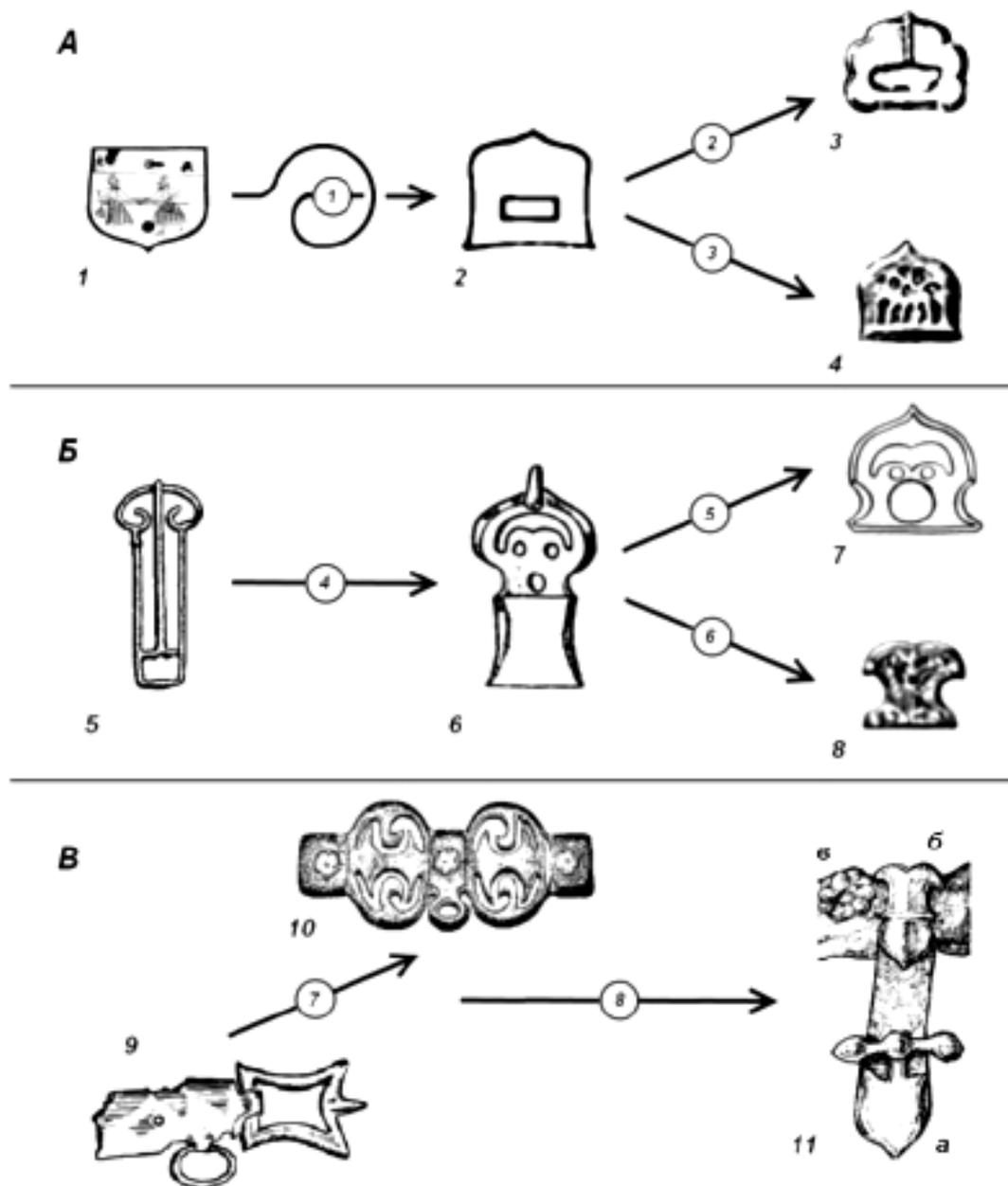


Рис.1. Геральдическая триада:

А — происхождение геральдических щитков; Б — генезис ажурного декора и бляшек «в виде рыбьего хвоста» («рогатых»); В — цельные имитации составных композиций.
 1 — Орлатский могильник (по Г.А. Пугаченковой); 2 — могила сабао Аньцзя (по Anjia tomb of Northern Zhou at Xi'an); 3 — Над Поляной (по А.А. Гавриловой); 4 — Кудыргэ (по А.А. Гавриловой); 5 — «маркоманнская» пряжка (по М.Б. Щукину); 6 — Тенсей (по М.П. Грязнову); 7 — Арцыбашево (по А.К. Амброзу); 8 — Кудыргэ (по А.А. Гавриловой); 9 — Усть-Тесь (по Э.Б. Вадецкой); 10 — Минусинский музей, №А8468 (рис. автора по фото; благодарю Н.В. Леонтьева за уточнения); 11 — Таи-Тюбе (по В.А. Могильникову).
 (106/107)

Библиографический список. ^

- Азбелев, П.П. Сибирские элементы восточноевропейского геральдического стиля. / П.П. Азбелев // Петербургский археологический вестник. Вып. 3. — СПб: 1993. — С. 89-93.
- Азбелев, П.П. К исследованию культуры могильника Кудыргэ на Алтае. / П.П. Азбелев // Пятые исторические чтения памяти Михаила Петровича Грязнова. ТД Всеросс. науч. конф. (Омск: 19-20 октября 2000 г.). — Омск: 2000. — С. 4-6.
- Азбелев, П.П. К систематике поясных наборов древнетюркской эпохи. / П.П. Азбелев // Жилище и одежда как феномен этнической культуры. Материалы Седьмых Санкт-Петербургских этнографических чтений. — СПб: 2008а. — С. 285-290.
- Азбелев, П.П. Первые кыргызы на Енисее. / П.П. Азбелев // Вестник СПбГУ. Серия 12. — 2008б. Вып. 4. — С. 461-469.
- Азбелев, П.П. Таштыкские крестовидные распределители ремней. / П.П. Азбелев // Случайные находки: хронология, атрибуция, историко-культурный контекст. — СПб: 2008в. — С. 122-127. (105/106)
- Азбелев, П.П. Таштыкский пояс. / П.П. Азбелев // Древности Сибири и Центральной Азии. №1-2 (13-14). — Горно-Алтайск: 2009. — С. 29-49.
- Азбелев, П.П. Пояс эпохи Первого каганата. / П.П. Азбелев // Древние культуры Монголии и Байкальской Сибири. / Центральная Азия и Прибайкалье в древности. Вып. 4. — Улан-Удэ: 2010а. — С. 300-303.
- Азбелев, П.П. К истории седельного декора. / П.П. Азбелев // Древности Сибири и Центральной Азии. №3 (15). — Горно-Алтайск: 2010б. — С. 75-91.
- Азбелев, П.П. Кудыргинский сюжет. / П.П. Азбелев — СПб: 2010в. — 60 с.
- Амброз, А.К. Рец. на кн.: Erdélyi I., Ojtozi E., Gening W. Das Gräberfeld von Newolino., А.К. Амброз // СА. — 1973. №2. — С. 288-298.
- Амброз, А.К. Бирский могильник и проблемы хронологии Приуралья в IV-VII вв. / А.К. Амброз // Средневековые древности евразийских степей. — М.: 1980. — С. 3-56.
- Амброз, А.К. Восточноевропейские и среднеазиатские степи V — первой половины VIII вв. / А.К. Амброз // Степи Евразии в эпоху Средневековья (Археология СССР). — М.: 1981. — С. 10-23.
- Басандайка. Сборник материалов и исследований по археологии Томской области. — Томск: 1947 (на обложке — 1948). — 308 с.
- Богачёв, А.В. Процедурно-методические аспекты археологического датирования (на материалах поясных наборов IV-VIII вв. Среднего Поволжья). / А.В. Богачёв — Самара: 1992. — 208 с.
- Варёнов, А.В. и др. Костяные и роговые изделия из могильника Цзяохэ (Яр-Хото) в Турфанской впадине в Восточном Туркестане. / А.В. Варёнов, И.А. Бауло, П.И. Шульга // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Материалы Итоговой сессии Института археологии и этнографии СО РАН 2009 г. Т. XV. — Новосибирск: 2009. — С. 240-245.
- Гаврилова, А.А. Могильник Кудыргэ как источник по истории алтайских племён. / А.А. Гаврилова — М.-Л.: 1965. — 145 с.
- Голдина, Р.Д. Ломоватовская культура в Верхнем Прикамье. / Р.Д. Голдина — Иркутск: 1985. — 280 с.
- Ковалевская, В.Б. К изучению орнаментики наборных поясов VI-IX вв. как знаковой системы. / В.Б. Ковалевская // Статистико-комбинаторные методы в археологии. — М.: 1970. С. — 144-155.
- Ковычев, Е.В. Средневековое погребение с трупосожжением из Восточного Забайкалья и его этнокультурная интерпретация. / Е.В. Ковычев // Древнее Забайкалье и его культурные связи. — Новосибирск: 1985. — С. 50-59.
- Кочеев, В.А., Худяков, Ю.С. Реконструкция узды из древнетюркского погребения у с. Жана-Аул в Горном Алтае. / В.А. Кочеев, Ю.С. Худяков // Памятники древнетюркской культуры в Саяно-Алтае и Центральной Азии. — Новосибирск: 2000. — С. 117-127.
- Маршак, Б.И. Искусство Согда. / Б.И. Маршак — СПб: Изд-во Государственного Эрмитажа. 2009. — 64 с. (In brevi)
- Мацулевич, Л.А. Большая пряжка Перещепинского клада и псевдопряжки. // Seminarium Kondakovianum. I. — Прага: 1927. — С. 127-140.
- Ольховский, В.С. Скифская триада. / В.С. Ольховский // Памятники предскифского и скифского времени на юге Восточной Европы. / Материалы и исследования по археологии России. №1. 1997. — С. 85-96.

Панкова, С.В. К интерпретации загадочных фигур из Хакасии. / С.В. Панкова // История и культура Востока Азии. Том 2. Материалы международной научной конференции. — Новосибирск, 2002. С. — 135-140.

Пугаченкова, Г.А. Древности Мианкаля. Из работ Узбекстанской искусствоведческой экспедиции. / Г.А. Пугаченкова — Ташкент: 1989. — 204 с. (107/108)

Руденко, С., Глухов, А. Могильник Кудыргэ на Алтае. / С.И. Руденко, А.Н. Глухов // Материалы по этнографии. Т. III. Вып. 2. 1927. — С. 37-52.

Савинов, Д.Г. Народы Южной Сибири в древнетюркскую эпоху. / Д.Г. Савинов — Л.: 1984. — 174 с.

Савинов, Д.Г. Кудыргинский предметный комплекс на Северном Алтае (по материалам Осинкинского могильника). / Д.Г. Савинов // Памятники древнетюркской культуры в Саяно-Алтае и Центральной Азии. — Новосибирск: 2000. — С. 170-177.

Савинов, Д.Г. Ранние тюрки на Енисее (археологический аспект). / Д.Г. Савинов // Время и культура в археолого-этнографических исследованиях древних и современных обществ Западной Сибири и сопредельных территорий: проблемы интерпретации и реконструкции. — Томск: 2008. — С. 185-190.

Торгоев, А.И. О происхождении и времени распространения поясов катандинского типа. / А.И. Торгоев // Вопросы археологии Казахстана. Вып. 3. — Алматы: 2011. — С. 432-446.

Шаблавина, Е.А. Техника изготовления художественных металлических изделий раннесредневекового Боспора: автореф. дис. ... канд. ист. наук / Е.А. Шаблавина — СПб: 2007. — 25 с.

[В издании постраничные сноски не пронумерованы.]

[1] Поясню это на общеизвестном примере фигуративного декора древних кочевников — звериного стиля: 1) изображаются звери или части их тел; 2) мастер отступает от «фотографического натурализма», акцентируя значимые, с его точки зрения, части тел (органы чувств — глаза, уши, ноздри — и средства защиты или нападения — рога, когти, клыки, копыта, клюв, основные мускулы); это акцентирование достигается качеством проработки, гипертрофированием или «зооморфными превращениями», при которых создаются уже фантастические образы, а незначимые части тел животных схематизируются — передаются гладкими поверхностями (иногда пишут: «широкими плоскостями»), превращающими части тел животных в стандартные «блоки». Животные даны в позах, определённых пространственным соотношением элементов декора, т.е. третьей группой признаков: 3) эти элементы декора, «персонажи» либо полностью покрывают декорируемую поверхность без явного взаимодействия, либо «поглощают» декорируемый предмет или его часть, либо вступают в схватку, образуя сцены терзания. Такое «триадное» описание одного из элементов «скифской триады» верно для всех вариантов звериного стиля, но не может быть применено к иным декоративным стилям.

[2] В одной из последних своих работ Б.И. Маршак назвал малые орлатские бляшки «пластинами для гадания» (Маршак Б.И., 2009, с.10); как мне любезно подтвердила В.И. Распопова, это не опечатка. Но, к сожалению, осталось неясным, каков был замысел автора, — ведь форма, следы крепежа и декор этих изделий убеждают в том, что это именно «протогеральдические» декоративные накладки, если и не поясные, то стилистически — подчёркнуто единые с заведомо поясными пряжками.

[3] К слову, с находкой такой застёжки в погребении у дер. Ручейки близ Читы (Ковычев Е.В., 1985, с.54, рис.3 — 2, 3) связан забавный казус: ажурный декор простеньких щитков редуцирован до трёх отверстий, из-за которых публикатор усмотрел в составной застёжке две «личинообразные подвески» (и потому неверно их ориентировал на рисунке, ср. правильную ориентацию на указанной таблице из «Басандайки»), — несмотря на то, что один щиток имеет Т-образный выступ, явно для мягкой петли, крепившейся к симметричному щитку через отверстие на выступе без перекладинки. Эта застёжка так и вошла в литературу под видом пары «подвесок с личинами», т.е. в какой-то мере повторилась история с волотовым ажурным декором геральдических щитков — антропоморфизм фурнитуры находят там, где его нет, упуская возможность верно понять историю вещей.

[4] Недавно было высказано мнение, по которому катандинские пояса имеют китайское происхождение, а китайцы, в свою очередь, «заимствовали этот традиционный кочевнический атрибут как раз в эпоху после крушения Хань, когда влияние кочевников на Китай было весьма ощутимым. В Китае этот тип пояса усовершенствовали и придали ему тот вид, который переняли тюрки» (Торгоев А.И., 2011, с.444). Но в китайских памятниках до-тюркского времени таких поясов нет вовсе, а в хуннскую/ханьскую эпоху в силе были хунны с их совсем иными поясами, тогда как носители «прото-катандинских» типов — племена, оставившие пазырыкскую, саглыную и др. культуры (судя по всему, именуемые в китайских источниках динлинами) — как раз из-за хунну были в упадке и вряд ли могли

как-то повлиять на китайскую культуру. В послеханьское время наследники хунну — сяньби — «пост-пазырьскими» / «прото-катандинскими» поясами, насколько можно судить, не пользовались и принести их в Китай не могли. Зато потомки динлинов, телеские племена, после VI-VII вв., когда тюрки «их силами геройствовали в пустынях севера», включились в новый этап степного политогенеза, и с середины VII в. именно их традиции составили специфику культур телеских ханств и Второго каганата, повлияв в этом качестве на Китай, что и породило многочисленные китайские имитации катандинских поясов, в том числе и нефритовые. Преемственность кочевых культур устанавливается по разным типам вещей и по погребальному обряду, и нет нужды искать здесь какое-то китайское посредство (подробнее см.: Азбелев П.П., 2010а; 2010в, с.33-37). Китайское влияние могло проявиться лишь в деталях вторичного декора, «надетого» на исконно кочевнические морфологические основы, но не более того.

[5] А.К. Амброз считал, что шарнирные псевдопряжки типологически старше цельных (1973: 294-295). Однако важная аргументирующая аналогия А.К. Амброза — дальневосточные пояса с повесными рамками на шарнирах (Амброз А.К., 1981, с.17) — как показывает история мотива парных волют, развивались изолированно (Азбелев П.П., 2009, с.36), а значит, не могли повлиять на общестепные типы. При этом конкретные экземпляры могут состоять в любом хронологическом соотношении, так как ранние типы воспроизводились и после образования новых вариантов, тем более если речь идёт о находках из разных мест. Нельзя переносить логику развития одного могильника или историю одной мастерской на целый континент — а именно так, в сущности, и поступил А.К. Амброз в случае с псевдопряжками, подменив вдобавок историю морфологической основы эволюцией декора, наслоившегося на неё в одном из регионов распространения. Он был убеждён, что явная нефункциональность кудыргинских псевдопряжек делает их типологически поздними по сравнению с перещепинскими — но логика развития, выявляемая триадным определением, свидетельствует об обратном: сперва формируется цельный имитирующий тип, и только потом он функционализируется добавлением шарнира, известного в кочевнической культуре издавна и потому не работающего датирующим обстоятельством.
